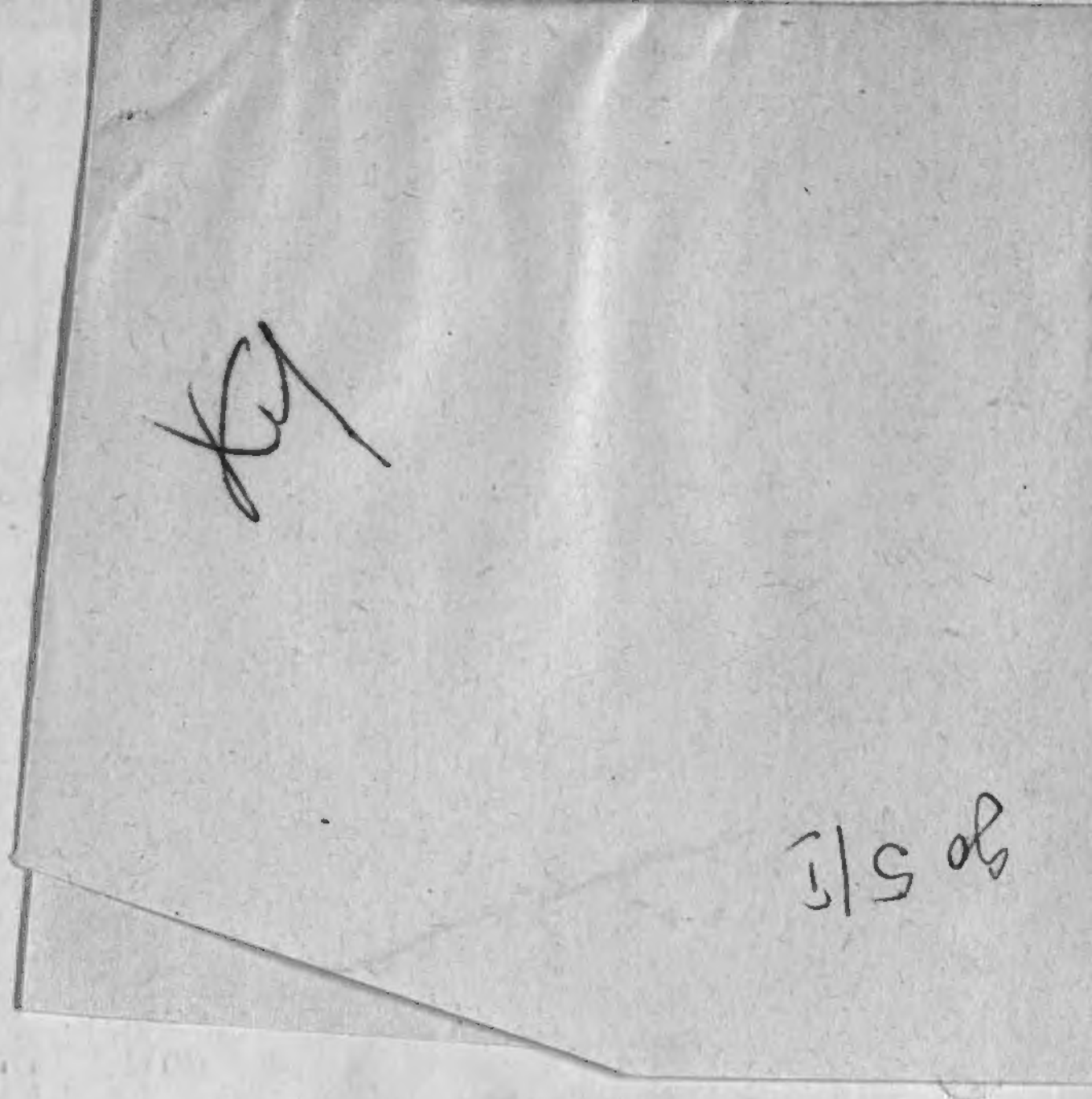
Сибирские
огни
1928, 1



go 5|I

СИБИРСКИЕ ОГНИ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

КНИГА ПЕРВАЯ

ЯНВАРЬ—ФЕВРАЛЬ

БИБЛИОТЕКА
коллектива
СИБХЛЕБПРОДУКТА
по инвентарной книге
№ 3481.

ЗАП. СИБ. КРАЕВАЯ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
№ 140912

СИБИРСКОЕ КРАЕВОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
НОВОСИБИРСК
1928

г. Новосибирск,
тип. Сибкрайсоюза,
Советская, № 6.

Сибкрайлит № 184, от 17 января 1928 г.
Наряд № 635. Тираж 2.000 экз.

Безумные затеи Ферапонта Ивановича.

РОМАН.

А. Югов.

Часть первая.

1

Кафе «Зон».

Тиф разгружал станцию, город и эшелоны. Омск эвакуировался. В городе ходили слухи, что «верховный» и Сахаров снова выехали на фронт, что на что-то надо еще надеяться, но уж для всех, кроме, может быть, самого «верховного», ясно было, что Омск удержать нельзя. Запад перестал быть. Черная аорта Сибири, разбухшая и напрягшаяся до предела, местами начинала рваться, силясь протолкнуть по своему руслу хлынувшие на восток скопища. Казалось, даже мысли отказывались итти на запад. Глухая, оберегающая душу завеса упала между фронтом и тылом. Сводку перестали читать. Угол Люблинского проспекта, где, бывало, до поздней почи стояла большая толпа, при свете огарков читавшая сведения наштаверха, теперь опустел совершенно. Большая часть толпившихся здесь оленьих дох и каракулевых шубок успела уже погрузиться на колеса, остальные добивались этого. Улицы по ночам были пустынны. Обыватель боялся. Чувствовалось уже как-то, что все подпольное и подземное не сегодня-завтра об'явится в хозяевах города. Офицеру опасно стало показываться на окраинах. Из-за Иртыша тянуло тревогой: Куломзино подстерегало город. И смутно, и тоскливо было в городе, как в квартире, в которой уж нет ничего твоего, а приходится еще оставаться переночевать.

В такое время дорог человеку приют, дорого место, где бы можно было, не думая ни о чем, отдохнуть за стаканом пива. А где же найдешь такое место, если не в кафе «Зон»? Здесь тихо и хорошо, для кутежей сюда не ездят, и любая порядочная женщина, не краснея, может встретиться здесь со своей хорошей знакомой. Кроме того, все знают, что кафе «Зон»—любимое кафе чехов, и это больше всего притягивает. Пускай всем известно, что чешская армия бросила фронт бесповоротно, а все-таки как-то не верится в близкую опасность, пока здесь, перед глазами, эти рослые и спокойные красавцы. За их широкой спиной несколько меньше чувствуется всепронизывающий сквозняк тревоги. И вот несчастные «штатские» поступаются своим самолюбием, чтобы хоть немного подышать аурой безопасности, излучаемой чешскими

воинами. Приходится ради этого усаживаться за самые плохие столики в кафе, терпеливо (не постукивая ложечкой!) ждать благосклонности официанта и крепко-накрепко помнить, что ты в этом кафе—не больше, как одетая в пальто пустота, которую неприлично считается замечать не только у чешских, но, что обиднее всего, и у своих русских офицеров.

При таких-то вот взаимоотношениях или, вернее, при таком отсутствии всяких взаимоотношений между военными и «штатскими», можно, думаю, представить, как поражены были, как залюбопытствовали сидевшие в кафе офицеры, когда штабс-капитан особого егерского баталиона Яхонтов, подойдя быстрыми шагами к столику одного невзрачного господина, сшиб ударом стэка стакан с пивом прямо к нему на колени и, слегка поклонившись, назвал себя.

В первое мгновенье на лице человека, пострадавшего от этой злой выходки, изобразилось явное и мучительное смятение. Он привстал со стула, забавно расставив ноги, начал ощупывать свои карманы, очевидно, ища носовой платок, но не нашел его и, схватив край скатерти, им было собирался обтереть коленки, но и этого не сделал, а просто сел опять прочно и тяжело на свое место, откинувшись на спинку, и, от'езжая вместе со стулом, как бы для того, чтобы лучше видеть обидевшего его офицера, сказал вдруг тихо и с расстановкой:

— Понимаю...

— Что?!—с радостной готовностью нагнулся к нему капитан, перехватывая поудобнее стэк,—что вы изволили сказать?!..

— *Понимаю*, говорю, и могу *потушить фонарь*,—совершенно спокойно и даже несколько игриво, как показалось офицеру, сказал невзрачный господин, многозначительно выделяя слова.

Капитан Яхонтов никогда не бывал в таком неловком положении. Слова затронутого им человека не давали офицеру той искры, которая так необходима в ссоре, чтобы разозлиться и первому ударить противника. Он не знал, что делать. А вокруг уже сгрудились любопытные, приготовившиеся, должно быть, к длительному удовольствию, т. к. многие из них держали стаканы с недопитым пивом и кофе.

Яхонтов почувствовал, что все это может, в конце-концов, сделать его смешным, и беспокойство за честь мундира, овладевшее им, заставило его решиться.

— Официант!—громко позвал он.

Тот вынырнул из-под самого локтя Яхонтова.

— Отдельную комнату!

— Слушаюсь.

— Вас я попрошу пройти со мной,—обратился офицер к оскорбленному им человеку, который, казалось, только и дожидался этого приглашения.

В довольно приличной комнате, куда, однако, доходил кухонный чад и грохот, Яхонтов сразу же занял кресло, стоявшее возле небольшого стола, покрытого грязной скатертью. Незнакомец остался стоять.

— Я жду от вас об'яснений... садитесь...

Тот сел. Помолчали. Наконец, теребя шляпу, лежавшую у него на коленях, и не глядя на собеседника, незнакомец заговорил, подбирая слова и краснея:

— Видите ли... Вы меня извините, но, собственно, мне бы... впрочем, ерунда!.. Пожалуйста: я готов вам дать об'яснения... только—минуточку...— с такими словами странный человек вынул карандаш и блок-нот, быстро записал что-то и, вырвав листок, положил его на стол, прикрыв ладонью. Плос-

кие с грязными каймами ногти и короткие пальцы неприятно поразили офицера.

— Вот,—проговорил его собеседник, смущаясь:—теперь пожалуйста: к вашим услугам—спрашивайте... Может быть, на первых порах вам интересно знать, кто я такой, так вот: фамилия моя—Капустин, Ферапонт Иванович, по роду занятий—психиатр, пока без службы...

Звякнули шпоры. Капитан устроился в кресле поудобнее и, вглядываясь пристально в собеседника, сказал:

— Хорошо... Меня интересуют два вопроса...

— Три?..—поправил его собеседник несколько робко, но, сопровождая слова свои фамильярной ужимкой, очень раздражившей капитана.

— Пожалуй... вы правы, господин... Капустин,—сухо сказал офицер. «Чорт его знает: баптист, непротивленец он что ли?»—думал он в это время про себя и все более и более раздражался.

Весь вид Капустина показывал, что ему еще хочется говорить. Молчание офицера он счел за разрешение.

— Видите ли,—начал Капустин,—я хотел бы обратить ваше внимание...—с этими словами он взял записку, которую прикрывал зачем-то ладонью, и подал ее офицеру. Яхонтов прочел:

«1) Вы хотите знать, почему я улыбался, глядя на группу офицеров (за это вы и сшибли мой стакан), 2) почему я так странно реагировал на оскорбление и сказал «понимаю» и 3) что значит «потушить фонарь»...

Офицер отбросил записочку.

— Да что вы думаете,—почти закричал он,—я вас сюда для фокусов ясновиденья пригласил?!.. Ну, хорошо: вы угадали, но, ведь, это же ровно ничего не об'ясняет! Ну, относительно вашего «понимаю» можно еще догадаться, что вы *поняли,* насколько ваша улыбка по адресу офицеров возмутила меня, русского офицера... но все остальное... и, наконец, что вы нашли смешного в нашей группе, и это что—«можно потушить фонарь»?!.. Нет, вы меня простите, но я требую, чтобы вы об'яснились толком!..

Капустин сразу сделался серьезен.

— Видите ли... прежде всего здесь нет никакого ясновидения,—просто профессиональный навык наблюдательности, а затем, конечно, все это пустяк, не стоящий вашего внимания. Я глубоко убежден, господин капитан, что наша с вами встреча будет иметь другое, самое высокое значение, выше всякого личного...—Здесь Капустин остановился, как-будто снова подыскивая для своих мыслей такую форму, которая не спугнула бы установившегося внимания собеседника. Он напрасно боялся: любопытство офицера взвинчено было до предела. Яхонтов решил выяснить до конца все непонятное в этом происшествии, тем более, что собеседник начал казаться ему симпатичным, оттого, что слишком явная боязнь быть непонятым, недослушанным до конца, сквозила в тоне Капустина и в выражении лица его.

— Пожалуйста,—сказал капитан,—я с удовольствием и с полнейшим вниманием выслушаю все, что вы имеете доложить мне... Временем мы не стеснены,—добавил он, взглянув на часы.—Вы курите?

— Нет...

Яхонтов закурил папиросу и приготовился слушать.

— Видите ли...—начал странный человек,—то, что я сообщил вам о себе кое-какие чисто паспортные сведения, ну, например, то, что я—Ферапонт Иванович Капустин, психиатр и тому подобное, конечно, ничего не говорит вам. Это немногим больше, чем назваться номером таким-то. Нет! В наше проклятое время нам от человека другое требуется! Враг или друг ты—вот что главное!.. Я это прекрасно понимаю Поэтому-то, именно, я испыты-

ваю сейчас огромное затруднение. Я уже говорил вам, что мне много нужно сказать вам такого, что выходит за пределы личного. Вас-то я знаю теперь настолько, что никакие сведения о вашей личности со стороны не пошатнули бы моей веры в вас. Вы только что доказали мне, что не все еще офицеры утратили представление о чести армии... Словом, вам я доверяюсь без оговорок, но сам не могу льстить себя надеждой, что, встретившись с вами в первый раз здесь и при таких обстоятельствах, я окажусь в ваших глазах достойным доверия. А без этого—немыслимо. Во имя нашего общего дела, я буду просить о доверии самом полном... Конечно, мы могли бы отложить нашу беседу до тех пор, пока контрразведка, по требованию вашему, не представит сведений обо мне и о предках моих до седьмого колена, но вы сами увидите, что время не терпит. Поэтому я думаю, что у меня есть другой путь к вашему доверию, более короткий и приятный... Вам, конечно, известен полковник Карцев?

— Да. Я полагаю, что он должен быть известен каждому егерскому офицеру.

— Очень рад. Хотя я и не сомневался, что отзывы офицерства о моем друге будут одинаковы.

— Как!? Полковник Карцев—ваш друг?

Капустин, не.отвечая, извлек из внутреннего кармана пальто довольно об'емистый бумажник и, вытащив оттуда длинную фотографическую карточку, протянул ее офицеру.

Яхонтов, взглянув на карточку, улыбнулся, и лицо его приняло вдруг домашнее выражение.

— Так... А почему этот мальчуган Анатолия Петровича—у вас на коленях?

— Мишук-то? Да, ведь, это же мой крестник!—радостно засуетился Капустин.—Вы видите,—бросился он показывать офицеру,—часы у меня на шнурке привязаны, а он их держит в ручонке. Страшно часы любил! Все время, бывало, приставал: «дай посусаю!», а засмотришься, так и тово!.. И, между прочим, знаете ли, никак не мог понять, что часы—в часовом кармашке—«Дядя, говорит, у котолого часики в блюске».

Офицер засмеялся.

— Так, так... Ну, так давайте познакомимся!—сказал он, вставая и протягивая руку:

— Яхонтов.

Капустин поспешно вскочил и еще раз назвал себя.

Усевшись в кресла, оба они долго молчали, испытывая какое-то хорошее смущение. Наконец, офицер спросил:

— Так, очень возможно, что мы встречались даже у них в Екатеринбурге?

— Даже наверное. Я сразу же припомнил вас, как только увидел в кафе...

— Ох, знаете, вы опять напомнили мне нашу несчастную встречу!..—сказал офицер, покраснев,—вы меня простите, доктор... но...

— Что вы, что вы? наша встреча-то несчастная?! Не потому ли только, что несколько капелек пива оросили мою ничтожную особу? Да вы знаете, что я должен благодарить бога за эту встречу! Пусть я стал жертвой вашего вполне, добавлю, справедливого гнева, но зато я увидел истинно-русского офицера, который не простит никому даже тени неуважения к русской армии... Господин капитан!..

— Называйте меня—Георгий Александрович.

— Благодарю вас... Георгий Александрович, я еще давеча говорил вам, что хочу беседовать с вами и вот теперь прошу разрешения вашего

говорить с вами обо всем с полной откровенностью, ничего не утаивая и не замалчивая... как с братом, как с человеком, в сердце которого живет та же, что и во мне, любовь к родине и ненависть к банде, поправшей все святое для русского человека!..

— Ферапонт Иванович! я сам буду просить вас о полном доверии и откровенности. Даю вам слово офицера, что все, что вы сочтете нужным хранить в тайне, навсегда останется между нами... Я слушаю... Впрочем, еще один вопрос: вы давно расстались с полковником Карцевым?

— С самого Екатеринбурга. Это был как-раз прощальный снимок перед эвакуацией. А вам известно что-нибудь?

— Нет, к сожалению. Знаю только, что в последнее время он был прикомандирован к штабу II армии.

— Да, знаете ли, если бы я не потерял с ним связи, то, пожалуй, давно бы потушил свой диогенов фонарь,—в раздумьи сказал Ферапонт Иванович.—Однако,—добавил он, глядя на офицера,—я верю, что бог не слишком поздно послал мне встречу с вами. Может быть, все еще поправимо...

— Ферапонт Иванович!—не вытерпел Яхонтов,—вы меня мучаете!

Капустину нравилось разжигать любопытство офицера.

— Итак, хорошо,—сказал он,—говорить прямо, открыто, никого не щадя?

Офицер кивнул головой.

— Хорошо... начну с нашего столкновения в кафе: вы совершенно правильно истолковали мою улыбку, она относилась именно к сидевшим в кафе офицерам, впрочем, не только к ним. Сеть моих ассоциаций раскинулась в тот момент очень далеко. Они захватили многое, очень многое, не пощадив даже одноэтажного особняка на берегу Иртыша...—взглянув на офицера, Капустин убедился, что тот его понял.—И вот, все эти мысли и вызвали мою улыбку. Но, вы должны чувствовать, Георгий Александрович, что улыбка эта *не могла быть адэкватной моим переживаниям*. Нет, Георгий Александрович! заплакать мне в тот момент хотелось, голову спрятать, знаете, как страус, чтобы не видеть, не слышать ничего!.. Что я в этот момент думал... Думал я о том позоре, о той грязи, в которой потонуло наше белое дело—дело спасения родины, начатое так мужественно и прекрасно! Думал я о ворах, карьеристах, трусах, о полчищах предателей, а главное—о страшном и, может быть, смертельном *шоке*... Вам не знакомо, я думаю, это слово, по крайней мере тот смысл, который мы вкладываем в него. Шок—это, говоря просто, нервный удар, внезапное потрясение нервной системы, иногда приостанавливающее все ее высшие функции, иногда кончающееся смертью, как доказано это в опытах с лабораторными животными. Может быть шок чисто психогенного происхождения. И вот, думая о судьбах нашей родины, пытаясь найти об'яснение тому дикому факту, что большевики царствуют на Руси уже третий год, вопреки воле всего народа, я нахожу только одно слово—шок! Соборная психика народа (мне противно сказать «коллективная») сначала от чудовищной бойни народов, потом от бойни братоубийственной потерпела страшнейшее потрясение. Затормозились надолго все высшие сознательные функции целого народа. И, распластанный в состоянии шока, народ русский, подобно лабораторному животному, покорно подставляет свое тело под нож кремлевского экспериментатора!.. А Сибирь?!. Посмотрите, что совершается кругом: повальное бегство, «подводная» война, «смазывание пяток», дезертирство психическое и физическое! Инстинкт самосохранения—вот единственное, что пощадил шок!.. И вы знаете, что в этом бегстве слились все—армия и тыл. Нет большой разницы между военным и штатским... Все!..—Капустин вскочил и зашагал по комнате.

Офицер молчал.

— О, если бы я ошибался!—вскричал Ферапонт Иванович, не помня себя,—тогда... тогда я давно бы уже разбил свой диогенов фонарь, найдя человека... Но, где было найти его, когда даже во главе нашей армии—бездарность, карьеристы и трусы?! Георгий Александрович, ну, возьмем настоящий момент: скажите, разве пользуется наш новый главнокомандующий хоть каким-нибудь авторитетом в глазах армии и населения? разве читает кто-нибудь его приказы, где он обещает не сдавать Омска и пишет о пятнадцати казачьих полках, брошенных к Тоболу?!.. Ну, скажите,—кто еще?—Каппель, Пепеляев, вы скажете? Но, во-первых, действительно ли они—вожди, а, во-вторых,—их губит обоих этот отвратительный душок демократизма... Ну?! Кто дальше?—в позе вызова остановился Капустин перед офицером.

— Дитерихс... Вы о нем подумали?—тихо сказал Яхонтов, взглянув на него.

— Дитерихс?—изумился Капустин,—что ж... да и об нем думал в свое время, но, по правде сказать, для меня он всегда был довольно серой фигурой, как, должно быть, и для военных. Нет! знаете, здесь нужен могучий и, главное, *двухголовый* диктатор, так, чтобы одна голова была военной, другая—гражданской. А ваш Дитерихс... мне приходилось от компетентных лиц слышать, что он и в военном-то отношении довольно посредственная фигура.

— Да... вот так же в свое время говорили о Барклае-де-Толли,—как бы в раздумьи сказал Яхонтов.

— Как?!.. Что вы сказали?.. Барклай-де-Толли?!.. Да что же между ними общего?!!—воскликнул Капустин.

— Да!—упрямо и с раздражением сказал офицер,—я утверждаю на основании некоторого знакомства и с кругами ставки и с положением на фронте, что «серый», как вы его назвали, Дитерихс смело может быть назван Барклаем-де-Толли сибирской армии. Вы, очевидно, не знаете, что еще до Тобола Дитерихс настаивал перед «верховным» на переводе столицы в Иркутск и на планомерном отводе всех армий. И даже для невоенного становится ясной (к сожалению, теперь) вся проницательность этого человека. Сохранение и концентрирование живой силы и всех материальных средств, кратчайшие коммуникационные линии, наконец, непосредственная близость к основным силам союзников!.. Семенову пришлось бы ретироваться, его вытеснили бы. Правда, возражали, что слишком много будет утрачено территории, а в особенности—людского резерва. Но, я бы сказал: чорт с ним, с таким резервом! Эти мужички показали нам, как хотят они защищать родину!.. А там у нас была бы, знаете, какая опора в уссурийском и забайкальском казачестве?!.. Наконец, кто знает, может быть бы и «братья» чехи оказались сговорчивее, находясь возле самого моря... И вот, все это предвидел «серый» Дитерихс, но, к несчастью, у него и судьба-то общая с Барклаем. Ни для кого не тайна, что после труб и литавр наш Сахаров будет продолжать отступление. Только не думаю, что это придаст ему сходство с Кутузовым... Конечно, Омск обречен, а что дальше...

— Господи!—воскликнул Капустин,—неужели и вас не пощадил шок?!.. Вы утверждаете, что Омск никакими силами удержать нельзя?..

— Да, утверждаю... Вы и сами, кажется, видите это прекрасно. Здесь дело не в отдельных личностях.

— Георгий Александрович!—горестно и возмущенно вскричал Капустин,—да, ведь, я уверяю, что если пройтись по одним кафе и ресторанам, то можно набрать тысячную армию из одних только офицеров. А по всему-то городу?!

— Ну, что ж,—усмехнулся капитан,—и здесь ваш пресловутый шок; это уже—не армия!..

— Да, к несчастью так... О, психика, психика!—что океан перед тобой?!..—продекламировал Капустин.—Георгий Александрович,—сказал он успокаиваясь,—вы послушайте только: прихожу я на-днях к одному знакомому, он—купец, беженец из Самары, человек глубоко религиозный, нравственный, единственную дочь свою по Домострою воспитывал, прихожу и вижу: старик чуть не пляшет от радости.—«Что с вами?»...—«Да как же», говорит, «Манечка сможет эвакуироваться: знакомые чехи берут в свой вагон».—«Ну, а вы?».—«Да мы-то со старухой остаемся: всем не уехать... Ничего, господь милует, пускай хоть Манечка спасется!»... А Манечке-то восемнадцать лет!..

Яхонтов рассмеялся:

— Да, бывает...

— И вы знаете, до чего доходит это безумие в панике?—возмущался Капустин.—Слепцы! Безумцы! Вас много! Вы сильнее!—нет: бегут!.. Георгий Александрович,—крикнул он совершенно вне себя,—ударим в их психику!..

— Чью?—вздрогнув даже от неожиданности, спросил Яхонтов.

— Красных!.. Нужно устроить им психический разгром!.. Что? Вы улыбаетесь! Считаете меня сумасшедшим. Думаете, может быть, что я пристану к вам с организацией какого-нибудь клафтоновского осведверха?!

Капустин не давал рта открыть своему собеседнику.

— Нет, Георгий Александрович! Вы забыли историю. Без нас, ученых, что делали бы вы—воюющие?!.. Вы ответите, что здесь не один человек, а наука, но вспомните защиту Сиракуз Архимедом, вспомните Леонардо-да-Винчи!.. Можете смеяться надо мной, но я говорю вам: мы—штабс-капитан Яхонтов и психиатр Капустин—сделаем то, что не сделали ни Сахаров, ни ваш сибирский Барклай-де-Толли. Мы отстоим Омск!..

Капустин сел в кресло.

Капитан подвинул к нему стакан и налил воды из стоявшего на столе графина.

— Успокойтесь, дорогой Ферапонт Иванович!—сказал он с участием. Лицо его было чрезвычайно серьезно.

— Никто даже не думал смеяться! Я не пропустил ни одного вашего слова и заявляю вам, что я—весь в вашем распоряжении, если это потребуется для блага родины.

Капустин отпил глоток воды и слабым голосом, оглянувшись в сторону двери, сказал:

— Георгий Александрович, я считаю, что излагать вам суть дела здесь было бы несколько неосторожно. Вот здесь у меня записано все подробно, ясно и... доказательно.—Он извлек из кармана небольшую, сложенную вдвое, ученическую тетрадку и передал офицеру.

— Да, страшно подумать, что в этой вот жалкой тетрадке заключена, может быть, судьба всего фронта!..

— Клянусь честью офицера,—сказал Яхонтов торжественно, как на присяге,—что эту тетрадь можно отнять только у трупа!..

Капустин встревожился.

— Видите ли, Георгий Александрович, я считаю, что кто-нибудь из ставки, по вашему доверию, должен будет непременно ознакомиться с этим: чем больше размах будет взят сразу и чем скорее, тем вернее победа.

Офицер нахмурился, однако, это быстро прошло, и, наклонив голову, он сказал:

— Сочту своим долгом.

Капустин встал. Они посмотрели друг другу в глаза. Маленький Капустин протянул руку высокому и стройному Яхонтову. Они обменялись адресами. Капитан толкнул дверь. Звон падающей и разбивающейся посуды, сопровождаемый вскриком, оглушил их. У противоположной стены узенького и темного коридора стояла, беспомощно опустив руки, перепуганная горничная. Возле двери лежал поднос и груда осколков. Очевидно, дверь открылась и вышибла поднос в то время, как кельнерша пробегала мимо.

Яхонтов остановился на секунду, затем быстро вынул бумажник и, достав несколько кредиток, сунул девушке. Перепуганная девушка не успела протянуть руку. Деньги упали на пол. Офицер с Капустиным обогнули угол темного коридорчика, свет зала заставил их зажмуриться. Пройдя шага два, Капустин остановил вдруг офицера и что-то сказал ему на ухо.

Капитан поморщился, как бы обдумывая что-то, и оглянулся на коридор, из которого они вышли; девушка собирала осколки.

— Нет, не думаю,—сказал он...

2.

Темный эшелон.

Эвакуация... эвакуированный... эвакуационный... липкие, квакающие слова! И кто это только выдумал и выпустил в русский обиход эту безобразную стаю?! Уж не для того ли эти слова, для чего и другие многие из иностранных, т.-е., чтобы скрыть, как скрывают в облатке неприятное лекарство, все постыдное и нечистое, что нехорошо обозначить простым словом? Однако, нехватает облатки: «эвакуантов» все-таки зовут беженцами, да и не прикроешь, пожалуй, никакой иностранщиной того постыдного и безобразного, что совершается вот уже вторую неделю на омской станции.

Здесь, в этих людях, готовых искалечить друг друга из-за места на грязных нарах теплушки, пещерный предок узнал бы свое потомство! А ведь придет время—рассядутся все, «утрясутся», как сами же они выражаются, почувствует каждый, что прочно обосновался в логове, и тогда мало-по-малу начнут отходить сердца, остынут разгоряченные дракой тела, спрячутся оскаленные клыки, и такие завяжутся знакомства, что уж и не представляют люди потом, что можно расстаться, забыть номер общей теплушки и никогда в жизни не переписываться друг с другом.

Но это потом будет, а пока лучше не смотреть, что творится.

Ну, неужели, например, не знает этот белокурый, с мягким нежным лицом, поручик, которого английская с серым широким воротником шуба делает еще женственнее, неужели не знает он, что та женщина, которую он оттолкнул сейчас, втаскивая в теплушку, с помощью денщика, какой-то сундук, тоже сестра или жена такого же, как он, офицера?!..

Уж много часов стоит она перед этой теплушкой вместе с высокой черной старухой возле сваленных на снегу дров, ящиков, чемоданов и корзин, ожидая посадки. Путем бесконечных расспросов, унижаясь и плача, останавливая пробегавших по перрону железнодорожников и военных, ей удалось, наконец, узнать раньше всех, на котором пути формируется состав для офицерских семей, и тогда она, молча, крадучись, вместе со старухой принялась перетаскивать одну за другой все свои вещи, пролазя с ними под стоявшими на пути эшелонами, в надежде, что она первая попадет в теплушку. Но у юнкера их—Сашеньки—не было еще денщика, а сам он не мог вырваться из города, посадка началась дико и внезапно, и вот теперь обе женщины стояли возле своих вещей, отброшенные в сторону, и не знали, что делать.

— Господи! да где же это Саша-то?!—говорила старуха, оглядываясь во все стороны.—Зиночка! Ты бы побежала ему навстречу... Ведь опять мы останемся!.. Сбегала бы к коменданту,—пусть даст кого-нибудь!.. Нахалы вы! Нахалы!—вдруг закричала она пронзительно, с трясущейся от гнева головой, на вламывающихся в теплушку с треском и грохотом офицеров и их денщиков.

Дочь останавливала ее:

— Мама, мамочка!—говорила она, дергая старуху за рукав,—да перестаньте же! Сейчас Саша придет,—перестаньте!—А у самой глаза полны были слез, и, увидев подошедшего к паровозу проводника, она почти бегом бросилась к нему и стала просить помочь им. Проводник, не дослушав ее, буркнул что-то и отошел. В это время она увидела знакомого прапорщика: он выглянул из теплушки стоявшего напротив эшелона. Она окликнула. Он, неприятно, видимо, пораженный, все-таки поклонился ей и выпрыгнул из теплушки.

— Анатолий Сергеевич, ради бога, помогите нам!—сказала она голосом просительницы, совсем не похожим на тот, каким она разговаривала с ним в своей гостиной, когда он бывал у них, когда под ее аккомпанировку пел песенки Вертинского и, стоя за ее стулом и перелистывая ноты, вдыхал аромат ее волос, томился от любви к ней. Она протянула ему руку, привычным жестом отогнув до половины свою перчатку. Он ответил ей рукопожатием. Но, как-будто не замечая этого, она продолжала, волнуясь и тревожно вглядываясь в него:

— Вы знаете, это ужасно, что делается: нас совсем оттеснили!.. Мама страшно волнуется. Александр—в городе: его не отпустили... Я так обрадовалась, когда вас увидела... может быть...

— Увы!..—сказал прапорщик с неловкой улыбкой, которая должна была обозначать одновременно и отказ, и сожаление,—если бы на полчаса, только на полчаса раньше!.. А теперь... денщика я командировал в город, а сам... мы сейчас... меня вызывают в штаб...

Оба они старались не смотреть друг на друга. Долго молчали и обоим было как-то неловко расстаться.

— Боже мой... боже мой!.. Что же делать?!—словно про себя говорила она.

— Холодно!—сказал прапорщик, передернувшись, и пояснил для чего-то, как-будто она не видела:—Я ведь в одной гимнастерке к вам выскочил... Ну, прощайте!—сказал он, беря ее руку и на этот раз целуя выше перчатки.—Надеюсь увидеть вас во Владивостоке,—и, не дожидаясь даже, когда она уйдет, он повернулся к ней спиной и, ухватившись за скобку косяка, легко прыгнул в теплушку...

Женщина постояла еще немного и пошла по направлению к станции.

Низко (вот-вот, кажется, заденешь головой) висят над перроном огромные станционные часы. Большая стрелка, похожая на меч, долго остается на месте и вдруг делает прыжок.

Два офицера стоят, прислонившись к стене вокзала, и смотрят спокойно, как мечутся по перрону люди. Один из них, помоложе, говорит:

— Знаешь, странно все-таки делается: ведь вот за то время, пока эта стрелка едва-едва успела оползти циферблат, фронт откатился еще на шестьдесят верст!.. Ты сводку читал?

— Да,—говорит другой, не склонный, видимо, к философствованию.—Бегут...

Мимо них с шумом и звяканьем проходят два анненковца, волоча длинные шашки. На рукавах у них—череп и скрещенные кости.

— Денатурат!—громко говорит старший из офицеров—кавалерист, судя по шпорам и длиннополой шинели с разрезом от самого пояса. Собеседник не понимает его, и тогда он глазами показывает на мрачную эмблему анненковцев. Оба хохочут.

Один из анненковцев оглядывается, но, должно быть, они очень спешат, потому что оба скрываются в вокзале.

— Тоже, поди, думают, что—кавалерия!—не унимается офицер. Не кавалерия, по-моему, а цыганская свадьба... Пришли бы они к нам в русско-чешский, мы бы их поучили!..

Станция, словно шелухой семечек, засорена народом и скарбом. А «ветка» каждые двадцать минут привозит из города все новых и новых людей. Рядом с веткой от самого города протянулся обоз с беженской рухлядью.

На восток от вокзала далеко раскинулся выросший за каких-нибудь две недели город теплушек. Когда-то вся Русь была кондовая, избяная, а после—пришел четырнадцатый год, и сделалась вагонная, теплушечная.

Здесь, впрочем, и в теплушках чувствуют себя прочно, оседло. На первых двух-трех линиях заметно еще некоторое движение: приходят и уходят поезда, бичуют воздух маневровые паровозы, звякают тарелки буферов. А дальше, как, впрочем, и полагается на окраинных улицах города, движение чуть заметно и, наконец, совсем затихает. Колеса на четверть засыпаны снегом. Чуть не у каждой теплушки—труба, из трубы идет дым. Белеют повсюду переплеты заново сделанных дверей и рам. Идет заготовка дров. У большинства теплушек до самой земли—прочные лесенки, можно даже посидеть на крылечке. Пожалуй, если здраво рассуждать, то колеса в этом городе давно уже лишние. Без них можно было бы заваленки сделать, из снега хотя бы: а то все-таки, как ни обивай изнутри теплушку коврами и кошмами, а снизу-то поддувает. Однако, где там! Хоть и крепко, по-домашнему, все устроились—а в колеса все-таки верят, верят во Владивосток и Иркутск. Поэтому каждый день квартальный надзиратель, упорно именуемый, однако, комендантом эшелона, ходит к коменданту станции узнавать, скоро ли их квартал тронется в Иркутск.

И случается, что нехотя-нехотя подойдет к такому кварталу какой-нибудь старичок-паровоз, тихонько покрякивая, толканет, словно силенку пробует, повозится там чего-то и глядишь—потащил ведь со скрипом и стоном застоявшиеся теплушки! Поплыли лесенки, срезая по дороге кучи снега... И подымается суматоха! Ликвидируются дровяные заготовки. Сбегаются отовсюду жители, видевшие, как стронулись их дома, и выскакивают на крылечко встревоженные женщины, у которых мужчины—эти извечные добытчики всякой снеди и топлива—странствуют в это время где-нибудь по вокзалу, а то и в городе. Лица женщин выражают мучительные переживания: остаться с ним или уехать с вещами?!..

Так бывало с каждым эшелоном и не однажды. И каждый раз кончалось, что состав только загоняли еще дальше, чтобы освободить путь для военных эшелонов. Наконец, все к этому очень привыкли и не только безбоязненно стали уходить на вокзал, но многие даже и ночевали-то в городе. Явилась уверенность, что положение устойчивое. Некоторые предлагали даже перенумеровать по-городскому все теплушки, а на головных и хвостовых прибить дощечки с наименованием улиц: Лермонтовская, примерно, Потанинская, Адмиральская. Сплетни, кумовство и заимодавство накрепко связали между собою отдельные теплушки и эшелоны...

Был, однако, в самом «устойчивом» углу этого города один эшелон, по-видимому, военный, с которым не только не удалось завязать какие-либо отношения, но к которому даже приблизиться было нельзя, потому что по обе

стороны—по два часовых. Думали сначала, что там снаряды, но скоро увидели, что нет. Ибо, хотя и закрыты все теплушки на замки и железные створки окон захлопнуты наглухо, но у каждой теплушки—труба, оттуда—дым и, кроме того, сажен за сто от эшелона так силен становится солдатский запах, что ясно становится, что в теплушках—никак не меньше баталиона. Днем теплушки не открываются вовсе. Стало быть, люди сидят там в полной темноте, хотя, повидимому, это мало их смущает, так как все время доносятся оттуда—смех, крики, звуки гармошки и топот.

Уж, во всяком случае, там не арестанты: слишком весело себя ведут. Вот даже к одной из теплушек подходит часовой и стучит прикладом:

— Эй, вы, чалдоны желторотые! Тише. Федьфебель придет...

Ему отвечают руганью и шутками:

— Ге-ге!.. Пускай приходит!..

— Как же!—придет он, дожидайся! Днем-то, небось, не одна собака к нам не заглянет!..

— Чо ему здесь делать?! Иголки-то ешшо рано расшвыривать. Эти-то не все собрали!..

— Придет, дак мы его тут в потемках-то петушком завяжем,—не узнат кто!..

— Ну-ну! Вы не больно-то!—говорит часовой и отходит к другой теплушке. Здесь довольно тихо, но, приложившись к щели между дверью и косяком, он остается в таком положении довольно долго. В теплушке идет разговор, беспорядочный, вразброд, как всегда, где соберется много праздного народу.

— Эх, мамаша!—слышится чей-то молодой и озорной, изнывающий от скуки голос.—Конюхов! ты чо—библею читашь! Умрет он, братцы, без библеи! А мне бы хоть одним глазом на баб взглянуть! Ох, и много их, поди, на станции!.. Чую, что много!..

— Ну, язви их!—дожили! Зашшитники!—людям показать стыдно... Вон дак образцовый батальон!..

— Да, господин взводный, долго ли чо нас держать-то будут?! Хоть бы сказали, за что! А то сидишь, как кобель на цепе! Иголки каки-то удумали! Начисто обалдели!..

— Кто обалдел?!..

— Да хоть бы и капитан!

— Ну, ты говори-говори, да откусывай!..—отвечает, повидимому, взводный.

— Эй! вот что, ребятишки: кто будет в очко?

— Ишь, стерва, в очко! Да ты и при свете-то обдуешь!..

— Эй, Конюхов! ты ить начетчик—погадай, слышь, на библее, пошто нас затырили?..

— Библия тебе не мешат, дак ты ее и не затрагивай, а кто затырил, дак у того и спрашивай!..

— А вот что, ребята,—вступает чей-то новый голос,—офицера-то в потемках же сидят али на воле?

— Ну, дак как же! Наверно, тебе поручик Лазарев усидит! Он, поди, всех баб в городе освашшил!

— А капитан-от Яхонтов куды делся?

— А его, слышь, и в ешалоне нету. Хрен его знат. Наделал делов, а сам—на сторону!..

— А я дак, ребята, думаю,—глубокомысленно сказал кто-то,—что нас для восстания скрывают.

Несколько времени все молчат, видимо, пораженные неожиданностью догадки. Потом кто-то говорит презрительно:

— Уткнул пальцем!.. Так тебе бы и дали орать да на гармошке наяривать!.. А, скажем, для чего тогда в потемках-то держать?.. Никого тут не восстание, а так—дурость кака-то!..

— Ну их к чорту! Давай, ребятишки, споем ли чо ли!..

— В неволе сижу...

— На волю гляжу-у!..—подхватывает вся теплушка...

13.

Офицер и денщик.

А тот, о ком говорили солдаты, что он «наделал делов, а сам—на сторону»—капитан егерского особого баталиона Яхонтов уж целый месяц не выходил из своей комнаты, в которой было так же темно, как в теплушках его баталиона. В первое время очень беспокоили разные знакомые, главным образом, женщины, прибегавшие попроведать капитана, но скоро его денщик отвадил всех посетителей. Он никого дальше кухни не пропускал и каждому старательно об'яснял, что у капитана заболели глаза, и ему велено сидеть в темной комнате и никуда не выходить. Квартира у Яхонтова была совершенно отдельная—из двух небольших комнат и кухни, в которой, однако, жил денщик и ничего не готовилось, так как Яхонтов получал обеды из ресторана.

Первое время Яхонтову стоило больших усилий усидеть в своем затворе, когда он слышал голос доброго знакомого или приятеля, который, собо-лезнуя, расспрашивал денщика, давно ли у капитана заболели глаза, скоро ли он выздоровеет и хороший ли врач его лечит. Но особенно трудно было, когда из кухни доносился голос какого-нибудь милого создания, и капитану страшно хотелось определить, а он не мог, по голосу, которая именно из его приятельниц пришла его навестить.

«Бросить все это к чорту! ну его совсем!—все равно ничего не выйдет»,—думалось тогда капитану, и он готов был, действительно, бросить все, тем более, что мучения оттого, что нельзя даже было закурить, становились прямо-таки нестерпимыми.

Однако, две силы укрепляли капитана в его замыслах: первой силой, несомненно, была тетрадка, полученная им в кафе «Зон» от Ферапонта Ивановича. Он прочел и продумал ее до конца, подвергнув самому тщательному разбору все утверждения Капустина, насколько позволяли ему его познания в этих вопросах и здравый смысл, и нашел, что Капустин рассуждает правильно и научно.

Но главное, что поддерживало Яхонтова и заставляло его итти до конца, это—его больше, чем у других людей, развитое замкнутое *самолюбие*. *Честолюбивым* Яхонтов никогда не был и никогда, между прочим, не страдал манией лицезрения т. н. великих или знаменитых людей. Он считал, и это было твердым его убеждением, что всех так называемых великих выбрасывало на поверхность игрой и давлением каких-то скрытых в недрах человечества и неизученных еще сил. Он любил эту мысль настолько, что иногда где-нибудь в гостиной, часто для того лишь, чтобы порисоваться слегка перед барышнями, он доводил ее до крайности, начиная утверждать, что самый лучший полководец наполеоновской эпохи—вовсе не Наполеон, а кто-то другой, может быть тоже—капрал, но так и проносивший всю жизнь маршальский жезл свой в ранце, ни разу не взявши его в руки. Лучший, гениальнейший писатель это, несомненно, кто-нибудь из таких, кто не написал ни одной строч-

ки. Нечего уж говорить о том, что самый мудрый человек в мире не только не создал никакого учения, но так и умер неузнанным, именно потому, что постиг, насколько все в мире есть «тлен и брение».

Славу, даже не вкусивши ее, Яхонтов считал чечевичной похлебкой. Высшую радость испытывал он от одинокого осознавания остроты и гибкости своей мысли. Ему знакомо было несравнимое ни с какими другими переживаниями испепеляющее сладострастие напряженной умственной работы. При всем этом Яхонтов далек был от аскетизма, напротив, он обладал легко воспламеняющейся чувственностью и не видел оснований противостоять ей; однако достаточно было ему даже где-нибудь на балу услышать грохот шахматных фигур, увидеть шахматный ящик в руках человека, которого он знал за сильного противника, чтобы все женщины, окружавшие его в этот миг, перестали существовать для него. Он был хорошим шахматистом и математиком. Сравнивая познания свои в области стратегии и тактики с познаниями работников ставки, он совершенно ясно видел свое превосходство, которое усугублялось еще и тем, что Яхонтов не забывал вносить все коррективы, которые выдвигались особенными условиями гражданской войны. Рядом с письменным столом капитана стоял другой, специально для большой карты фронта. Фронт белых отмечался у него двумя рядами белых флажков: один ряд обозначал действительное положение армий, другой—то, которое было бы, если бы главнокомандующим был он, Яхонтов. Несколько раз при встречах с Лебедевым он удивлял его, ради шутки, тем, что предсказывал смысл и результат операций противника на том или ином участке фронта и всегда оказывался прав. Так было, например, с операцией 5 армии красных на участке Звериноголовское—Курган: капитан предвидел тогда удар превосходных сил красных на стык между Степной и Уральской группой и указывал тогда, что с правого фланга—от Уфимской и Волжской группы—должны быть переброшены части на левый—в подкрепление Уральской группы, разгром которой являлся целью всей операции, предпринятой в то время 5 армией красных. Он считал также, что партизанская группа генерала Доможирова должна быть усилена и развернута во избежание обтекания левого фланга. Дальнейшие события показали, что Яхонтов был прав.

— Да откуда вы знаете, капитан?!.—спрашивал его наштаверх.

— У меня, ваше превосходительство, лучше работает... разведка,—посмеивался капитан.

За неделю до встречи в кафе Яхонтов считал еще, что дела на фронте можно было бы поправить, если бы, понятно, призван был он, Яхонтов. Однако, несмотря на свое особенное положение гвардейца, он никуда не лез со своими советами и указаниями. Здесь действовало его самолюбие, которое никогда и нигде не совместимо с честолюбием.

Солдаты не любили Яхонтова. Это раздражало его. Он обнаруживал вначале ясное тяготение к роли «отца-командира» и старался быть с солдатами справедливо-строгим и простым. И вот последнее-то никак не выходило у него. Без всяких хитроумных рассуждений солдаты чуяли в нем человека чужой крови и расценивали все его «справедливые строгости», как произвол барина. Мало-по-малу Яхонтов перестал домогаться роли «отца-командира» и сделался по отношению к солдатам холодно-жестоким и требовательным. Отношения определились.

Существовал, однако, во всем «егербате» один человек, к которому Яхонтов был привязан не меньше, чем к своей собаке. Это был его денщик.

Силантий, он же «Шептало», удовлетворял самым строгим требованиям, которые только могут быть пред'явлены денщику гвардейского офицера: это было бородатое преданное существо и вдобавок с приятным русским именем.

Силантия прозвали в баталионе «Шепталом» вовсе не потому, что он шептал или наушничал, а просто по наименованию одной маленькой, хотя и существенной, части нагана. Дело в том, что Силантий, скоро и хорошо постигший хитрое устройство револьвера, очень любил помогать в этом отношении своим менее способным товарищам. И вот, когда он об'яснял кому-нибудь из солдат батареи устройство нагана, ни одна из частей револьвера не вызывала его особенного внимания. Но лишь только произносил он: «а это, гляди, *шептало*»,—как сразу преображался: он напоминал тогда заядлого охотника, который увидел вдруг из камышей какую-то чудовищную и редчайшую птицу и страшно хочет показать ее своему неопытному спутнику, но в то же время боится и спугнуть ее.

— Вишь—шепчет, вишь—шепчет!..—говорил он шопотом, показывая на легкие движения шептала. Обыкновенно окружавшие их солдаты терпели только до этого места и дружно начинали хохотать. Силантий сердился. Вероятно, он считал, что он поступает, как хороший педагог, преподнося бездушную частичку бездушной машины, как нечто одушевленное. Он был уверен, что после его об'яснения никто не позабудет, что такое шептало и где оно находится. Пожалуй, он был прав.

Как-то в один из таких уроков Силантия в казарму вошел сам капитан Яхонтов. Силантий понравился ему своей бородой и внушительностью. Офицер спросил, как его имя, и когда услышал, то сейчас же, не задумываясь, взял его в денщики и никогда не раскаивался в этом.

— Мы с господином капитаном душа в душу живем,—хвастался иногда Силантий в баталионе.

— Халуем стал, Шептало! От'елся—ишь ряжка-то—в три дня... не об'едешь!—не то завидуя, не то возмущаясь, говорили солдаты.

Действительно, Силантию жилось хорошо. Только за последнее время, когда у капитана заболели глаза, и он сидел безвыходно в темной комнате, Силантий просто взвыл от безделья и скуки. Он уже перепробовал все: до последней ниточки перетряхнул и привел в порядок гардероб капитана, навел чистоту во всех комнатах и дошел, наконец, до того, что ежедневно до умопомрачительного блеска стал начищать капитановы сапоги, несмотря на то, что тот никуда и не думал выходить.

«Уединение и праздность губит молодых людей»—сказал филюсоф. Случилось то, что должно было случиться.

Однажды Яхонтов, лежа в своей темнице и рассеянно думая, услышал вдруг сдавленный женский смешок в кухне, где жил Силантий. Это удивило капитана. Он постучал в стену. Через минуту послышался робкий стук в дверь.

— Войди!—сказал Яхонтов, зажмурившись на то время, пока оставалась открытой дверь. Силантий вошел.

— Ну, я тебя звал,—сказал Яхонтов,—там у тебя—кто?

Силантий молчал.

— Чего ж ты в землю смотришь?!—сердито закричал капитан, никогда, кажется, в течение целого года не кричавший на своего любимца,—на меня смотри!..

— Винóват, господин капитан!—не своим голосом сказал денщик.—Лица вашего не вижу: темень...

— Темень!—передразнил его Яхонтов и невольно рассмеялся.—Ну, кто там у тебя? Живо!

— Девиса, господин капитан.

— Девица?!. Кто ж это позволил девиц сюда водить, а?!

— Виноват, господин капитан.

— Ты что ж—скрыть от меня хотел?!..

— Никак нет, господин капитан.

— Чего ж не говорил?

— Робел, господин капитан.

Яхонтов расхохотался:—«Шептало» и вдруг—роман. Это обещало многое. За время сидения в темноте капитану хорошо сделалось понятным, что ум человеческий, как работающие жернова, требует, чтобы постоянно сыпалось новое зерно, чтобы было что перемалывать. Он убедился, как незначителен без подсыпки тот запас идей и представлений, который кажется неисчерпаемым, когда рвешься к одиночеству и размышлению. Капитан скучал не меньше своего денщика. И вот как-раз кстати: пускай-ка теперь Шептало в наказание за своеволие поразвлекает его немножко.

— Ладно, старый греховодник,—сказал капитан, смягчаясь,—я тебе прощаю, только ты все мне должен рассказать: кто такая, откуда, как познакомились,—все! Слышишь? Пускай твоя «девиса» поскучает немножко...

— Так точно, господин капитан,—повеселев, сказал денщик.—Только девиса-то ушла, господин капитан: как вы постучали в стенку, она живехонько и свилась.

— Вон что. Ну, ладно,—тем лучше. Давай рассказывай.

— Слушаюсь, господин капитан. Только что тут рассказывать?! Дело просто оборудовалось: в кафезоне я к ей подшагнул.

— Где?—не понял сразу Яхонтов.

— В кафезоне, господин капитан,—помните вы там все кофей пили...

— А, в кафе «Зон»!—удивился и даже несколько обиделся капитан.—А ну, рассказывай дальше.

— Я, господин капитан, не от себя, понятно, туда зашел. Боже меня сохрани! А помните, как-то от поручика Суркова с запиской прибегали: екстренно ему вас видеть надо было. Найди,—говорят,—беспременно—ежели не дома, то в кафезоне, значит, кофей пьют. Я и потурил туда. А штоись двух часов не пробило. Ну, прибегаю, а там публики ишшо нет никого. Только горнишна одна, эта самая Анета, скатерки со стола собират, крошки стряхиват. Я—к ей: относительно вашей личности спрашиваю. Она интересуется: это, говорит, красивый такой, видать, что из благородных?

— Так точно, говорю, это господин капитан, они и есть.

— Нет, говорит, они сегодня не приходили, а так они у нас всегда бывают. А вы денщик ихний?—интересуется.—Денщик, говорю.—Очень, говорит приятно.—Шире—дале,—угошшать меня зачала: из рюмок изо всех, которы не допиты, разны-то разны вина насливала—целой стакан! Пирожно како-то мне скормила, поди штуки три-четыре—не мене. А там, конешно, далее: интересуюсь, говорит, у вас побывать... Ну, а после на улице как-то встретил: совсем возле нашей квартиры... Так што виноват, господин капитан.

— А много раз она у тебя была?—спросил Яхонтов.

— Да нонче в третий,—смущенно сознался Силантий.

— Ишь ты. Ну, что она—красивая хотя бы?

— Да как, ведь, господин капитан,—на чью потребность глядя... Так-то она ничего. Только черновата малость. Дак нам, ведь, господин капитан, деревеньшине, известно чо надо: побеле штобы да поядреньше...

Яхонтов рассмеялся.

— Да-а. А оказывается, ты у меня человек со вкусом: я, ведь, как-будто, припоминаю ее... в кафе «Зон»... Да, помню. Впрочем, вот как выйду на-днях из своей темницы, так нарочно схожу посмотреть... Ну, что ж! Помогай тебе бог! Только смотри!..

— Что вы, господин капитан! Промеж нас ничего такого не было. Она себя строго содярживат. Так—придет, покалякаем, поможет где немножко.

— Как поможет? Чего тебе помогать?—удивился капитан.

— А так помалюсти, господин капитан. Однова сижу я да путовки к френчу пришиваю, она и говорит:—давай, говорит, я пришью. И верно: оглянуться не успел—в кою пору!

— Так-так... Так ты что же, жениться на ней задумал?

— Што вы, господин капитан!—возмутился Силантий.—Разве от живой жены женятся?!. Мы ведь не у антихристов, поди! Это у их там хоть сто раз женись, а у нас ведь закон есть!.. Нет уж, так просто: согласно солдатского положенья...

— Ах ты, Фоблаз бородатый!—засмеялся Яхонтов.—Ну, ладно, иди. А девица твоя пускай ходит—ничего против не имею...

— На том благодарим, господин капитан...—щелкнув голенищами, денщик повернулся и вышел.

С этого разговора он вовсе перестал тосковать. Аннета прибегала чуть не каждый день. Силантий к ее приходу всегда тщательно готовился,—волосы напомаживал, а бороду расчесывал, так что в ней не оставалось ни одной крошки махорки.

Зная, когда она придет, он старался подстраивать так, чтобы она заставала его за каким-нибудь наиболее благородным занятием.

Однажды, когда Аннета пришла, он только что приготовился к разборке и чистке нагана. Утром капитан сказал ему, что сегодня он выйдет из своего заключения и пойдет в город. Поэтому на спинках двух стульев, стоявших рядом с Силантием, развешены были тщательно выглаженные и вычищенные брюки и френч капитана. На скамейке стояли сапоги, от которых так же, как от висевшей на гвоздике широкой английской портупеи с кобурою револьвера, шло сияние.

На столе, поверх клеенки, разостлано было полотенце и лежала маленькая белая тряпка. На салфетке—наган и отвертка. Под рукой у Силантия стояло блюдечко с бензином и пули в холщевом мешочке.

Казалось, все было готово, но Силантий не начинал работы, он прислушивался. Наконец, он услышал скрип снега: кто-то взбежал на крылечко и нетерпеливо топтался. Это была она. Он условился с Аннетой, что она никогда не будет звонить, чтобы не беспокоить капитана. Силантий быстро взял в левую руку наган, а правой выдвинул шомпол из оси барабана. Затем он, не торопясь, пошел открывать дверь.

— Ах ты, борода несчастная!—весело и сердито вскричала девушка, входя в кухню.—Ты что ж это не открывал?! А ну, помоги раздеться. Тоже кавалер называется!

Она была укутана в оренбургский платок поверх зеленой шубы. Силантий неуклюже заходил вокруг Аннеты, не зная, откуда начать развязывать платок.

— А ну, пустите—я сама.—Она быстро разделась и подошла к столу.

— Это что ты делаешь?—спросила она, указывая на револьвер?

— Что?—револьвер разбираю, почистить хочу.

— Разве его чистят, разбирают? А я думала, что он весь цельный!—удивилась Аннета.

— Цельный!.. Ох ты, девичий умок! Да хошь я тебе на пятьдесят частей его раскладу!

— И стрелять будет?

— И стрелять будет,—расхохотался Силантий,—ежели собрать, как полагается.

С этими словами он сел за стол и принялся за разборку, об'ясняя Аннете каждое свое действие.

— Ну, вот, видишь: шонпол вынул, теперь трубку шонпольную повернул, а теперь ось выну. Теперь чо нам мешат?—дверца,—давай ее—к спусковой скобе. А теперь нате вам—и барабан на ладошке!

Девушка, не отрываясь, смотрела, как он работал. Изредка Силантий брался за отвертку. Дело шло быстро. Когда он забывал назвать какую-нибудь вновь открывшуюся часть, девушка спрашивала:

— А это?

— А это—шпилька, в роде как у вас. А это—собачка... А это—ползун: вишь—ползает, а это уж—сосок спускового кручка называется, а это... шептало!—сказал он, понижая голос и вытаращив глаза,—вишь шепчет!.. Шептало!—повторил он со вкусом это слово, от которого, очевидно, от него веяло чем-то живым, человеческим в этой машине.

Перетерев все части нагана тряпкой, он приступил к сборке. Аннета несколько раз пробовала помочь, он охотно давал ей наган и потом хохотал во все горло.

— Эх, вы... волос долог! не при вас, видно, сделано!..

— Дай хоть барабан вложу,—рассердилась Аннета.

— На!—сказал он покорно.

Аннета долго пыхтела над барабаном и, наконец, бросила револьвер на стол.

Силантий беззвучно смеялся.

— Эх, ты!—сказал он, вытирая выступившие от смеха слезы,—да я ведь дверцу-то закрыл. Ну-ка, давай сюда,—он взял у девушки револьвер и, быстро закончив сборку, несколько раз нажал на хвост «спускового крючка», пробуя револьвер.

— Хорош! Ну, теперь—воробушки по гнездам,—сказал он, беря со стола пулю.

— Дай хоть я пульки вложу!—взмолилась Аннета.

— Вклади!—сказал Силантий, довольный, что она утешится хоть этим, и отошел к умывальнику.

— Ну, что?—сказал он, подходя с полотенцем к столу.

— Готово!—весело тряхнув головой, ответила Аннета.

— Ну, вот... капитану скажу, и тебе благодарность будет. Ну, пойти сказать ему: четыре часа уж скоро. Он там в потемках-то ни дня, ни ночи не знат.

Аннета ушла.

Пока капитан обедал и собирался, прошло еще часа два. Он вышел в прихожую, Силантий бросился было за спичками.

— Не надо,—остановил его капитан.

Денщик подал ему шубу, оправил портупею.

— Ну, благословляй, Силантий,—сказал Яхонтов,—первый выход.

— Счастливого пути, господин капитан,—ответил денщик, закрывая за ним дверь.

У Яхонтова закружилась голова, когда он глубоко вдохнул морозный воздух. Он постоял немного на крылечке, затем натянул перчатки и сошел на тротуар.

Осторожно падали редкие снежинки.

— Однако,—подумал капитан,—шесть часов, а как светло!—и вдруг радостно рассмеялся.

— Чертовщина все-таки!—сказал он и зашагал в сторону рощи. Яхонтов жил возле Казачьего базара.

Ему было очень приятно дышать свежим воздухом, и он шел медленно, как-то особенно отчетливо чувствуя стройность и крепость своего тела. Это чувство, впрочем, всегда сопровождало его, когда он был в своей английской шубе и в английской с широким ремнем, а не русской портупее.

Он прошел квартала два, все время с удовольствием убеждаясь, что он не зря потерял этот месяц.

Пересекая Варламовскую, он услышал, как рвется сзади и взвизгивает снег под легкими каблучками быстро идущей женщины. Она прошла мимо него, обдав запахом хороших духов, таким неожиданным и отрадным на морозе, и прошла прямо. И Яхонтова вдруг потянуло туда—на Атамановскую, в рестораны, в общество женщин.

Он остановился, обдумывая, уже не пойти ли в самом деле туда, и в то же время, не сознавая этого ясно, глядел вслед удалявшейся фигуре и думал о том, какая, должно быть, это изящная и стройная женщина. Шуба плотно охватывала ее высокие бедра и, подобно платью, не скрывала очертаний.

Яхонтов быстро перешел улицу и стал догонять незнакомку, стараясь, однако, все время сохранять некоторое расстояние. Она, повидимому, скоро поняла, что ее преследуют, потому что оглянулась несколько раз, но ничуть не ускорила шагов. Яхонтову это показалось довольно хорошим признаком, и он боялся теперь только одного, что незнакомка живет где-нибудь близко и скоро исчезнет. Он прибавил немного шагу, и вдруг в это время его, привыкшие к темноте, глаза различили впереди, дома за три от незнакомки, две подозрительных фигуры, спрятавшиеся в тени ворот и явно подкарауливавшие кого-то. Яхонтов почувствовал, как все в нем подтянулось, и вместе с тем ощутил радость: «Судьба! Эти двое не пропустят ее так, пристанут, и тогда—какая прекрасная роль для знакомства: спаситель!». Он расстегнул кобуру и быстрыми шагами почти догнал незнакомку...

— Стой! Руки вверх—сопротивленье бесполезно!—услышал он отчаянный и чрезмерно громкий голос, в котором ясно чувствовалось, что сопротивления его боятся.

На него направлено было два дула.

Яхонтов отпрянул и выхватил наган. Они подбегали к нему. Капитан спокойно прицелился в ближайшего. Дважды чакнул курок. Капитан бросил револьвер и кинулся за угол.

Два выстрела. Он упал. В последний миг он увидел над собой склоненное, такое знакомое-знакомое лицо женщины... Двое подошли к телу:

— Ну, что?—спросил высокий, сгорбленный, в борчатке и ушастой шапке.

— С ним,—сказала женщина, разгибаясь и протягивая ему тетрадь.

— Ну...—сказал он, пряча тетрадку в карман и торопливо протягивая женщине руку.—Вы тово... бегите...

Товарищ ждал его по средине улицы.

Они бегом пересекли ее наискось к углу квартала, завернули и, пройдя шагом еще полквартала, подошли к низенькой двери, над которой нависала, как козырек, огромная вывеска.

— Кто?—послышался голос из-за двери, и чья-то рука легла с той стороны на крючок.

— Шевро,—тихо сказал высокий.

— Я закупил партию,—ответили из-за двери, и она раскрылась. Они вошли. Запахом свежего хлеба был насыщен воздух помещения, и могучая теплота исходила от огромной печи, занимавшей половину комнаты. За печью виднелся свет. Все трое прошли туда. Это было узкое и длинное подобие комнаты без окон. Стояла деревянная кровать с брошенным на нее полушубком,

стол и несколько табуреток. Тускло горела керосиновая лампа. Огромные тени причудливо искажались, надломленные сводчатым потолком.

— Ну,—спросил открывший им дверь полный лысый человек в толстовке.

— Сопротивлялся...—сказал человек в борчатке.

Все трое замолчали.

— *Это*—с вами?—спросил хозяин.

— Вот.—Человек в борчатке положил на стол смятую, затасканную тетрадку.

— Возьмите табуретки,—сказал в толстовке, сел и, раскрывши тетрадь, слегка вывернул фитиль лампы. Трое склонились над столом.

— Что ж это?—с тревогой сказал в толстовке, перелистав тетрадь,—это совсем не то: здесь о глазах что-то! Чертежи... рисунки...

Его товарищи еще больше нагнулись к тетрадке, чуть не стукнувшись головами.

— А ну...—сказал третий, самый маленький из них, и голос его перехватило от волненья, так что он не мог продолжать.

— Читать?—робко взглянув на человека в толстовке, сказал он.

— А ну его. Куда к чорту!—ответил человек в толстовке, свертывая в трубочку тетрадь и выпуская веером из-под большого пальца ее страницы.—Надо по-нашему: выводы! должны же здесь быть выводы! А ну, Александр, смотрите в конец.

Человек в борчатке взял рукопись из рук товарища и начал просматривать.

— Вот, наверное,—сказал он: «итак»...

— А,—«и т а к»—правильно! Раз «и т а к», значит то, что нам нужно,—рассмеялся он.—А ну, читайте, товарищ, вот как-раз с этого «и т а к».

Он еще больше вывернул фитиль.

Человек в борчатке стал читать:

«...Итак, коснувшись физиологии органов чувств, мы установили аналогию между звуком и светом. Воспользуемся этой аналогией для наших рассуждений. Звук есть осознаваемое нами раздражение концевых аппаратов слухового нерва. Причиной этого раздражения мы считаем колебания, возникающие в звучащем теле. Когда число колебаний в секунду становится очень велико, ухо перестает воспринимать их, так же, как и колебания, чересчур медленные. Низшая граница—20 колебаний в секунду, высшая—около 40 тысяч. Колебания менее быстрые, чем 20 в секунду, и более быстрые, чем 40 тысяч, *перестают быть звуком* для нашего уха. Но это установлено *приблизительно*. Различных степеней тонкости слуха бесчисленное множество. Это хорошо известно каждому. Известно, например, что люди вообще-то с хорошим слухом не могут услышать сверчка или мышиного писка (Это звуки—частых колебаний). Несомненно, существуют люди, которые улавливают звуковые колебания ниже 20 в секунду и выше 40 тысяч. Вряд ли можно сомневаться и в том, что путем соответствующих условий и «упражнения» можно для очень многих из нас добиться тех же результатов. Во всяком случае, этот факт отмечен в житейском обиходе: «Вы знаете, моя девочка уж второй год занимается музыкой и, представьте, у нее очень развился слух!». Трудно сказать, от чего этот несомненный факт больше зависит: оттого ли, что создается привычная концентрация внимания на звуковых ощущениях, т.-е. получается, так сказать, *избирательное* внимание или же от каких-то (может быть, молекулярных) изменений в самом воспринимающем аппарате. Для того, чтобы расширить границы колебаний, воспринимаемых, как звук, т.-е. попросту говоря, для того, чтобы утончить свой слух, очень важно устранить все слишком

сильные влияния на органы слуха. А жизнь, особенно жизнь большого города с его грохотом, полна этими влияниями. Слуховой нерв ежеминутно грубо травматизируется, в этом большая беда.

Человек, простоявший несколько часов на колокольне в пасхальную ночь, долгое время после этого не годится в качестве слушателя и ценителя скрипки. Один офицер, переживший осаду Осовца немцами, рассказывал, что когда, наконец, он покинул железобетонный каземат, непрерывно гудевший и содрогавшийся от канонады, то долго после этого его забавляло то обстоятельство, что шагах в десяти от гармониста он не слышал звуков гармошки, и ему казалось, что солдат делает только вид, что играет... Мы все знаем, какое значение имеет для четкости нашего восприятия *фон*. На «фоне» тишины до нас доходят такие звуки, которые мы не улавливаем в шумной обстановке.

Я нарочно, пожалуй, даже из педагогических соображений, остановился так много на звуке, потому что заметил, что люди, незнакомые с учением о свете и звуке, а также с физиологией органов чувств, легче усваивают все вышеприведенные рассуждения применительно к звукам.

Теперь мне легко будет перебросить короткий мост к рассуждениям о свете.

Я уже сказал, что здесь открывается огромное принципиальное сходство между звуком и светом. Каждый из семи цветов спектра обусловлен соответствующим количеством «световых» колебаний. Со стороны суб'ективной здесь дело обстоит аналогично звуку: светоощущение и цветоощущение мы приписываем раздражению элементов сетчатки «световыми» колебаниями. Красный цвет (крайний, с наименьшим числом колебаний) мы воспринимаем при четырехстах биллионов колебаний в секунду. Крайний фиолетовый, еще видимый цвет, соответствует семистам биллионов... Но, кроме видимых лучей, существуют еще невидимые. За красными лучами в сторону уменьшения колебаний идут инфра-красные, затем электрические. За фиолетовыми—ультра-фиолетовые и рентгеновские лучи. Здесь интересно отметить, что существуют насекомые, видящие ультра-фиолетовые лучи.

Конечно, невидимые лучи не имеют сейчас для нас практического значения. Но все это важно, чтобы подчеркнуть относительность наших суждений о свете и о цветах. Нам важно то, что в пределах *видимых* лучей существует бесконечная разница в степени восприятия их различными людьми. Между четырьмя стами и семью стами биллионов колебаний! Несомненным является то, что наши суждения о темноте, об освещении, об интенсивности света весьма относительны и суб'ективны.

Вообще-то говоря, очень мало случаев, когда мы можем сказать, что находимся в абсолютной темноте. Конечно, при полном отсутствии света видеть нельзя. Но этого-то полного отсутствия света практически никогда не бывает. То, что для нас—полная тьма, вовсе—не тьма для ночных птиц и кошек. И они видят хорошо в нашей «абсолютной» темноте. О человеке же известно, что, побыв некоторое время в темноте, которая сначала кажется ему абсолютной, он через некоторое время начинает различать предметы: «глаз, говорят, привык к темноте». Сетчатка стала чувствительна к более редким колебаниям.

Здесь полное царство относительности. После освещенной комнаты нам кажется темно, когда мы выйдем ночью на улицу (похоже на то, как после канонады прапорщик перестал слышать гармошку). После сильного раздражителя слабый не ощущается. Наш орган зрения в условиях современной жизни так же, как и слух, подвергается безжалостным травмам сильнейшими раздражителями. Вспомните ярко освещенные электричеством наши помещения, кинематографы и вообще всю жизнь культурного человека! А в то же

время интересно, что сибирские бывалые ямщики даже в очень темную зимнюю ночь могут разглядеть следы санных полозьев! Этот факт говорит, во-первых, что даже в самую темную ночь, даже сквозь слой туч, звездное небо дает свет, достигающий земли, во-вторых, что восприимчивость глаза чрезвычайно велика и, в третьих, что ее можно увеличить соответствующими условиями жизни и... «упражнением».

Вот тот ход мыслей, который я преподношу в сжатой и простой форме, и который привел меня к выводу, имеющему совершенно исключительное значение для спасения нашего фронта.

Ясно, что тетрадь эта будет читаться человеком, превосходно знакомым с военным делом, поэтому мне не приходится доказывать, что ночное время, как правило, не является подходящим для широких боевых операций. Это правило подтверждается даже исключениями из него. Ночной удар наносят иногда противнику именно в расчете на ошеломление, зная, что противник ночью считает себя гарантированным от крупного натиска. Здесь, этой неожиданностью ночного удара, наносят противнику психический шок.

Теперь представьте себе, что на фронте появились целые дивизии бойцов, которые ночью видят так же, как днем, т.-е. вернее будет сказать—видят ночью так, как другие видят днем, потому что эти ночные дивизии будут почти слепыми во время дня. Дневной рассеянный свет будет ослеплять их так же, как солнце ослепляет нас, когда мы посмотрим на него.

Итак, «ночные дивизии», обладающие зрением ночных птиц и кошек, находятся на фронте. Представьте, какие данные доставит штабу ночная разведка таких молодцов. Но этого мало—вот утомленный дневными боями противник расположился на отдых и вдруг... планомерно и с полной ориентировкой наша армия обрушивается всей своей массой на противника в одну из темнейших ночей, когда, как говорится, хоть глаз выколи!

Разгром! Паника! Психический шок!

Бегущий противник рассчитывает, по крайней мере, что ночь спасет его от преследования,—напрасно!... Ночные бойцы работают не вслепую!.. Разгром довершен.

Что же нужно сделать для создания этих ночных дивизий? Не выдумка ли все это?—Нет!—отвечаю я.

Пусть уберут все сильные световые раздражители, которые травматизируют светоощущающий орган так же, как артиллерийская стрельба травматизирует слух. Создай, говоря фигурально, «тихий фон». Посади человека на длительный срок в темное помещение, и тогда весь об'ем восприятия «световых» колебаний передвинется в сторону более медленных. Но об'ем-то останется. Только то, что было тьмой, будет светом. И когда такой человек выйдет из своего абсолютно темного помещения, то ночь, как бы она ни была темна для других, для него будет почти днем.

Разве нельзя построить такие казармы, где бы солдаты содержались в полной тьме?..

Меня удивляет, как это догадываются создать особые лыжные команды и т. п. и никто из руководителей армий не додумался до создания дивизии ночных бойцов...

Ведь я же не только на основании теоретических соображений говорю это, я сам испытал то, о чем говорю. Больше месяца я не выходил из темной комнаты, а когда вышел из нее ночью в лес, то мне стало жаль тех естественников, которые не пользуются этим средством, чтобы полностью изучить ночную жизнь животного мира.

Ночная природа безбоязненно открывала мне свои тайны...

Практическое указание: воспитывая войска в темноте, можно для проверки результатов употреблять следующий простой способ: надо каждый день разбрасывать в казарме мелкие предметы, например, иголки, и требовать от солдат, чтобы иголки все были собраны.

Курение, как вообще зажигание какого бы то ни было огня в казарме, нужно строго воспретить»...

— Все,—сказал читавший, закрывая тетрадь.

Все молчали.

— Да-а...—сказал человек в толстовке, невидящим взором глядя в пространство.

— Да-а...—сказал человек в борчатке.

— Чорт возьми!—вскакивая со стула и стукнув кулаком по столу, сказал третий,—если бы этот человек явился *туда, к нам, в нашу армию!!!*

(Конец первой части).

Глухомань

Повесть.

Ник. Анов.

I.

Техники Замойский и Андрющенко приехали в Красноярку как-раз в день «покрова». Путь их был дальше и стороной, но в Красноярке учительствовала старая знакомая Замойского—Наталья Васильевна Добрышева, и техник Замойский соблазнил товарища завернуть в Красноярку на сутки.

— Во, баба,—говорил он, выставляя большой палец.—Когда-то любовь крутили... Надо посмотреть...

Красноярка лежала в лощине и имела три больших улицы. Недавно шли дожди, а под «покров» ударил легкий мороз, и телега гулко подпрыгивала по неровной от замерзшей грязи дороге. Навстречу подводе выскакивали собаки, высовывая длинные розовые языки и долго бежали около колес. В окнах то и дело мелькали любопытные лица.

— К учительнице как проехать?—стараясь перекричать собачий лай и грохот телеги, спрашивал Замойский встречных прохожих.

— Дальше, за школой дом.

Подводчик, заламывая шапку и подстегивая лошадей, сказал:

— Знаю... Вон, видать... Недалеко!

Подвода подкатила к высокому резному крыльцу.

— Здесь учительница живет?

— Здесь,—ответила молодая, одетая по-городскому, пышноволосая девушка, выглядывая из открытого окна,—только ее дома сейчас нет...

— Вот так фунт,—разочарованно протянул Замойский.

— Да она придет скоро,—крикнула девушка и закрыла окошко.

Через минуту она показалась на крыльце.

— Вы откуда? Из уОНО, верно?

— Нет... Мы просто старые знакомые Натальи Васильевны... Ехали мимо, вот и решили заехать.

— А откуда едете?

— Из Ленинграда...

— Ну, так снимайте вещи... Заходите. Я—сестра Натальи Васильевны.

Андрющенко стал отвязывать пыльные чемоданы, а Замойский расплачивался с подводчиком.

— Вот сюда несите... Проходите... Я сейчас за Наташей пошлю, она недалеко отсюда...

Техники вошли в чистенькую комнату учительницы и стали раздеваться.

— Пыли на нас уйма!..

— Я сейчас дам умыться...

— Вот это хорошо!

Андрющенко распаковал чемодан, вынул чистое полотенце и мыло в никелированной коробочке. Девушка принесла из арыка полное ведро воды и громадный ржавый ковш. Техники ушли мыться во двор.

Пока они мылись, кругом собралась кучка любопытных и пришла Наталья Васильевна. От быстрой ходьбы она тяжело дышала, и щеки ее горели ярким румянцем.

— А я думала, кто приехал!—сказала она и глаза ее весело улыбнулись.

Замойский вытер покрасневшее от студеной воды лицо мохнатым полотенцем и подошел здороваться. Он поцеловал руку учительницы, кто-то в толпе фыркнул, учительница смутилась, а Замойский представил товарища:

— Мой спутник и товарищ—Андрющенко... Едем из Ленинграда на постройку гидростанции... А к вам завернули попути, сделав ровно шестьдесят четыре версты крюку.

— Ну, идемте в избу,—предложила Наталья Васильевна.—Есть, поди, с дороги хотите?.. Вера, поставь самоварчик,—сказала она сестре и спохватилась:

— Это моя сестра—Верочка...

— Я уж представилась сама,—засмеялась девушка, а Замойский не удержался и шепнул учительнице:

— А ведь она у вас—красавица...

Наталья Васильевна, шутя, погрозила пальцем и повела приезжих в комнату.

— Ну, рассказывайте новости... Чем ленинградцы сейчас дышат... Четыре года не была, интересно послушать—здесь мы, как медведи, живем в берлоге...

Замойский принялся рассказывать о новых театральных постановках, а Андрющенко насупился в углу и через огромные черепаховые очки принялся разглядывать убогую обстановку.

Вера Васильевна внесла ярко начищенный кипящий самовар и стала накрывать на стол. Локти у ней были круглые, с ямочками, держалась она просто и своей стройностью напоминала молодой тополек. Техник Замойский вспомнил: вот точно такой он знал пять лет назад Наталью Васильевну; тогда у ней тоже было свежее лицо, и на локтях шевелились ямочки, а у глаз не было подозрительной сеточки морщин. За Натальей Васильевной он когда-то ухаживал, дело доходило до горячих, туманящих голову поцелуев, но этим вся любовь и закончилась. Наталья Васильевна уехала, пропадала где-то на Дальнем Востоке и через три года неожиданно об'явилась между Сибирью и Семиречьем.

Замойский внимательно оглядел двух сестер и решил:

— Верочка интереснее...

Наталья Васильевна поймала этот взгляд и женским чутьем правильно разгадала его. По ее лицу пробежала легкая тень, но она весело рассмеялась и сказала Замойскому:

— А помните, Борис Николаевич, как мы с вами катались на взморье на лодке?.. Смешной вы тогда были!..

Замойский вспомнил. Это было как-раз тогда, когда он в первый раз поцеловал Наталью Васильевну.

— Ну, еще бы! Помню...

После обеда техники легли спать на полу, а сестры Добрышевы ушли из дому. Вера Васильевна пошла к поповской дочке, приятельнице, в гости; Наталья Васильевна отправилась помогать комсомольцам закончить выставку по случаю праздника урожая.

II.

Техники после утомительной дороги спали крепко, и если бы Наталья Васильевна, вернувшись домой, не разбудила их, они проспали бы до утра.

Уже смеркалось, и учительница зажгла семилинейную лампу. Гости пошли снова мыться на двор, и Наталья Васильевна слышала, как ругался Андрющенко, которому Замойский, озорничая, налил воды за ворот.

Скоро подошла Вера Васильевна и привела с собой дочку попа, коренастую, низенького роста девушку, с большой, туго заплетенной косой. Поповну звали Настенькой; у нее были серые лучистые глаза, она смущалась техников и старалась спрятать свои большие мозолистые руки:—поп был вдовец, и дочка вела у него все хозяйство.

— Надо будет Сеню позвать,—сказала Наталья Васильевна,— а то у нас три дамы и два кавалера... Неудобно.

Настенька вспыхнула и запротестовала:

— Почему обязательно его? Мне он вовсе не нужен...

Но Вера Васильевна захлопала в ладоши и громко закричала:

— Нет, нет, обязательно Сеню!—и, накинув платок, убежала на улицу.

Она скоро вернулась и весело сообщила:

— Сейчас придет, сапоги чистит гуталином...

Настенька еще больше покраснела, а Наталья Васильевна, отведя Замойского в сторону, тихо спросила:

— Вы водку пьете? Можно будет самогону достать...

— У нас есть вино, но самогону обязательно,—загорелся Замойский,— какая же вечеринка без самогону? В деревне надо по-деревенскому...

Вера Васильевна снова накинула платок и исчезла из дому. Вернулась она назад с Сеней.

— Вот, самолично веду...

Сеня был стройный, чернобровый парень с пушком на верхней губе и веселыми цыганскими глазами. Он был во френче, и фасонистые сапоги его действительно были начищены гуталином. От них даже шел острый запах скипидара.

— Здравствуйте,—сказал он и всем по очереди подал руку.

Вера Васильевна внесла запотевшую от холода четверть с самогоном.

— Куда столько!—испугалась Наталья Васильевна.

— Да это Сеня отличился, я говорила—двух бутылок хватит.

— На такую-то компанию?—сказал, притворяясь изумленным, Сеня:— что вы нас срамите, Наталья Васильевна, грех вам будет!

Он сел рядом с Настенькой, и техники догадались, что это были—жених и невеста.

— Ну, вы как хотите, а я буду пельмени варить,—заявила Вера Васильевна. У нас уж все наготовлено, только в кипяток опустить. Рассаживайтесь, товарищи, поудобнее...

Андрющенко достал бутылку коньяку и мадеры. Сеня внимательно посмотрел и сказал делювито:

— Не балуется деревня этим добром. У нас и сорокаградусная не привилась... Дорого, в кооперативе торгуют рубль сорок, а самогон—первач пол-

тинник обходится... Расчету нет... Пора начальству обратить серьезное внимание, иначе с нашей деревни казне доходу не будет.

Он раскрыл четверть и начал разливать самогон по кассешкам.

— Мне много не наливайте,—запротестовала Настенька.

— Позвольте поухаживать пополней!

— Разрешите тогда мадеры налить?—предложил Замойский.

Вера Васильевна принесла миску с горячими пельменями.

— Скорей, товарищи, скорей... Пока не остыли... Горяченькие!

Она снова убежала на кухню, а Наталья Васильевна подняла кассешку и сказала:

— Ну, за неожиданную встречу!

Все чокнулись и выпили. Настенька, когда чокалась с Сеней, старалась пристукнуть своей кассешкой сверху Сениной. Это считалось приметой, что верх будет жены, а не мужа.

— Смотрите, Сеня, будет вас жена держать в ежевых рукавицах,—пошутила Наталья Васильевна, а Сеня весело ответил:

— Ничего, сладимся как-нибудь...

Вера Васильевна принесла новую миску пельменей и сама присела к столу.

Снова Сеня налил, и снова все выпили. Замойский сидел с Натальей Васильевной рядом, но когда пришла Вера Васильевна, он пересел к младшей сестре. И снова легкая тень пробежала по лицу учительницы, но, усмехнувшись, она сказала:

— Товарищ Андрющенко, придется, видно, вам за мной ухаживать... Борис Николаевич по старой дружбе мне изменил...

Все засмеялись, выпили, и Замойский почувствовал какое-то облегчение. Старые отношения, которые к чему-то обязывали, рвались сами собой.

А Вера Васильевна была хорошенькой девушкой, она заразительно смеялась, играла красивыми большими карими глазами (Замойский подумал: где это успела научиться?),—у ней были чудесные ямочки на щеках, а высокая девичья грудь упруго выпирала из-под узкого лифчика.

Замойский, у которого голова начинала кружиться от хмеля, положил ей руку на колено. Девушка вздрогнула от неожиданности и сказала:

— А Сеня, оказывается, прав... По крепости самогон не уступает сорокаградусной... Вы не находите, Борис Николаевич? На вас он, как-будто бы, действует?..

Замойский быстро убрал руку, а Вера Васильевна кокетливо прищурила глаза. Сеня под гармонику пел игривые частушки:

Что ж ты, милый, не пришел—
Я тебе велела,
До шести часов утра
Лампочка горела.

До шести часов ждала,
Лампочка погасла...
Что ж ты, милый, не пришел,
Я была согласна.

Наталья Васильевна плясала русскую, Сеня целовал подвыпившую Настеньку, а Замойский вывел Веру Васильевну в коридор и на улицу. Пьяные руки его щупали упругую высокую грудь; девушка не сопротивлялась и беззвучно хохотала. Тогда Замойский грубо перекинул ее через талию и повалил на завалинку. Вера Васильевна вывернулась змеей и рассердилась:

— А если я вам по физиономии?

— Ну, что ж, пожалуйста...

Но Вера Васильевна не ударила, а сказала:

— Идемте в комнату. Неудобно...

Замойский поцеловал ее крепким, долгим поцелуем, и они побежали в избу. Теперь танцовал Андрющенко с Настенькой, а Сеня играл на гармонике и по-разбойничьи присвистывал... Наталья Васильевна убирала грязные тарелки и готовила чай.

Вера Васильевна принялась помогать сестре. Щеки у нее горели, волосы были растрепаны, глаза возбуждены. Она уже успела влюбиться в красивого техника и искоса поглядывала на него.

Сеня снова принялся за частушки. Голос у него был молодой и веселый, и частушки выходили особенно задорными.

Меня маменька рожала,
Вся деревня задрожала,
Батька ходит и орет—
Какого чорта бог дает.

Моя милка маленька,
Чуть повыше валенка.
В лапотки обуется,
Как пузырь, надуется.

Сеня оборвал частушки, положил гармонику на кровать. Веселье улеглось.

— А вы знаете, Борис Николаевич, чем наша Красноярка примечательна?—спросила учительница, перетирая стаканы.

— Вероятно, Верой Васильевной, не иначе,—ответил техник, и пожал под столом ногу младшей сестры.

— Нет, у нас здесь в ссылке профессор Прокудин живет. Он крупный ученый, я его фамилию в энциклопедическом словаре нашла —математик...

— За что же его турнули из Москвы?

— Тихоновец...

— На старости лет с ума спятил,—весело сказал Сеня,—такой чудило-мученик... Весь угол образами завесил, неугасимую лампаду жгет... Я так думаю, что это он в виде протеста против пролетарской власти.

Наталья Васильевна разливала чай. Под окном прошли пьяные, они горланили похабные песни и матерно ругались.

— Темный у нас народ,—заметил Сеня,—ведь, комсомольцы ходят...

Настенька выглянула в окошко:

— Ничего подобного, это бандиты...

— Какие бандиты?—изумился Андрющенко и даже поправил на носу громадные черепаховые очки.

— Самые обыкновенные, на прошлой неделе с города привезли. Досрочно освободили их, потому что...

Она не успела договорить и отскочила от окна. Раздался сухой треск разбитого стекла, и в комнату влетел булыжник.

— Вот, ловко,—не удержался Сеня:—лезь, Настька, под стол! Погибнешь во цвете лет!

Наталья Васильевна побледнела, сестра ее заметалась по комнате.

— Позвольте, что же это такое?—испуганно произнес Замойский,—у нас, кстати, и оружия нет.

— Дзинь,—звякнуло второе разбитое стекло.

Сеня нахлобучил картуз и деловито сказал техникам:

— Айдате на улицу... У вас шапки форменные, струсят. Подумают, городские коммунисты на смычку приехали.

— Я сейчас к председателю сельсовета!—заорал Замойский.—Что же это в самом деле такое!.. Чего председатель смотрит. Ячейка, наконец...

— Ячейка день урожая проводит,—раз'яснял Сеня.—А председатель с ними связываться не станет... Еще избу спалят. Он у нас спокойный человек...

Они выбежали на улицу. Сенины расчеты оказались правильными. Увидев форменные фуражки техников, пьяные разбежались.

— Эх, револьвера нет,—искренне пожалел Андрющенко.

Мужчины вернулись назад в избу. Учительница подбирала осколки разбитых стекол. Плечи у нее дрожали, и Замойский почувствовал, что она сейчас расплачется. Вера Васильевна утешала сестру:

— Завтра пойдем в совет и поставим ребром вопрос... Пригрози уехать, наконец...

— И часто это творится?—поинтересовался Андрющенко.

— Да первый раз... Как не было этих бандитов, все было хорошо...

Вечеринка оказалась сорванной. Сеня пошел проводить Настеньку домой, а техники улеглись спать на полу. Сестры Добрышевы отправились ночевать к соседям. Рано утром техники покинули Красноярку.

III.

Секретарь уездной газеты «Красное Пламя» товарищ Зенков просматривал только что принесенную почту. Селькоровские письма он отмечал на учетных карточках, а если попадался новый корреспондент, то секретарь записывал его фамилию и адрес на узеньком листочке бумаги. После по этому списку он рассылал анкеты новым селькорам, а когда заполненные бланки приходили назад в редакцию—секретарь составлял учетные карточки.

Эта работа была кропотливой, но поручить ее было некому—редакция состояла только из двух человек: товарища Зенкова и ответственного редактора товарища Гельфенда.

Бегло прочитывая корреспонденции с мест, т. Зенков откладывал их под тяжелый четырехугольный камень. Этот камень был нежно-розового цвета и походил на кусок мрамора. Принес его в редакцию один из селькоров и уверял, что внутри находится золото. У селькора были необыкновенно блестящие глаза, весь он был какой-то странный и перед уходом сообщил т. Зенкову, что розовый камень упал с неба, и он сам видел его падение. Оказалось, селькор был не в себе и заговаривался. Тогда тов. Зенков отыскал его учетную карточку и, разорвавши пополам, выбросил в корзину, а камень оставил на столе в качестве пресса, прикрывать рукописи.

Пачка просмотренных писем под камнем росла. Тов. Зенков откусил нитку, которой был зашит большой конверт из оберточной бумаги, и развернул письмо. Взглянув на подпись, он прочел незнакомую фамилию:

— Чикунов Семен Никифорович...

Тов. Зенков начал быстро читать корреспонденцию, но чем дальше он читал, тем внимательнее останавливались его глаза на неровных строчках.

— Вот так штука!—сказал тов. Зенков, закончив чтение письма, и, сорвавшись со стула, побежал в редакторский кабинет.

Тов. Гельфенд ел чайную колбасу с французской булкой и просматривал газеты.

— Ешь,—кивнул он головой на колбасу.

— Не хочу. Любопытное письмо сейчас раскупорил... Прочти-ка...

Тов. Гельфенд бросил газету и стал читать письмо нового селькора из деревни Красноярки, Семена Никифоровича Чикунова.

Истинное происшествие в селении Красноярка.
Товарищ Редактор!

Я, как селькор, который пишет в стенгазете, прошу вас напечатать нижеследующее истинное происшествие, которое произошло у нас в Красноярке и вызвало возмущение среди всего трудового населения и даже среди кандида-

тов партии и комсомола, потому что настоящих членов у нас нет и никогда не было, по причине глухости всего Семиреченского края.

Дело началось с Покрова, потому что в этот день все трудовое население села справляло высокоторжественный революционный праздник урожая, и на собрании говорились митинговые речи для пользы советской власти. Однако, что же мы видим? Сестры Добрышевы, проживающие в нашем селе, одна в качестве учительницы и младшая на побывке, в гостях у нее, устроили пьянку с проезжими техниками, которые выполняли завет Ильича и ехали на постройку гидрической электростанции. Вместо того, чтобы принять участие в торжестве со всеми трудящимися по случаю дня покрова и урожая, они пригласили поповскую дочку Наську с ейным женихом Семеном Бывальцовым, который тоже является сыном зажиточного кулака. Что же мы видим? Семен Бывальцев покупает за два с полтиной самогону первачу четверть, и начинается попойка, пляс, блуд и прочее безобразие вплоть до выбития двух стекол. Которые трудящиеся, проходя мимо дома, даже видели, как техник повалил на заваленку младшую сестренку Верку, и они тут же поженились без всякого Загсу и легистрации. На другой день сестры Добрышевы приходют в совет и начинают угрожать председателю самосудом по случаю выбитых стекол, нахально обвиняя во всем пьяных хулиганов, которые действительно звезданули в окна булыжником. Когда председатель сказал, что это дело его не касается, Вера Добрышева стала грозить ячейкой, потому как председатель беспартийный середняк. Но председатель не испугался ячейки и настоял на своем: раз сами пили, я ваших делов разбирать не обязан.

Я, как селькор, тотчас же собрал сведения о попойке у сестер Добрышевых и настрочил статейку во второй номер нашей стенгазеты «Луч Коммуниста». В этой статейке я, как селькор, обрисовал истинное положение происшедшего и озаглавил все написанное мною: «Дело корридора—и заваленки». Конечно, как я обязан писать всю правду, я все и выложил на чистоту относительно младшей сестры Добрышевой и подписался своим селькоровским именем Жгуч. Стенгазета висела в сельсовете и трудящиеся читали и много смеялись над статейкой, а больше над Верой Добрышевой, потому что про учительницу я ничего не написал из политических моментов.

Но вот прошлое воскресенье у нас в школе было назначено собрание ОДН и пришло много трудящихся, я на этом собрании тоже был и принимал участие в горячих прениях. Когда же собрание наконец кончилось и люди довольные стали расходиться, мы в дверях столкнулись с Верой Добрышевой. Глаза у ей сверкали, как уголья, от ненависти, и я подумал, что надо утекать. Но Вера Добрышева схватила меня за рукав и говорит:

— Постойте, мне надо с вами об'ясниться на чистоту...

Тут собралась толпа и окружили нас. Я говорю: пожалуйста, сколько даже вам будет угодно, и спрашиваю: чем интересуетесь? Она мне и говорит в полной запальчивости:

— Скажите, не вы ли будете этот Жгуч, который способен про девушек в стенгазете всякие гадости писать?

Не успел я отказаться, как девки тут крикнули: он самый! Тогда Вера Добрышева как взмахнет кулаком, да мне в морду промежду глаз! Но я не струсил и не стал ожидать вторично, а выскочил и давай крыть по задам огородами домой. После этого случая мне нет проходу, а кто-то из кулацкого элементу на моей статейке написал непристойное слово из трех букв, и ее пришлось заклеить простой газетной бумагой, чтобы не снимать совсем со стенки второго номера «Луча Коммуниста».

Дорогие товарищи, редакция, я прошу расследовать справедливость моих слов через прокурора, который стоит на страже селькора, и дать свою защиту против преследования. А иначе что же мы видим? Когда напьется мужик, его в стенгазетке можно протащить, а когда интеллигенция—выходит нет. Я нахожусь в большом сомнении и еще раз прошу строгой защиты.

С селькоровским приветом *Семен Никифорович Чикунов.*

Адрес: село Красноярка.

— Действительно, происшествие,—сказал тов. Гельфенд и спросил:

— Ну, что ты, тов. Зенков, скажешь по этому поводу?

Секретарь редакции в недоумении почесал затылок:

— Мне кажется пустяк, но имеющий до некоторой степени общественное значение, поскольку здесь фигурирует стенгазета.

— Хорош пустяк, селькору морду разбили...

— Но, ведь, баба разбила,—робко заметил секретарь.

— Ну, и что из того, что баба!.. А если б она ему по глазу ногтем задела?.. Человек на всю жизнь бы кривой остался.

Секретарь не сдавался:

— Но, ведь, все из-за пустяка... Какое нам дело, наконец, до того, поженились они на завалинке без ЗАГС'а или нет.

— Дело не в завалинке,—поморщился тов. Гельфенд:—ты смотри глубже. День урожая, советский праздник, новый быт... И вдруг наша советская учительница устраивает пьянку!.. Ну, хотя бы учитель—другое дело... А то—женщина. Мерзость! Честного хлебороба это возмущает. Он пишет в стенгазету. Правда, неумело пишет. Может быть, выпячивает те моменты, о которых лучше бы умолчать, но можно ли его винить? В этом виновато наше невежество. Хорошо, дальше. Крестьяне читают, смеются... Общественное зло у позорного столба. Посмотрим, как же реагирует девица Добрышева. Вместо того, чтобы написать опровержение, сходить в ячейку, она восстанавливает свою честь рукоприкладством... Дикость какая! Хамство!

Тов. Гельфенд повертел чикуновское письмо в руках и сказал:

— Нет, тов. Зенков, скажу по совести, плохо ты деревню знаешь... Из этой корреспонденции мы такого шуму наделаем, чертям тошно станет!

Хотя тов. Гельфенд деревни и совсем не знал, но секретарь не стал возражать. Он взял чикуновское письмо и ушел доканчивать разборку почты. А редактор принялся строчить передовую о гонении на красноярского селькора Чикунова.

IV.

Красноярские мужики—Седловский, Широченко, Козлов и Глоба—отбывали в исправдоме наказание за конокрадство. Просидели они каждый по полтора года с лишком и были досрочно освобождены, за переполнением исправдома: в губернии проводилась борьба с конокрадами, и арестованных сажать было некуда. Местные власти, правда, возбудили ходатайство в центре об отпуске средств на постройку нового исправдома, но из центра ответили:

«Задача советской власти строить школы, клубы и электростанции, а вовсе не тюрьмы. Средства отпущены не будут».

Исправдом был набит до отказа, и когда пригнали новую партию конокрадов—старых пришлось досрочно освободить. Под этот счастливый случай как-раз и попали красноярские мужики.

Вернулись они домой поздно вечером, и прихода их никто не заметил, кроме приказчика из потребиловки, ходившего ночевать к жене Козлова—толстой, дородной бабе, которой, по ее словам, трудно было жить без мужика.

Когда Козлов подошел к избе, он заметил в окно полюбовника, лежавшего на кровати в одних исподних.

— Э-ге,—усмехнулся криво Козлов и притаился на дворе.

Он выждал, когда в избе загасили огонь и, сняв сапоги, пошел в сени. Залаяла собака, но, признав голос старого хозяина, умолкла. Козлов знал, что дверь можно открыть ножом—она плотно не доходила до косяка. Осторожно, взявшись за скобку, он просунул лезвие ножа в щель и приподнял крючок. Дверь была открыта, надо было только тихо ее отворить. Он послушал минуту: в избе скрипела деревянная кровать и придушенно сопела его дородная баба.

— Ишь, лахудра,—подумал Козлов и тихо открыл скрипнувшую дверь.

Кровать стояла во второй половине избы, и он на цыпочках, стараясь не шуметь, стал пробираться к постели. Спички были у него в руках, и он готов был в любой момент зажечь огонь.

— Пора,—подумал он, дойдя до средины комнаты, и зажег спичку. Баба тихо вскрикнула от испуга и неожиданности.

— Приятного аппетиту,—сказал Козлов, освещая спичкой кровать:—я, сидючи в тюрьме, советских вшей кормил, а моя супруга тем временем с капирацией смычку устраивать изволит. Эй, капирация, слезавай!

Он зажег вторую спичку, а приказчик встал и потянулся к одежде.

— Не-е-т,—протянул Козлов,—у нас с тобой будет другой разговор...

Тут приказчик увидел в руках мужа нож, и челюсти его затряслись.

— Раздевай последнее,—тонко выкрикнул Козлов,—и катись на легком катере к ядреной матери.

Приказчик сбросил исподние и бросился к двери. Козлов подставил ему ногу, и приказчик растянулся на полу.

— Живей,—крикнул хозяин,—не задерживай... Вишь, мешаешь, муж к жене вернулся...

Он ловко ударил ногой приказчика под сиденье, и тот очутился на улице. После Козлов закрыл дверь на крючок и вернулся к жене:

— С устатку поесть бы надо, да невмоготу... Без бабы рази жизнь была...

Он быстро разделся и прыгнул в теплую кровать.

— С тобой мы завтра разделаемся,—пригрозил он,—а сейчас душа у меня мягкая; женской любови просит...

Утром Козлов хозяйственно оглядел оставленные приказчиком вещи, обрадовался, что в кошельке нашел три рубля с мелочью, и бабу бить не стал.

Тоже, лахудра, со щенком связалась... Будто лучше на деревне мужиков нет.

Он даже плюнул и ушел к Седловскому, чтобы вместе идти в совет показать выданные документы о досрочном освобождении.

С приездом четырех освобожденных конокрадов жизнь в Красноярке пошла вверх дном. Каждый вечер стоял шум от пьяных скандалов и драк, а по ночам звенели выбиваемые стекла. На деревне конокрадов окрестили бандистами, и эта кличка привилась.

Седловский хотел было заняться работой—поступить в батраки к кулаку Бывальцеву, но товарищи отговорили.

— Полтора года вшей кормили, кажись бы, и отдохнуть не грех!

Седловский в батраки не пошел, а вскоре после этого у Бывальцевых увели с пашни рыжую кобылу. Бывальцев пошел в совет к председателю, а тот рассудил:

— Ну, что же. Придется опять Козлова с товарищами в город отправлять.

Бывальцев матерился и грозил пристрелить бандистов. Мужики угрюмо молчали и не вмешивались. А после, когда председатель пошел домой, по дороге его нагнал Козлов и крикнул весело:

— Обожди, председатель!.. Поговорить надо. Куда торопишься?

На улице никого не было, и председатель неохотно замедлил шаг.

— Чего тебе, лодырю?

— Да ты что лаешься, обожди... Говорю, дело есть.

Председатель остановился и строго сказал:

— Говори живей, некогда мне с тобой здесь валандаться...

Козлов оглянулся, распахнул пиджак и показал остро отточенный нож в боковом кармане.

— Видел?

— Ну...

— Ну, вот и все,—застегнул Козлов пиджак,—окромя этого, ничего нет.

Председатель побледнел и произнес задыхаясь:

— А ежели за угрозу выборной советской администрации я тебя в ГПУ отправлю? В тюрьме сгниешь, сукин сын!

— Попробуй,—весело ответил Козлов,—кому—тюрьма, а нам—горница...

Он видел, что председатель струсил, и издевался над ним:

— Если по красному петуху не скучаешь, лучше оставь нас в покое.

— Я те оставлю... У Бывальцева ты коня свел?

— С товарищами...

— Ишь, гад!.. Еще хвастает!..

— У тебя сведем, коли напросишься... Нам не трудно.

— За что вас, чертей, освободили...

— Харчи казенные дороги стали...

Неожиданно подошел поп. Поздоровался с председателем, косо взглянул на Козлова. Произнес заискивающе:

— А я к вам, товарищ председатель...

— Сейчас...

— Ну, так как же... Заруби на носу,—нагло сказал Козлов и отошел.

После этого разговора председатель не стал связываться с бандитами. Когда к нему приходили с жалобами на выбитые стекла, свернутые скулы, он только недовольно отмахивался руками:

— У меня без вас делов хватает, надоели...

Один раз комсомольцы ставили спектакль в пользу самолета. Народу набралось много, хотя устроители и брали за вход по двугривенному. Пришел выпивший Седловский и захотел даром пройти на спектакль. Его не пустили.

— Ах, так? Ну, так погодите!..

Он побежал за Козловым и Глобой. Они пришли с дубинками, и кассир убежал на сцену. Публика выскочила на улицу. Козлов разбил лампу и принялся бить артистов. Спектакль пришлось кончить без третьего действия, а публике вернуть обратно двугривенные. Комсомольцы пошли жаловаться секретарю ячейки. Тот сочувственно пожал плечами и обещал поговорить в последний раз с председателем сельсовета. Но так дело разговорами и кончилось, а бандиты в ближайший праздник «покрова» разбили два окна в квартире учительницы.

V.

Рано утром прискакал верхом милиционер из волости и привез в сельсовет отношение из ВИК'а.

Председателю Красноярского сельсовета.

На основании предписания Помпрокурора 3 участка, к вам командируется милиционер тов. Стриженый, которому поручается нести охрану личной неприкосновенности селькора газеты «Красное Пламя» Семена Никифоровича Чикунова, на которого начато злостное гонение кулацкими элементами, которые хотят убить означенного селькора Чикунова. ВИК предлагает оказывать т. Стриженому всякое содействие под личную ответственность председателя. Об исполнении донести.

Пред. ВИК'а *Коршунов*
Секретарь *Утин.*

Председатель долго не мог понять, чего от него хочет милиционер, пока тот не показал последний номер газеты «Красное Пламя», еще не полученный в Красноярке.

Председатель прочел и ему стало страшно. Через всю страницу, крупными буквами были написаны необычайные слова про красноярского жителя Семена Чикунова.

«Преследования селькоров начались и в нашем уезде!

В селе Красноярке кулацкая свора совершила нападение на селькора нашей газеты Семена Чикунова!

Селькор Чикунов написал в стенгазете о пьянстве кулаков и был ими публично избит!

Жизнь Семена Чикунова в опасности!

Редакция газеты «Красное Пламя», обращая внимание прокуратуры на этот возмутительный факт, требует защиты селькора Чикунова».

Эти строки были напечатаны крупными буквами. Мелкий шрифт, которым подробно излагались красноярские события покрова дня, председатель совета не стал читать. Он заметался по пустой канцелярии и, в душе матеря Чикунова, сказал милиционеру:

— Раз распоряжение прокуратуры, куда денешься? Революционная законность... В общем и целом... Известно!

Он сам повел милиционера в избу Чикунова и даже от волнения забыл одеть шапку. Когда они шли по улице, мужики одобрительно кивали головами.

— Хана теперь будет Козлову с Седловским!.. Пора!

Но председатель—провел милиционера мимо козловской избы и направился к Чикунову.

— Вот те и стенгазета,—злорадно сказал Сеня Бывальцев, заметив, что милиционер вошел в чикуновскую избу,—накрутят холку за Веру Васильевну...

Немного погодя, председатель вышел из избы вместе с милиционером. Милиционер сел на крыльцо, поставил винтовку между колен, а председатель, словно побитый, отправился в сельсовет.

Через час вся деревня знала об истинных причинах приезда милиционера. Не только бабы, но и мужики бегали из избы в избу, передавая сногсшибательную новость:

— Семена Чикунова зарезать хотели!..

— Кто? Бандисты?

— Кулаки, с учительницыной сестрой...

— Ври больше...

— Ей-бо!.. Сеньку Бывальцева путают...

— Ой, восподи!..

«Красное Пламя» ходило по рукам, газету читали кучками, затаив дыхание. Когда эта новость дошла до избы коммуниста и изобретателя Авери, известного тем, что он самолично устроил невиданную доселе крошилку для яблок, тот накинул драный полушубок и пошел разыскивать газету. Он молча прослушал, что писали про Чикунова в статейке и ушел домой, запрягать коня.

— В город еду,—сказал он жене.—сготовь поесть чего-нибудь.

Через час он выехал из деревни и жене строго наказал не говорить, куда поехал.

— По партийному делу еду... В секрете должна держать. Слышь...

— Слышу,—отозвалась жена из-за печки.

А вокруг чикуновской избы собралась громадная толпа мужиков и баб. Бабы грызли подсолнухи, мужики курили цыгарки и перекидывались веселыми словами...

— Ай да Семен Чикунов! Достукался... С охранным караулом!

— Это, чтоб девки волдырей не наставили!..

Чикунов выглянул в окошко, но застыдился и спрятался. Мужики закричали:

— Чего хоронишься? В селькоры записался, так и гордым стал! Едрена мышь!

— Ничего не гордым,—ответил Чикунов и вышел на крыльцо.

Он сел рядом с милиционером и закурил. Мужики подошли поближе. Один даже попытался присесть на крыльцо. Милиционер лениво сказал:

— Сойди прочь!.. Не разрешается!

— Да што он, арестованный, што ли?

— Не твое дело, говорю—сойди.

Чикунов, чтобы показать, что он находится на свободе, а не под арестом, поднялся со ступенек и, не торопясь, пошел по улице. Милиционер вскинул ремень винтовки через плечо и молча зашагал следом. Кругом шла веселая толпа мужиков, мальчишки забегали вперед и озорничали. Чикунов зашел к сродному брату в избу. Милиционер остался у ворот, но во двор никого из посторонних не пустил. Тем же порядком он сопроводил Чикунова до дому.

— Ты его и до ветру водить, поди, будешь,—спросил насмешливо Козлов.

— Может, и буду,—со скукой сказал милиционер и вдруг рассердился:

— А вы што это собрались? Разойдись, слышь!

Милиционер для виду наставил на толпу винтовку:

— Стрелять буду, черти!

Седловский вышел вперед и, подбоченясь, сказал:

— По какому праву? Мы что тебе охранять мешаем? На улице стоять запрету никому нет. Улица обчественная.

Милиционер снова поставил винтовку между колен, а толпа стала потихоньку таять. Острый интерес к событию прошел.

Весь день Чикунов просидел дома, а ночью милиционер спал у него в избе. Он зорко следил за ним и не отходил ни на шаг.

Сестры Добрышевы тоже не показывались на улицу. Наталья Васильевна ходила с заплаканными глазами, а Вера ругалась:

— Завтра же поеду в город... Я это дело так не оставлю... Мерзавцы... С бандитами миндальничают, а тут распоясались показать свою силу.

Но на другой день она не поехала в город, не было попутчиков, а на третий вернулся в Красноярку коммунист и изобретатель Аверя. Он привез председателю секретный пакет и предписание из волости милиционеру Стриженому немедленно вернуться в ВИК.

Следующий номер газеты «Красное Пламя» имел подпись другого ответственного редактора. Тов. Гельфенда Губком отозвал на кооперативную работу. А номер газеты, в котором описывалось гонение на селькора Чикунова, был задержан на почте и разошелся в очень незначительном количестве

VI.

Аверя, как начало смеркаться, отправился к Ефрему Бубрину. У Ефрема Бубрина стоял на квартире ссыльный профессор Иван Сергеевич Прокудин, крупный ученый и математик с европейским именем. По тихоновскому делу он попал в ссылку. Были у профессора больные легкие, а в Краснoярке считался хорошим климат, и начгуботдела ГПУ, знавший, что из себя представляет Прокудин, разрешил ему проживать именно в Красноярке.

Профессора дома не было, и Аверя, положив под лавку принесенный узелок, стал поджидать на половине хозяев.

— Чикунов-то, провокатер оказался,—сказал хозяин. Какой циркуляр отколол, вокруг пальца всех обвел.

— А что? —осторожно спросил Аверя.

— Да как же, облыжно написал в газету... Он, сказывают, за учительницыной сестренкой, Верой Васильевной, ухлестывать вздумал. Та ему, сиволапому дураку, нос натянула, он и озлился. Девки все раскопали.

— Ишь, кобель,—с сердцем сказала хозяйка,—не успел жениться, а уже блудит. Мало ему кулаком, кирпичом надо!

— Нарсуд должен теперь быть, не иначе... Вера Васильевна за обиду подает.

— Правильно,—одобрил Аверя,—так и следует!

— Садись чаевать.

— Благодарствуйте, я по делу.

Хозяева сели пить чай, а Аверя закурил.

— Ну, как,—кивнул он на дверь комнаты профессора,—молится?

— И-и-и, шибко старается...

— Чудно,—задумчиво сказал Аверя.—По образованию ему коммунистом быть, в роде товарища Луначарского, высокий пост занимать, а он вон куда прет... в ссыльные...

— Известно, за народ страдает,—опрокинул стакан вверх донышком Ефим Бубрин.

Дверь раскрылась, и вошел профессор. Был он румяный, седой, с большой пушистой бородой и молодыми, чистыми, как у юноши, глазами. Отряхивая снег, с валенок, он сказал:

— Морозит, сильно морозит,—и прошел на свою половину.

Аверя, взяв узелок из-под лавки, подошел к двери и тихонько постучал костяшками пальцев.

— Можно,—крикнул профессор, и Аверя, на цыпочках прошел за двери.

Прокудин сидел за столом и что-то писал на больших четвертушках бумаги.

— Я к вам, Иван Сергеевич,—сказал Аверя,—посоветоваться пришел.

— Пожалуйста... Вот сюда сесть можно.

Он снял с табуретки книги, и Аверя сел осторожно на краешек. С любопытством оглядывая иконы, он полез за пазуху и вытащил бумажный сверток.

— Вот, Иван Сергеевич, тут чертежи у меня... Выкладки разные и примечания к моим изобретениям. Делаю массу опытов, но в большинстве без результату... Образования нехватает, вот горе наше бедняцкое...

Он развернул сверток и показал первый чертеж.

— Это удачный, яблочная крошилка. Уже действует, можете посмотреть, ежели любопытствуете, или не доверяете? В ящик с подвижным дном насыпается яблок, а когда это колесо приводится в действие рукой или механизмой, одновременно падает нож... У меня четыре ножа, но можно поставить двенадцать...

— Слышал я,—сказал Прокудин,—мужики одобряют.

Аверя расцвел и взялся за второй чертеж.

— А это усовершенствованный мною опрыскиватель. Тоже имеет большое значение для садоводов. Я делаю трубку конусом, и у меня струя бьет в шесть раз выше обыкновенного. Только теперь вот нужно добиться правильного рассеивания.

Прокудин одобрил и второе изобретение, а Аверя сказал:

— Вообще я интересуюсь различными усовершенствованиями имеющихся уже приборов и даже работаю над клистиром для скота и человеков.

Он отложил чертежи и встал с табуретки.

— А третье у меня в готовом виде... Разрешите показать на деле.

Аверя развернул принесенный узелок и поставил прибор, сделанный из часового механизма, на стол. После он достал катушку ниток и привязал нитку за крючок, а другой конец прикрепил к дверной скобке.

— Дотроньтесь до нитки, Иван Сергеевич... Чуть-чуть... Одним пальцем.

Прокудин дотронулся, и на всю комнату раздался дребезжащий звонок.

— Прибор от воров,—гордо сказал Аверя.—Ежели ниткой обмотать весь сад,—никто не попадет. Чувствительность самая высшая....

— Тоже не плохо...

Аверя убрал прибор и вернулся к чертежам:

— Теперь я вам хочу показать самое мое главное изобретение, над которым мучусь безрезультатно третий год. Но если только добьюсь результата, трудовому населению будет огромная поддержка. Я к вам и пришел за помощью, Иван Сергеевич... Человек вы образованный, высшие науки на-зубок знаете и совет дать, безусловно, можете, если захотите.

— Пожалуйста, пожалуйста, с удовольствием.

— Третий год, Иван Сергеевич, мучусь над тем, чтобы изобрести вечный двигатель и дать нашему бедному трудящемуся народу поддержку... Ведь тогда не нужно будет никакой энергии, в том числе даже электрической. Поставил аппарат, соединил приводным ремнем и—вот тебе сила. Полагаю, что это изобретение может дать большую пользу человечеству, так как слышал, что многие изобретатели над этой святой мыслью уже думали...

Прокудин молчал и играл карандашиком. Аверя развернул чертеж и стал об'яснять:

— Мысль у меня, Иван Сергеевич, простая и правильная, это я чувствую, и по моим планам двигатель должен беспременно получиться. Вот взгляните. Берем два конусных сосуда, скрепленных на расстоянии между собой. В верхний конус наливаем воду. Что с ней делается? Она в отверстие стекает во второй нижний конус. А во втором конусе снизу дырка и припаянная трубка, ведущая наверх в первый конус. Вода стекает по трубке и поднимается наверх, потому, что давление. Здесь трубка загибается, и вода выливается в верхний конус... И опять начинается такое же течение.

У Авери на лбу блестели крупные капли пота, и щеки от волнения покрылись красными пятнами.

Прокудин посмотрел на чертеж и сказал, отмечая ногтем верхнюю трубку:

— Дальше этого места вода не пойдет.

— Но ведь давление, Иван Сергеевич! Ведь сверху я воду лью.

— Ну, пойдет, пока будете воду лить, а как перестанете, не пойдет.

Аверя побледнел:

— Так, значит, расчет неправильный.

— Неправильный,—твердо сказал Прокудин,—да вы, Аверя, не смущайтесь. Это изобретение зряшное. Наука установила, что вечное движение,—ученые называют «перпетуум мобиле»—не возможно. Я смотрю, что яблочная крошилка или клистир для человеков и скота—полезнее, чем вечный двигатель.

Аверя свернул чертежи и, поджимая губы, сказал недовольно:

— Для великого человеческого ума все должно быть возможно.

— Ни для какого ума не возможно,—повторил Прокудин, а Аверя, взглянув на лампадку, ехидно спросил:

— И даже для божьего?

Профессор поморщил лоб и ничего не ответил. Аверя снова завернул прибор от воров в узелок, а сверток с чертежами засунул за пазуху.

— Извиняйте, что время отнял.

— Пожалуйста... Я очень рад.

Аверя чувствовал обиду и шел по улице недовольный. Он рассчитывал, что Прокудин поможет ему своим советом. Аверя твердо верил, что вечный двигатель—вполне возможная вещь, если только составить правильный расчет давления воды на стенки верхнего конуса. Но для этого нужно было знать математику, а Аверя окончил только два класса сельской школы.

— Ишь, чудотворец... Зряшное изобретение... Сам ты зряшный,—ворчал, он, размахивая узелком с прибором от воров.

Снег слепил ему глаза, и Аверя шел, спотыкаясь на арыках. Навстречу ему мелькнули две шатающиеся фигуры. Аверя решил не встречаться с пьяными и перешел улицу.

— Стой!—закричала фигура и пошла наперерез Авере.

Аверя прибавил шагу.

— Стой, говорю, куда бежишь?

Аверя узнал голос Козлова и остановился.

— Что тебе?—спросил он.

Козлов шатался на ногах, но Аверю он крепко схватил за глотку:

— По какому праву удираешь?

— С чего ты взял?—сказал Аверя,—и почему это я должен от тебя удирать.

— Ты посмотри, он еще разговаривает? А?

— Дай ему в рыло,—посоветовал Широченко.

Козлов замахнулся и ударил Аверю в ухо. Прибор от воров выскочил из рук Авери, и его подхватил Широченко.

— Отдай прибор,—закричал Аверя,—слышь, отдай!..

Козлов с Широченкой убегали по пустынной улице, Аверя побежал следом, но после пристал и пошел к председателю. Председатель дома ужинал и Авере не обрадовался:

— Господи, да что ж я поделаю!.. Сладу с ними нет!

— Арестовать надо...

— Поди арестуй, а они тебе двор спалят...

— Так до коих же пор терпеть?

— А я почем знаю...

— Хоть бы убил их кто,—вздохнула жена председателя,—и чего мужики смотрят? Одно беспокойство!

— На ячейке подниму вопрос,—пригрозил Аверя и, хлопнув дверью, вышел из избы.

Он пришел домой в плохом настроении и сел писать письмо в редакцию о хулиганстве бандитов.

VII.

Настенька с подругой, комсомолкой Феней, ходили гадать к ворожее на картах. Настенька гадала на Сеню, и ей вышло письмо из казенного дома, скорая дорога и червонный интерес, от пикового короля. Настенька решила, что червонный интерес —это свадьба, а пиковый король—Сеня, и она с удовольствием дала гадалке пятиалтынный.

Комсомолке ворожея вначале отказалась гадать.

— Ты без креста ходишь и в бога не веришь, на тебя карта не ляжет,—сказала она ворчливо.

Тогда Феня вытащила из-за воротника крест и широко перекрестилась. Гадалка нагадала ей ту же дорогу и тот же червонный интерес. Но Феня осталась гаданьем недовольна и сунула только пятак. Ворожея обругала ее не-

хорошим словом, и девушки, весело засмеявшись, выбежали на улицу. Феня пошла домой, а Настенька отправилась к учительнице поджидать Сеню, с которым у ней была назначена встреча. Сеня не приходил, и Настенька хмурила недовольно брови.

— Оставайтесь ночевать,—сказала Наталья Васильевна,—куда же вы пойдете так поздно?

— Нет, мне коров завтра надо доить рано, побегу.

Настенька завязала платок и вышла на улицу. Сеня должен был сегодня окончательно поговорить с отцом и сообщить ей о результатах. Настенька четвертый месяц была беременна, и надо было покрывать грехи венцом. Сеня от женитьбы не отрекался, но хотел все сделать по-хорошему, с отцовского согласия. Настенька и сама сознавала, что это будет и лучше, и крепче, но Сеня боялся отца и разговор откладывал со дня на день.

— Должно быть, опять не поговорил,—досадливо подумала девушка, кутаясь в платок.

Она прошла улицу и свернула в проулок, и тут только заметила, что за ней кто-то идет.

— Никак Сеня? Его папаха...

Она остановилась у речки и подождала. Но, вместо Сени, подошел Седловский, тоже носивший папаху. Настенька посторонилась и дала дорогу. Седловский прошел, но больно ущипнул девушку за грудь.

— Дурак,—вспыхнув от гнева, сказала Настенька.

— Чего изволите?

В проулке никого не было, но Настенька не испугалась и начала отчитывать Седловского:

— Бандит, конокрад, душегуб...

— Ну, а еще?..

— Жулик, вор, болван...

— А еще?

— Хулиган, нахал, мошенник...

— Еще?..

Седловский подошел вплотную и, неожиданно размахнувшись, ударил Настеньку между глаз. Она вскрикнула и упала на снег... Седловский свистнул, и от забора отделились две тени. Это были Козлов и Глоба.

— Ты, поди, убил ее?—сказал Козлов.

— Убьешь такую корову...

Глоба подхватил девушку под мышки и спросил:

— Куда ее теперь?

— А вон в баню...

— Это чикуновская баня...

— Ну, и чорт ее бей!

Он взял девушку за ноги и понес с Глобой по снегу. Козлов остался в проулке и сказал:

— Я на стреме буду...

— Позовем, не забудем,—ответил Седловский.—И тебе хватит...

Они втащили Настеньку в холодную баню и по очереди изнасиловали ее. Когда Настенька приходила в себя и начинала стонать, Седловский душил девушку за горло.

— Зови Козлова,—сказал он Глобе.

Глоба сменил Козлова:

— Иди, валяй, скорее только...

— Не на пожар,—весело ответил Козлов.

Потом они выволокли Настеньку на снег и оттащили от бани.

— Кабы не было чего?—вслух подумал Глоба.

А Козлов успокоил:

— Пустое... За поповскую бл... и нарсуд судить не станет:

— Рази что так...

И они разошлись в разные стороны.

Настенька пришла в себя не скоро... А когда пришла, от ужаса тихонько заплакала. Первая мысль у ней была: «Скрыть... Никому не сказывать!».

Но лицо ее было в синяках, платье разорвано: ничего не скроешь .. Подумала Настенька о том, что хорошо было бы сейчас умереть, никого не видеть, но вспомнился чернобровый Сеня, и стало жалко себя:

— Не женится он на мне теперь. Гордый он... Не женится!

Шатаясь, как пьяная, она поплелась домой. Навстречу попался Чикунов Он бежал без шапки и смешно размахивал руками. Настенька прикрыла лицо платком. Чикунов остановил девушку за рукав и громко заорал на весь проулок:

— Коней свели!.. Двух коней чичас свели!.. Сволочи!

Он оттолкнул девушку и побежал дальше. А Настенька ускорила шаг: вон за углом будет дом.

— Настенька,—окликнул ее голос, и она неожиданно увидела жениха.

— Сеня!

Сеня взял девушку под руку и, радостно волнуясь, заговорил:

— Ну, все обделал... Отец согласен. Радости хотя, говорит, теперь мало—с попом родниться, с коммунистами выгодней, но тебе жить, а не мне. Женись, говорит...

Настенька проглотила слезы и ничего не ответила. Сене это показалось странным. Он обнял и притянул к себе девушку, желая заглянуть ей в глаза Настенька прятала лицо. Слезы подступали ей к горлу, и Сеня почувствовал, как вдруг задрожали ее круглые плечи.

— Что с тобой?—закричал он и сорвал платок с лица.

Все лицо Настеньки было в синяках и ссадинах, и она показалась ему страшной.

— Кто тебя?—кричал Сеня.—Ну, говори скорей, кто?

Настенька решила: «Если любит—не бросит, а бросит, повешусь, но всю правду надо сказать и именно сейчас». Девушка взяла парня под руку, они тихо пошли рядом, и она рассказала все, как было. Сеня слушал молча, но Настенька чувствовала, что его трясет, как в лихорадке.

Он остановился, высвободил руку и глухо сказал:

— Ну, прощай... Пока... Увидимся еще и поговорим...

Круто повернулся на каблуках и быстро зашагал, удаляясь от нее. Настенька крепко закусила губы и уже твердой походкой пошла в дом.

VIII.

На другой день у председателя сельсовета пропал гнедой мерин. Председатель кружился по канцелярии и материл Козлова:

— Он!.. Никто иной, как он!..

Секретарь посочувствовал и сказал:

— Выселить их надо всех четверых! Мирской приговор составить, и крышка...

— Сегодня же вечером сход созовем. Чего, в самом деле, канителиться. Этак все село обворуют...

— Давно пора... Ячейка ими очень недовольна, культпросветработу подрезали вконец...

— У Авери прибор для воров сперли,—улыбаясь сказал Ефим Бубрин и пояснил:—из часового механизму сделанный. Со звоном...

— Деревню сожгут, чего доброго,—волновался председатель,—вон их надо выгнать, к чортовой матери...

А Семен Чикунов обходил свою родню и рассказывал о краже двух коней.

— Жеребенка одного оставили!.. Что я с ним буду делать? Хоть стой, хоть падай! Зарезали, как есть зарезали!..

Родственники жалели Семена Чикунова, поили его самогоном и ругали Козлова с Седловским:

— Убить их, сволочей, надо, ежели начальство мер никаких не принимает.

Спьяна Чикунов зашел и к Бывальцевым. Сеня чистил берданку и смотрел на свет: хорошо ли блестит дуло ружья. Лицо у него было серьезное и темное.

— Коней свели!—закричал Чикунов.—Что же мне теперь помирать, что ли?

Старик Бывальцев, поглаживая широкую бороду, сказал:

— Сам виноват, про учительшу сообразил в газетку написать, а бандистов пожалел. Тоже селькор!..

Чикунову стало стыдно, и он вышел из избы. На дворе его нагнал Сеня:

— Семен Никифорович, подожди!

Чикунов остановился, а Сеня, подойдя, положил ему руку на плечо:

— Ты что же, неужели так и простишь?

— Ни в жизнь!..

— Убить их надо,—сказал угрюмо Сеня.—Чего церемониться...

Он поиграл берданкой и глухо произнес:

— Давай на пару... За твоих коней и нашу рыжую кобылу.

Чикунов неожиданно протрезвел и ответил серьезно и тихо:

— Ответ держать придется... Нехорошо... Мужики собираются миром убить... Тогда никому отвечать не надо.

— А-а-а,—протянул Сеня,—это, верно, лучше...

Чикунов ушел, а Сеня унес в избу берданку и пошел по деревне. В избах, действительно, шел разговор о Козлове и Седловском. Кажется, в Красноярке не было ни одного человека, не обиженного бандитами. И когда Сеня говорил, мимоходом, что бандитов решено убить миром, он слышал в ответ довольные голоса:

— Давно пора... Чего же церемониться-то...

Сеня обошел всю деревню, и лицо его просветлело. Он еще раз осмотрел берданку и хотел сходить к Настеньке, но под окном кто-то крикнул:

— Айда на сходку!..

У Сени екнуло сердце, он быстро оделся и пошел в сельсовет. По дороге ему встретился молодой приказчик из потребиловки.

— Здорово, Сеня!

— Здорово!

— Ну, как, кончать бандистов будем?

— Как решат,—ответил Сеня.

— Решат кончать... Не иначе. Ежели их теперь не убьем—деревню спалят.

— Это верно!...

Мужики в сельсовет бежали торопливо, не как обычно, и Сеня подумал, что на сходе обязательно решат убить Козлова с компанией.

— Поделом...

В сельсовете секретарь записывал собравшихся, а председатель вел агитацию:

— Миром постановить и выселить навсегда из пределов Семиречья!

Глаза у мужиков горели злобой, и кто-то выкрикнул сзади:

— Чего там выселить?.. Был разговор—убить!..

— Во-во!.. Убить на месте!..

Чикунов вскочил на лавку, скинул шапку и, размахивая ею, пронзительно закричал:

— Двух коней увели... Зарезали... Чем жить теперь, товарищи? Весна придет, пахать не на чем...

Родня его дружно поддержала:

— Правильно говорит человек! Подлинно зарезали!.. Какой мужик без лошади?..

— У меня мерина свели,—торопливо ввернул свое слово председатель, сверкая черными глазами.—Мерин два ста стоит, не меньше...

— Убить,—закричал неистово Сеня,—убить!..

Его крик подхватили мужики, и стекла в сельсовете зазвенели. Секретарь стучал карандашиком и призывал к порядку:

— Убить ни што... Долбанул по башке, и конец... Надо оформить протоколом, чтобы не получилось самосуда. Партейные есть товарищи здесь? Как ячейка смотрит?

— Ячейке что! Ячейка сама рада, чтобы порядок был в деревне. Заинтересована не меньше,—отозвался кто-то из угла.

— Правильно!.. Культпросветработу зарезали!..

— Уб-и-ить!..

Секретарь писал протокол, мужики галдели и переругивались. В сельсовет прибежал Аверя и закричал:

— Неправильно!.. Ячейка протестует!..

— Поди проспись!

— Очухался!..

— Прошу переголосовать!—потребовал Аверя, и тут секретарь вспомнил, что вопрос не голосовался вовсе.

— Правильно, ставлю на голосование! Кто против?

— Я против,—закричал пронзительно Аверя.

— Один против... Больше нет? Принято!

— Говно, а не коммунист,—выругал приказчик Аверю.

Аверя выскочил на улицу, а мужики стали подписываться под протоколом, чтоб было все формально и не получилось самосуда.

IX.

Седловский пришел к Козлову с новостью:

— Председатель сход созывает... Приговор о выселении хотят постановить...

— Ишь, гад, за мерина вз'елся...

— Обозлены мужики... Чикунов убить подговаривает.

— Не убьют,—весело сказал Козлов,—самосуд по-закону теперь запрещен.

Баба Козлова стукнула ухватом и с сердцем проворчала сквозь зубы:

— Дождетесь, что и убьют! Всю деревню взбаламутили.

Прибежал Глоба, растерянный, в одной рубахе, без шапки:

— На сходе сейчас порешили мужики—убить во что бы то ни стало... Ей-бо!..

— А ты и струсил?..

— Да я что... Вместе крали, вместе и отвечать...

— Ну, и ответим,—сказал Козлов и вынул из-под половицы заряженный наган,—не больно пугливые...

Седловский ушел с Глобой, но с дороги вернулся и предложил:

— А я так думаю... Бежать надо, пока не поздно, и никакая гайка...

— Трусишь? Штаны не замарай!..

— Ты больно храбер...

— Да не побегу,—ответил Козлов.—Перво-на-перво некуда... А побежишь—скорей убьют... Это ты мне поверь—всегда так бывает...

Он зажмурился и тоскливо произнес:

— Ежели бежать—вчера надо было... Сегодня поздно. Поди, заставы выставили.

Под окнами мелькнула фигура Авери. Он вошел в избу к Козлову и быстро заговорил:

— Ну, айда, ребята, кройте из деревни... Сейчас вас бить мужики зачнут... Сходом постановили... Живее...

У Авери было бледное лицо и дрожали руки. Козлов подумал, что Аверя ловит его на удочку и ответил с хитрой улыбкой:

— Бежать нам, Аверя, не к чему. Чикуновских коней мы не трогали, а также и председателева мерина... С чего мы бояться станем? Нам бояться нечего!..

— Бегите,—закричал Аверя,—ей-богу убьют...

— Не убьют,—ответил Козлов, и левая щека у него неожиданно задергалась.

Аверя безнадежно махнул рукой и выбежал из избы. Следом за ним вышел Седловский. Козлов крикнул вдогонку:

— Вместях нам держаться бы надо!.. Лучше...

Но Седловский не расслышал его слов и скрылся в темноте.

Козлов походил по избе, одел было полушубок, но после бросил под лавку и тоскливо зевнул. Он достал бутыль с самогоном и начал сосать прямо из горлышка.

— Брось лакать,—толкнула его в бок жена,—иди к народу кайся. Пущай заарестуют... Все лучше, чем изуродуют.

— Пошла к дьяволу!..

Козлов отодвинул половицу, достал наган и сунул его в постель.

Вокруг избы послышались чьи-то голоса. Громко залаяла собака, но, получив пинок, завизжала и отбежала в сторону.

— Закрывай дверь на крючок,—крикнул Козлов жене и одел, сам не зная почему, полушубок.

Баба закрыла дверь, а Козлов сунул тяжелый наган в карман.

— Открывай,—хрипло закричал за стеной Сеня, а голос приказчика тихо посоветовал:

— Дверь ножом можно открыть, я знаю, как...

— Стрелять буду!.. Уйди, ребята!—глухо крикнул Козлов:—Семерых решу, упреждаю... Семь пуль в нагане!

Баба завыла и стала выдергивать револьвер.

— Не лезь, сука, убью!..

Он ударил ногой бабу под живот, и та отскочила к печке.

Мужики принялись ломать дверь. Козлов почувствовал необыкновенную слабость в ногах и сел на лавку. Ему страшно захотелось спать.

— Все равно,—вяло подумал он:—теперь не уйти.

Дверь с треском упала, и в избу вбежал Сеня. Козлов, сидя, пальнул в него из нагана, но промахнулся. Сеня быстро вскинул берданку к плечу и выстрелил в упор. Козлов выронил наган из рук и боком упал на пол.

— Крой!—крикнул приказчик, заметив на Козлове свои брюки, и взмахнул топором. Череп Козлова треснул пополам, и желто-розовые мозги брызнули на стену.

— Б-бей,—подхватили мужики и начали кольями молотить теплый труп Козлова.

— Один готов,—сказал Сеня, заряжая берданку,—айда к Седловскому!

Они вышли на улицу. Навстречу попалась вторая толпа, вооруженная кольями, берданками и топорами.

— Сейчас Глобу кончили,—сообщили из толпы,—Широченку ловить идем. Сбежал куда-то, сволочь...

Седловский жил по соседству с Бубриными. У ворот Бубринского дома стоял в полушубке профессор Прокудин. Он вышел на дорогу и крикнул:

— Граждане, опомнитесь, куда вы!..

— Седловского бить идем,—крикнул Сеня.

— Да вы что, с ума сошли, что ли?..

Профессор в припрыжку побежал за толпой. Он хватал мужиков за рукава и взволнованно уговаривал:

— Мужики, граждане, мужики!.. Да ради бога!..

Сеня недовольно скинул его с руки и сказал:

— Вы, Иван Сергеевич, лучше не мешайтесь!.. Это дело не вашего ума... Сход постановил...

— Дурачье вы этакое... Да как же сход может постановить людей убивать.

— Должно быть, может,—сказал уверенно Сеня.—Надоело нам валандаться с ними.

Мужики окружили избу Седловского, и Сеня опять забарабанил в дверь:

— Отворяй!

— Не отворю,—крикнул Седловский.

— Хуже будет.

Седловский молчал. Потом он быстро заговорил у самой двери:

— Вот ей-богу не воровал я председателева мерина... И Чикуновских коней не трогал... Провалиться сейчас...

— Уйдите, мужики,—закричал Прокудин,—не дам я вам человека убивать... Душегубы!..

— Ломай дверь!..

Сеня приготовил берданку. Дверь затрещала. Прокудин прыгнул в темную избу первым.

— Б-бей!..—закричал кто-то из мужиков.

Прокудин держался за косяки и стоял на пороге.

— Не пущу... Не позволю... Душегубы...

Рыжий мужик взмахнул колом и ударил профессора по голове. Прокудин присел, но попрежнему держался за косяк и не пускал толпу.

— Ишь, контра ссыльная!.. Бандиста защищает!..

— Стерва буржуазная!..

— Сволочь!..

Сеня перепрыгнул через профессора и зажег спичку. Седловский стоял на коленях и быстро крестился:

— Не буду, товарищи, не буду... Как перед истинным... Вот Христос... Православные!..

Сеня ловко ударил его прикладом в лоб, и Седловский покатился по полу. Прокудин кинулся к нему и закрыл своим телом:

— Не дам! Звери вы, жалости в вас нет!..

— Кр-рой!..

Сеня бил прикладом, приказчик обухом. Профессор с раздробленной головой слетел с Седловского. Кто-то неистово принялся дубасить его дубиной по лицу. В избе было темно, и мужики перестали различать, кого били— Седловского или Прокудина.

— Хватит,—крикнул Сеня,—пошли Широченку искать...

Мужики были потные, красные, в крови, но бить бандитов было так же весело, как охотиться на кабанов.

— Широченку искать!.. Последнего!..

Навстречу попадались мужики и парни, и у всех на устах было одно имя Широченки. Было уже известно, что трех бандитов кончили, а четвертый где-то скрылся. Из деревни убежать он не мог (на дорогах стояли заставы, как верно предусмотрел Козлов), очевидно, кто-то его спрятал. Родни у Широченки в Красноярке не имелось, был он приезжий, и найти его было трудно.

— Не иначе, как Аверя схоронил,—неожиданно подумал Чикунов,—не даром он их на сходе защищал.

(Чикунов не взлюбил Аверю с тех пор, как стороной разузнал, что тот его разоблачил в городе. Чикунова перестали в редакции считать селькором, а, вместо него, зачислили Аверю).

— Он, не иначе,—твердо решил Чикунов и, отстав от толпы, пошел к Авере.

У Авери в избе горела лампа, а сам он сидел за столом и чертил вечный двигатель. Чикунов вошел в избу и пытливо поглядел по сторонам.

— Что надо?—недовольно спросил Аверя.

— Трех бандитов убили,—ответил Чикунов,—а по ошибке Ивана Сергеевича кончили...

Аверя встал и зашатался.

— За что? Международного ученого!..

— Да подвернулся под горячую руку... Седловского бить не давал...

— Кто убил?—глухо спросил Аверя.

— Кто... Известно, народ... Рази теперь разберешь?..

Аверя схватился за голову и застонал:

— Все это ты, Чикунов, виноват... Ты это народ на самосуд подбивал... Я все знаю... Так и прокурору скажу...

Чикунов побледнел, но рассудительно заметил:

— Приговор есть... Все подписывали, мне что...

Он заметил, как высокая кровать в углу шевельнулась.

— Так и есть... Здесь!..—подумал он и вышел на улицу.

Аверя поправил одеяло и снова принялся чертить вечный двигатель. Минут через пять он услышал крики на дворе и насторожился. Дверь в избу неожиданно растворилась, и вошли Сеня, Чикунов, приказчик из потребиловки и рыжебородый мужик в собачьей шапке.

— Ну, Аверя, подавай гостя!—сказал Сеня.

— Никаких у меня гостей нет,—сурово ответил, Аверя.—И прошу в мой дом не вламываться с оружием да в шапках. У меня вон Ильич висит... Сними шапку!—крикнул он на рыжебородого.—Еще в ячейке состоит... Кандидат!..

Рыжебородый поспешно скинул шапку, а Сеня сказал:

— Нам твой Ильич не икона, выдавай бандиста...

— Нет у меня бандиста...

— Можно поискать,—насмешливо произнес Чикунов,—хотя Аверя и селькор, а обыск мы у него все-таки сделаем...

Аверя подошел к кровати и загородил ее спиной:

— Вон из моего дома!.. Гады!..

— Ты, Аверя, не ругайся... Мы к тебе по-хорошему...

— Вон, сукины дети!..

Сеня поднял берданку:

— Уйди, Аверя...

— Не уйду!.. Кулацкое отродье!.. Не спугаешь меня берданкой.

— Уйди от греха!..

Чикунов подбежал и схватил Аверю поперек живота:

— Вяжи его!

Сеня сдернул одеяло и перину. Под ними лежал Широченко.

— Бей бандиста!—закричал во все горло приказчик и взмахнул топором. Широченко завыл по-звериному: приказчик отрубил ему руку.

Мужики вбегали в избу с кольями.

— Здеся! Кр-рой!!. И-и-эх!!!

Аверя вывернулся из рук Чикунова и вцепился приказчику в волосы.

— Ах, ты драться?.. Драться, сукин кот!..

Он размахнулся и ударил Аверю обухом топора в спину. Аверя, упал, и кто-то из мужиков тут же расшиб ему череп ломом.

— Б-бей!..

Мужики забыли, что это—изба Авери, а не Широченки и стали ломать вещи. На пол грохнул шкафик с посудой, и пол покрылся белыми осколками разбитых тарелок и блюдечек. Приказчик остервенело рубил стол и табуретки. Чертеж вечного двигателя попал под ноги рыжебородого кандидата, и тот размазал его большим, грязным валенком...

X.

Технику Замойскому принесли письмо. Почерк был незнакомый, и он с интересом разорвал конверт. Письмо было от Натальи Васильевны. Замойский примостился на свежевыструганные сосновые доски и стал читать ровные бисерные строчки:

Милый Борис Николаевич!

Не думала Вам писать, а вот видите—пишу. Тяжело мне, голубчик, а близкого человека нет, с кем можно было бы поделиться словом. Когда-то Вы были в меня влюблены, а я в Вас... Но, впрочем, об этом и не стоит.

Напишу Вам жуткие красноярские новости. Помните, когда Вы были у нас, бандиты разбили нам два окна. Так вот этих бандитов четыре дня тому назад вечером убили по мирскому приговору. Против этого приговора, высказался только один Аверя—чрезвычайно интересный человек—коммунист и изобретатель. Аверя был против самосуда, и когда он хотел спасти жизнь одному из бандитов, его тоже растерзали за компанию. Погиб также профессор Прокудин (помните, я Вам говорила—ученый, ссыльный?): он хотел помешать самосуду, и его тоже убили.

В общем—ужас. Я до сего времени не могу притти в себя и осознать всего совершившегося. Через день к нам приехал прокурор и арестовал председателя сельсовета, Сеню (помните, у нас был чернобровый парнишка, ухаживал за поповной?), Чикунова, Настенькиного отца—священника, приказчика из потребиловки и всю ячейку. Оказывается, верховодил всем Сеня, он мне в этом сам сознался и вот почему: Настеньку, его невесту, бандиты накануне изнасиловали и избили, и он мстил, как оскорбленный жених. Между прочим, Настенька ходила на пятом месяце беременности, и у ней получился выкидыш. Но Сеня в жены ее не отказывается взять, он ее очень любит, не знает только, чем кончится вся эта история. Вообще Сеня держится лучше всех. Он даже за-

явил мужикам, что готов один нести за все ответственность, но Чикунов и приказчик боятся этого—тогда их засудят наверняка. Все знают, что они были активными самосудчиками. Поэтому они держатся прежней линии: убивало, дескать, все село и пусть всех судят. Сенин отец хлопочет, чтобы мужики заблаговременно позаботились об адвокате. Он выложил пятьсот рублей и пустил подписной лист. Собрано уже около пяти тысяч. За эти деньги, говорят, можно дело в суде выиграть. Мне очень жаль Аверю: он такой был чудесный и так свято верил, что ленинизм без вечного двигателя—все одно, что тело без души. Это его подлинные слова, и мне сейчас хочется плакать. За что убили человека?.. Говорят, жене Авери выдадут тысячу рублей за изобретенную мужем крошилку. Но разве жизнь человека тысячу рублей стоит?

Все шесть трупов похоронили в братской могиле, все село было на похоронах, я тоже ходила с Верой. Ах, как тяжело было и как жутко. После дома с Верой была истерика. Сегодня утром я ее проводила в Алма-Ата, она хочет устроиться служить, и вот я теперь совершенно одна. Голубчик, Борис Николаевич! Мне жутко здесь жить, мне хочется отсюда бежать, куда-нибудь далеко-далеко... А некуда... Растеряла я всех друзей и знакомых, личное счастье сколотить не могла, мне сейчас 29 лет, и я—старая дева, которая способна только учительствовать... Холодно как-то на душе!..

Голубчик, нельзя ли у вас на постройке устроиться конторщицей? Напишите мне, я приеду к Вам. Хотите, я буду Вашей любовницей, все равно, только вытащите меня отсюда, из этой глухомани.

Вот и все. Крепко жму руку.

Н. Д.

Техник Замойский повертел в руках письмо. Ему было жаль Наталью Васильевну, но в Ленинграде у него осталась невеста. А вдобавок—кем он устроит ее на гидростанции?...

Рабочие носили мимо кирпич и где-то вдали звонкий бодрый голос кричал:

— Ать... Два... Три... А ну, еще да-авай!

Замойский сунул письмо в голенище и побежал проверять кладку фундамента.

И через минуту он уже совершенно забыл о письме...

Иностранцы.

Рассказ.

Александр Дымов.

Театр имени Карла Либкнехта—здание двухэтажное, с колонками. До революции оно принадлежало образованному купцу. Образованный купец в нижнем этаже держал лабаз, а верх сдавал под общественное собрание. В восемнадцатом году дом приспособили под театр, фасад выкрасили темно-красной краской, и вывеска была подробная:

«Исполнительный Комитет Совета
Рабочих, Крестьянских и Красноармейских Депутатов.
Отдел Народного Образования.
Рабоче-Крестьянский Дом.
ПРОЛЕТАРСКИЙ ТЕАТР имени К. Либкнехта».

В двадцать втором перекрыли в серый цвет (колонки в белый), а вывеску упразднили.

Этот беглый исторический обзор любезно сделан театральным сторожем Василием Ивановичем Цибулевым во время первой партии в шашки с актером Заломовым.

Открывают сезон поздно—в конце октября. Об этом, болтливо преувеличивая событие, сообщают с заборов сыроватые квадраты афиши аккуратными синими буквами. Буквы шеренгами стройно маршируют по желтому полю, как синие игрушечные солдатики.

Актер Заломов бродит по улицам незнакомого деревянного городка, ощущая в кармане тяжесть пяти невыученных ролей, и топчет на дрожащих тротуарах мокрую золотую кашицу листьев. Вот—ворота городского сада окончательно заколачиваются двумя длинными гнилыми досками, крест-накрест. У ворот стоит лысый клен и смотрит Заломову вслед. Осень, ничего не поделаешь. А рябина еще щеголяет потускневшими красными бантиками...

Заломов идет в театр. Темно, нехорошо пахнет сыростью и клеевой краской. Из прохладной глубины оркестра гнусит волторна, тонко скулят скрипки, хнычет маленький гобой. Дирижер палочкой звонко бьет пюпитр. Пыльный солнечный язык высунулся из полуоткрытой двери «декораторской» и лижет густо-коричневую темноту сцены.

В «декораторской», у края растянутого на полу огромного холста, обезьянкой присел на корточки Казик Смиренский—небольшой актерик.

У актерика мелкие, как камешки, шоколадные зубки и узенький лоб. Он играет роли «по назначению режиссера»—так обозначено в его контракте. Актеры определяют его амплуа так:

— Молодой человек с тросточкой.

Казик сидит на корточках и следит за кончиком длинной кисти, ползущей по холсту долговязой растрепанной мухой. Кистью медленно двигает Павел Иваныч, декоратор. Павел Иваныч сочно свистит, прищуривается на холст и подливает в котелок теплого вонючего клея. Невероятно длинные и густые волосы его бровей торчат в стороны, как усы.

— Вчера,—говорит Казик, весело обнажая шоколадные камешки,—снял приличную комнату недалеко от театра.

— Вам везет—вы красивый,—поднимает Павел Иваныч иронические брови.

— Две барышнешки—ничего себе. У одной буфєра—красота! Насчет же физиономии—значительно слабее...

— Это не суть,—успокаивает Павел Иваныч,—лицо можно портянкой прикрыть.

— Убиться легче!—хохочет Казик и рассказывает похабный анекдот:

— У одного еврея...

В одиннадцать часов помреж нажимает, как лады на гармошке, сразу несколько кнопок на мрамсрной доске, и в пустой театр текут серебряные струйки электрического звонка.

Репетиция. Режиссер втискивает двумя пальцами пенсне без оправы на толстый розовый нос и делает озабоченное лицо.

— Господа!

Режиссер говорит излишне громко, будто перед ним выстроен целый полк.

— Видите, какая история... Необходимо помнить, что пьеса, которую мы готовим к открытию сезона—пьеса с идеологией. Да. Революционная. Следовательно-с... выучите роли, господа. Нельзя же. Удивительная вещь, констатируя на основании собственного опыта, чуть пьеса с идеологией—актеры ни в зуб. На суфлере едут. Согласен, пьеса эта не блещет художественными достоинствами; сам держусь того мнения, что актерам (в интересах самого же дела) не нужно бы заниматься политикой—им нужно заниматься искусством... н-но. Ведь открытие сезона, видите, какая история! Из Политпросвета будут, из Исполкома... Словом... предлагаю роли знать. О молодежи нашей я уж не говорю: у них роли должны от зубов отскакивать.

Хозарский—герой-любовник. Поэтому шелковое кашне перекинуто у него за спину, поэтому он скандирует красиво-обиженно:

— Между прочим, эта роль... Почему вы, собственно, Борис Петрович, дали ее мне? Это голубая роль. Я играю ведущие роли, а не...

— Э-эта голубая роль?!

Режиссер, при благосклонном участии глаз, бровей и рта, сыграл на своем лице неестественное изумление.

— Эта голубая роль? Ну, знаете... Это бенефисная роль! Вы, значит, не уяснили, голубчик...

Он осторожно берет Хозарского под локоть и отводит к авансцене, об'ясняя, воркуя, лаская сладковатой улыбкой.

Героиня, почтенная пожилая женщина, катастрофически, неудержимо полнеет, поэтому она почти никогда не сидит, а медленно, самоотверженно ходит по сцене. Она носит фамилию Зеленая. В тон фамилии она носит зеленое платье и зеленую шляпу.

— Позвольте,—густо контральтит она, тупо глядя в роль,—позвольте... Я что-то не понимаю. Чья же я любовница? Как? То-есть, как это ничья?

Казик Смиренский брезгливо, как дохлую мышь, держит четвертушку бумаги—роль второго красноармейца—и фыркает презрительно:

— Вот это ролька. Убиться легче! Без ниточки!

— Вам везет, вы красивы,—двигает иронически брови Павел Иваныч.

Суфлер Баранович вертит толстую собачью ножку и насыпает ее махоркой. Он поучительно поднимает указательный палец:

— Нет плохих ролей—есть плохие актеры.

Инженю похожа на маленького сытого пони. Она весело переступает лакированными копытцами и красным карандашиком реставрирует полинявшие губы.

— ...и спрашивает меня: вы замужем? Я это сделала невинные глаза-незабудки и говорю: что вы! Я еще так молода и неопытна...

Резонер Гулишамбаров жирно смеется, и тяжелый комок брелоков маятником раскачивается на его животе.

— Ну, Женька! Не баба, а два с боку!

Он звонко бьет инженю ладонью по круглому заду.

— Перестань, Николаша,—спокойно говорит инженю,—поклонников отобьешь.

— Начнем! Место!

Заломов сидит на ступеньке лестницы, ведущей в мрак колосников, и перелистывает роль комиссара. Больное его лицо исчерчено клетчатыми морщинками, и глаза похожи на рыхлые кусочки студня.

— Не понимаю,—говорит он актерам,—на кой чорт устраивать эту халтуру? Революция? Пожалуйста! Целуйтесь с ней. Но почему из этого следует, что нам, актерам, нужно играть бездарные пьесы?

Заломов отворачивается к окну и сквозь пыльное стекло смотрит на двор, постукивая пальцами по подоконнику. На дворе помощник реквизитора комсомолец Паша и рассыльный Митька играют с мальчишками в городки. Толстые палки кувыркаются в воздухе, громко ударяют в деревянные кругляши, смачно шлепаются в лужицы.

— О-го-го!—весело орет Митька,—толково! Береги-ись!

— Ставь на попа!

— Крой!

Инженю пальчиком трогает плечо Заломова:

— Петр Николаевич, что вы, детка, задумались?

Заломов отрывается от окна. Возле его губ лежит бессмысленная тупая улыбка.

— Пыль,—вежливо отвечает он и смотрит на свои пальцы,—Да... Пыль...

После репетиции актеры возвращаются домой по главной улице, по мокрым дырявым тротуарам и чувствуют на себе любопытные обывательские глаза. Люди останавливаются и с интересом рассматривают широкие цветные пальто, коротенькие брючки, удивительные женские шляпки. Две бабы у ворот глядят актерам вслед, удивленно открыв рты.

— Ишь какие,—говорит одна,—не русские, видать.

Заломов идет с режиссером, постукивая тростью по доскам тротуара. Он говорит злым хрипловатым басом:

—...и я имею удовольствие быть членом союза работников искусств. Громко и пошловато сказано, но... ладно. Допустим. Но ведь членами этого же замечательного союза—наши поломойки и рассыльный Митька. При чем

тут поломойки и рассыльные? Или: при чем тут искусство? Явная чушь. Я двадцать пять лет на сцене, дорогой мой... Но эти вот годы—я не актер. Нет. Ничего подобного. Я советский служащий по семнадцатому разряду, и у меня есть «норма выработки»... как у слесаря. «Норма выработки»... Вы понимаете?.. Ха!..

В понедельник, накануне открытия сезона, в театре общее собрание труппы и технического персонала. Пришли рабочие сцены, уборщицы, билетеры. Актеров почти нет: актерам не нужно заниматься политикой—им нужно заниматься искусством. Заниматься политикой явились: комическая старуха Голубева, суфлер Баранович, администратор Апполонов и режиссер. Молодой человек, с рыженькой бритой головой, в длинной новой толстовке, открывает собрание. Это—председатель местного отдела союза «рабис». Он говорит «пóртфель» и «прóтокол» и таскает с собой толстую папку с циркулярами и прошлогодними газетами. По профессии он—фельдшер. Он трудолюбиво машет рукой, раз'ясняя задачи советского театра.

— ...и производственную программу театра... приспособить к обслуживанию широких рабочих масс... культурное и художественное воспитание.

К концу собрания, когда нестройно, тягуче поют Интернационал, из актеров остается только старуха Голубева. Она терпеливо, как в церкви, слушает монотонное пение и сухой ручкой прикрывает зевающий рот.

...В конце октября благополучно открывают сезон. Хозарский обиженно играет голубую роль (едет на суфлере), героиня томится без любовника.

Седьмого ноября, утром, к Заломову приходит Казик Смиренский. В грязной ночной рубахе Заломов лежит на диване и читает роль. Желтенький хилый котенок свернулся на его животе, и Заломов тихонько поглаживает кошачью мягкую спинку. Жена Заломова Елена Степановна разжигает на окне хриплый копченый примус.

— Идемте на манифестацию, Петр Николаевич.

Заломов трет отвислую щеку.

— Какую манифестацию?

— Сегодня годовщина Октябрьской революции.

— Революция? При чем же тут я?—удивляется Заломов.—Нет, дорогой, не пойду. Не люблю.

Он мутно смотрит на Казика рыхлыми, как студень, глазами. Потом заслоняет их изношенными веками.

— Болен я... знаете... болен совсем.

Желтенький котенок зевает, высовывая остренький свежий язычок.

В коридоре Заломов догоняет Казика, шлепая ночными туфлями, и берет его за руку.

— Простите, дорогой... Не можете ли вы мне достать еще... ну, хоть грамма два. Вы понимаете?

Казик выпячивает губы и глядит на потолок.

— Трудно,—вздыхает Казик,—в этой дыре кокаин можно достать только в аптеке... Постараюсь.

— Спасибо, дорогой...

Заломов, согнувшись, тяжело идет в свою комнату.

По улицам густо идут профсоюзы, школы, красноармейские части. Сверкают золотыми маковками пожарники. В грузовики, как в об'емистые неуклюжие вазы, втиснуты тугие букеты пионеров.

...Ты, буржуй, вставай с постели,—
Во! и боле ничего!..

Домишки радостно раскланиваются красными легкими флагами.

...И с нами Ворошилов—
Наш красный офице-эр...».

Улицы поют, горланит площадь, перекликаются оркестры.

Работники искусств идут в хвосте. Рассыльный Митька впереди важно несет союзное знамя с тяжелыми золотыми кистями.

Он вспотел, ушастая заячья шапка поминутно с'езжает на глаза, и поправить ее нет никакой возможности. Позади кучкой—актеры. Под руку с толстым режиссером идет, постукивая нарядными ботами, героиня Зеленая в котиковом манто.

— Значит,—говорит режиссер,—значит, моя родная, я вас опять показываю в субботу, в «Осенних скрипках»... Видите, какая история...

— В субботу? М-м-м... Не знаю, как... К субботе у меня вряд ли будут готовы платья.

— «Ох, женщины, женщины,—сказал Юлий Цезарь, плюнул и, завернувшись в тогу, упал у статуи Помпея!».

Режиссер брызжет, как из пульверизатора, шипящим смехом и ласково похлопывает лайковую героинину ладонь.

— Всегда вы, родненькая, со своими платьями...

Хозарский солидным независимым туристом вышагивает, опираясь на трость и подняв бобровый воротник пальто. Рядом с ним передвигает тяжелые глубокие калоши комическая старуха Голубева, спрятав руки в узкую мерлушковую муфту. Казик уцепился за рукав Павла Иваныча и рассказывает анекдот:

— У одного еврея...

Павел Иваныч передвигает усоподобные брови и спрашивает, кося глазом:

— В этом месте надо смеяться?

...После митинга на площади Коммуны профсоюзы возвращаются по главной улице—по Советской—мимо Исполкома. На исполкомском балконе плотный человек весело машет фуражкой:

— Привет союзу металлистов!

— Ур-ра!—ударяет в балкон снизу тысяча звонких глоток.

—....строителей!

— Ур-ра!..

— ...кожевников!

— Ур-ра! У-а-а!

За изнемогающим от тяжелого знамени, вспотевшим Митькой сиротливо шагают два-три рабочих сцены, уборщица Клавдия и позади понуро шлепает калошами комическая старуха Голубева. Остальные незаметно растаяли.

— ...искусств!—падает с балкона.

Митька круто оборачивается, как дирижер к оркестру, когда нужно срочно сыграть туш, и свирепо взмахивает рукой.

— Ура-а,—совсем жидко кричат работники искусств и, опустив головы быстро проходят мимо.

Митька злобно вскидывает шапкой на голове и презрительно сплевывает:

— Э-эх... народ, ей-богу! Дерьмо в человечьем платье.

В уборной гримируются трое: старый несмешной комик Иван Иваныч, Казик и недавно приехавший молодой актер Семенов.

Иван Иваныч сердито тыкает растушевкой в коробочку с красками.

— Сволочи! Дали бенефис в великом посту. Вот спасибо! Ну, на што можно рассчитывать в великом посту? Какой может быть сбор? Две копейки. И так, заметьте, мне всегда везет... Парикмахе-ер! Пожалуйте сюда. Я какой просил парик? Русским языком: городской с проседью и лысиной. А это што? Што это, разрешите задать вопрос? Коровий хвост. Оденьте на вашу тетю...

— А что в бенефис думаете ставить, Иван Иваныч?—спрашивает Казик.

Иван Иваныч злобно бурчит:

— Тр-рагедию... «Страшная клятва на пупе Генриха четырнадцатого»... До моего бенефиса вы два раза родить успеете, молодой вы мой человек с голубыми глазами... Между прочим, сеньор, покорнейше прошу вас не свистеть—вы не в конюшне, а некоторым образом в театре-с!.. да... а в театре-с спокон веков свистеть...

Семенов насмешливо фыркает:

— Сборов не будет?

— Да-с. Нет будет-с! И ваши злокачественные улыбочки, человек вы мой молодой, спрячьте в свой дырявый карман...

— Вот тоже семечек грызть нельзя,—ужаснейшая примета для благополучия театра... А если уронил роль на пол, необходимо сейчас же сесть на нее, иначе обязательно провалишь. Так ведь, Иван Иваныч?

Иван Иваныч энергично натягивает узенькие полосатые штаны и ворчит:

— По сцене ходить не умеют, а тоже... Советские актеры... Второго сорта Б. Раньше таких занавес поднимать не пустили бы... Знаете, какие раньше труппы были? Э-эх... откуда вам знать! Приезжаешь, бывало, на сезон... к Петру Петровичу Медведеву. Составчик—первоклассный. Имена—сплошь. Понятно—заезжаешь в лучшую гостиницу... В день открытия—молебен. Губернатор приезжал. Потом для труппы и гостей ра-аскошный обед в фойэ. А публика была—бож-же мой! Было для кого играть и жить было для чего. Из партера портянками не воняло, как теперь... Да-а... Общество было. После спектакля обязательно дежурный карась ужинать тащит или в клуб. Из фрака не вылезаешь, бывало. Вино, компания душевная... Или еще пикники на тройках за город... Эх!.. Бенефисы-то какие брал! Подарки, адреса. И ведь заметьте, работа адовая: семь спектаклей в неделю катали, не считая утренников! И—ничего! Бодрость была, свежесть, жизнь была! А актеры какие! Теперь таких на всю Россию десяток. Какие теперь актеры? Чистый смех! Мразь. Био-механики, едри их бабушку! Студисты, монтажисты... шантажисты всякие. Вот—спасибо!

Иван Иваныч бешено выкатывает на Семенова глаза и кричит, разбрызгивая слюну:

— А где актеры? Слушайте вы, Мейерхольд тетюшинский! Где у вас актеры, позвольте задать вопрос? Покажите! Што вы можете пред'явить? Старым запасцем живете? Нами, стариками, живете!

Семенов вместе со стулом поворачивается к Ивану Иванычу и смотрит на него с любопытством.

— Вот это-то и скверно,—говорит Семенов,—оттого и мертвечинкой попахивает здорово. Поташнивает, знаете, многих... от старого этого запасца... Вот вы с ядовитейшей иронией, с самым что ни на есть классическим презрением кривитесь на еретические слова: био-механика, конструкция там... массовое действо, а ведь и смысла-то их не понимаете! Эх, вы, папаши

театральные! Бегаете запыхавшись да закрываете форточки, зализываете все щели, чтобы к вам не проник свежий воздух и не проветрил, не дай бог, все эти ваши гнилые павильончики, идиотские лесные арки, диванчики и пуфы... чорт бы их драл! Зубами держитесь за ваши заученные интонации, фортеля и прочие штампы, за монологи «под занавес», когда можно «нажать педаль»! Вы!... академики! Щеголяете в дырявом мундире, который вам дедушка оставил... Николай Хрисанфыч Рыбаков. А мундир-то давно истлел! Да. А вы и не заметили? Истлел и, знаете, нафталином провонял насквозь.

Иван Иваныч слушает, отвалив мягкую нижнюю губу, багровеет и кисточка в его пальцах дрожит. Он поднимает старое свое лицо и спрашивает глухо, с язвительной деликатностью оскорбленного графа:

— Вы... што же... пардон, молодой человек... в качестве комиссара в наш театр присланы? Што?

Семенов досадливо машет рукой:

— А, бросьте...

Перед выходом на сцену Иван Иваныч шепчет Казику на ухо:

— Вы с ним... поосторожней, милый. Слышали? Ясно, как апельсин, агент из Гепеу.

— Вот—спасибо!

Иван Иваныч обдергивает пиджачок, торопливо крестит жилетку и бежит на сцену.

Елена Степановна легонько дергает Заломова за рукав.

— Петенька, встань, милый. Пора на спектакль, семь часов.

Заломов спит, свесив с кровати большую, с набухшими венами, руку и кругло раскрыв рот.

— Петенька...

Заломов поднимает веки, рассматривает неясные букетики и ромбы на потертых обоях и долго не может понять, утро или вечер. Садится на кровати, трет помятую сном щеку и морщится от горечи во рту. Потом встает и перекидывает за плечи старенькие голубые подтяжки. Он шумно сопит носом и двумя пальцами шарит в узких кармашках жилетки, что-то озабоченно ищет в карманах брюк и пиджака.

— Лена, ты не помнишь? Как-будто у меня еще оставалось чуточку?..

Елена Степановна качает головой.

— Нет, Петенька... Ни крошки.

— Тогда... Боже мой: Как же я? Ведь мне же играть сейчас. Играть, пойми! Я же не человек буду.

Заломов стоит посреди комнаты, и его длинные руки висят беспомощно и слабо, как веревки на столбе гигантских шагов.

Елена Степановна подходит к мужу и нежно гладит рукав его пиджака.

— Петенька, возьми себя в руки, родной...

Заломов вырывает руку и снизу, широко размахнувшись, бьет Елену Степановну по лицу.

— Сволочь! Спрятала или выбросила?

У Елены Степановны по худым щекам бегут к подбородку две маленьких прозрачных слезинки, будто капли дождя по стеклу...

Заломов складывает вещи в кожаный чемоданчик: грим, пудру, зеркальце. Сегодня союз работников искусств устраивает в центральном рабочем клубе спектакль-концерт в пользу ленинградских рабочих, пострадавших от наводнения. Заломов с инженю играют две сцены из «Королевского

брадобрея». Когда, одев пальто и калоши, Заломов открывает дверь в коридор, Елена Степановна сидит у стола, уткнувшись в носовой платок, свернутый в мокрый комочек. Она, не оборачиваясь, говорит:

— Петя... одень кашне.

Темная кривая улица осторожно сползает с горы на площадь, и низенькие домишки боязливо щурят желтые щелки ставней. Тротуары горбато и скользко обросли затвердевшим снегом, и редкие столбики по краям торчат, как указательные пальцы на грязных ладонях улицы. На площади, у дверей клуба, раскачивается на проволоке круглый фонарь с плоским черным колпаком на макушке—будто пьяная голова в фуражке. Под фонарем—облезлый плакат облокотился затылком о железные перила крыльца. На плакате неуклюжими хромыми буквами густо намазана фамилия Заломова.

Заломов поднимается по каменным скользким ступенькам и тянет к себе тугую дверь за медное кольцо. В голове его пусто и просторно, как в нежилой комнате, и в уголке где-то лежит каменный неподвижный мозг.

Невозможно вспомнить ни одной фразы из роли, нельзя восстановить ни одной реплики. Как там? Позвольте...

...Историю священного писания...

Забыл. Мозг не работает. На лестнице Заломов ловит позади себя сухой смешливый шопот:

— Это Заломов... У нас играет сегодня.

Заломов оглядывается. Две девушки смотрят на него, потом прыскают смехом и бегут вниз...

В уборной душно, напакащено окурками. На полу кучей свалены в угол пальто, калоши, шапки. Громко спорят и кадят махорочным дымом оркестранты. Нацепив на грудь огромный кусок красной ленты, суетится рыженький председатель союза «рабис». Заломов гримируется, разложив на пыльном подоконнике грим, парик и седую королевскую бороду. Он погружает кисточку в пузырек с лаком и густо смазывает щеки и подбородок. Потом он подзывает председателя.

— Голубчик,—говорит Заломов,—как хотите... Вы знаете—я больной человек. Слова не смогу выговорить на сцене, если не достанете... хоть полграмма—не смогу.

Председатель удивленно морщит рыжие бровки.

— Товарищ Заломов... довольно странно! Где я возьму? Посудите сами: ночь. Где я возьму?

Заломов плотнее натягивает трико на тощие длинные ноги и одевает бархатную шубку короля, обшитую по краям белым облысевшим мехом.

— Поймите, милый... Мне иначе нельзя... Не могу... Ни звука не помню. Достаньте, милый... Иначе, как хотите... играть не буду. Надо же понять..

Председатель волнуется, поглаживая выстриженный затылок и мерцая веснушками.

— Ну, положим, играть вы будете! В порядке союзной дисциплины.

— Ш-што?

Заломов округляет неживые опухшие глаза срывает бороду и стаскивает парик.

— Товарищ Заломов!—испуганно кричит председатель,—имейте в виду, что этот спектакль в пользу ленинградских рабочих! Вы знаете, какие могут быть последствия?

Заломов молча аккуратно стирает грим, складывает в чемоданчик вещи и согнувшись медленно идет к выходу.

— Товарищ Заломов!

— Идите вы все... к матери!..

Прежней кривой улицей Заломов идет домой. Из-за низенького сонного домика выглядывает одутловатая нечистая луна. Заломов останавливается и долго всматривается в ее знакомое старое лицо.

— Что старуха?—тихо усмехается Заломов и ему хочется ласково похлопать ее по плечу—такую старенькую, смешную и неизменимую...

«Обещанного три года ждут».

«Обещала администрация театра
еще в сентябре выдать техперсоналу
спецодежду, а что-то и не чешется.
Видно, обещанного три года ждут.
Охрана труда, проснись, подымись!».

«Зря зарплату получает,
А играла раза два:
Птичка божия не знает
Ни заботы, ни труда!
Угадайте, т. т., кто?

«Товарищи! Выпуская № 1 нашей
стенгазеты, редколлегия призывала
всех т. т. участвовать в этом культ.
деле. Многие т. т. из техперсонала
откликнулись, за что им пролетарское спасибо, а вот надо отметить
факт, что из артистов не нашлось,
кто бы написал. Стыдно, товарищи!

«Вон его!».

«Рабочих Ленинграда, столько своей крови
проливших за пролетарскую
революцию, постигло бедствие:
небывалое наводнение лишило их крова
и последнего имущества. Все рабочие
массы, все члены профсоюзов делают
все, чтобы помочь своим ленинградским товарищам. И вот также наш
Рабис решил поставить спектакль,
и сбор послать ленинградским товарищам. Но у рабочих есть не только
друзья, у них есть тоже и враги.
Таким врагом рабочего класса
надо назвать артиста Заломова.
Этот господин отказался играть
в спектакле, который устроил наш
Рабис, потому, что ему не дали
потребованный минут за 15
до начала кокаин. И спектакль
сорван, и деньги возвращены публике обратно. А был полный
сбор. Может ли терпеть наш
союз такого врага рабочего класса
в своих рядах? Ответ, товарищи,
довольно ясный: нет! Вон его!».

Стенгазета называется «Красные Кулисы» и висит в актерском фойэ, рядом с пыльным портретом Островского. Бледными синими полосками отпечатаны на ремингтоне длинная передовая, заметки, стишки.

Комсомолец Паша—редактор—не спал ночь. Актеры, позевывая, читают названия. Кокет скользит по бумаге перламутровой лорнеткой:

— Кто это сочинял?

— Не знаю... Говорят, реквизитор Пашка.

— Довольно безграмотно, по-моему.

— Н-да... чепуха. А Заломова затравят. Факт.

— Вот оно, «пролетарское искусство», чем занимается!

— Эх, бездарь...

Рассыльный Митька раздает актерам пожелтевшие роли из «Павла 1», идущего в бенефис Заломова.

— Распишитесь.

Митька сердито тыкает пальцем в разносную книгу.

Актеры обязаны играть эти роли, как и всякие другие, но на уголках—традиционная надпись рукой бенефицианта:

«Прошу не отказать сыграть в мой бенефис. П. З.».

Союз работников искусств помещен в самой маленькой и самой душной комнатке Дома Союзов. На стене—уродливый портрет Томского, написанный местным художником, и огромный, нарисованный на четырехугольном картоне значок союза, изображающий комбинацию из свитка нот, трех толстых кистей, белой слепой маски и неопределенного вида геометрических фигур, слабо символизирующих скульптуру и архитектуру.

Секретарь союза сидит за письменным столом и кушает бутерброд, сосредоточенно упершись глазами в чернильницу.

— Мы вызвали вас,—говорит секретарь Заломову,—вытирая газетой жирные пальцы,—чтобы вручить вам копию протокола заседания правления об исключении вас из союза. Вот получите, пожалуйста.

Заломов берет аккуратно перепечатанный на машинке протокол.

...«Постановили: принимая во внимание, что отказ артиста Заломова от участия в спектакле повлек за собою отмену последнего, что в корне подорвало проводимую союзом кампанию помощи ленинградским рабочим,—исключить артиста Заломова из числа членов союза, как чуждый и вредный элемент».

— Распишитесь. Между прочим, настоящее постановление имеете право обжаловать в Ц. К. союза.

Заломов рвет в кусочки протокол, швыряет на пол и коверкает лицо злой улыбкой:

— Гусь свинье не товарищ. Это правда.

— Совершенно верно,—соглашается секретарь, но кто свинья?

У двери Заломов оборачивается и кричит, густо налив кровью лицо и театрально выбросив вперед правую руку:

— Слушайте вы! Самозванцы из фельдшерской школы! Я плюю на ваше постановление! Слышите? Плюю? Кто вы такие? Кто дал вам право ковырять-ся в моей жизни, как в своем сопливом носу? Кто?! Прав-ление! О, профессиональное ничтожество...

Заломов задыхается и торопливо, прыгающими пальцами нахлобучивая шапку, выбегает из комнаты.

Вот,—блестит в пространство лакированными глазами Заломов,—вот... мне сейчас хорошо. Выполоскал душу и обрядил ее в чистое белье... Вы понимаете?..

После спектакля он плохо стер грим, под глазами лежат неровные коричневые тени и у виска—карминовая полоска. Морщины отчетливыми тропинками пересекают желтую кожу.

Казик осторожно развертывает очередной порошок и кладет на стол. Рядом—маленький осколок зеркала и новое стальное перо. Казик оглядывает всех таинственно и победоносно:

— Качество—убиться легче. Мэрковский.

Черпают порошок тупым кончиком пера и перед зеркальцем шумно вбирают в ноздрю. Потом слегка прикрывают глаза. Казик собирает со скатерти блестящие белые пылинки, жадно слизывая с пальцев.

— Осторожнее, господа, ради бога,—осторожнее... не рассыпьте.

Зеленый свет от лампы пушистым котом перепрыгнул на стену, сполз к казиковой кровати, блеснул в никелированных шариках и дырявой кисеей лег на одеяло.

Поэт Шура Мерц на диване курит сладковатый табак из беленькой трубки и женским голосом, нараспев, читает стихи:

Сломите будничные рамки
И от людей уйдите прочь:
Построит радостные замки
Для нас сегодняшняя ночь...
Больных ночей товарищ старый
И друг единственный у нас
Сомкнет в одно четыре пары
Прозрачно думающих глаз.
И, разгадавши смысл однажды
Неодинаковых дорог,
Пусть торопливо гложет каждый
У жизни вырванный кусок...
И мысли крепкие, как водка,
И ненадежные, как воск,
Пусть ясно выпукло и четко
Наш вырабатывает мозг...
Вчерашних нас—тупых животных—
Мы заключили в сладкий плен,
Где наша мысль кричит у плотных,
Невероятно белых стен...

У инженю горят сумасшедшие расширенные зрачки и под темной кожей неустанно работают челюсти:

— Невероятно... белых... стен...

Голос ее рвется, как гнилая нитка.

Казик обезьянкой крадется по ковру, трет шуршащие ладони и, наклоняясь ко всем, сладко заглядывает в глаза:

— Ну... как?

Сжав руками виски, покачиваясь, Заломов нечистым, осевшим голосом собирает в кучу разрозненные, скользящие в мозгу слова. Он часто облизывает сухие губы.

— ...и еще вот... Слушайте. Когда в Москве, в голодный год... я метался по халтурам, играл за полфунта сахара... кормился гнусными пайками... пер их на салазках через весь город, по-собачьи высунув язык... грыз конину и думал только о том, как бы ухитриться не подохнуть...—они в это время жрали не больше моего, но... гарланили, бессмысленно, дико шумели... смеялись, шлялись с флагами... жили... У меня мысль: знаете, что они тогда делали? Они ревизировали у нас наше завтра. Да, да... Кастрировали у нас вкус к жизни... Нас оставили на сцене забавлять почтеннейшую рвань, но со сцены жизни нас вытурили в шею... Мы получили бесплатные контрамарки на право быть случайными зрителями чужой похабнейшей комедии... мы—чуждый элемент Вы понимаете? В родной нашей многоуважаемой стране мы—иностранцы... Незнатные иностранцы...

Он быстро идет к столу и тонкими пальцами хватает перо...—Да... вот. Чувство такое: еду в загаженной мерзкой теплушке без окошек по пыльной степи... Куда? К чортовой матери. И вот скоро выпрыгну под откос... от духоты. Дальше не поеду. Ну их... Он круто поворачивается и говорит тихо, но четко, будто à part на сцене:

— Меня искалечили... Боже мой, до чего меня искалечили! Лет шесть назад я был совсем здоровым и цельным... я не имел понятия об этом... белом дьяволе, а теперь я дышать не могу без него... Я перестал чувствовать себя человеком. Во мне зияет огромная черная трещина и через эту трещину—я чувствую — по капле вытекает из меня жизнь... Смешно: меня исключили из союза! Какое это может иметь для меня значенье, если я давно уж исключен из жизни?.. Вы понимаете?

Шура Мерц мрачно смотрит на окна и сосет беленькую трубку:

— И мутно-белыми квадратами
Два обозначились окна...

— Н-да... пессимизм, свойственный современной разлагающейся интеллигенции, как любят теперь говорить... хотя актеры и не интеллигенция, а... как у Гоголя: «ни то, ни се, а чорт знает что»... Распечатай Казик.

Казик осторожно поднимает палец:

— Последний. Пожалуйста, ма-аленькими понюшечками, братцы...

...В комнату медленно вползает утро. Лампа слабо кашляет и дергает зеленым глазом.

Казик с болью смотрит на пустую, уже тщательно вылизанную кем-то вощеную бумажку из-под порошка, потом искажает лицо идиотской улыбкой, быстро опускается на четвереньки и ползет под стол. Он ищет упавшие белые пылинки.

— Встань!—шопотом кричит Шура Мерц и бьет по столу беленькой трубкой,—сейчас же встань! Скот...

...Заломов идет по пустым снежным улицам. Серые утренние домишки брезгливо косятся на него темными сердитыми окнами. На углу дремлет обсыпанный снежной пудрой, овчинный извозчик. Унылая лошаденка скорбно, по-старушечьи, опустила седую вздрагивающую губу. Пьяный человек вывертывается к саням и негромко требует:

— Извозчик... подавай... на три аршина кверху...

Извозчик лениво косится на пьяного и привычно отвечает:

— Што-ж?., моя веревка, твоя шея—можно.

Заломов садится в сани, извозчик суетливо дергает вожжи и веревочным кнутом хлещет по острым лошадиным ребрам.

За городом где-то встает студеное солнце.

Василий Иванович Цибулев и актер Семенов играют в шашки. Черная вонючая трубка спряталась в косматой бороде Цибулева и чадит оттуда синим махорочным дымом. Цибулев шаркает по доске кругленькими деревяшками и хрипло поет:

Лынка, лынка,
Лакатынка,
Шагом-магом, четвертак,
Старый нюхает табак;
Не доехал до границы—
Скинул шапку, рукавицы,
Тески-потески,
Ударили в доски,
Поехали в Москву,
Купили коровку.
Коровка-то с кошку,
Доится на ложку—
Ни нам, ни людям
И ни маленьким детям...

Пока Семенов удивляется бессмысленным словам песни, Цибулев фукает у него шашку, дарит одну свою, а сам забирает трех и проходит в дамки. Потом он смешливо крутит носом и кисло морщит лицо:

— Ох же и па-ахнет кому-то! Не-ет, не могут актеры в пешки играть... Ходи.

Ни нам, ни людям...

По лестнице, запыхавшись, бежит Казик Смиренский. Он останавливается у перил и стряхивает шапкой снег с воротника пальто.

— Сейчас... Заломов зарезался,—говорит Казик,—едем.

Цибулев вынимает из бороды трубку и широко крестится:

— Ц-ц... ска-ажи пожалуйста... а? Вчера только в пешки со мной играл, а? Ну... царство небесное. Хороший был человек... Ходи.

Семенов и Казик едут в общежитие. Сани скользят по белым улицам, глаза—по деревянным заборам: Павел 1... Павел 1... Синие солдатики бегут по желтому полю, рассыпались в цепь:

— Б-е-н-е-ф-и-с.

У ворот общежития шевелится темный сгусток людей. На крыльце милиционер трет озябшие уши. В комнате Заломова театральный врач, обернувшись к окну, протирает очки носовым платком, и, низко склонившись над столом, скрипит пером по бумаге начальник милиции. Заломов лежит на спине у кровати, бросив в сторону длинные руки. Синеватые червячки криво сползают из черного горла на рубашку, на голубые старенькие подтяжки, юркают под кровать...

...В спаленке у комической старухи Голубевой тихо сидит на кровати жена Заломова—Елена Степановна. Рядом—несколько белых актерских лиц. Елена Степановна не плачет. Одной рукой она цепко схватила металлический прутик кровати, пальцы другой глубоко вдавила в серую свою щеку. Она к чему-то внимательно прислушивается, ждет и, жалко тряся головой, говорит в тишине простые, отрывистые слова:

— С репетиции пришел... все ходит, все ходит по комнате и пальцы кусает... Говорю: Петенька... перестань, миленький, волноваться... тебе играть сегодня... бенефис твой. Может быть выпьешь портвейну, я схожу?.. Сбегала за портвейном... а он все ходит... ходит... Потом... Погладил меня по голове... ласково... и говорит: «спасибо... деточка... заботишься обо мне»... Открываю бутылку... а сама оглядываюсь... потихоньку... Вижу—из-под матраца... достает что-то... Подбежала к нему... у него... бри...бритва в руке...б...ритва... Я вырываю... кричу... Отталкнул меня... в грудь... к двери... упала я... а он... а он...

Елена Степановна оглядывается на дверь, вздрагивает и, наклонившись к Голубевой, таинственно шепчет:

— ...волновался он очень всегда... Сколько раз... отнимала у него... бритву... И сколько раз говорил: «Давай вместе умрем, деточка»... Проснусь ночью... проснусь, а он... тихонько так... гладит мне шею... «Люблю, говорит, я тебя, деточка... ты у меня все»... Часто Петенька... плакал...

Она поднимается и умоляюще складывает на груди руки:

— Пожалуйста... я вас очень прошу... пустите меня к моему мужу...

К мужу Елену Степановну не пускают.

Вечером театр бурчит об'емистым сытым желудком—нестройным человеческим гулом. Публика вьется по коридорам, струится по лестницам, кружится в фойэ и постепенно, густой копотью оседает на белых балконах, на партере, в ложах.

В черную щель занавеса протискивается к рампе администратор Апполонов. Он поднимает руку.

— Ч-ш-ш...

— Граждане,—говорит Апполонов,—на мою долю выпадает печальная обязанность анонсировать о большой и непоправимой нашей утрате... Вы

пришли на бенефис нашего дорогого товарища Петра Николаевича Заломова.. Спектакль не состоится. Два часа назад бенефициант покончил самоубийством... Предлагаю почтить его память вставаньем...

...Деньги можно получить из кассы сегодня же; желающие могут пожертвовать их на похороны... Покойный оставил семью без всяких средств.

Снова урчит нестройным гулом огромный театральный желудок. По коридорам, по лестницам публика стекает вниз, затопляя вешалки и кассу...

Поздно вечером усталая кассирша захлопывает стеклянное окошечко и пишет карандашом рапортичку: продано... возвращено... Внизу рапортички помечено: «не возвращен в кассу (деньги считаются пожертвованными на похороны) один билет—галлерея второго ряда, цена 35 коп.».

На больничном просторном дворе—небольшой кирпичный домик. На румяной его щеке вспух белым флюсом сугроб, скрыв до половины узкие окна. Сторож, коротконогий стариченок в фартучке, ведет актеров, как опытный гид по комнатам музея, мимо брошенных на каменном полу голых своих экспонатов.

В белой комнате вытянулся в тесном гробу Заломов. Потемневшее, как старинная гравюра, лицо, реденькие серые волосы, туго спрессованные к затылку, черный старомодный сюртук, в котором четыре дня назад он играл «джентльмена», чистый крахмальный воротничок. У Заломова корректный, праздничный вид.

— Ишь, как я его починил—как новенький!—хвастает стариченок, любуясь Заломовым.—Тут, где распорото было, ниточками заштопал, кожу натянул, из-под воротничка и не видать ничего.

Он, об'ясняя, грубо-уверенно, как вещь своего изделия, комкает и мнет лицо покойника.

Катафалк белым баркасом плывет по сугробам, тихо покачиваясь. И за ним плывут унылыми золотыми рыбками мерные стоны оркестра. Корнеты и басы напрягаются медным студеным криком и сиплыми простуженными петушками поют слабенькие кларнеты.

За катафалком пышным шлейфом тянется черная толпа. Юркие старушки с любопытными, жадными глазками, люди в полушубках, девицы в пуховых уютных платках. И среди них—пестреющим цветным островком—нарядная кучка актеров. Кружевной платочек героини Зеленой совсем мокрый, комическая старуха Голубева плачет, уткнувшись лицом в мерлушковую муфту, и растягивает побледнешие губы Казик Смиренский, обнажая мелкие шоколадные зубки.

Партизанская женка.

Мих. Никитин.

I.

Этот рассказ начинается 2 апреля 1927 года. В Омском доме работников просвещения происходит празднование пятилетия «Сиб. Огней». В. Зазубрин, произнеся последнее слово доклада, подходит к лесенке, соединившей сцену и партер. Студенты и учителя словесности, ринувшись вперед, окружают докладчика. Это напоминает цирк.

В самом деле, напудренный режиссер прокричал:—антракт.—Клоун, выскочив на арену, сделал обезьяний прыжок, белые глаза плафонов медленно угасли, шталмейстеры встали в дверях, зеваки устремились за кулисы.

В антрактах разрешено осматривать конюшню. Зеваки бродят вдоль конских стойл, лошади блестят отлакированными спинами, рука, затянутая в перчатку, подносит к теплым мордам сахар и конфекты, лошади, тоскуя, берут губами комнатные лакомства.

Докладчик явно не хотел быть деликатной лошадью.

— Узнаете?—спросила его Эльза,—студентка Сибакадемии, латышка, похожая на англичанку.

— Не узнаю,—сказал докладчик. Белокурая Эльза вспыхнула, ее звонкие каблуки царапнули паркет.

Так началось шествие зевак. Человек, замкнувший это шествие, не был похож на студента или на учителя словесности. Он был черен и кудлат, лицо его было в синих точках, края синей блузы спускались до колен. Он выкинул вперед руку, волосатую и большую, пальцы ее были скрючены.

— Я—тряпицынский партизан,—сказал человек (голос у него был сиплый):—вы тут говорили насчет Фрайермана, нет ли у вас той книжицы, где описано о партизанах?

Будем кратки. Я подошел к докладчику и сказал, что у меня есть книга «Сиб. Огней» с Фраермановской «Огневкой».

Так началось мое знакомство с тряпицынским партизаном. Фамилия его была Кузнецов. Он жил в полуподвале (на ул. Герцена, 54). Комнатка у него была крохотная и удивительно пустая.

В один из весенних вечеров я застал Кузнецова лежащим на кровати. Ноги его в вытяжных сапогах покоились на утлой спинке.

— Садись,—сказал Кузнецов.

Я подошел к окну и сдвинул на подоконнике железный хлам. Вечер отцветал. На тихом дворе, под Кузнецовским окном копошились две девочки. Они делали пирожки из глины. Я услышал странный разговор.

— У тебя, Галя, сопля,—сказала черная девочка. Белая Галя подняла голову. Голова с трудом держалась на тоненькой шее.

— У меня нет сопля,— сказала она обиженно.

Черная девочка воткнула в пирожок лопатку.

— Ты будешь кухарка—сказала она убедительно.

Партизанья берлога показалась мне угрюмой. Она пропахла табаком и неопрятным телом. Кроме того, в ней утвердилось запустенье.

— Кузнецов,—сказал я неожиданно,—почему ты не женишься?

Утлая кроватешка скрипнула. Кузнецов переплел пальцы и положил руки под голову.

— Я был женатым,—отозвался он тускло,—жинка моя сгибла в партизанщину.

Любопытство дотронулось до моего плеча. Я вскочил с подоконника и пересек берлогу.

— Кузнецов,—сказал я несмело,—расскажи, Кузнецов!

Сапоги грохнули. Кровать заходила ходуном. Я чувствовал на себе чужие глаза. Они приводили меня в отчаянье. Я вздохнул с облегчением, когда в сумеречном запустеньи берлоги раздался сиповатый голос.

II.

— В восемнадцатом году, по весне, угодил я, браток, в служебный отпуск. Служил я в то время в кондукторской бригаде, жил не плохо, однако, отпуску обрадовался и пошел в деревню.

Деревня наша Крупянской зовется. Стоит она на Иртыше, верст на восемьдесят пониже Омска. Родни там у меня—гибель.

Прибыл в Крупянку в аккурат под воскресенье. Собралась родня, отец ведро самосидки выставил, ребята собрались—не пролей капельки, и пошла промеж нас веселая беседа.

Под утро все наше сродство к Бориску двинулось, к двоюродному братану. Начали мы кузнецовщину обхаживать—в одном доме—четверть, в другом—ведро.

Долго ли, коротко ли обхаживали, только раз просыпаюсь на полатях. Смотрю—мать шанежки стряпает.

— Ладно, думаю, стряпай, мать, шанежки, а я, однако, лакоголик и никакой не кандидат.

В башке собачий сор. Слезаю с полатей.—Дай, думаю, пройдусь до Иртыша.

Выхожу за ворота. На улице—звон, народ из церкви валит, все в кобеднешнем—праздник, значит.

Ладно. Дотопал до проулка. Смотрю—шлепают по Иртышу пароходы—один за другим, один за другим.

Я паров нагоняю и бегу к берегу. В аккурат пароходишко подваливает, на палубе солдаты, все вооруженные, а на мостике человек разгуливает, по-видимости знакомый:

— Неужто, думаю, товарищ Косырев?

Он тоже меня заприметил. Сводит совочком руки и кричит:

— Валяй сюда, дело есть!

Я моментально на борт, потом на палубу и—к товарищу Косыреву. Товарищ Косырев мне навстречу:

— Ты, однако, партийный?

— Так точно, отвечаю, кандидат еркапе, партии большевиков.

— То-то, говорит, я тебя на собраниях видел. А про чехов, спрашивает, не слыхал?

— Нет, отвечаю.

Товарищ Косырев берет меня под руку и дает такое об'ясненье:

— Чехо-словаки Омск забрали, наши отступают на Тару. Ежели охота есть, сматывайся на пароход.

Я подумал малость и отвечаю:

— Лозунг твой, товарищ Косырев, мне не с руки, потому что родителей моих некому призреть.

Товарищ Косырев сбычился. А у меня своя думка на сердце:

— Не серчай, думаю, товарищ Косырев, я свое время знаю.

С этой думкой схожу на берег и иду домой.

Дома шанежки ждут.

III.

Цветистая подлинность сказа плохо способствует экономии строчек. Автор обещал быть кратким. В этой главе сказ подменен авторским повествованием, сжатым, как конспект.

...Конники нарушили спокойствие Крупянки. Они примчались в конце «второго спаса». Лето увядало в школьном саду. Конники привязали лошадей в ограде. Их было трое. Они послали за старостой и улеглись в траву.

К полудню площадь загудела сходкой. Один из конников, высокий и худой, тренькая шпорами, вбежал на школьное крыльцо. Он прищурил на толпу бесцветные глаза, мужичьи лица казались одинаковыми. Он крикнул:

— Смирна-а!

В школьном саду шла воронья свадьба, вороний гам наполнил тишину, возникшую от окрика.

Конник поморщился и заговорил. Он заговорил о родине, поруганной большевиками, голос у него был жестяный.

Видел ли он Кудлатого? Кудлатый стоял в толпе. Внезапно он наклонился к соседу. Направо, налево, вперед, назад. Дуновенье шопота овеяло головы. Головы колыхнулись.

Конник вскидывал в воздух тонкие руки. Он говорил о мобилизации. Воронья свадьба не умолкала в саду, ветерок шопота разрастался в бурю.

Конник слышал воронью свадьбу, но не замечал Кудлатого. Внезапно Кудлатый крикнул:

— Довольно брехни!

Скопище колыхнулось—раз и два.

— По домам!

Гам воронья заглох.

— Арестую,—взвизгнул конник. Он сбежал с крыльца. Было уже поздно. Толпа уходила с площади.

Кудлатый шел в толпе.

— Какой нам резонт за буржуев фронт держать!—Кудлатый сипло орал и нес в сердце гордую думку:

— Эх, поглядел бы на него товарищ Косырев!

Но не товарищ Косырев, а рассудительный Борисок протискался к Кудлатому.

— Тебе, Кузнецов, стеречься надо.

Борисок дотронулся до плеча Кудлатого. Кудлатый обдал его жаром глаз.

— Борисок! отборное мое зерно, собачье племя, от судьбы никто не уйдет!

...И судьба постучалась в окно Кузнецова, страшно матершинясь.

— Сынок,—простонал ночью его отец. Кузнецов соскочил с полатей. Кто-то потрясал раму страшными ударами.

Луна стояла над церковью. Огромные тени солдат колыхались на лужайке. Кузнецов решился.

Изба, сенки, крыльцо. Все было напрасно. На крыльце стояли солдаты.

На другую ночь Кузнецова провели по улицам Тары. Тюрьма помещалась у каланчи. На каланче пробило одиннадцать, когда начальник тюрьмы выдал расписку в приеме арестанта и, позевывая, отправился спать...

IV.

— Блукащее вышло дело. Втолкнули меня в общую камеру, заперли на замок.

Народу в камере много, на нарах спят вповалку, и воздух очень тяжелый. Делать, однако, нечего. Выбрал я местечко на нарах и моментально заснул.

Долго ли, коротко ли спал, только слышу: кто-то трясет меня за плечо. Просыпаюсь, расхлябениваю глаза: стоит надо мной здоровенный мужик, мурластый да рыжий, да еще кривой.

— Вставай, говорит, разговор до тебя имею.

Я заругался. Он ругань мою выслушал и спрашивает:

— По какому делу?

Я перевертываюсь на другой бок и отвечаю:

— Так что по политике.

Мурластый вновь берется за плечо.

— Сапоги, говорит, парень, у тебя добрые.

Я глянул на него одним глазом. Он сплевывает на обе стороны и приказ дает:

— Скидавай!

Я его насмех. Он вынимает перышко и начинает пугать: метнет вверх— за черенок поймает, метнет вниз и опять поймает.

Ладно. Поиграл перышком и спрашивает:

— Отдашь добром?

Я моментально в сердце вошел. Рву на себе рубашку и недуром кричу:

— Бей об это место!

(Кузнецов расстегнул блузу. На бронзовой груди, в черном кустарнике волос всплыл синеватый лебедь).

— Бей, кричу, об это место.—А сам думаю:

— Только сунься!

Мурластый прячет перышко и показывает на лебедя.

— Сам наколол?

— Сам, говорю.

— А мне, спрашивает, смогешь?

— Смогу, отвечаю.

На том и поладили. Жизнешка наладилась подходящая. В камере блатные с политическими были перемешаны. Блатных, положим, немного, но камеру они держали в страхе. Мурластый у них верховодил. Был он фартовый стопорщик и с воли забран недавно. С него и вошел я в настоящий почет.

Почет, однако, не очень-то тешил. Тюрьма, как могила, тяжелым потом до костей прошибает.

Только и было отрады, что Дунярка передачу принесет. Дунярка ходила во вдовах, проживала в Таре в мужнином дому, а сродство имела в Крупянке. В Крупянке мы и слюбились.

По передаточному делу она, однако, походила недолго. Надоело ли ей, а может, пускать перестали, но только остался я без передачи.

Сижу неделю, сижу месяц—движенья нет никакого, а вшивой тоски—колымага. Только и было работы, что блатняку шкуры дубить. Блатные наколку любят. Я и накалывал. Одному голая баба требуется, а другому—лебедь.

V.

Автору неизвестно, существует ли книга о побегах. Такая книга повествовала бы о небывалом счастье.

В одной категории побегов счастьем увенчивается тончайший учет бесконечно малых возможностей. Так бежал из крепости анархист Кропоткин.

В другой категории счастье обусловлено секундой замешательства. Так бежала из контрразведки красноармейка Лариса Рейснер.

В седое утро Кузнецова ввели к следователю. За окном был белый буран. Снег таял на лице Кузнецова. Мохнатое тепло покрыло его плечи.

— Как фамилия?—буркнул усатый следователь. Кузнецов не успел ответить. За окном вдруг бабахнуло. Стекла, звеня, посыпались.

Усатый, бледнея, вскочил. Он постоял секунду и выбежал из комнаты. Кузнецов последовал за ним.

В коридоре не было часового. Кто-то грохал сапогами, сбегая по лестнице. Коридор был пуст.

Кухня, черный ход и двор. Белый буран прикроет следы. Забор, еще забор и полисад. Собаки не залаяли.

Снова забор. Небольшой проход в конюшню. В дырявой крыше вспучивается сено. Беглец прислушивается. Ветер доносит суматошный гул.

Беглец лезет на конюшню и зарывается в сено. Он будет лежать до тех пор, пока девятый удар каланчи не упадет в пушистый снег.

VI.

— Дуняркин флигелек двумя окнами на Солдатский переулок глядел, а двумя—на Вдовий. До флигелька я добежал в исправности, ежели не считать того, что малость ознобился.

Зашел с Солдатского, подкрался к окошку. Дунярка за столом сидит и карты мечет.

Я постучал легонько. Она встала и с полколодой карт к окну подошла. Лампа осталась у ней за спиной. Я, понятно, виден, как горошина.

Она узнала, вдарила себя по ляжкам, карты рассыпались.

Меня дрожь пробрала. Я опять стучусь и через окно прошу:

— Отпирай за ради бога!

Она—в сенцы. Отперла. А я уж зубами чакаю. Чакаю зубами и ставлю ультиматум:

— Не спрашивай ни о чем.

С этим словом да в избу и моментально на полати. На полатях теплынь. Меня, конечно, сморило.

Спросонок услыхал я разговор. Разговаривает с кем-то Дунярка, разговаривает и целуется.

Я околемался. Выглядываю из-за тряпья: Якуня-Ваня! Стоит у порога Борисок, а Дунярка к нему ластится и даже тулупчик стаскивает.

Ладно. Раз такое дело, я личность не таю. Высовываюсь с полатей и начинаю здоровкаться.

— Здравствуй, говорю, братан, собачья печень!

Борисок заахал. Я слезаю с полатей и беру Бориска за правую руку.

— Борисок, говорю, подстиг ты мою залетку, как ястреб цыпку, но я на тебя злого не мыслю, а только прошу об одном: будь ты, Борисок, надежной выручкой!

Борисок скраснел. Мы расцеловались. Борисок выставил четвертуху крупянской, мы выпили и стали думку обдумывать: куда мне теперь путину держать.

Подумали-подумали и вынесли резолюцию: итти мне по южному направлению, пока не подстигнет линия, а там на любом полустанке влезти в вагон и драпануть на Томск.

Борисок пошел за снаряженьем. Мы остались с Дуняркой. Дунярка глаз не поднимает. Я занозу в живом мясе таю, но вида не показываю и разные бубни-козыри в разговор вставляю. Сам, между прочим, думаю:

— Что с бабы взять? Баба, будто кошка.

По скорости пришел Борисок, принес лыжи да полушубок. Полушубок на-взгляд подходящий, латки на нем, ровно копейки, а в правый рукав затачена заплата на манер военно-пленной перевязи.

Я надел полушубок, сложил припас в холстинку. Отправляюсь в путь. Борисок пошел проводить.

По городу шли осторожно. Распростились у кузниц. Буран угомонился, ночь пала теплая. Я дал наказ насчет весточки родителям, ухетовал лыжи и побежал.

В тую ночь пробежал верст сорок. Под утро залез в стог сена и задневал.

Таким манером шел пять суток: днем хоронюсь, ночью иду.

На шестые сутки кончился припас. В холстинке ни ломтя хлеба, ни табаку на завертку. Я вычах до отказа. До солнозаката все же остановки не делал.

На солнозакате вышел на опушку. Огляделся. Идет от той опушки скат, а по скату, верстах в трех, станция видна, телеграфные столбы и паровозик. Узнал я тую местность. По всем приметам, Калачики, выходит, станция.

Расчудесно. Я лыжи сбросил и по скату спустил. Присел отдохнуть.

Солнышко на закате. Снег от него кровяной. Я выгадываю затемно до Калачиков добраться.

Встаю—что за притча: ноги не идут. Побился-побился—не идут.

Делать нечего. Пал я на земь и пополз. Ползу на четырех костях, последних сил лишаюсь.

VII.

Приведенные в негодность герои умирают, как правило, в конце романа. Этот рассказ не был бы окончен, если бы в нужное время из-за мохнатой опушки леса не появился зимний обоз.

Впрочем, это был обычный обоз, наполняющий вечернюю тишину пронзительным скрипом полозьев.

Подводчики шли размашисто. Они понукали коней, торопясь к ночевке. Их кости ныли от холода.

Старик с деревянной ногой и розовый парень шли у передней подводы. Они говорили о том, что в Омске об'явился император Колчак. Старик похлопывал рукавицами, борода у него закуржевела—это был скрипун-медведь из деревенской сказки.

— Нам што,—говорил скрипун-медведь,—какая партия ни приди,—любая будет наша.

— Это правильно,—соглашался парень,—мы за все в ответе.

Внезапно скрипун остановился. Он заметил точку, которая ползла по скату.

— Глянь-ка, Вася!—сказал он озабоченно.

Конец кнута воткнулся в костер зари. Вася поднес рукавицу к слезящимся глазам. Снег был розов. Точка, ползущая по скату, напоминала муху на кошме.

Впрочем, кошма была не белая. Вечер пролил на нее рубиновое вино. Постепенно кошма развернулась в поле. Точка выросла в человека. Человек был, несомненно, пьян.

Он полз на четвереньках. Приподнявшись на колени, он срывал шапку и махал ею в воздухе. После этого он падал на руки.

Обоз остановился. Пятеро подводчиков, увязая в снегу, пошли к человеку. Он взмахнул руками и рухнул в снег.

...Мужики отвезли Кузнецова в Калачики.

Через неделю на станции Томск из теплушки (с надписью «служебный») вышли два кондуктора. Они зашагали по узкому пролету, образованному двумя составами.

Выйдя на перрон, они остановились и протянули друг другу руки.

— Будь здоров, собачья печень,—сказал один из них, открывая в улыбке ослепительные зубы. Зубы были оттенены чернью отросшей бороды.

VIII.

— В Томском комитете вышло насчет меня такое решение, чтобы быть мне разведчиком под маркой пушкаря. Поставили меня на Набережной Ушайки. Место людное. Я всякий слушок на заметку брал и понемножку агитпропил.

К тому времени оброс сильно: борода помелом, волосы копной—конспирация на все сто процентов.

На деле вышло не так. По весне, когда уже оттепели начались, подстигла меня беда.

Подошел ко мне однажды немудрящий солдатик.

— Желаю, говорит, сняться.

Я взглянул на солдатика и обмер. Конфликт получился крутой. В том солдатике признал я беляка, который в Таре охранял тюрьму.

Вида, конечно, не показываю.

— Вам, спрашиваю, полдюжинку аль больше?

Солдатик заказал полдюжину. Я моментально сделал шесть картинок и подаю солдату. Сам думаю:

— Проваливай поскорее.

Он поглядел на меня пристально и говорит:

— Где-то мы с тобой, встречались, землячок.

Я сомлел. На тот случай подвернулась под руку женщина. Я за ней:

— Садитесь, говорю, дамочка, снимаю первый сорт!

Солдатик отошел, но не совсем. Я к женщине подсыпаюсь.

— Вам, спрашиваю, в бюст иль в полную фигуру?

Солдатик по бульваре шлындает. Я за ним все подробности замечаю и в тот же момент с бабочкой разговариваю:

— Плечики сравняйте, на лицо выраженье напустите!

Бабочка прихорашивается. Я на нее—одним глазом, а на солдатика—другим.

Бабочка аккуратная. Лицом—бела, телом—строгана, по всем приметам—от больших господ кухарка.

Я сготовил карточки. В соборе как раз к вечерне ударили. Пора пошабашить. С тем и обращаюсь:

— Как, говорю, я пошабашил, то не дозволите ль, дамочка, с вами прогуляться?

Она носиком туды-сюды.

— Во-первых, отвечает, я не дамочка, а до дому, между прочим, проводите.

Я, конечно:

— С полным удовольствием!

И сматываю монатки.

На бульваре встретил нас подозрительный солдатик. Он глянул на меня волком, но остановить не решился.

Я пустился в разговоры. Моментально узнал, что надобно: барышня моя у городского головы в горнишных служит, в Нижнеудинске брат у нее кочегаром ездит и больше родства никакого. Звали ее Марусей.

Я стал подсыпаться.

— Откуда вы, спрашиваю, такая строгана-точена произошли?

С таким разговором дошли до Марусиного дома. Она приглашает. Я про хозяев осведомился. Маруся говорит:

— В гости уехали.

Я в таком разе взял ее на буксир. Поднялись во второй этаж, попутляли в коридорах и очутились в небольшой каморке.

Каморка у ней немудрящая, но убрана красиво: занавесочки, открытки и всякие штуки.

Я расположился, словно в Крупянке. Барышня оказалась не легкого напеву. Моментально дает отпор:

— Прекратите ваши лапанья!

Я тогда другую линию повел. Завожу разговор насчет скуки, насчет холостяцкой кручины. Маруся отвечает, что хорошо бы знакомство свести.

Клюнуло. Я оперился и приступил к делу.

— Как, говорю, теперь ночь, то с аппаратом мне итти, безусловно, в-неудобицу. Нельзя ли аппарат у вас оставить?

У меня было соображенье, что с аппаратом я на улице очень приметен.

Маруся согласилась, я аппарат спокинул, мы распрощались, и она по случаю того, что в передней звонки зазвонили, вывела меня через черный ход. Без аппарата мне, понятно, сподручнее. Опять же к барышне в другорядь заявиться можно.

Я заявился и, безусловно, не раз.

IX.

Апрельский ветер решил Марусину судьбу. В апрельскую ночь Кузнецов и Маруся стояли на лестнице. Кузнецов держал Марусины руки. Они были теплы, как ветер.

Кузнецов и Маруся молчали. Луна стояла в круглом окне, лунный свет дробился на ступеньках. Лицо у Маруси было белее платья.

Внезапно Кузнецов отпустил ее руки. Она перебросила через плечо тугую косу.

Тогда рука Кузнецова легла на ее грудь. Он почувствовал тело ее, молодое и ждущее.

— Маруся,—сказал он тихо,—дошла ты до моего сердца.

Луна светила ему. Он нашел ее губы. Ветер облил их теплом.

— Голубеночек!—шепнула Маруся, обессиленно закрывая глаза.

X.

— Расскажу тебе коротко.

Повенчали нас на «красной горке». Венчали в соборе. Городской голова в посаженные отцы пошел, а одна генеральша—в матери.

Я, однако, насчет свадьбы не обнадежился и каждодневно ждал провала. В таких обстоятельствах вспомнил про жинкина братана.

Братан, как было говорено, в Нижнеудинске кочегарил. Жинка с ним переписывалась, но свиданья не имела два года.

Я начал уговоры:

— С'ездим в Нижнеудинск, а после видно будет. Жинка согласилась.

Поехали. Городской голова исхлопотал проезд. Имея большую рука да на женатом положении, я подбодрился. В вагон вошел гоголем и даже спекулянтов потеснил. Их в вагоне было не мало.

Ладно. Едем день—едем два. Я к жинке приглядываюсь. Девка ладная: лицом, правда, белобрысенькая, но фигурой—пава. Опять же в разговоре—краля.

В путине какие дела? Поесть да поспать, да с жинкой помиловаться. В таком порядке доехали до Нижнеудинска.

В Нижнеудинске подстигла нас беда. Вещей у жинки было много. Я, конечно, оставил ее на вокзале, а сам пошел к братану.

Братана в день нашего приезда как-раз арестовали. Я об этом не знал и наткнулся на засаду.

Вышло так, что судьбина моя пала решкой. Архангелы поволокли в тюрьму.

Попал я опять же в общую камеру. Камера небольшая—человек на двенадцать. Тюремная бражка подступила с расспросами.

Я отвечаю одно:

— Томский пушкарь.

Бражка отхлынула. Я сел на нары. Думка у меня одна:

— Как теперь Маруська выкрутится?

Подле меня спал один хлопец, по видимости хохол. Спал он, действительно напролет. Я от разной нуды промаялся до рассвета.

На рассвете хлопец проснулся, увидел меня, заприметил, что я не сплю.

— По какому случаю не спишь?

Я отвечаю:

— Тоска задавила.

Он тогда спрашивает:

— Табак есть?

— Нет, говорю, отобрали менты.

Хлопец помолчал малость и показывает на кошму:

— Сопи в две дырочки!

Сам отодвигается и моментально засыпает.

Я тоже прилег. Уснул, однако, не скоро.

На утро стал приглядываться к хлопцу. Он прожевал паек и завалился спать. Я заинтересовался.

— Браток, говорю, уступи половину!

Он подвинулся. С того и повелось. Проснемся мы с хлопцем, прожуем паек, пошландаем по камере и—спать.

Звали хлопца Павличенко. Был он крепкий бывалец, при первых советах военкомил в Оренбурге, после сидел в тюрьмах и побеги делал лихо. Мы с ним зажили в один дух.

О жинке я, однако, шибко тосковал. Не помню, на какой день дали нам с жинкой свиданье. Вышло это так. Брат моей жинки окрутился с полькой, у этой польки был брат-конвоир из тюремной команды. Он-то и исхлопотал свиданье. Через решетку, впрочем, какой разговор? Жинка сообщила, что братан пропал. До тюрьмы его, видимо, не довели.

По этим случаям жинка пришла печальная. Придерживалась все же крепко и даже меня подбодрила:

— Не унывай, будем вместях.

XI.

Во второе свидание Маруся передала Кузнецову бутылку с молоком. Глаза ее голубые и ясные были заплаканы.

В бессвязном разговоре она намекнула на пробку. Оставшись один, Кузнецов забрался в укромное место, вынул пробку и разрезал ее перочинным ножом.

В пробке обнаружилась записка. Маруся сообщала, что на-днях из тюрьмы погонят партию в Хабаровск.

Кузнецов побежал к Павличенко. Сонный хохол прочитал записку и изменился в лице.

XII.

Павличенко был парень-еж,—голыми руками не схватишь. Я увидел, что он встревожился и начал спрашивать, какие его соображения.

Он тогда рассказал про смертный эшалон. Я испугался. История выходила гробовая. В таких обстоятельствах начали мы подбирать парней, которые покрепче.

Через три дня приказали нам сматываться. Жинка прежним порядком доставила весточку. В записке было сказано, что в конвое пойдет свой человек, зовут того человека Феликсом.

Мы стали думать на поляка, который в тюремной команде служил. Павличенко сказал:

— Не иначе, готовят махинацию.

Дело получилось табачное. В смертный вагон понатыркали нас полста человек. Время было летнее. Мы, проехав малость, стали проситься до ветру. Конвоиры позвали коменданта. Смертный комендант должность исполнил, обвязал нас большим узлом и запер теплушку.

Мы начали стучаться. В таком разе прибежал конвой. Всыпали нам изрядно, а нужде нашей выхода нет.

Стали мы складывать ее в консервные банки. Но на полста человек где банок набрать?

Исход получался один: складывай нужду в угол.

Хватили мы тогда горя, перетерпели и порку, и вонь, и голод. Жизнешка была такая, что мужики ревели в ручьи.

Наша шатия—семь человек—в отчаянность не впадала. Под конец, однако, начали и мы сдавать.

Человек будет покрепче твари. Однако, и человек не сдюжит, когда подходит кораблям потоп.

Мало-по-малу вышли мы из сил. Тут и обнаружилась связь. Сунул мне конвойный грамотку. Было это вечером. Я у конвойного заприметил хохолок. Еще заприметил, что он росту большого.

Мне, однако, не до примет. Я подхватил грамотку и шепнул ребятам. Мы сползлись в один угол. Павличенко запал за мою спинку и грамотку взял на обгляд.

Там было сказано:

— Притворяйтесь хворыми.

Нам что? Притвориться можно. Притвориться не трудно, ежели от хворобы народишко пропадал. К тому же все зачервивели. Черва произошла от порок.

Хворали напролет. Из полста человек до Хабаровска дошли тридцать восемь.

В Хабаровске нас вывели из вагона, оцепили конвоем. Смертный комендант об'явил, что нас-де отправят на Сахалин. С вокзала и отправили.

Мы, конечно, знали, что за Сахалин. Верст на пятьдесят пониже Хабаровска стоит на Амуре утес. Называется он—Бык. С этого Быка нашего брата спускали в Амур.

Ладно. Погнали нас на Сахалин. Мы идем неторопко: что ни шаг—спотыкачка, что ни верста—свалка. Ведут нас лесом. Мы поглядываем на лес и прощаемся с белым светом.

Под вечер вышли на елань. После я распознал, что она зовется Красной Горкой. От этой Горки Амур отошел на полверсты, под самой же Горкой стоит китайский базар. Тут нам дали привал. Мы пали на земь—ни живы, ни мертвы. Беляки поскидавали винтовки. Внезапно начальник говорит:

— Пойдем, ребята, купаться.

Беляки посчитали нас окончательно дохлыми, составили винтовки и козлы и пошли. Одни пошли на Амур, другие—на китайский базар.

На привале остались двое дозорных—один лежит в траве, другой расхаживает рядом, оба с винтовками.

Я подползаю к Павличенко. Шепчу втихаря:

— Пора начинать!

Он отвечает:

— Пождем малость.

И толкает в бок. Я оглядываюсь. Конвоиры стоят и разговаривают. Один смотрит на меня пристально. Я вижу: росту он высокого, на лбу хохолок:

— Неужто Феликс?

XIII.

Высокий конвоир внезапно вырвал у товарища винтовку.

— К оружию!—крикнул Павличенко. Колебание было мгновенное. Конвоир, бросившийся на высокого, упал от удара прикладом. Пленники кинулись к винтовкам. Злость и надежда подняли их.

Феликс, окруженный пленниками, видел страшные лица. Люди дотрагивались до его плеч и винтовки. Люди кричали несуразное.

Павличенко восстановил порядок.

Оружия хватило на восемнадцать человек. Павличенко разделил отряд: восемь человек пошли к реке, десять—на базар.

Конвоиры блаженствовали в Амуре. Залп был ошеломителен. После второго залпа конвоиры сдались и, голые, вышли на берег.

На китайском базаре завязалась перестрелка. Феликс был ранен выстрелом из нагана.

XIV.

На привале устроили совет—как быть с пленными. Задумали мы думку насчет тех, которые сдались на Амуре. Палачей Феликса Павличенко ликвидировал на базаре. Остались в живых восемь беляков.

Мы сделали им предложение: или с нами, или—в Амур.

Им что? Они—люди мобилизованные.

Согласились с нами. Мы погрузили на них всякий припас, а сами взяли винтовки. Часть припасов забрали на китайском базаре. Торговцы в крик. У нас один ответ:

— Революционная необходимость.

Торговцы, конечно, без понятиев. Нам валандаться некогда—день клонит к вечеру. Пошли. Под Феликса сделали носилки. У него ранение серьезное: пуля пробила мочевой пузырь.

В первую смену несли его мы с Павличенко. Когда стали сменяться, он вошел в сознанье. Узнал меня, манит пальцем. Я подошел. Он говорит:

— Маруся в Хабаровске.

И сообщает адрес. Я обрадовался, адрес взял на заметку.

При первых звездах повстречались с китаезами. Они несли на прииска спирт.

Мы битоны со спиртом, безусловно, конфисковали. Ребята предложили выпить. Павличенко согласия не дал.

Ночью, на привале Феликс заметался. Я от него не отходил. Сижу и чуть не плачу: парнишка молоденький, на лбу хохолок, ресницы, как у девки—хороший мальчонка пропадает.

Должно быть, думку свою обсказал. Феликс расхлебянил глаза и шепчет:

— Я анархист.

И сам мушнеет и ворошит руками.

Под утро умер. Мы были парни каменные—по Феликсу все же всплакнул не один.

Схоронили его под высоким кленом, я предлагал три залпа дать, но Павличенко отставил:

— Нельзя, говорит, расходовать патрон.

В тот же день, под вечер, вышли мы на веселое место—на высокую гору. К горе прибился дол, очень красивый на вид. Цветов в том долу—гибель, и цветы все синие.

На горе мы застановали. Прожили день, прожили два, все распрекрасно: дни погожие, ночи ясные. Мучает нас только червивая зануда.

Павличенко приказал мазаться спиртом и пекчись на солнце.

Облегченье, действительно, последовало. Червивая шкура слезла. Стали мы красные—срамно смотреть.

Павличенко не дожидался, когда мы отшелушимся. Надо было налаживать связь. Я получил приказ быть за начальника, а Павличенко надел конвоирскую форму и пошел в Хабаровск. В кармане у него конвоирский документ и жинкин адрес.

Остались мы без Павличенко. День живем, два живем, красная шкура стала чернеть. Смеху было не мало. Сперва почернели под дуб, а после разделало под орех.

На четвертую альбо на пятую ночь я, поверяя караул, наткнулся на Павличенко.

XV.

Утро началось осенним холодком. В долине медленно растаял туман. Желтоглазый август прошелся по горам.

Прозрачное утро расцвело озерами веселья. Сходка была шумливой. Партизаны расселись вокруг Павличенко. Некоторые улеглись в траву. Они глядели на долину, седую от росы.

Покусывая сорванную травинку, Павличенко начал доклад.

Хабаровск узнал о дерзком побеге. Казаки рыскают в окрестностях. Подпольный комитет дал две бомбы, а еще—маршрут на Де-Кастри. Не сегодня-завтра жинка Кузнецова доставит транспорт винтовок. После этого отряд снимется и пойдет по маршруту.

— Товарищи, будем придерживаться,—закончил Павличенко...

Дозорный прервал медлительного хохла. Он вбежал в круг, бледный и растерзанный. Партизаны вскочили.

— Казаки!—крикнул дозорный. Задохнувшись, он упал в траву.

Смятенье было мгновенье. Павличенко восстановил порядок. Небольшой отряд пошел по горе навстречу казакам. Другие побежали в противоположную сторону. С ними пошел Павличенко.

Они пробежали триста сажен и залегли в кустах. Гора здесь круто спускалась в долину. Внизу, в зеленой траве запуталась дорога. Павличенко решил замкнуть казаков: его отряд должен был их встретить—первый отряд закрывал обратный выход.

Казаки появились из-за выступа горы. Они ехали шагом, ведя заводных лошадей.

Павличенко сунул Кузнецову бомбу. Казаки приближались весело и спокойно.

Внезапно Кузнецов побледнел. Впереди отряда, между двух казаков, ехала женщина. Она неумело раскачивалась в седле, руки у нее были связаны. За ее лошадью двигалась подвода. Телега была пуста.

— Жинка!—прохрипел Кузнецов, испуганно взглянув на Павличенко.

XVI.

У Павличенко и у меня в руках по бомбе. Казаки близко. Павличенко говорит:

— Пропускать нельзя. Ежели пропустим, отрежут нам путь—сколько народу погибнет.

У меня в голове зашумело. Думаю: «я один, а товарищей—тридцать восемь».

Казаки все ближе. Даже матершину слышно. Я гляжу на Павличенко. У него глаз мутный.

— Вспомни, говорит, про смертный вагон!

Казаки под нами. Я зажмуриваю глаза и кидаю бомбу.

XVII.

Партизаны бешено скатились в долину. Дым взрывов рассеялся. Люди и окровавленные лошади бились в траве. Фуражки с желтыми околышами разбрызнулись по долине.

Пять-шесть всадников мчались обратно. За ними бежали заседланные лошади.

Павличенко положил людей в цепь. Ветер залпа сорвал с седел двух всадников.

Тогда Павличенко оглянулся. Кузнецов сидел в траве и, держа на коленях окровавленное тело, приставлял к нему оторванную голову.

— Друг!—закричал Павличенко.

XVIII.

Я вышел от Кузнецова поздно вечером. Мне пришлось услышать разговор девочек. Они гнездились у ворот на низенькой скамейке.

— А што на небе светит?—спросила одна из девочек.

— Луна,—ответила другая.

— А зачем?

Я зашагал по шаткому тротуару, не дослушав разговора. Я знал, что на небе светит луна. Это было обычное светило омской весны—карминовая луна, похожая на голову казненной.

Я был в бредовом раздумьи. Я шел по улице и, кажется, просил луну, чтобы она научила меня особенным словам.

Да, особенным словам, таким, которые легли бы на дорогах человеческой боли, как неотесанные простые камни.

Поэма о деревне.

За косогорами и далью,
Где луны прячут колесо,
И солнце хвастает медалью
На сходке северных лесов,—
Живет страна, где люди грубы,
Где из тайги завода трубы
Впервые дышут в синь небес,
Где с человеком бьется лес,
Отстаивая мхи, болота,
Пустырь и горькую махру,
Дрожащий огонек киота
И вечное не ко двору...
Теперь уже забыли дети,
Как грустно выглядели эти
Когда-то сирые луга,
Как по дороге в колымаге
От стужи корчились бродяги,
Из тюрьм ушедшие в бега.
Теперь на тракте не услышать
Унылый звон и стон оков,
Теперь там ковыли колышут
Покой пшениц и васильков.
Теперь там встретишь по дороге
Сенокосилку или плуг.
И тот, кто жизнь провел в остроге,
В поту докашивает луг.
Деревня, как это знакомо,
Конечно, старая изба
И двор, и вся усадьба комом,
Семья крикливая из баб.
Над покосившейся избушкой
Нависла ива у окна
И кажется слепой старушкой
За подаянием она.
Из крыши мох глядит сопрелый,
Окошко покосила хворь,
Банешка осенью сгорела,
Не оберешься бабьих горь!
Картина грустная... Однако,
Теперь и там уже не то,
Пожалуй, та ж еще собака
И тот же у нее куток.
Но баня новая у хлева,
Ворота желтые. Забор.
И флюгер повернул налево,
Туда, куда уходит бор.
В дому и зеркало в простенке,
И балалайка на крюке,
Когда придут на посиденки,
Мозоль напляшут на руке.
А у киота (верить, нет ли),
Прибита полочка для книг.
Соседу это хуже петли,
Не даром головой поник.
Глядит испуганно к порогу,
Как-будто думает: пора,
Пора, должно, и мне в дорогу—
Туда, куда ушло вчера.
Задумался Христос в тенетцах.
Он держится, пока жива
Старуха бабка. Чуть плетется,
Но шепчет божии слова.
Зато на полочке порядок,
Библиотечка от окрЗУ
И пачка новеньких тетрадок—
Бельмо на старческом глазу.
Внучонок шустр. Растет героем
И, взявши под ружье батог,
Нахмурив по-отцовски брови,
Кричит на бабку—«Будь готов!».
—Да и отца, как подменили.
Когда пришел с войны домой,
То, вместо верст, считал на мили.
Бывало, думаю—не мой!
А там пошло. Колчак-каратель
Пришел карать. Иван—в тайгу.
Беда. Хозяйство все потратил.
За ним, гляжу, и все бегут.
Кто вилы. Кто берданку деда.
В мешок буханку и—айда.
Шмелями навалились беды,
От них бы скрылся, да куда?
Теперь поправились, что хаять!
Вот плугом брезгуют простым.
Машина—штука не плохая,
Но надо соблюдать посты...
Старуха недовольно морщит
Седую бровь и прячет вздох.
Не бабка, а сухие мощи,
В которых затаился бог.
А у плетня, где спит подсолнух,
Понурив голову в венке,—
Забытый плуг, кривой и сонный,
Не хочет говорить ни с кем.

Лариса Крымская.

Личное дело.

Н. Чертова.

I.

Мариша медленно повернула ключ и распахнула дверь своей комнаты. Она не была в ней ровно сутки. Все стояло на своих местах. Легкая штора была спокойно опущена на окно, бледный утренний луч лежал на несмятой подушке, в углу чернела грузная туша пианино.

Странно. Вещи не передвинулись на непривычные места, они стояли покорно и строго, молчаливые и неизменные,—какая дикость!

Но вот робкие следы вчерашнего: у зеленого одеяла смят и завернут угол—доставала ботинки, торопилась, машина ворчала у крыльца.

Да полно, только ли сутки прошли?

Мариша стянула пальто и, ломая привычку к нерушимой аккуратности, бросила его на постель. Потом схватила зеркало, другой рукой с треском протащила по полу круглый стул от пианино, подсела к столу.

Зеркало показало ей черные, испуганные и спрашивающие глаза, обведенные легкой тенью усталости. В углах губ легли пыльные полоски.

Мариша встала и потянулась к полотенцу. Но гвоздь был пуст, она больно зашибла локоть, растерянно улыбнулась и забыла, зачем встала.

На полу белела сложенная бумажка. Мариша подняла ее, развернула и, потирая локоть, принялась читать.

— ...«На бюро ячейки ВЛКСМ сделать доклад о поездке в подшефную деревню, сегодня»...

Поездка в подшефную деревню!

Мариша опустила руки, прислонилась к печке и залилась медленным, горячим румянцем.

— Как я могла? Как я могла?

И тотчас в ее возбужденной памяти встали—мощный рокот машины, ночная дорога, тревожный свет факелов, черные тени людей.

Она зажмурилась, до того ощутимы были эти немые и яркие куски.

Но тогда перед ней выросли широкие плечи человека в кепке, надвинутой на глаза. Голова отделилась от плеч и подвинулась к Марише вплотную.

Дзюбин. Какая у него странная, раздражающая фамилия.

И как он поразительно просто сказал, смеясь и умоляя:

— Хочешь быть моей, Мариша?.. Я давно о тебе думал, Мариша...

Полно, давно ли?

Мариша прошлась по комнате и быстро отдернула штору. Глядя в пыльное окно, она гордо сказала:

— Товарищ Дзюбин, мы работаем с вами в одной комнате, но встречаемся, в сущности, в первый раз. В первый раз, да. Что вы хотите? Вы хотите, чтобы я стала вашей женой?—«Нам никто не мешает. Мы оба коммунисты». Какая циничная фраза! А если бы не эта случайная ночевка, если бы не испортилась машина? Послушайте, какой вы...

Мариша вытерла стекло и, рассеянно взглянув на пыльную ладонь, вдруг покраснела до слез. Она вспомнила свои действительные слова.

— Что вы... товарищ... я не знаю... и вообще... уйдите, я боюсь...

Другая рука была до боли крепко сжата в кулак. Мариша расправила пальцы—там лежала смятая и повлажневшая бумажка от ячейки.

Тогда Мариша вспомнила начало.

Шофер был аккуратен, и ровно в пять вечера они остановились у голубого крыльца Дзюбина.

— Позвоните?—спросил шофер Маришу.

Но двери распахнулись, и сам товарищ Дзюбин выбежал на крыльцо Был он коренаст, сероглаз и подвижен.

— Вы?—остановился он около Мариши и вздернул брови.

— В подшефную... тоже... ячейка послала...—смутилась Мариша.

— Мне не сообщали.—Дзюбин нахмурился и потрогал курчавую бородку:—Сядьте туда. Я обычно сижу с шофером.

— Леонид, Леня, ты опять забыл шарф, шарфик на шею... ах, какой упрямый!

Мариша обернулась и увидела бледную женщину. У нее были светлые умоляющие глаза.

Дзюбин плотно уместился на сиденьи и защелкнул дверцу.

— Я ничего, Аннушка, не забыл. Поцелуй детку. Трогай, Лавруха!

...Мариша подсела к пианино и тихо открыла крышку.

Клавиши были желты от времени, одна из черненьких провалилась—оборвана струна.

Мариша постукала по ней согнутым пальцем. Звук прошел по комнате, глухой и короткий.

— Нужно поправить струну,—подумала Мариша и тотчас об этом забыла.

— Ах, ка-акой ты упрямый!—пели ей из ровного ряда клавиш чужие светлые умоляющие глаза.

Она взяла резкий аккорд, повторила его сильным ударом и сорвала руки с клавиатуры.

— Вот как, вы имеете жену и детку?! Аннушка—старушье имя. Шарфик на шею! Шарфик на шею! Кто нам мешает? А не подлец ли вы, дорогой товарищ Дзюбин?

Она встала, хлопнув крышкой пианино, и вдруг замерла, пораженная воспоминанием.

Хуторок, где они остановились, был тих; ночная мгла покрыла лес, реку, избы спали летним коротким и беззвучным сном. Они сидели на мягкой обсыпавшейся завалинке. Мариша—горевшая непонятной тревогой и Дзюбин—тихий, ласковый, широкоплечий.

Из темноты вдруг вынырнула острая собачья морда и раскатисто тявкнула.

Мариша вздрогнула и прошептала совсем по-детски:

— Она, как из пушки,—собака.

— Не бойтесь,—низким и властным голосом сказал Дзюбин, и Мариша почувствовала совсем близко его теплый, хрустящий плащ.

Ночи не было. Было только одно мгновенье, короткое и бесконечное, жуткое и сладостное, первое и единственное в жизни.

Потом встало солнце, яркое, как никогда. Розовое утро, омытое росой, было ослепительно.

Тупой нос машины, вздрагивая, пожирал землю, мимо текли желтеющие поля.

Дзюбин правил машиной. Обветренный его профиль был четок и тверд, глаза опущены на руль. Вот он обернулся и внимательно посмотрел на Маришу. Она вздрогнула и улыбнулась: как непостижимо, как страшно близки теперь эти серые глаза, широкие скулы и руки, тяжело положенные на руль!

...Мариша села к столу и прислонилась щекой к сплетенным рукам.

— Я должна подумать.

Но из зеркала на нее глядели немножко необыкновенные, не ее глаза.

— О чем думать?. Свершилось.

Теплая волна залила ей сердце и, обессиленная, покорная, она уронила голову на стол.

— Милый... милый...

II.

Дубовый шкаф был взят когда-то из старинного особняка купцов, богатейших в городе. Теперь он стоял в учраспреде райкома и, мрачный, хранил синие папки дел,—он, привыкший баюкать на своих полках нежный хрусталь.

Шкафом и папками ведали Андрей Иванович Зоз и Мариша.

Зоз был привязан к шкафу необыкновенно. По настойчивому предложению Зоза, шкаф втиснули в маленькую комнатку учраспреда, тщательно залечили ему пораненый бок, приделали массу новых полочек.

Теперь нутро у шкафа было сплошь синее, рубчатое—он хранил личные дела партийцев всего района.

В хорошие минуты Зоз говорил Марише, похлапывая шкаф по крепкому дубовому боку:

— Зоз служит партии. Учет—это все, дорогая девочка, именно все. В любой момент у Зоза могут спросить: скажи-ка, старик, что такое представляет из себя член партии Иванов? Зоз найдет полочку на букву «и» и моментально скажет: Ивану 30 лет, он женат, в партии с 20 года, категория политразвития такая-то. А что такое? Иванов уезжает? Провинился? А-а, выговор в личное дело! Запишем в графу партвзысканий номер тридцать второй. Именно в тридцать вторую графу, дорогая девочка.

Принадлежности на столе у Зоза были расставлены в неумолимой симметрии. Однажды, когда уезжавший красноармеец, торопливо об'ясняясь с учетчиком, несколько раз передвинул пресс, Зоз поймал его руку вместе с прессом и сказал взволнованно и строго:

— Разве вы не видите, что пресс должен лежать именно здесь?

Дзюбин распределял людей.

Посетителя он неторопливо усаживал в глубокое кресло прямо перед собой, выслушивал его просьбу, задавая несколько отрывистых вопросов, делая вид, что на человека совсем не смотрит.

Однако, это было неверно. Серые, прищуренные глаза Дзюбина то и дело задерживались на посетителе, выхватывая куски взволнованного или потускневшего человеческого лица.

Иногда, затрудняясь, Дзюбин выходил из кабинета и усаживался против Зоза.

— Андрей Иваныч!

— Я слушаю,—откладывал перо Зоз.

— Как вы насчет этого?—Дзюбин кивал головой на закрытые двери кабинета.

Зоз брал синюю папку испытуемого, выкладывал оттуда цифры и сведения, сдвигал огромные очки на лоб и смотрел утомленными глазами в пространство. После некоторого раздумья он говорил спокойно:

— Посылайте. Справится.

И человек уходил, определенный тонкой беседой Дзюбина и точнейшими цифровыми выкладками Зоза.

Месяц тому назад, назавтра после поездки в подшефную деревню, Дзюбин внезапно остановился перед закрытой дверью учраспреда. Зоз, не допускающий нерассчитанных движений, с разбегу ткнулся ему в спину.

— Что такое?

Дзюбин погладил розовую щеку, будто у него болел зуб.

— Ты думаешь, Головач пришла?

— Девочка аккуратна. А что?

— Так, маленькая неприятность,—поморщился Дзюбин и распахнул дверь.

Маришна сидела, низко склонившись над бумагами. Дзюбин дотронулся до кепки.

— Здравствуйте.

Он ясно разглядел, как ее черные глаза, поднятые на него, вдруг стали растерянными и неподвижными.

В этот день он подписывал бумаги, не поднимая головы. Он видел, как трепетали смуглые пальцы, показывая ему место для подписи.

Но когда случайно они столкнулись в коридоре и никого кругом не было, Дзюбин остановил Маришу и положил руки на ее плечи:

— Мариша... не сердишься? Ты не подумай, Мариша... право же я...

Это было сказано с нежностью и теплотой, удивившей самого Дзюбина.

— Я же сказала—нет...—опустила голову Мариша.

— Что—нет?

— Не сержусь.

— Милая!

Дзюбин пришел в кабинет и написал на старом листке календаря.

— Твоего адреса не знаю. Приду? Дома—тоска.

Через минуту он, улыбаясь, читал ответ. Первое слово зачеркнуто, но его можно понять: не нужно. Дальше следовала строка:

— Советская, 47, наверху...

И в уголке мелко:

— По лестнице, как подымитесь, направо, комната 10. У нас на лестнице темно.

...Дзюбин сгреб календарь обеими руками и, жадно перелистав его, нашел памятную первую субботу июня. Там стояла выцветшая и торопливая его запись.

— Пять вечера в дер. Ключи.

Пожелтевший листок календаря, смуглая девушка Мариша, вспыхнувшая мгновенным заревом любви и стыда, как это хорошо, как это далеко!

В двенадцать дня рябая няня приносит Дзюбину завтрак и бутылку молока.

Когда раскрылась дверь, Дзюбин даже не обернулся. Бутылка была поставлена на стол, белоснежный сверток положен рядом, а человек не уходил.

Дзюбин поднял голову. Перед ним стояла жена.

От неожиданности он встал за столом, держа перо в руке.

— Почему—ты?

— Я, Леничка, потому... я отпустила няню... она ушла на базар...

— А мальчишка?—быстро спросил он, чувствуя, как ненавидит ее испуганные глаза.

Жена опустила голову.

— Няня дома. Я нарочно сама. Я так редко тебя вижу. Заседания, собрания... Я здесь ни разу не была,—заторопилась она, оглядывая комнату через опущенные ресницы.—Ты один?

— Нет, бывают посетители,—кусая губы, ответил он и бросил ручку на прибор так резко, что она скатилась на пол.

— Оставь,—тронул он плечо нагнувшейся было Аннушки и брезгливо поморщился:—Пойдем, я тебя провожу. Неудобно. Служебное время.

Внизу он придержал тяжелую дверь и, порозовев от напряжения, спросил:

— Ну?

— Я хотела тебе сказать...—по бледному лицу Аннушки прошел луч решимости, но тут же она осеклась и добавила дрогнувшим голосом:—Вечером будешь дома?

— Нет,—чуть смутился Дзюбин,—сегодня—нет.

III.

По узкой тропе, опираясь на сильную милую руку, она взберется к самой вершине Атаманской. Из-под их ног просыпятся камни, камни будут катиться и шуршать до зеленого подножья.

В щеки ударит кровь, сердце будет стучать так, будто оно больше тела, будто оно шагает рядом.

Вершина Атаманской, опаленная солнцем и песками, круглая и лысая, покорно ляжет у их ног. Легкий ветер опахнет горячие лица, серебряные пучки ковылей поклонятся им до земли.

Сдержи торопливый шаг. Длинна пыльная тропа.

Вот старая каланча—она чумазая и смешная. И не забыл ли глухой старик прозвонить желанный час?

Впереди горит нежное пожарище заката, воздух так спокоен и чист.

— Я пришла. Давай руку. Сядем. Ох, как бьется сердце!

— Мариша...

— Пойдем на Атаманскую?

— Мариша... ты не видела? Ко мне приходила жена.

— Я ее не узнала, боже мой! Зачем?

Леонид торопливо распахнул ворот рубахи, будто ему трудно было говорить. Он наклонился, поднял палочку и исподлобья посмотрел на Маришу.

— Я только сейчас... подумал ясно...

Он отломил кусок палки и пристально его осмотрел.

— Ты...—он перекатил палочку на ладони и отломил еще.

— Она...

Глаза Мариши закрылись ресницами. Она смотрела на его ладонь, где катались теперь два осколка.

— И—детка...—хрустнул он палкой в третий раз.

— Детка...—Мариша быстро подняла на него глаза. Они блестели испугом и болью.

Но это было одно мгновенье.

Мариша сгребла палочки с его ладони и резко обернулась назад. Лицо ее тотчас стало оранжевым от заката, на щеке, обращенной к нему, нежно золотился пушок.

Посмотри, как горит река... А дальше—степь, пески и ни одного человека. Кто нас видит? Никто. Город? Он сзади. Там—покой. Звонят к вечерне...

Она, смеясь, протянула руку вперед. Дзюбин, задумавшись, смотрел на нее и думал, как понять женщину?

— Милый, бежим к реке!

Зарево заката опрокинулось в реке. Песок, днем такой легкий и горячий, теперь отяжелел, и быстрые шаги ложатся цепью глубоких впадин.

Старый мост ворчит и стонет, когда по нему едут обозы, а теперь в его клетчатых пролетах застыли тишина и холодок.

Оранжевая глубина приняла две человеческих тени и закачала их, переливая волну.

— Я вот так.—Мариша положила голову на колени Леонида.—Что ты молчишь? Будет тебе. Хочешь расскажу про пожар?

— Расскажи,—улыбнулся Леонид.

Его глаза снизу Марише показались выпуклыми и чудными.

— Я играла в куклы под сараем. Было воскресенье. Вдруг запахло так, будто ставят самовар. Вбегает мать, юбка с нее ползет наземь, не завязана. Схватила меня за руку, молча протащила через двор и выкинула на улицу. Только тут я увидела—у матери глаза выкачены, а за нашей избой—вместо повети—огненный гребешок. Пламя сняло крышу, пыхнуло изо всех окон... Да, там сыпались стекла. Мне показалось, они сначала ежились и стонали, как живые. Я дрожала, хотела кричать, а в горле жарко и голосу нет. Нас увезли в поле, туда же пригнали овец, коров... Крики, пылища и сквозь пыль видно: вместо нашей деревни—голая земля, а на ней красная шапка. А всего страшнее... знаешь что?

— Что?—рассеянно спросил Дзюбин,—он глядел на реку.

— Всего страшнее было...—медленно и вдруг изменившимся голосом начала Мариша. Дзюбин остановил на ней удивленные глаза—...вот что. Во дворе у нас стояла старинная колода... ветхое крыльцо было обращено к востоку... у дверей—избитые, отоптанные пороги... в горнице скатерть красными пучками, которую вязала еще бабушка... Вчера играла в куклы, а сегодня... черные пни, душный запах гари, где стояла колода—полоска лежалой земли и черви. А на мне—непривычное, праздничное, прожженое платье, и нет кукол... Новое, новое надо, все сначала, по-другому... сгорели исхоженные пороги... Ну? Не страшно?

— Да... бывают такие пожары...—с трудом улыбнулся Дзюбин.—Он был недавно...

— Кто?

— Пожар.

— В куклы играла!—засмеялась Мариша, но глаза ее остались серьезными. Она пригнула голову Дзюбина, придержала рукой мягкую прядь его волос и шепнула в самое ухо:

— Недавно... поджигатель ты мой!

Жесткие губы Дзюбина зажали Маришин рот.

Ночная темень опустилась на реку, редкая волна отливала серебром, старый мост был грузен, как уснувший слон, когда две черные тени двинулись к городу.

Город встречал их сонный. Где-то на дальних улицах одиноко цокал всадник. Мертво поблескивала темная чешуя крыш. Воздушная резьба костела уносилась в высь.

Маришина улица была особенно тихой, низенькой и зеленой.

— Ти-ше!

Дзюбин почувствовал, как цепко и испуганно охватили его за рукав. Эта проклятая лестница!

Ключ осторожно вошел в скважину и повернулся с медленным звоном. Прошуршала дверь—и снова заглушенный звон запора.

Лестница, словно отдыхая от тяжелых шагов, тихо скрипнула.

Дом спал.

IV.

Зоз стал наблюдать за Маришей с того дня, когда в кабинет Дзюбина прошла бледная Аннушка и за дверью произошел короткий и глухой разговор.

Андрей Иванович слишком хорошо видит на расстоянии, поэтому он носит очки. Когда Аннушка прошла обратно, он положил перо, сдвинул очки на лоб и прекрасно разглядел ее потупленное лицо и сердито вздрагивающие губы Дзюбина.

Потом он спустил очки на глаза—Мариша сидела слишком близко—и осмотрел Маришу.

Розовая, пышноволосая, она озабоченно склонилась к бумагам.

— Девочка добросовестно работает,—с удовольствуем подумал Андрей Иванович.

Но написав две неторопливых, каллиграфических строчки, он беспокойно поднял голову: в дверях стоит Леонид, лицо его дрожит в улыбке, и навстречу ему улыбается Мариша. Да, да. Вот вздрагивает пушистый локон у ее уха и наливается краской щека.

Андрей Иванович смущенно крякнул, в руках его—стиснутое слишком сильно—хрустнуло хрупкое рондо.

Дзюбин прошел, и уже молчат плотные двери кабинета. Мариша снова шелестит бумагами, но... разве не знает Зоз, что такое молодость и разве не исполнится Зозу в золотой месяц осени ровно сорок пять лет?

— Зоз не ошибся. Зоз вообще не ошибается,—взволнованно шепчет себе в усы Андрей Иванович, втыкая новое рондо в резиновую мякоть ручки.

Текло время.

Лето развернулось в ослепительно-яркие дни, теплые ветра волновали степь, ночи стояли немые и лунные.

Однажды в старой аллее городского сада Андрей Иванович встретил Аннушку. Она шла сгорбившись и ощипывала пушистую ветку кленовника.

От почтительного поклона Зоза она вздрогнула, как от удара, и потом улыбнулась так беспомощно, что у Зоза покатилось сердце.

— Послушайте...—он нерешительно дотронулся до ее рукава.

Но она оправилась и взглянула на него удивленно. Зоз смутился.

— Как... ваше... здоровье?—пролепетал он, поправляя очки.

— Благодарю вас,—отвела она глаза в сторону. Углы ее губ опустились.

Зоз нахлобучил шляпу и побрел в клуб.

В клубе было пусто и прохладно. Под тяжелыми шагами Зоза мирно скрипнули половицы, и снова—нежилая, пыльная тишина.

Андрей Иванович сел в засаленное кресло у шашечного столика, вынул и запалил трубку—это обозначало взволнованность и недовольство собой.

Вдруг дверь распахнулась и через порог прыгнула хохочущая Мариша. Заглушая чей-то умоляющий голос, она с треском захлопнула дверь. Звякнул крючек. Мариша, дурачась, повернулась на каблуках.

— Леонид?—повел плечом на дверь Андрей Иванович.

— Нет. Нет, не он,—все еще улыбаясь, быстро ответила Мариша.—Что вы тут делаете? Я вас не видела,—заторопилась она, смутно чувствуя, что молчание будет нестерпимо.

Зоз посмотрел на нее внимательно.

— Я курю трубку. Сядьте, пожалуйста.

Он передвинул во рту трубку и сказал, осторожно поправляя спутанные шашки:

— Что же это вы, девочка, семейную жизнь расстраиваете? Я вас спрашиваю.

Мариша, бледнея, наклонилась и подергала ремешок туфли.

— А вы... об этом знаете?

Зоз посмотрел на нее сверх очков.

— Я знаю. Все знают.

Мариша выпрямилась, откинула волосы, упавшие на глаза. Лицо ее стало бледным, губы строго поджались. Она поднялась, прошла к окну и встала спиной к Зозу.

Андрей Иванович беспокойно завозился в кресле, он ждал. Но Мариша стояла совершенно неподвижно.

— Я кажется слишком...—смущенно подумал Зоз и тоже встал.

Мариша круто обернулась ему навстречу, и Зоз остановился пораженный: она смеялась.

В дверь забарабанили.

Мариша бросилась было отпирать, но Андрей Иванович поймал ее за руку и взбешенно крикнул:

— Здесь никого нет! Извольте уходить!

Он бросил с размаху ее руку и побежал к ровным рядам стульев. Мариша, удивленная, последовала за ним.

— Вы! Посмотрите,—Зоз вытянул руку к неумолимо точным линиям зала,—все в порядке. Так нужно. Ну?

Он схватил спинку крайнего стула—закачался весь ряд: стулья снизу были скреплены доской.

Потом Андрей Иванович притащил, везя по полу, большое кресло и взволнованно стал тискать его в строгий ряд стульев. Кресло не лезло.

— Так и вы!—крикнул вне себя Андрей Иванович. Потухшая трубка свесилась из его рта и с каждым словом вздрагивала.

— Семья... О! Вы не знаете, что такое семья! Это крепко сколочено, это—одна кровь. Вот именно! Он, она, ребенок...—перечисляя, Зоз стукнул пальцем по спинкам стульев.—Вы не понимаете, вы не хотите! Вы лезете в семью и...

Он снова схватил кресло и тиснул его в ряд. Ряд закачался. Мариша взяла из его рук кресло и поставила к стене. Потом заглянула снизу и выпрямилась, улыбаясь.

— Они сбиты не так крепко, как вам кажется. Просто вы боитесь нарушить симметрию.

Мариша помолчала и взяла руку Андрея Ивановича, остановив его беспокойную ходьбу.

— Андрей Иванович, а вы... любили?

На Зоза смотрели большие, ласковые Маришины глаза под пушистыми разметанными бровями. Ох, эта молодость! Вот уж и потеплело сердце.

— Я женат,—утомленно сказал Зоз, садясь на крайний стул.
— Нет, я не о том. А вдруг бы вы полюбили другую женщину, а не жену?
Тогда бы я не женился,—упрямо наклонил он голову.
— Нет. Вы уже женаты, но...
Андрей Иванович поднял голову и сделал рукой отгораживающий жест.
— Я этого не допускаю.

V.

Над городом выли ветра.

Река потемнела и перекатывала белые гребни, по улицам мели пыльные вихри, деревья метались и роняли листья.

Потом небо стало низким и каменным, лес затих и погрустнел, на нем легли первые червонные язвы увядания. Пошли дожди...

Немая прозрачность леса, бледные долгие закаты, густая чернота ночей... осень, осень!

...В кабинете пахло карболкой и было все так бело—стены, столы, стулья,—что у Мариши слегка кружилась голова.

Женщина в белом повернулась к ней спиной и стала мыть руки. Мариша, пунцовая от стыда,—осмотр показался ей позорным—присела на кончик стула.

— Один месяц,—сказала женщина, тщательно вытирая руки. Встретив непонимающие глаза Мариши, она добавила раздраженно:—Один месяц беременности. Одевайтесь.

Мариша бросилась к белью. Пол показался ей мягким, ноги в нем вязли, как в вате, белая женщина вдруг повисла в воздухе и боком поплыла к ней.

— Что с вами?.. очередь... скорее...—услышала Мариша слова глухие, как далекие удары колокола.

Торопясь и разрывая белье, она оделась и прошла через приемную, еле заметив молчаливые лица ожидающих.

— Ка-акая нелепость!—вслух сказала она, опускаясь на скользкое крыльцо амбулатории.

Улицу сковала осенняя мокрая тишина. Люди шли, хмуро упрятавшись в поднятые воротники, и месили грязь, тяжело чавкая ногами. Скупо сторонились, уступая дорогу, и в двух-трех взглядах, брошенных исподлобья, Марише почудилось любопытство, презрение и насмешка.

У ворот квартиры Мариша столкнулась с соседкой и, бледная, уступила ей дорогу. Соседка, сосредоточенно расставляя ноги, шла по грязи. На ней было выцветшее желтое пальто, застегнутое только сверху, и мужские штиблеты. Красный капот на животе вздернут и замаслен—соседка беременна.

Она стряпала обед и теперь идет закрыть ставню в спальню. Сейчас они с мужем лягут отдохнуть.

Женщина натужно заберется по лестнице, снимет пальто, вынет ноги из штиблет и, похолодевшая от усталости и сердцебиения, ляжет на спину, выставив выпученный живот.

Мариша вздрогнула от обиды и отвращения. Она быстро пробежала лестницу, в первый раз в жизни ощущая прекрасную легкость своего тела.

С воровской осторожностью она заперла за собой дверь, боязливо задернула штору и, еще не отдавая себе отчета, для чего это она делает, начала торопливо сдирать с себя одежду.

Наконец, зябко вздрагивая, она спустила сорочку и чулки и осталась стоять на пестрой куче белья совершенно нагая. Схватив маленькое зеркало, она обвела им себя с ног до головы. Зеркало отразило смугло-желтые куски ее

тела. Потом она бросила зеркало на постель, со страхом и любопытством потрогала упругие сосцы грудей и прижала пальцами нежное, чуть припухшее тело в разлучине под ребрами. Здесь она ощущала смутную неловкость, отсюда поднималась тошнота.

Она остановилась, пораженная непостижимой и грозной тайной тела.

— Беременна...

У соседей резко двинули стулом. Мариша вздрогнула и обернулась на звук так испуганно, будто стул бросили в ее комнату.

— Они знают,—с ужасом подумала она о соседях.

Торопясь и дрожа от холода, она натянула белье и забралась с ногами на постель. Башмаки остались стоять среди комнаты, беспомощно распластав на полу длинные черные шнурки.

Вот она просыпается утром, сбрасывает одеяло и поднимается на локтях, живот—круглый и горячий—ложится ей на ноги.

Задыхаясь, она натягивает ботинки и шнурует их как попало (как у соседки, вечно с пятого на десятое, говорит, «тяжело нагибаться»). Вот она идет по улице походкой, отгибающей тело назад, пальто у нее книзу раз'ехалось и не закрывает живота.

Люди смотрят на нее холодно и насмешливо, шепчут и указывают пальцами.

— Нет, нет!—машет руками Мариша.—Нельзя. Я этого не допущу.

Она крепко зажмуривается. Из глаз выдавилась слеза, медленная, тяжелая. Слеза ползет по щеке, и Мариша слизывает ее с губы. Она соленая.

— Нельзя! Нельзя!—отрывисто шепчет Мариша и широко раскрывает глаза: они темнеют и наливаются злым огнем.

И тут только, первый раз за весь день, Мариша вспомнила о Дзюбине.

Она холодеет, срывается с постели и бегает по комнате, сжимая смуглые кулаки.

Какая наглость! Весь позор падает на нее. Она может отвернуться от людей и сделать вид, что сплетни ее не касаются. Но живот, незашнурованные ботинки, желтые мешки под глазами! Вот, если бы он так пострадал, так исковеркался! Ка-кая наглость!

Она мечется и повторяет слова, сказанные до нее и прощенные тысячами женщин.

Внезапно она останавливается и горстью зажимает прыгающее сердце.

В приемной у врача бледная женщина, похожая на монашку, сказала соседке:

— Ребенок шевелится первый раз на пятом месяце.

Мариша опять трогает нежную разлучину под ребром и улыбается.

— Ведь, он живой. Живо-ой. Ма-аленький.

Мариша, как ослепленная, идет по комнате, подобрав руки к груди, будто она укачивает ребенка.

— Зернушко мое... Сыninька...—сгорая от радости, шепчет она:—Комочек мой, голубые глазки... Спи.. ты мой... ты мой... О-о! О-о! О-о!

VI.

Вечером пришел Леонид. Не снимая кепи и плаща, он прошел к окну, мимоходом пожав руку Марише.

Мариша посмотрела на его широкую спину, сжалась в комок, сцепив вокруг колен дрожащие руки. Она подумала, что ни за что не скажет ему того, чем горела и мучилась весь длинный день...

Дзюбин помолчал и медленно повернулся к ней.

— Сейчас был скандал,—проговорил он, все еще глядя в окно.—Эта ее безответность, это молчаливое шпионство... чорт возьми!

Дзюбин сдвинул кепи на затылок и ладонью вытер вспотевший лоб. Глаза его светились злобой и страданием.

Мариша спрыгнула с постели, сняла кепи с Леонида и пригладила его взбудораженные волосы.

— Милый, ты измучился. А я... тоже... сегодня...—Она закусила губы и, оправившись, закончила торопливо:—Разденься, давай пальто. Поговорим.

Леонид снял плащ и рукой провел по Маришиной вспыхнувшей щеке.

— Я тебя не понимаю. Ты отгораживаешься от.. этих вопросов. Ну, о нашей связи... о семье.

Мариша заботливо повесила плащ, надела кепи на гвоздик и обернулась к нему совсем спокойная.

— Когда любишь—не хочется рассуждать...

— А женщина, которая от этого страдает?

Мариша взглянула на него растерянно.

— Я о ней не думала...

Она опустила голову и качнулась отрицательно.

— Я о ней не умею думать...

Леонид взволнованно зашагал по комнате.

— Но мы с тобой, в конце-концов, завязали узел, который... я думаю, что...

— Да,—согласилась Мариша,—большой узел. Сядь сюда. Я могу сказать, как я думаю. Сядь же!

Дзюбин посмотрел на ее лицо. Оно показалось ему осунувшимся и строгим.

— Мы оба коммунисты,—начала она фразой, сказанной им в памятную ночь. Дзюбин чуть приметно вздрогнул.—Мне думать не о чем, я свободна. У тебя—семья. Узел можно разрубить... все зависит от тебя. Но ты предпочитаешь грызть узел зубами потихоньку. Вот так я думаю. Вчера у меня еще не было этого, но сегодня...

— А, ведь, я тебя совсем мало знаю,—задумчиво сказал Дзюбин и нахмурился.

Мариша встала, распахнула окно. На дворе шумел ветер, в комнату метнулась ветка засыхающих вьюнов и, вздрагивая, легла на подоконник.

Леонид оторвал листок и сказал, рассеянно его разрывая:

— Я так устал... Я не люблю осени, Мариша...

— Ну?

— Поговорим завтра?..—он умоляюще и нежно поднял за подбородок ее опущенное лицо,—смугленок ты мой!

...Ночью, провожая Леонида, Мариша остановила его на лестнице.

— Ты что?

— Дай ухо...

Она провела влажной рукой по его лицу, нашла ухо и шепнула порывисто:

— Леня... я... беременна.

Дзюбин дернулся из ее рук, как ужаленный. Лестница глухо заскрипела.

— Это невозможно!—крикнул он, забыв, что дом спит—чуткий и чужой.

— Тише, сумасшедший!—испуганно зажала ему рот Мариша. Она стащила его вниз. У ворот Дзюбин повторил взволнованно:

— Это невозможно. Ты прости, я говорю глупости, но ты понимаешь... тебе нельзя.

Он опустился на скамью и вдруг сказал, страдальчески морщась:

— Я думал. Я говорил с ней... с Аннушкой. Она молчит, плачет... и не отдает мальчишку. Ты знаешь... мальчишка вчера сказал: па-па... первый раз сказал. Он маленький, розовый, от него пахнет молочком... он лысенький... подумай, как я его брошу?

— Отчего... он... лысенький?—глухо спросила Мариша.

— Отлежал... у него, ведь, не волосы, а пушок... как у цыпленка.

Мариша судорожно глотнула воздух. В голове, в ушах, во всем теле стучало сумасшедшее сердце.

Мариша отодвинулась от Дзюбина. Вместе с ней отодвинулась и улица, дома зашевелились, и луна вдруг повисла так низко—вот-вот упадет в черный сад. Должно быть, кружилась голова.

— Я тоже думала...—начала было она, но тут же забыла, о чем хотела сказать.

Дзюбин смотрел на нее, выжидая.

Тогда, поймав из бешеной пляски мыслей одну какую-то странную и не отвечавшую ее сердцу, она, торопясь, сказала:

— Беременность... девять месяцев страданий и унижения... Потерянное время... Нет, я не хочу. Не понимаю, как это женщины...

Она взглянула на него неуверенно.

— А ты любишь меня? А?—в ее голосе явственно звучало отчаяние.

— Бедная девочка!—Дзюбин взял ее вздрагивающие руки.

— Любишь?—она посмотрела на него и, скривившись в испуганной улыбке, зажала ему рот.

— Не говори, мне страшно.

Она совсем отодвинулась от него и в темноте подняла руки, будто что-то в них держит. Дзюбин подумал, что она бредит.

— Подумай, Леня... у меня—ребеночек... Откроет глаза, и вдруг они голубые, голубые... голубые глазки,—она всхлипнула и уронила голову.

— Это невозможно. Мариша, бедный мой ягненок... плачешь?

Дзюбин почти принес Маришу в комнату, уложил ее в постель, закутал одеялом и подошел к окну. Оно все еще было открыто. Дзюбин вздрогнул от холода, заботливо закрыл створки, запер. Окликнул Маришу, она не отозвалась. Тогда он подошел к столу, зажег спичку и написал на клочке бумаги:

«Милая, Мариша, люблю ли я тебя?—Конечно...».

Спичка потухла. Он торопливо зажег другую, прочел написанное. И тут же тщательно зачеркнул.

«Ты напрасно думаешь, Мариша...»—начал она снова и снова зачеркнул, смял бумажку и сунул ее в карман.

Посидел молча в темноте и потом написал на ощупь, не отрываясь:

«Ничего не поделаешь, милая, Мариша. Придется сделать аборт. Мне очень тяжело.

Леонид».

Он вернулся от двери, нащупал свою подпись (когда писал, он туго вел пальцем по бумаге, теперь это место казалось ему теплым) и внизу прибавил:

«Ты, конечно, понимаешь, что должна принять от меня материальную помощь, т.-е. денежную».

VII.

Прочная тишина окутала белые палаты. Только за стеной где-то набухали, падали и разбивались медленные капли воды. По коридору скользят бесшумные люди, белые, как тени.

Мариша украдкой оглядела свою соседку. Та лежала неподвижно, две длинные спутавшиеся косы были положены на подушку, как нечто постороннее. Беспомощные линии тела угадывались под одеялом. Соседка была по-детски худа, ее милое личико заострилось, потемневший рот был вяло раскрыт. Она истекала кровью.

— Сестрица!—вдруг повернулась она в Маришину сторону.

Мариша испуганно спряталась за одеяло. Белая тень склонилась над изголовьем соседки.

— Из деревни приедут... нонче... так уж пустите... они мне об домашности... расскажут.

— На пять минут разрешается,—говорит, улыбаясь, румяная сестра.

После нее остается тонкая струя духов, которая кажется странной в болезненной больничной духоте...

... Когда медлительные часы пробили четыре, на пороге палаты встал рыжеусый мужчина. Он смущенно переваливал в руках желтый кулек, скользил глазами по кроватям и улыбался.

— Таня!—крикнул он, остановившись на Маришиной соседке, и мгновенно задохнулся.

Женщина перекатила голову на соломенной хрустящей подушке. Рыжеусый бросился к постели и, не найдя табуретки, отогнул, собираясь сесть, край одеяла. Женщина сморщившись, поймала его руку. Но было уже поздно. Он увидел багровый кусок простыни, торопливо его прикрыл и уронил кулек. Из кулька высыпались на пол розовые конфекты.

— Таня... Таня...—твердил он, неуклюже сжимая ее сухонькие ручки, и в его глазах, в дрожащем лице было столько страха и любви, что Мариша отвернулась и прикусила губы.

К старой женщине, что лежит в углу, пришел муж, черный, маленький и тихий. Он молча сунул на ее белый столик бутылку молока и сайку и сел на краешек табурета, не спуская глаз с бледного, закинутого лица больной.

Мариша вышла в коридор.

Часы, хрипя, собирались звонить. Мариша подошла ближе. Минутная стрелка падала медленно и бесстрастно, за ней неслышно ползла часовая. До операции оставалось ровно шестнадцать часов. Хлопнула входная дверь. До Мариши дошла волна сырой свежести, запах вечера, улицы, человеческих голосов.

Как странно! Неужели существует мир за этими желтыми стенами? Разве не все заключено в шестнадцать часов ожидания и в этот серый халат, так трогательно и так страшно похожий на кимоно?

Мариша вернулась на койку.

Палата, утомленно переговариваясь, собиралась спать, в этот ранний час, когда громадные окна еще наливались сиреневым соком вечера. Придет долгая ночь, пропитанная трудным дыханием больных, тревожным хрустом постелей. Бесшумные тени будут скакать по углам палаты, желтый язык лампы раскачивается под потолком.

Мариша подошла к окну. За окном угадывались вечерние огни города. Они трепетали на запотевшем стекле и переливались, близкие и далекие, странные и очаровательные.

Мариша вытерла стекло широким рукавом халата, положила подбородок на переплет рамы и замерла. Площадь, которую она торопливо перебегала еще вчера, показалась ей невиданной и прекрасной. Быстрые людские тени, смутные и веселые голоса, черный простор площади, рассеченный золотыми лезвиями фонарей,—она не замечала этого раньше!

Она стиснула зубы, чтобы сдержать стон, рвавшийся откуда-то из самой глубины ее сердца. Может быть, в этом потоке людей, хрустя плащем, прошел Дзюбин. Тусклый свет из окна на мгновенье лег на его пухлые и немножко насмешливые губы. Козырек его кепки смешно помят,—балуясь она сломала его вот этими пальцами, там, в лугах, у моста... О-о!..

Она почти отбежала от окна и полезла под колючее одеяло, стыдясь внезапных неудержимых слез, смочивших ее глаза и щеки.

— Соскучилась, девушка, чо-ли? Пошто, говорю, плачешь-то?

Мариша вздрогнула. На нее смотрели глубоко запавшие, страдальческие глаза соседки.

— А ты не стыдись, девушка, поплачь... тоска от сердца-то отвалит. Я тоже эдак-то, так ничего... Об дитенках вот тоскую, двое у меня их, малюсеньки...

— Нет, я не тоскую,—перебила ее Мариша, вдруг поддаваясь неудержимому желанию чудовищно и сладко налгать этим славным, таким нестерпимо ласковым и участливым глазам.

— Я смотрела мужа,—она вздрогнула, произнюся впервые это удивительное слово,—он проходит со службы в эти часы. На улице так светло...

— Видела?—засветились радостью темные глаза.

— Видела,—опустила голову Мариша.—Он шел быстро, быстро. Это потому, что дома его ждет наш сынок,—закончила она, захлебываясь и ужасаясь своей дерзости.

— Большенький?

— Кто?

— Сынок-от, говоришь?—в голосе проскользнуло удивление.

— В самом деле, сколько же ему теперь времени?—сквозь зубы процедила Мариша, вспоминая, что ребенка Дзюбина она никогда не видела.

— Два года три месяца,—скороговоркой, громче, чем нужно, сказала она соседке и, чувствуя, что скользит в пропасть, хитро перевела разговор.

Они шушукались всю ночь и уснули под утро.

Мариша открыла глаза в ту минуту, когда на пороге палаты появилась толстая няня.

— Кто здесь платная койка?—спросила она громовым голосом и заглянула в бумажку.—Головач здеся?

Мариша вскочила так, будто койка внезапно стала огненной. Впереди покачивались толстые бедра няни, шлепанцы сползали с ног и, казалось, шаги звенели и отдавались по всему коридору. Потолок был весь стеклянный. Странно, вчера Мариша этого не заметила.

Няня круто завернула и скрылась, за ней бросилась и Мариша. Путь преградили розовый ряд колясочек. Мариша подошла к ним. В каждой колясочке лежал аккуратный сверток, снизу похожий на большую конфекту. Она наклонилась над крайним. Так вот они, новорожденные ребята!

Стеклянная дверь открылась, ослепив Маришу сиянием.

— Не задёрживайтесь,—строго сказала толстая няня.

В комнате шипел примус, на белом столе играли мутные солнечные пятна.

— Снимите все до сорочки,—монотонно приказала женщина, склонившаяся над примусом.

— Ложитесь на стол,—сказала она, думая, что Мариша разделась.

Толстуха стояла у двери, делая возмущенные жесты Марише. Мариша осталась неподвижной.

Потом она подошла к столу и решительно и легко повернулась к нему спиной. Женщина на нее оглянулась и выпрямилась удивленная.

— Что такое?—спросила она, глядя в расширенные Маришины глаза.

— Я уйду,—сипло сказала Мариша и, кашлянув, повторила твердо:—я уйду.

— Вы не хотите аборта?—спросила женщина, привертывая примус. В комнате сразу стало тихо.

— Да,—коротко уронила Мариша.

— Вы у нас отняли время и койку,—с досадой проговорила женщина.—Платная?

— Да,—всхлипнула Мариша.

— Сдайте халат. Вы получите деньги обратно.

— Хорошо.

Мариша прошла мимо остолбенелой няни.

В коридоре ее догнала женщина, кипятившая инструменты. Сейчас у нее были старые усталые глаза.

— Вы молодец, вы молодец,—сказала она быстро и ласково.—Простите меня. Мы здесь так устаем, так устаем... Этот сухой тон... Дайте вашу руку. Я здесь работаю десять лет на абортах и вот... первый случай такой счастливый.

— Я не хотела бы брать деньги... если я дам адрес...

— Конечно, ну, конечно... больница отошлет.

Она пристально посмотрела на Маришу.

— Вы много страдали...

Через два дня Зоз получил пакет. Кроме бумаги из гинекологического отделения больницы, там лежала записка Мариши, написанная криво и крупно:

— Андрей Иванович, передайте Дзюбину 20 рублей и скажите—за ненадобностью возвращает Мариша. Андрей Иванович, может быть, вы и правы (тогда, в клубе, помните?). И еще прошу вас пособить мне перевестись в другой город, а в какой—мне безразлично, или в деревню.

М. Головач.

Зоз сгреб руками бумаги, два грязных червонца и записку. Войдя в кабинет Дзюбина, он закрыл дверь на ключ, положил все ему на стол и отошел к окну.

Дзюбин прочел и долго молчал.

— Андрей Иванович...

Зоз не откликнулся.

Дзюбин подошел к нему и через плечо сунул ему бумажки.

— Спрячьте... пожалуйста!—умоляюще сказал Дзюбин.

Андрей Иванович пожал плечами, вынес держа за уголок деньги, засунул их глубоко в стол и звякнул ключом.

Потом он встал, нахлобучил шляпу и ушел домой. Это было за два часа до окончания занятий.

Это было необычно.

Бунтовщики.

П. Семынин.

Ал. Панкрушину.

Ветер. Дождь.

По жирной, черной дороге, неуверенно опуская копыта в холодную грязь, устало плетется лошадь.

На телеге, сонно покачиваясь, сидит скрюченный, рыжебородый мужик.

В рытвинах телега скрипит, тяжело накреняется; мужик вздрагивает и, натягивая возжи, шевелит синими губами.

На телеге что-то закутанное серыми, разодранными одеялами.

Около двухэтажного дома, обсаженного низкорослыми, уродливыми тополями, остановились. Мужик, стоя в грязи, разматывал одеяло серыми сведенными пальцами:

— Приехали, татарята, приехали!

На скользких досках телеги, судорожно щелкая зубами, жались два скуластых татаренка.

Один—с головой, из'еденной золотухой, худой, желтый, выжимал сквозь слюнявые, скривленные губы:

— Уй, хулудна, уй, хулудна!..

Мужик, звучно высморкавшись, лениво взял на руки золотушного и понес его, широко шагая по сухим местам. Потом пришел за другим. В жаркой, душной кухне, где зеленым дымом шипел прелый капустный пар, их посадили на печку.

Кухарка, взглянув на татарву из-под оплывших век, поморщилась и тяжело колыхнула громадной грудью.

— Чо же вы над котлами сели? В суп вшей напущать хотите! Отодвиньсь!

Тревожно забились в угол. Грелись у трубы, тряся окоченелыми руками.

Спать их не брал никто: «Нужно-то, заразят еще!».

Грузная заведывающая Казимира Осиповна уложила татарят в коридоре, между двух комнат, постелив грязные отрепья.

...Иссиня-черная ночь шумно металась за окнами, взвизгивая густым гнетущим визгом. Жуткие студенистые облака, растерзанные промокшим ветром, мчались невероятно быстро, поглощая месяц, звезды, небо.

И от этих звериных судорог ночи, от однотонного глухого стона дождя было печально и страшно. Татарята спали тревожно. Часто открывали измученные кошмарными видениями глаза. Темь была пуста и светилась зелеными фосфорическими огнями.

Воспитательница Мария Панкратьевна лениво открыла глаза. Синие мертвые лучи солнца слабо и надоедливо копошились в окне. Вставать не хотелось потому, что впереди за восьмью часами нет ничего интересного, и все серо, холодно, как эти лучи солнца. На столе раскрытая, недочитанная валялась книга, где на толстой синей корке стояло—Лидия Чарская—рассказы. Мария Панкратьевна, быстро и бесполезно растратившая свою молодость, плакала, обуреваемая сказочными мечтами, забываясь за такими книгами, где чистые нежные девушки из института красиво любят черкесов-разбойников...

Но большие пузатые часы настойчиво говорили, что вставать нужно, этого требует ее работа. Мысленно проклиная серую, однообразную скуку, Мария Панкратьевна отбросила одеяло и начала натягивать на большие одутловатые ноги протертые чулки. Расчесывалась долго, внимательно. Серое дряблое лицо натирала дешевым, дурно пахнущим вазелином, пудрилась крупной, как мука, пудрой. Чуть подкрасив брови, пошла будить ребят. Около татарят остановилась. Удивленно сморщила лицо:

— Фи, как гадко пахнет.—И, чуть дотрагиваясь до них стоптанным ботинком, процедила:

— Вставайте!

Неловко вскочили и испуганно, быстро начали надевать коммунскую одежду.

Мария Панкратьевна, открывая в окнах форточки, ворчливо будила ребят.

У умывальника очередь. Лениво потягиваясь, пришла заведующая Казимира Осиповна. Не торопясь, расставила шеренгу баночек и щеточек. Тяжело перетаптываясь, фыркала, как лошадь, тряся жирным неуклюжим телом.

Увидев татарят, заведующая поджала тонкие губы и, обтирая шею сырым, мохнатым полотенцем, невнятно сказала:

— Вы подождите умываться, после.

Девчата визжали тонко, закатисто. Ребята метались по-петушиному, гремя тяжелым, не детским хохотом.

Толстая, с выпученными глазами, Маруська, стуча кулаком по умывальнику, разругалась с Колькой.

— Ты чо же брызгашь, красномордый гад?! Я тебе не какая-нибудь!

Красномордый гад остро скользнул глазами по лицу Маруськи, не торопясь, отвел назад руку и сунул крючковатый кулак в бок.

— Не дразнись! Лахудра!

Маруська, побагровев, согнулась и, хватаясь за живот, завизжала, а Колька спокойно, стуча пятками в пол, ушел в комнату.

Татары—Равил—золотушный и Абдрахман, не умываясь, сошли вниз.

Мария Панкратьевна посадила их за стол между Колькой и уродливо широкоплечим Ванькой. Колька брезгливо отодвинулся.

— Ну, Мария Панкратьевна, сюда-то чо садите?! Да тут, на его гнилую голову глядючи,—сблюешь, честное слово, сблюешь.

Равил опустил глаза, еле сдерживая подступающий к горлу плач.

Угрюмый парень, с морщинистым запыленным лицом, заступился:

— Што ты прогоняешь, не такой рази? Ишь ты—сблюешь. Хлеб, полежавший в сортире, жрет хоть бы хны, а тут сблюет!

И к Равилу ласково:

— Хамай, хамай, а полезет—в морду двинь!

Колька, нервно передергиваясь, начал есть.

...Солнце землю распарило. Сизый дым струйками плавал в воздухе. Пахло залежалым навозом и тополями.

Весна.

Босые ребята веселым галочьим криком заполнили двор. Только Равил не вышел. Лежа на кровати, шарил промокшими глазами по потолку. Часто кашлял, и сморщенное старческое лицо ломалось в судорогах.

Ухмыляясь, Абдрахман уселся на густо залитые солнцем поленья. Грелся.

Как молодой, застоялый жеребенок, выпущенный на волю, размашисто раскидывая ноги, бегал Колька.

Пробегая мимо Абдрахмана, невзначай будто, брызнул ему в лицо грязью.

Абдрахман обтерся и спокойно проговорил:

— Ни болувайси!

Колька, не скрывая злобу,—второй раз.

Передернулся, сжал кулаки Абдрахман. И когда в третий раз пробегал Колька, он вдруг резко ударил его в затылок. Широко раскинув ноги, Колька упал в грязь. Следившие за этой игрой ребята гулко захохотали. Колька вскочил. Рывком схватил Абдрахмана за грудь—затряс.

— Ты чо? Ты чо? С тобой, к тебе лезут чо ли?

У Абдрахмана чуть заметно задрожали руки. Гневный жар ударил в голову. Сдерживаясь, расцепил пальцы, оттолкнул:

— Ну, ни болувайси,—и обвел ребят недовольным взглядом.

Рыжий, веснушчатый парень курицей метался вокруг, подзадаривал:

— Двинь, двинь ему в мусало татарвятское, двинь!

Колька полез крепче. За грудь вцепился сильней.

— Ну, чо, татарва, ну, чо!? Н-на!!—ударил ловко и больно в зубы.

Абдрахман отступил два шага назад. Перекосил рот. Что было силы, рванул затвердевшим, как железо, кулаком в живот.

Колька полез крепче. За грудь вцепился сильней.

взрыв хохота ожог его, точно бич, бешено кинулся. Сцепились, рухнули в грязь. А рыжий попрежнему метался, визжал.

— Так... Так... в мусало, в мусало!.. Колька, в мусало. Вот... Вот... Бей!

Заведующая Казимира Осиповна, прикрыв глаза правой рукой, на манер козырька, закричала с крыльца;

— Раз-з-зойди-и-сь!! Разойди-и-и-сь!!

Увидала Абдрахмана, быстро, по-кошачьи, облизала сухие губы и, нервно дергая бровью, обратилась к головастому короткому завхозу.

— Вот видите, Тимофей Иннокентьевич, я не брала, так нет—возьмите. Известно, хулиганье.

Подозвала обоих. Быстро-быстро заговорила что-то очень скучное. И под конец:

— Без ужина оба! И вы, Мария Панкратьевна, последите.

Колька, ловко цыкнув тонкой струей слюны через зубы, обтирая грязь, сказал:

— Ну, без ужина—похряпаем!..

Колька «похряпать» сумел, но Абдрахман улегся на кровать без ужина.

Равил принес замусленный, обглоданный кусок хлеба.

— Абдрахман, спий киряк?

Когда начали стелиться, Колька подошел к татарину. Улыбнулся растерянно, виновато.

— Ешь, Абдрахман, а об драке забудь. Парень ты, хучь и татарин, а грубой... Ешь, ладно?..

Абдрахман, уткнувшись в тряпье, когда все стихло, легким играющим голосом запел:

Пароход киле, пароход киле,
Пароход курбин калай.

Ребята слушали внимательно. Вначале смешно было, а потом от этой непонятной песни обняла всех тупая боль.

Колька, разрубая воздух ладонью, говорил:

— Вы оба разом, луччей будет. Честное слово луччей!

Равил изогнул узкую шею, хрипло начал.

Абдрахман обвивал его хрип ровным и гладким, как шпагат, голосом:

... Алмаларе, алмаларе,
Кызаре пышарале...

Замолк и не разговаривал больше Колька. Мутная боль сжала нутро. Эта непонятная песня разворошила покрытые налетом забытья жуткие воспоминания.

... Металась в тифозном бреду, дымила горячим кровяным смрадом, исхлестанная железными вьюгами, земля.

Плакаты надрывно хрипели со стен, с заборов, разрывая мозг огненными словами:

— ТОВАРИЩ!

Выполни долг гражданина—помоги голодающим!

Товарищ!.. Товарищ!... Товарищ!..—и за этим опять хрипело:—помоги!

Бросая столетьями насиженные места—прадеды, деды, отцы здесь рождались, умирали—кидался народ черным гнетущим потоком в просторные об'ятья Сибири.

Сбивались на станциях толпами, проклиная всех и все. В кучах зверьми делались, теряли человеческий разум...

А детей расплескивала жизнь по сибирскому омертвелому раздолью. Подбирали их больных, отравленных гнильем улиц и рассовывали наскоро по детдомам. А там... Эх, да что там!

Голубой восход медленно полз через закопченные окна, с трудом заливая комнату серыми, трепещущими тенями. Тени розовели.

Равил, сдернув желтое одеяло, шурша сухими подошвами, пошел на двор.

Небо серое алело. Стояла ровная, прохладная тишина. Седой туман мягко переливался, пахнул парным молоком. Шлепая по промерзлым за ночь лужам, около амбара Равил услыхал тонкий собачий визг. Остановился, нагнулся. Под амбаром собачонка, маленькая, лохматая, вертит мордочкой, скулит. Маряясь в навозе, вытащил. В руках теплый комок смотрит на Равила мутными, белесыми глазами.

Равил ласково погладил собачонку и опустил за пазуху.

В комнате собака, смешно раскорячив ноги, тряслась, и хвост ее прыгал рывками. Еще раз погладил и оставил на полу.

Закутался. Проснувшийся Колька скрипучим голосом сказал:

— Зачем принес ее? Навалит,—и, уже засыпая:—сам убирать будешь.

Будила ребят Мария Панкратьевна. Широко раскидывая ноги, шуршала новой сатинетовой юбкой.

Около кровати Равила вдруг заругалась, грубо ломая тонкие красивые губы.

— Кто принес собачонку? Нагадила она здесь!

Колька глянул на белую туфлю, испачканную собачьим калом, и, зажимая рот, забился на кровати в бурном ребячьем смехе.

Равил, не моргая, широко таращил испуганные глаза. Мария Панкратьевна, зацепив взглядом щенка, быстро нагнулась. Крепко схватила за задние ноги и вышвырнула его в окно.

Круто повернулась. Вышла.

Колька, задыхаясь, гремел смехом:

— Хи-ха-ха! Она идет, а тута куча... знай шагай. Всю туфлю измазала.

— Гы-гы-гы!—взревели радостно ребята.

Когда стихло, Колька посмотрел в окно и с сожалением сказал:

— Вот сволочь, а собачонку жаль!

Равил со стоном метнулся на улицу.

Собачонка дрожала. Из носу коралловыми сгустками пузырилась кровь. Равил гладил ее и плакал:

— У, сволощ, собакан спортил, у-у-у!..

После чая совал в трясущуюся мордочку хлеб—не берет. Колька сокрушенно мотал головой:

— Умрет, не вытерпит. Устройство у ей не крепкое.

Задумался. Увидев черный хлеб, добавил:

— Ей-ба хлеба белого, аржаной она, факт, жрать не будет.

Бережно уложили в ящик, устланный соломой, и—под кровать к Равилу. По ночам будила собака чуткого татарина. Тосковал Равил.

Через неделю, когда щенок совсем перестал скулить и только немо тянул мордочку, глядя пустым потухающим взором, Равил решил достать во что бы то ни стало белого хлеба.

Вечером, проходя мимо комнат заведующей, увидел сайки.

— Эх, кабы собакану, враз бы прыгай стал!

Утром, когда заведующая ушла умываться, приоткрыл дверь.

Жадно пробежал по столу глазами:—нит хлиба билава? Как через огонь (голова затуманилась) перешагнул порог. Неуверенно, пьяным шагом царапал по комнате.

У вырезного шкафчика остановился. Круто звенело в ушах. Оглядываясь по сторонам, открыл блестящую дверцу...

— Хлиб билай!..

... — Ты что здесь делаешь?!

Равил согнулся. Лопнуло что-то тугое внутри и залило все щиплящим, горячим раствором.

В дверях стояла заведующая...

После обеда одели Равила в рванье и усадили на широкую разбитую телегу. Тяжелым, железным взглядом проводили ребята Равила. Знали, куда везут: в колонию малолетних преступников. И от этого татарин плакал, и от этого все были угрюмы и злы.

Телега, скрипуче щелкая, скрылась за углом.

К вечеру собачонка издохла.

Воздух наливался синим сумраком. В прохладной густоте было приятно будоражить размягченные жарой тела.

Заняв дорогу около своего дома, ребята и девчата играли в лапту. Визгом и азартными криками сопровождали черный резиновый комок.

Колька сидел на крыльце, запрятав ноги в пальто. Бесцельно блуждал глазами.

Абдрахман, рявкая по-медвежьи, неловко увертывался от мяча и, коверкая слова, расплескивал свою татарскую радость.

Из-за угла полугнилого бревенчатого дома тихим, усталым шагом вынырнула девочка в белом платье.

Постояла с минуту, пошла к крыльцу.

— Я извиняюсь... скажите, пожалуйста, здесь приют?

Колька тряхнул головой, и, рассыпав лишние мысли, оглядел ее прищуренными глазами. Не торопясь, сырым голосом заговорил:

— Перво-на-перво это не приют, а ка-му-на! Понимаешь, каммуна! Приюты это раньше, при Николке, были, а теперь—шабаш!—Вытянув на ступеньках крыльца грязные, волосатые ноги, он еще раз внимательно осмотрел ее, как прасолы осматривают лошадей. Не зная чему, улыбнулся. Потом неожиданно:

— А тебе зачем?

Девочка смутилась, покраснела:

— Да вот тут из губоно... Записка.

— Из губоно, говоришь... так... к нам, значит? Ну, у нас, брат, хана— с косами ходить нельзя, живо обкарнают.

Потом переменил тон. Процедил быстро, деревянно:

— Ну-к, покажь бумажку-то.

Девочка засуетилась и, волнуясь, начала развертывать узелок. Вытащила ровно сложенный клок бумаги.

— Вот, возьмите.

Колька деловито развернул бумажку. Написано было неразборчивым, мелким почерком, и он ничего не понял.

— С этой штуковиной иди к заведующей. Вот здеся через колидор.

— Спасибо. Извиняюсь, что вас потревожила.

И мягким кошачьим шагом запружинила по ступеням.

На другой день в списке размашистым почерком значилось:

— № 53. Людмила Гриневич. 15 лет.

Топчан и одеяло Людмиле дали через три дня. А до этого времени она спала с Маруськой.

По ночам, приглушенно хихикая, Маруська хвастливо шептала:

— Ты знаешь, я с завхозом Тимофеем Иннокентьевичем в дружбе. Он меня любит. Погладит, погладит по спине и назовет—пухляшка ми-и-и-лая... Он может все. Он не простой. Он конфетами меня кормит.

Людмила брезгливо прикасалась лицом к грязной подушке и слушала не внимательно. Она еще никак не могла осознать, осознать так, как это нужно, всю обстановку. Ее оглушил и наполнил большой брезгливостью этот детдом-коммуна. Уединиться и мечтать красиво, как мечтают взрослые девушки, здесь негде. Грязные, ободранные девочки потеряли еще раньше, за стенами детдома, свое детство и нужный стыд. Они так же, как и ребята, ругаются, а это очень неприятно и мерзко.

— Ты вот что, хочешь—я тебя с Тимофеем Иннокентьевичем познакомлю?—на момент Маруська смолкла. Перебирая в темноте сухие и легкие, как шелк, волосы Людмилы, точно о чем-то сожалея, сказала:—Он тебя обя-

зательно полюбит. Он славный и ты славная. А с ребятами лучше не знайся— фулюганы они... Вот тут Колька...

Людмила почувствовала, что в голосе Маруськи сквозит острая, заметная печаль.

—... Нас вот с ним вместях со станции приволокли. Он меня давно знает. И-их! И побывал-то,—мне жизнь свою рассказывал... баловались даже в вагонах пустых, а теперь укоряет—пронституция, говорит, ты, больше никто.

Маруська, глухо разбросав кашель, перевернулась на другой бок:

— А так-то он молодой, антиресный. Любила я его здорово... Да.

Вглядываясь в синие четырехугольники окон, Людмила неожиданно спросила:

— Маруся, а лет вам сколько?

— Лет мне? Вот по ряшке много дают, а на самом деле шишнадцать!

Сизая тишина. И опять придавленный шопот.

— Девчонки у нас все шалые. Воспитательницы хорошие. Вот Марья Панкратьевна танцовать нас учит, ривиранцы перед мужчинами делать. Ты умеешь? Она скоро по-настоящему нас учить будет, в роде школы танцовальной...

Нежный рассвет ласково бьется в небе.

На воскресенье день выплеснулся теплый.

Утром девчата долго прочищали зубы мелким углем. Во вшивые куцые косички старательно вплетали полинявшие ленточки. Умывались тщательно и прихорашивались по очереди у маленького обломка зеркала.

Дежурная воспитательница быстро записывала и отпускала в город.

Вечером после ужина все собрались в зал.

Девчата, раскрасневшиеся, радостно смеялись, щурили, как заведующая, глаза. Ребята расселись по всем углам и под всеобщий горячий хохот пускали похабные словечки.

Сотрясая стены, гудело пианино, расплескивая дикие звуки вальса.

Мария Панкратьевна подбирала по краям серую до лоска замызганную юбку, кружилась посреди зала и выплевывала мокрые картавые слова:

— Вот, конечно, так, дети. Слушайте. Отставляете ногу вправо, потом ее чуть заметно сгибаете, и сразу—реверанс!

Неуклюже передвигая толстые ноги, девчата кружились по вышарканному полу.

Багровая Маруська ловко выгибалась в старых туфлях Марии Панкратьевны. Проносясь мимо пианино, оскалив зубы, она вскрикивала через плечо громадному косматому Мишке, выстукивающему вальс:

— Миша! На сопках Манчюри!..

Людмила сидела в стороне, плотно сжав губы. И Колька, вглядываясь в ее лицо, понимал, что эта не такая, как все. И это его радовало, радовало больше всего.

Когда грохочущий лязг пианино охватил зал сладостным трепетом, когда девчата, откидывая по-лошадиному назад головы, закружились, ребята выставили грязные изодранные пимы. Девчата спотыкались, ругаясь так же тонко и быстро, как Мария Панкратьевна.

Во время свалки ребята хватали девичьи груди, били звонко, размашисто по широким задам.

Колька все время следил за Людмилой. Он заметил, как она закусила губы, и бледные щеки передернулись багровым стыдом. Брезгливо вздрогнув, Людмила пошла. Кто-то из ребят ударил Гриневич по спине.

Остановилась, взметнула косы:

— Что лезете, хулиганье!..

Рыжий Ванька рассмеялся ей в лицо и большой шершавой ладонью провел по груди:

— Закройся, тилигенка, и сопли утри!

Колька видел, как странно отшатнулась Людмила и, взмахнув рукой, ударила Ваньку по щеке.

Ванька, как бык, нагнул голову и бросился на нее, но потом почувствовал, что кто-то сильно схватил его за волосы, жестко рванул в бок и отшиб в сторону. Жадно раскрывая большой рот, извернулся змеей, но, увидев Кольку, только разразился бешеным потоком ругани.

Кольке было скучно и почему-то обидно. Маленький носатый парнишка, напевая песенку, покровительственно хлопнул его по плечу.

— Скушно, Колька, да? Давай базланем, чтоб кисло с пресным перемешалось, а то чо жа? Им, сволочам, весело, а нам нет! Мишка подыграется.

Предложение носатого понравилось, быстро сговорились.

Девчата вошли в раж, но в это время пианино резко изменило мелодию. Левый угол дружно ошарашил зал.

Смела-а-а, товарищи, в но-о-о-гу!
Духа-а-а-м окрепнем в борьбе-е-е!

Вальс раскололся, разбился вдребезги. Маруська высоким голосом дребезжала.

— Что это за безобразие, что за безобразие!..

Колька, стукнув комлястым кулаком по шее, прекратил вскрики о безобразии и пуще прежнего начал восхвалять товарищей.

Ворвалась потная, гневная Мария Панкратьевна.

— Ну, как вы смеете, хулиганье! Вы расстраиваете всю эту стройность.

Мишка упорно, тяжелыми, точно цепы, руками обмолачивал зерна звуков грохочущей песни.

Носатый парнишка, ради озорства, щелкнул по выключателю кулаком. Темь густо саданулась в окна.

Темнота визжала, ревела, и весь этот визг опутывал тонкий, как бечевка, голос Марии Панкратьевны.

— Что это такое, что это такое, но, ведь, это безобра-зие-е-е!..

— Тс... тише...—хрипел Колька,—ты, татарва, тише.

Абдрахман мялся в брызжущем смехе, а пугливый вспых зрачков прятался за длинные ресницы.

— Кулька, откуда нащнем?

— Откуда, откуда, да тише ты, разбудишь, дура.

Девчата, раскинувшись в жаркой истоме, наполняли комнату разноголосым гуденьем.

Ребята тихо ползли между топчанов, лазили по сундучкам, расковыривая гвоздями замки.

Хлеб, кренделюшки, шанюшки тут же глушили десятками и набивали карманы.

Около Гриневич Колька остановился.

Голубой блеск луны расплавил золотые волосы. Они стекали по плечам, вздрагивая ослепительными волнами. Розовый свет мягко струился по коже. Колька вздрогнул, сумасшедший бой сердца разлил по телу горячий приступ радости.

Рядом с Людмилой раскинув руки, с голой грудью лежала Маруська. Грязные бугры посинелого мяса вдавились Кольке в глаза, смяли лунную радость. Пригнувшись, точно сверху кто-то давил на плечи, вышел.

Носатый парнишка широко раскрыл глаза. Изогнувшись, потрогал короткими пальцами грудь Маруськи. Замирая, как при сильном страхе, трясся:

— Ишь, ишь, какое устройство имеют, а?

Рыжий Ванька скорчил лицо и презрительно сплюнул.

— Известно—бабье.

В углу кто-то захрипел, поднял шершавую голову. Ребята с треском повалили за дверь.

Абдрахман задел лестницу, на которой сушились пимы. Лестница загремела.

— Ну, чо же ты ревешь?

Людмила, всхлипывая, молчала.

— Ну, чо—говори?—Колька крепко схватил ее за плечи и повернул к себе лицом.

Гриневич тяжелым голосом сказала:

— Та-а-а-к...

— Ну, говори, что я, волк, что ли?

Людмила опять заплакала и, уткнувшись в угол, зашелестела плечами.

— Ы... ы... Тимо...о...о...фей Иннокен...тьевич!

— Ну, брось реветь, говори толком,—успокаивал ее Колька.

Людмила стихла. Огляделась мокрыми покрасневшими глазами. Присела на скамью. В комнате они были одни. Дрожащими руками оправила волосы Голос тоже дрожал и рвался.

— Ты знаешь, Коля, я здесь жить не могу.

Колька почему-то покраснел.

— Почему не можешь?

Рассыпав взгляд, Людмила молчала. Потом ровным далеким голосом начала расправлять скомканные мысли:

— Но ты знаешь же, Коля, что это за мерзость!—холодный клубок боли блеснул у нее в глазах.—Этот Тимофей Иннокентьевич—пошлый, гадкий человек. Я его видеть не могу...

Опять заволновалась, еле сдерживая плач.

— Он что устроил... Подозвал к себе меня с этой дурой Маруськой... и... начал раздевать меня!!...

Колька широко распахнул глаза.

— Ух!—и загремел тяжелым каменным матом.

Людмила откачнулась, подняла ресницы.

— Ой, невзначай я, Людка. Прости.

Помолчали и опять горькая, не по душе Кольке, жалоба:

— Убегу я, не могу здесь жить.

— А мы как же существуем?..

— Не знаю...

На синем матовом фоне окна, оголубевший профиль Людмилы был четок, точно вырезанный из мрамора. За окном тихо шумел вечер. Где-то далеко ворчал паровоз и тревожно щелкал свисток милиционера.

Кольке почему-то сделалось тоскливо. Сам не зная для чего, спросил:

— Пахан-то кто у тебя?

— Какой пахан?

— Ну, отец.

— Ах, отец—адвокат... А тебе зачем?

— Да я так.

Каждый всплеск Людмилина голоса был тепл и нежен, как вечерние сумерки.

Колька широко улыбнулся, поблескивая в темноте глазами.

— Грубая ты девка!—И, разбросав горячий хохот, загремел по лестнице.

День первого мая.

Зной переливается и звенит, как расплавленное стекло. Огненные знамена шуршат, взметываясь от легкого ветра. Каменная земля дышит тяжело и гулко. Люди, с расстегнутыми рубахами, ходят, кричат и поют. Людям весело, людям жарко.

В детдоме с утра переполох.

С красным бантом на широкой груди заведующая, засучив рукава, бегала, кричала, вертелась на кухне. Вспотевшая кухарка ловко месила тесто большими мужичьими руками.

Чад. Шип. Гарь.

Чай дали с сахаром. Хлеб белый.

После чая—беседа.

Заведующая копалась в «Календаре Коммуниста», путала имена, годы.

Ребята, рассевшись по шершавым скамейкам, перемигивались и щипали девчат.

Когда заведующая, особенно долго порывшись в «Календаре Коммуниста», сказала, что нужно почтить память вставанием знаменитого теоретика и основоположника коммунистической революции Карла Маркса, Мишка рванул облезлые клавиши, и пианино рявкнуло «Интернационал». Все встали.

Первая захрипела, точно раздавленная, Мария Панкратьевна. Девчата по-собачьи запрокидывали головы, тонко заламывая верхи. Заведующая, уставив глаза в решетку печи, не разжимая челюсти, цедила какие-то неопределенные звуки. Около заведующей, томно закатив глаза, стояла Маруська. Выпятив непомерно громадную грудь, она вздрагивала от натуги.

Когда ребята что есть силы ревели «ни бох, ни царь и ни гирой», Маруська замыкала рот—молчала.

Колька заметил:

— Ты чо же это не поешь? А? Против, да?.. Тебе, значит, ни бог, ни царь и ни гирой лучче?.. Лучче всяких камунистов ленинав?

Маруська нехотя огрызнулась:

— Отстань ты! Иди, хлещи за своей Людочкой, а ко мне не лезь.

Колька рассвирепел.

— А, ты дразниться!.. Я тебя обдразнил, да?

Маруська зеленым харчком ударила его в лицо. Не торопясь, стер. А она, выкатив глаза, нервно дрожала. Не отрывая своих глаз от нее, отвел назад руку и вдруг перервал молчание глухим стуком в грудь.

— Получай задаток!..

Маруська отшатнулась, согнулась и визгом перерезала «Интернационал».

Колька злорадно рассмеялся:

— Чо, нибось, все перешиб? У, сука!

Людмила осторожно взяла за локоть.

— Коля, нехорошо так.

Быстро обернулся.

— Слышь, лучче не лезь сейчас,—и, странно изогнувшись, вышел.

Заведующая оставила Кольку без обеда, но он не тосковал, потому что «был компот из гнилых яблок, и ребята все блевали».

Вечером всех угнали наверх спать.

К заведующей Казимире Осиповне понаехало много толстых людей с кожаными портфелями, в галстуках.

Казимира Осиповна, густо напудренная, высоко дыбя голову, встряхивала рыжими завитыми локонами. Старалась часто удивляться, резко и неожиданно вскидывать брови и вытягивать короткую, сморщенную шею из белого кружевного воротничка.

Приезжие льстиво улыбались, хвалили вслух:

— Вы сегодня очаровательны!

— К вам ужасно идет этот беленький воротничок!

Воспитательницы тоже играли бровями и во всем старались походить на заведующую.

В небольшой комнате накурено, душно. Нежно и тонко звенят стаканы. Густой электрический свет переламывается, искрится в дорогом вине. Золотой блеск мягко режет взоры.

Гости по-бычьи ворочают глазами и, дыша густым перегаром вина, любезно и охотно разговаривают с женщинами о голубизне весеннего неба, о физиологических законах природы и о трудности воспитания детей.

Со взбитым хохолком редких волос, широкий, скуластый, мужчина, вздрагивая от гулкого хохота и прикрывая ладонью рот, рассказывает грязненькие анекдоты.

Пьяный гам усиливается, перекатывается волнами.

Бледная остроносая воспитательница щиплет тонкими хрустящими пальцами струны гитары, поет, откидывая с глаз буйные волосы:

Отцвели уж давно хризантемы в саду,
Но любовь все живет в моем сердце больном.

Обрюзглый, жирный мужчина из губоно длинными, трясущимися руками хлопает себя по ляжкам:

— Господа, танго, танго!

— Нет, нет, тустеп!

— В далекой знойной Аргентине, где женщины, как на картине, там Джо влюбился в Кло!

Казимира Осиповна одна выпрыгнула на середину комнаты и, заламывая обнаженные руки, закачалась в томящем танце.

Мария Панкратьевна, небрежно держа в изогнутой руке папиросу, училась у гладко выбритого пускать дым кольцами.

Молодой напудренный человек, с фиолетовым помятым галстуком, щуря близорукие глаза, заикаясь, вел беседу с худосочной, костлявой машинисткой из какого-то треста:

— Вы читали что-нибудь Артура Шопенгауэра? Заме-ча-тельно! А какой стиль, а какая оригинальность! Прямо читаешь и отдыхаешь!

Напудренный человек еще долго хвалит стиль и оригинальность философа, небрежно играя медной цепочкой.

Выбритый мужчина, ловко изогнувшись, поднял с дивана Марию Панкратьевну. Она, кокетливо брызнув глазами, прижалась к нему всем телом до боли, до судорог. Отбросив назад голову, Мария Панкратьевна уперлась грудью в подбородок выбритого человека. Он что-то шептал клочковатое, несвязное, а глаза маслились, узились в животном волнении.

Гости кричали «браво», «бис» и дружно хлопали в ладоши.

А за дверью—

Абдрахман, Колька и рыжий Ванька ломали шкап с хлебом. В темноте глаза остры и блестящи, как отточенные концы ножей.

Колька, свирепо хрустя зубами, выплескивал черный поток ругани:

— Ух-х!! Сволочи!..

Злоба зверем обезумелым металась в груди, душила, обрывая дыхание.

— Нас, сволочи, каннотом отравленным кормят, а сами наварили, напекли, стервы!!...

Слова раскалывают воздух, и он железными обломками рушится, расшибая все тело.

Продолжая ругань, скрылись с хлебом.

В темной комнате жадно ели. Дверь кто-то открыл. Маруська, странно с'ежившись, протянула руку.

— Мальчики, а нам хлебца дайте!

Ванька швырнул булку к ногам.

— Ишь, заметила.

Маруська радостно шмыгнула, громко хлопнув дверью. Сгрудившись, девчата хихикали, глотали черствый хлеб. Громадная, грудастая Фроська Булюкова свинцовым басом рассказывала матерные сказки.

Отрезав от булки черный ломоть хлеба, Маруська подала знак девчатам, чтобы молчали, и подошла к Гриневич. Прихлынувший поток злобы залил черноту зрачков жутким пламенем.

— Эй, вы, тилигенка, не изволите ли хлебца откушать?

Булюкова, вытаращиз овечьи глаза, размазала на лице что-то наподобие улыбки. Стараясь заглушить грохот своего голоса, она напряженно сжимала челости.

— Маньк, табаку, табаку!.. Козявину ей в нос.

И, нерасторопно переваливаясь, полезла в сундук.

Маруська щелкала языком и слабыми пальцами скручивала из газеты папиросу. Широкий конец цыгарки зажгла, узкий вдернула в нос Гриневич.

Людмила рванулась. На синих бескровных губах желтый дым повис клочьями. В широких бездонных глазах бешено заметался разбитый ужас. Горячий дым душит, перекручивает горло:

— Ой, бо-о-о-льно-о-о!..

... Колька выплюнул заплесневелый хлеб и, стукнув кулаком по столу, выругался длинно, грязно:

— Што жа, ребята, долго терпеть еще будем, а?! Эти сволочи гуляют, из комунского жарят, пекут и жрут, а мы глядим. Рази это правильно?! Да?!

Рыжий Ванька, скручивая цыгарку, равнодушно заметил:

— К чему это ты? Без-толку!

Колька, размахивая руками, исступленно закричал:

— Как к чему! Что же мы, глядеть должны? Заявить надо!

— Куда заявить-то?

—В губоно. Оно этим ведает.

Худой, желтый парень гнетущим голосом смазал:

— Нашел то же, да там сволочь на сволочи сидит. Все, брат, там друг за дружку.—И в подтверждение своих слов он ожесточенно сплюнул.—Надо уж итти, так в другое место.

— Куда в другое-то, в губоно надо.

Последнему наперекор рыжий:

— В губоно? А ты пойдешь!..

— А чо, думашь, струшу? Пойду!

Колька решительно встал.

— Ну, кто в губоно со мной пойдет?!

Все молчали. Колька скривил узкие губы и закричал злобно:

— Эх, трусите! Сволочье! А еще мы, да мы!

Абдрахман быстро соскочил с койки на пол. Замахал рукой и, стукая себя в грудь, заговорил быстро:

— Хто сволощь, я ни сволощь, никогда не буду сволощь. Попаду, куда хочишь! Первой попаду!

За ним сухой, желтый, угрюмо, решительно:

— Кольк, я пойду, ладно?..

Сон черный, лохматый, как дьявол, огромными лапами задушил печаль.

Ночь. Кривобокая израненная луна мягко цедит через окна на пол серебряное молоко. Молоко дрожит, расплывается.

В комнате Казимиры Осиповны желтый полумрак, на полу окурки, грязь, стол замазан об'едками. В открытую форточку устало рвется ветер.

Заведующая в грязной рубашке мутно глядит в угол. Пьяно раскачиваясь, кладет кресты. Иконка маленькая, тусклая теряется в полутьме. На кровати сонно урчит жирный человек из губоно. Кончив молитву, ложится рядом.

Как только на калаиче медным расколотым звоном пробило двенадцать—Колька, Абдрахман и желтый пошли.

По дороге уговаривались.

— Все што б враз. Все расскажем.

У длинного одноэтажного здания остановились.

На голубой промытой дождями вывеске Колька прочел:

— От-нар-образ.

Вошли. В холодном каменном коридоре шаги гудели звонко. Открыли рогожей обитую дверь.

За столом, склонившись, сидели серые скучные люди. Одинаковые барышни изумительно ловко щелкали на ремингтонах, ундервудах и мерцедесах.

В углу за коричневой перегородкой (на желтой дощечке надпись «Соцвос») сидел мужчина с жирным обрюзглым лицом. Он устало водил перо по бумаге.

Ребята остановились.

«Соцвос» отбросил ручку, поднял голову.

— Что нужно?

Колька взглянул, вытащил из-за пазухи бумагу.

— Да вот тута заявление!

«Соцвос» быстро прочел. Болезненно сморщил лицо. Кольке стало неприятно. Потом протянул:—да,—и спрятал заявление в боковой карман.

— Ладно, идите.

По дороге домой ребята радовались, смеялись.

Колька от восторга захлебывался и махал руками.

— Ну, теперь падле рыжеволосой хана! Видел, как он сразу бумажку спрятал? Он, брат, злой!

Желтый глухо перемешивал с кашлем смех.

Завхоз Тимофей Иннокентьевич жил в маленькой отдельной комнате. Широкая, облупленная печь приятно щелкала по вечерам, и большие огненные тени шевелились причудливо по стене. В комнате всегда было чисто, опрятно. Сам Тимофей Иннокентьевич тоже был чист и опрятен. Раз'еденное оспой лицо каждое утро чем-то мазал. На коротких жирных пальцах носил золотые широкие кольца. Тимофей Иннокентьевич считался человеком умным. Каждое утро он читал газеты, а полученными новостями делился с воспитательницами.

Сегодня, пробегая глазами отдел об'явлений, наткнулся:

— Кино! Захватывающая трагедия с массой головокружительных трюков—«Глетчер Смерти».

Решил пойти.

Вечер налетел незаметно.

Тимофей Иннокентьевич надел новые лакированные сапоги, замазал на лице ямы розовой пудрой, вышел из комнаты.

В коридоре оперся на ободранные перила, задумался.

Маруська, вихляя грязными плечами, подошла.

— Тимофей Иннокентьевич, драмы глядеть идете?

Завхоз поднял голову.

— Да, скучновато, вот и пошел. А ты, Маруся, останься у меня, посиди. Я замок где-то потерял. Я приду скоро. А спать захочешь—ложись на мою койку.

И ушел.

Маруська осторожно заперла за собой дверь. Через открытое окно тихо лился голубой прохладный шум. Тополя кутались в тьму с сонным сухим шуршаньем.

...Ночь тяжелым мраком обняла город. Маруська, раскачиваясь, вышла за дверь.

Все спали. В коридоре звенела тишина.

Распахнув дверь, осторожно раскидывая ноги, в коридор вышел Колька. Зашаркал к уборной.

Горячий трепет охватил Маруськину грудь.

Колька вернулся, ленивый, сонный.

Маруська странно улыбнулась и, встряхивая телом, рассыпала липкий смех.

— Коля...

Оглянулся, зевнул, сердито брякнул:

— Ну, чо?

— Коля, иди сюда... Иди!—и распахнула дверь.—Заходи, никого нет—я одна.

Колькина голова налилась свинцом. Неловко упал на кровать. Маруська побелела. Кусает губы. Слова слетают бледные, неяркие. Глаза большие, просящие.

— Коля, неужели все между нами кончено? Что, разве Люда лучше меня? Ну, скажи, лучше?—нагнулась и мягко, как женщины целуют детей, поцеловала в лоб.—Ну, скажи, Коля, хоть слово.

Красные сведенные пальцы рванули ветхую кофту. Измятая, обвисшая грудь холодно ударила в глаза.

Колька отпрыгнул в сторону. Только сейчас он понял все. На белом лице остались одни зеленые провалы глаз. Захрипел, вытягивая жилистую шею.

— Ах ты, тварь! Вона ты чо, вона ты чо, проституции разводишь! Надсмехаться! Н-на! Сволочь!—тяжелый кулак мелькнул в воздухе и остро врезался в подбородок Маруськи.

Сильно хлопнув дверью, Колька быстро вышел.

В три часа ночи пришел Тимофей Иннокентьевич. Крупным дрожащим шагом застукал по полу. Пьяно спотыкаясь, подошел к Маруське. Грубо толкнул в бок. Шершавым голосом завизжал.

— Маруся-а-а-а! Я пришел!..

Сжав рот и выпучив глаза, резко замолк. Подумал. Вытащил из кармана кулек конфет.

— Ешь, Маруся, для тебя специально.

Маруська неуклюже выгибала руки и громко грызла леденцы.

Тимофей Иннокентьевич мотал из стороны в сторону большой ушатой головой и щерил уродливые зубы. Потом вдруг разом выпрямился, хлопнув себя в грудь кулаком и заревел протяжно.

— Маруся, милая!—рыгнув, уже тише добавил:—любимая.

Тычась невпопад влажной рукой, вытащил из другого кармана кусок запыленной колбасы.

— Ешь, Марусечка, не стесняйся меня-дурака.

Сел рядом. Бережно, тихо обнял широкую круглую спину. Маруська не сопротивлялась и только бренькала стеклянным разбитым смехом.

— Тимофей Иннокентьевич, вы пьяны?!

Тимофей Иннокентьевич вложил руки между колен. Задумался. Потом сказал:

— Маруся, позови Гриневич. Только осторожней, а то она не пойдет.

Маруська прищурила глаза и рассмеялась. С чуть заметной ревностью спросила:

— Зачем?

Тимофей Иннокентьевич раздумчиво шевелил усами и говорил вполголоса:

— Так, посмотреть охота!

Маруська сползла с койки. Последний раз улыбнулась загадочно и хлопнула дверью.

В комнате девчат было темно.

Маруська осторожно пробиралась между топчанов. Слабый лунный блеск усиливал темноту.

Около Гриневич нагнулась:

— Люда, Люда, вставай!

Девочка зашевелилась.

— Пойдем, Люда, в уборную. Я одна боюсь.

Гриневич накинула одеяло. Встала.

— Пошли!

В коридоре Маруська остановилась. Дрожащей рукой взяла Гриневич за локоть. Сдавленным, узким шепотом проговорила:

— Люда, пойдем в комнату Тимофея Иннокентьевича. Его нет. Мы посидим. Мне скучно.

— Зачем?

— Да так, посидим.

Людмила рассердилась.

— Ну, из-за какого-то пустяка ты меня разбудила. Я же спать хочу.

Маруська заговорила быстро. Голос дрожал и рвался:

— Да ну, посидим. Ночь-то большая.

Людмила нехотя отворила дверь. Шагнула через порог. В комнате было темно. Крючок зловеще звякнул.

Маруська повернула выключатель. Яркий свет больно ударил в глаза.

Завхоз в нижнем белье стоял с протянутыми руками. Пьяные, узкие глаза были масляны и скользки. Подошел осторожно. Улыбнулся ьяло, равнодушно.

— Люда!—и неожиданно поцеловал в щеку.

Людмила взвизгнула и дико отскочила к двери.

— Что вы делаете!?!—Опять!!..

Маруська сзади крепко схватила ее за руки. Повалила на кровать.

Страшная боль ожгла затылок Людмилы. Липкая кровь склеила волосы. В глазах сумасшедше заметались разноцветные круги. Потом посыпались искры. Черные, синие, зеленые, голубые. Где-то в стороне кривился гадко, грязно, измятый, раздвоенный Тимофей Иннокентьевич. Хотелось кричать, но крики не слетали с губ и только корчились, обессиленные.

Тимофей Иннокентьевич, не торопясь, снял со стены чистое, белоснежное полотенце и, не торопясь, завязал Людмиле рот.

Уговаривал нерешительно, переворачивая Людмилу вверх лицом. Рука потянулась к выключателю.

Маруська увидела, как черной ослепительной лавой хлынула через окна темь. Нечеловеческий ужас заморозил мозг. Маруська поняла все, все до мельчайшей подробности только теперь. Разрывая ногти, цеплялась за крючок. Но крючок почему-то не слетел с кольца, и обессиленные пальцы напрасно выламывались, кровянились...

Распластанная, с перекушенными губами лежала девочка пятнадцати лет—Людмила Гриневич.

Маруська обезумело ширила глаза. Ей нехватало воздуха, и она раздирала рот, как рыба, брошенная на горячий песок.

Тимофей Иннокентьевич глупо метался из угла в угол и совсем не зачем одергивал измятую рубаху.

Людмила открыла глаза. Глаза были желтые, мутные, как пороховой дым. Раскачиваясь, встала. Цепляясь за кровать, пошла к дверям.

Тимофей Иннокентьевич сел на кровать. Вытащил облитый дорогим одеколоном платок. Высморкался.

Казимира Осиповна—заведующая детской коммуной—волновалась. Несколько раз обтирала потевший лоб. Она вздрагивала от одной мысли, что эта красивая девочка, которую изнасиловал сегодня ночью завхоз, зайдет в губоно и там расскажет о всех коммунских порядках рыжебородому молчаливому заву.

Ее утешала одна мысль—Людмилы нет, значит, она сбежала. Можно дать в губоно коротенькую записку, что такая-то, такого-то числа украла из коммуны белье и скрылась. Да к тому же в губоно есть свои люди, которые знают ее, как хорошего работника, и всегда заступятся. Ведь ребят, действительно, воспитывать трудно. Она вызвала к себе завхоза и начала говорить серьезно, внушительно.

Тимофей Иннокентьевич плакал. Он уверял заведующую, что был безумно пьян и ничего не помнит. Здесь виноват вовсе не завхоз, а эта подлая, грязная Маруська.

Наконец, было решено так. Об этом никто ничего не должен знать. Маруську убрать сегодня же. Увезти в колонию малолетних преступников. Тогда следов не отыщешь.

«Соцвос» встретил Казимиру Осиповну около кинематографа.

Галантно раскланялся и взял руку под козырек.

Маленькие зеленоватые глазки «соцвоса» улыбнулись липкой улыбкой, но рот не дрогнул. Казимира Осиповна вздрогнула от этого загадочного взгляда и перебросила свои глаза на грязную афишу.

Черные неровные буквы расплывались и бухли, сливаясь в один черный провал. В провале дымились расплавленные лица красивых американок и мелькали с сумасшедшей быстротой изящные, точно выточенные ноги.

«Соцвос» заговорил тихо, с остановками, как-будто каждое слово у него не пролазило во рту, и ему нужно было вначале сжать его мышиными зубами, потом выбросить.

— Вы знаете, что этот фильм так же интересен, как интересны романы Вербицкой.

Он осекся и понял, что сказал совсем не то, что нужно, и что это сравнение глупо, плоско. Вытаскивая потертые часы, еще раз улыбнулся (уже полной человеческой улыбкой) и, не посмотрев на циферблат, всунул их обратно.

Казимира Осиповна поняла, что этот человек что-то хочет сказать неприятное, резкое и нарочно (так неумело!) оттягивает этот момент. Она убрала со лба волосы и заговорила первая:

— Что у вас, какая-нибудь новость?

— Почему?

— Да так, заметно. Вы весь какой-то загадочный.

«Соцвос» вздернул на лоб, почти к самым волосам, жидкие брови, и желтый лоб его сморщился, как гармошка.

— Не то что новость, но довольно интересно.

— Ну, вот видите, я поняла.

«Соцвос», что-то мыча, взял Казимиру Осиповну под руку и отвел ее в сухой оголенный сад, разбитый около кино.

В саду под ногами шуршали сожженные холодом листья, и земля, твердая, будто камень, была глуха, как стены каземата. «Соцвос», сидя на скамейке, ворошил тростью вялую траву и говорил не громко, вдумчиво.

— Знаете, позавчера, кажется, пришли ко мне ваши дети. Принесли вот эту вещь.—Он отстегнул пуговицы пальто и из бокового кармана выхватил смятый лист бумаги. Этот лист он развернул не торопясь, и эта неторопливость была противна, гадка Казимире Осиповне. В верхнем углу листа Казимира Осиповна прочла:

«Заивленья».

Листок ожог руки. Эта горячая дрожь пробежала по телу, и сердце, пропустив два удара, заколотилось торопясь, не ладно.

— «Наша зазедующая такая курва, что ни приведи бох. Хотя мы в бога и не верим, в него верют только дивченки в роди Маруськи а мы ниче. И вот мы просим вашего внимания, чтобы на ие обратили вниманья. Она устраивает вичира и жарит и пикет все из камунсково. Мы ей ничево сказать не можем потому што сразу отправят в колонию. Рибяты сидят голодны и есть даже нечево. Просим вашива снисхождения и обращения внимания што-бы нагонять етой курве холоду».

Казимира Осиповна неловко овладела собой и, фальшиво улыбаясь, заговорила:

— Что ж, дегенераты, дефективные дети. И вы этому *заивленью* (она нарочно сказала так) верите?

«Соцвос» закурил тонкую папиросу и, обливаясь горячим дымом, не ответил, мечтательно споткнув глаза на багровых листьях осины.

Казимира Осиповна встала, отряхнула цветную юбку и, сморщив лицо, проговорила:

— И это все? Вся ваша новость? Тогда я беру заявление себе!

И, не получив ответа, добавила, как-будто оправдываясь:

— Мелочь!

Пошла, наклонив голову. Мысли пучились невероятно быстро. Одна черная, жуткая скрывала все остальные и назойливо давила в виски. Казимира Осиповна поняла, что случилось что-то неладное. Ей не нравилось сегодняш-

нее поведение «соцвоса». Она вспомнила эти улыбающиеся глаза, такие хитрые, такие скользкие.

Уже дома, в своей комнате, не включая электричество, сидела, думая, долго, до серебра месяца. Казимира Осиповна чувствовала, что где-то там нависает большая неприятность. И от этого слабо кружилась голова, слабо ныло тело.

Утром, накинув на себя пальто, не умываясь, Казимира Осиповна вызвала Кольку. Тощими пальцами Колька шевелил нос.

— Чо надо?!

Резкий вскрик перерубил мысли Казимиры Осиповны. Она поднялась. Пальто с выцветшим воротником сползло с плеч. Грязная ночная рубашка топорщилась на обвислой груди. Дрожащей рукой швырнула Кольке заявление.

— Садись и полюбуйся на свою работу. Свинья!

Колька закусил губу и взял брошенный лист.

Казимира Осиповна нервно кусала ногти, и лицо ее морщилось, как-будто во рту было что-то очень кислое и холодное.

— Ты вот, балбес, с заявлениями ходишь, а своей пустой головой не сообразишь вначале ничего!.. Дурак!.. Ты у меня давно на примете! Я, брат, все твои мысли заранее вижу! Шарлатан!

От этого стремительного потока ругани было тяжко Кольке. Он с болью смотрел на вздрагивающее лицо Казимиры Осиповны, на ее грязную рубашку и молча слушал. Обида росла, быстро захлестывая все другие мысли.

— Завтра же отправлю тебя в колонию. Надоело здесь, видать, жить? С жиру бесишься! Сволочь!

Последний крик врезался в мозг, как нож. Колька отшатнулся. Руки тряслись, тянулись к глазам. Большие, блестящие слезы, оставляя на лице узкие дорожки, стекли на пол.

Спотыкаясь ослабшими ногами о порог, Колька вышел.

Обида была тяжела, как тысячепудовый камень. Горькие полынные клубки колотились в горле. Тоска, большая, черная, как осенняя ночь, жуткой пустотой наполняла сердце. Хотелось уйти куда-нибудь, хотя бы на край света, и там плакать настоящими, облегчающими слезами.

Колька вышел на улицу. Холодный дождь брызгал ровно, не ослабевая, маленькими серыми каплями. Блестящая земля расползалась, точно клейстер. Узенькие грязные лужицы тоскливо морщились, а мокрый забор шатался от воющих порывов ветра. Ноги вязли, скользили.

Когда Колька распахнул дверь, амбар откликнулся серым стоном. Сверху где-то протекала вода. Большие грязные капли щелкали монотонно через одинаковые промежутки времени. Вяло шурша крыльями, под потолком заметались голуби. Амбар был разделен на четыре больших отделения, а в них было темно, пыльно. Сверху, холодный, как этот дождь, слабо сочился мутный свет. В амбаре бывали редко. Всегда стоял он пустой и неуютный. В нем только жили голуби и большие серые мыши.

Дверь у самого крайнего отделения была приоткрыта. Колька отвел ее дальше в сторону.

...Ноги в самых суставах переломились. Амбар холодный, мрачный начал быстро вращаться. Мелькали голуби. Серые большие крысы оскаливали громадные рты и большими синими языками лизали Колькино лицо. Катаясь по полу, он кричал, страшно, сумасшедше разбрасывая слова.

Коммунский рабочий Митрий встревоженно поднял голову. Отбросив топор в сторону, зашагал к амбару. Подошел лениво, пнув Кольку в бок, пригрозил:

— Не ори! Чо орешь? Дурак!

Потом Митрий понял все. Быстро-быстро, перекидывая с живота на лоб, на плечи щепоть, начал креститься. Зашептал, остро вытянув лицо.

— Восподи! Удавленник.

И, перепрыгивая через балки, побежал к дверям.

Ребята по одному быстро окружили Кольку. Абдрахман из ведра плеснул ему в лицо воды.

Колька поднялся с трудом.

Никто ничего не понимал. Потом прибежал Митрий и, не переставая креститься, тыкал пальцем в захлопнутые им же двери.

Абдрахман нерешительно взялся за скобку. Открыл. Нелепо вскинув руки, отшатнулся. Вскрикнул слабо:

— Лютмилка!

Желтый мрачный парень первый шагнул за дверь. Угрюмо произнес:

— Чо же вы, сволочье, любуетесь? Сымать надо!

Нерешительно, оглядываясь по сторонам, вошли остальные.

Гриневич висела. Большое белое полотенце туго охватывало тонкую шею. Синий язык был прикушен наполовину. Сверху свет падал осторожно, скупо. Поэтому лицо серело, как оберточная бумага. Пальцы тонких рук, смятые, изломанные, казалось, что-то схватывали крепко, очень крепко. На полу скомканная валялась бумажка. Абдрахман поднял. Распрямлял долго, мучительно долго. Встряхиваясь от холода (холод шел изнутри, от сердца), Абдрахман передал бумажку Кольке:

— Чо-то писал Лютмилка?

Осторожно, как-будто это была не простая бумага, а целая жизнь, Колька начал распрямлять ее.

Крупные буквы, расшатанные, как от цынги зубы, рассказали Кольке очень многое, чего он не знал.

«Меня убил Тимофей Иннокентьевич. Милый, славный Коля, прощай».

Людмила».

Колька закрыл глаза. Он ничего не думал, ничего не понимал. Над ухом проскрипел испуганный вопрос:

— Что это такое?

Тимофей Иннокентьевич стоял с раскрытым ртом. Нижняя губа смешно отвисла. Желтые большие зубы щелкали, как сахарные щипцы.

Колька тяжело нагнулся. Обеими руками вцепился в полено. Подумал. Перекосил рот. Тимофей Иннокентьевич отшатнулся, выкатил из орбит глаза. Полено швыхнуло в воздухе. Треск был сухой и звонкий. Густая, как масло, кровь пошла со лба, по губам, на пол. Тимофей Иннокентьевич ненужно шевелил пальцами и дрыгал ногой. Полено крепко ударилось в череп. Он стонал, вертелся на полу. Лакированный, начищенный ботинок запылился, замазался в птичьем кале.

Колька сел на порог. Вытер вспотевшее лицо и равнодушно заметил:

— Умрет, наверно, не выживет.—Встал и, раскачиваясь, как лозина на ветру, вышел.

Ребята заголосили и, перепрыгивая через завхоза, через балки, побежали на улицу. Растрепанный, страшный Колька стоял в грязи с поднятой рукой. Часто захлебываясь тяжелым дымом цыгарки, он говорил глухо, непонятно:

— Тимофей! Сволочь! Все сволочи!.. Людмилу убили... Эх, Людка!— Замолк. И долгим бешеным взглядом избороздил лица ребят.

— Ломать нужно все! Растуды иху в бога мать! Ломать! Все перебьем!.. Их, сволочье!..

И, странно изгибаясь, как-будто хватая кого-то за горло, он продолжал:

— Задушил ее... Убил... Изохальничал... Тимофей Иннокентьевич!..

Маленький носатый парнишка взмахнул руками и взвизгнул тоскливо, отчаянно.

— Бить их нада-а-а!.. Идем!..—и первый, разбрызгивая грязь, бросился к дому.

Все пошли тихо, молча. Плотной серой стеной.

Носатый где-то достал непомерно большую железину и, размахивая ею в воздухе, визжа, извивался в страшном ребячьем гневе.

Казимира Осиповна приоткрыла дверь. Она ничего не знала и хотела унять расшалившихся детей, но, увидев толпу, хлопнула дверью и застегнула ее на крючок. Глухие, визжащие истеричные крики росли, бушевали, как шторм. Казимира Осиповна прижалась к стене. Она ничего не поняла. Испуг был велик, он сковал мозги.

В дверь застучали. Сильный злобный голос прошиб ее:

— Открывай! Открывай, польская сволочь!.. Открывай... твою мать!..

Казимира Осиповна прыгнула к окну. Массивным чернильным прибором выхлестнула окно. Рама задрожала и, скрипнув, отлетела. Тяжело переваливая сырое тело, Казимира Осиповна выпрыгнула на улицу.

Она слышала, как затрещала дверь и как затопали, зашумели ребята.

Отдуваясь и крича, Казимира Осиповна побежала.

Рябой большеглазый парнишка хищно свел пальцы. Осторожно взял тонкую фарфоровую чашку. Подумал. Посмотрел. Потом размахнулся и дербалызнул ее об стену.

— Ломай, мать иху в гроб!!!

Все смешалось, все перепуталось.

Блестящий шкап свалили, и тонкая фарфоровая посуда задрожала, ломаясь.

Мишка-музыкант сорвал со стены блестящую мандолину. На минуту задумался. Широкой медвежьей лапой оборвал серебреные струны. Присел, размахнулся и с треском расщепил ее об угол стола.

Колька вырвал из угла икону.

— Ишь, божественная!.. На тебе, лысая курва, чо глядишь!—и, переломав губы, выдрал позолоту с Николая угодника.

Разнеслись, разбежались—не остановишь. Кто-то хрипел, скрежеща зубами, а через зубы рвался надвое переломленный крик:

— Пущай! Пущай! Гробастай!

— Бей, чо глядишь, бей!..

— Бе-е-ей!!!

Мария Панкратьевна, загородив двери, ненужно махала руками и что-то кричала. Ее никто не слушал. Желтый схватил со стола гипсового Моцарта и, широко размахнувшись, швырнул его в воспитательницу. Дверь захлопнулась, и Моцарт раскололся на мелкие части. Абдрахман что-то бормотал по-татарски и старался перевернуть кровать.

Колька дрожал и все, что попадалось, ругаясь, бил, кидал, ломал.

Треск. Визг. Крик. Шум.

Тонкая дверь распахнулась. Черный револьвер остановил все. Усатый милиционер зарычал громовым голосом:

— Руки вверх! Туды вашу мать!..

Все стихло. Колька опустился на табуретку. Руки обвисли, как вывихнутые. Он видел, как в дверях замаячил разбитый Тимофей Иннокентьевич. Какой-то вялый серый человек скучно подошел к Абдрахману. Подумал. Посмотрел. Размахнулся и ударил Абдрахмана в лицо. Так же скучно отошел к стене и, положив руки за спину, задумался. Милиционер неизвестно зачем совал наган в лица ребят и говорил каждому, шевеля, как таракан, усами:

— Бунтовать. Я вам пока-жжу! Против совецкой власти. Я вам покажу!

Колька подумал: долго он, наверно, усы ростил...

Потом милиционер вытолкал всех на двор.

Дождь усилился. Серое холщевое небо тоскливо жалось. Милиционер оттянул курок у нагана, и, расправив усы, выругался.

Нестройно, мрачно ребята пошли. Дождь барабанил по железной крыше, барабанил назойливо, упрямо.

БРИТАНИИ.

Не возмущайся ж племя Альбиона,
Увидя то! Ты в злобе непреклонной
Воздвигло шум военных непогод.

В долине Ганга сумрачное племя
Давно мечтает сбросить ваше бремя.

Байрон.

Коварство, смерч кровавых лет,
В душе для вас забвенья нет!
Спрут хищный океанских вод,
Тебя ль не вспомнит мой народ,

Когда по прихоти твоей
Удав из злобных кораблей
Приполз на наши рубежи
Посеять скорбь и мятежи.

Лорд Байрон проклят был тобой
За то, что бичевал разбой
И песню гордую свою,
Гонимый, пел в чужом краю.

Темнела даль, горел закат.
Певец грустил с волной,
«Стране я всякой буду рад,
Лишь не стране родной».

Но день придет, в твои моря
Дохнет возмездия заря,
И Ганг вскипит рассвирепев,
И дрогнет идол, старый лев,

И на развалинах твоих
Бессмертный засверкает стих.

Ерошин Иван.

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ.

1.

Третий день мы снега качаем,
Топчем льдов гремящий излом,
Бредя зеленым монгольским чаем,
Пухлой кошмой и чужим теплом.
Иней глаза нам закроет скоро,
Кони сбивают горячий пляс;
Вьюга седлает синие горы,
Сивая буря обгонит нас.
Будем ли жить и любить?—
Не знаем.
Кто нас замучит?
Вьюга, не ты ль?
Поземка бежит голубым горностаем,
Визжа и прячась в лысый ковыль.
Мерзлые юрты не знают мести,
Буря за дверью—взятый уступ.
Здесь мы оставим на кружечной жести
Тонкую кожу спаленных губ.

2.

Думой о старом походе волнуем,
Я, забывая о времени злом,
Брежу сейчас твоим поцелуем,
Как замерзающий бредит теплом.
Буря не зря бросалась громами,
Путь не напрасно на отдых был скуп.
Вот почему я не пью глотками
И не жалею сожженных губ.

Сергей Марков.

* * *

Пусть под ногой сейчас вздыхают мхи,
Хрипят хвощи раздавленные пусть;—
Твое лицо, как старые стихи,
Которые я помню наизусть.

Пускай забыта строчка или прядь
Твоих волос и глаз мгновенный пыл—
Ведь я сейчас их сочиню опять,
Прекрасней тех, которые забыл.

ПОХОДКА.

Забыть сейчас, что есть глаза и уши,
Не вымолвить ни слова до утра,
Бродить с тобой и чутким телом слушать
Волнующую музыку бедра;

Чтоб чудилось дрожанье легкой лодки
И листьев пляска над корой рябой—
Упругое качание походки,
Похожее на ветер и прибой.

Сергей Марков

АНТИКВАРЫ.

Бури, вихри, рыжий пыл пожаров—
Все, что смерти говорит на ты,
Не смирит безумных антикваров,
Скопидомов щедрой красоты.

О, скупцы! Сердцам велите биться,
Говорите смерти: «Не грози!».
Вы, крыло сияющей Жар-Птицы
Жадно отыскавшие в грязи.

Вот я, злой и сердцем неуклюжий,
Но в крови неукротимый гуд.
Я на дне горько-соленой лужи
Отыщу средь ила изумруд.

Жизнь свою попробуй сделать чудом,
Не на месяц, а на много лет,
Находи и сохраняй под спудом
Вещи, источающие свет.

Родинки и пятна от загара,
Голубая жила на руке,—
Жадная добыча антиквара,
Золото в багдадском кошельке.

Вот, смотрю, смятенный и томимый,
И твержу:—Я буду очень скуп!
Только я заметил у любимой
Золотые точки возле губ!

Антиквары, мы единоверцы!
Кто отдаст камеи помелу?
Я большую радость прячу в сердце,
В самом незапятнанном углу.

Я горю от жадного озноба,
Весь терзаясь ревностью скупца,
Чтоб сокровищ не коснулась злоба
Пальцами из потного свинца.

Пусть же скупость сберегает души,
Я запомнил это с давних пор—
За один архипелаг веснушек
Пять Америк отдал б Христофор.

Сергей Марков.

ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ.

Где-то там, в Кландайке, на Алдане,
— Знаю, знаю хорошо одно—
Золотоискательных страданий
Все еще не вымерено дно.

Знаю,—там суров не только климат
Жизнь твою, метнувшуюся сном,
Точно пешку шахматную, снимут
И забудут тотчас же о том.

Если не родился ты в сорочке,
Береги и темя, и висок,
Когда прячешь в холстяной мешочек
Золотой, сверкающий песок.

Каждый шаг—как-будто бы над ямой.
О, на бритве легче танцовать,
Чем в тайге холодной и упрямой
С золотым миражем воевать.

Но еще опасней и суровей
Путь... Попробуй-ка, останови
Тех, кто ищет до потери крови
Золотые россыпи любви.

Рюрик Ивнев.

ЭЛЕГИЯ.

Прощай, мой друг! Мы долго были вместе,
Но жизнь не любит прочности, и вот—
Ты остаешься в этот час на месте,
Меня увозит русский пароход.

Суровы, строги берега Камчатки,
Но может ли угомониться кровь?
Любви и дружбы нежные зачатки,
Загубленные, зацветают вновь.

И, точно дерево, омытое дождями,
Душа и в горечи спокойна и свежа.
Она улыбкой отвечает—яме,
Задумчивостью—лезвию ножа.

Холодную, никчемную свободу
Без ропота она спешит принять.
Как сердце, вздрогнула машина парохода
Чтоб долго-долго в тишине дрожать.

Рюрик Ивнев.

У БЕРЕГОВ КАМЧАТКИ.

Я шептал твое имя тихонько,
Чтобы память твою не будить.
Историческая гармоника
Истерически стала выть.

О, как схожи все эти разлуки,
Одинаковые на вид.
Кто учил нас этой науке,
Этой горькой науке—любви?

Здесь прощались целыми стаями,
Сколько было таких же, как мы.
Я покачивался, как пьяный,
Вместе с палубою кормы.

Пахло нефтью, морем, рогожей,
Вечер в небе затих и застыл,
И окурки были похожи
На растоптанные цветы.

Скрежетали лебедки и цепи:
— Это зубы скрежещат в тоске.—
Голубые, морские степи
Ожидают меня вдалеке.

Историческая гармоника
Истерически стала выть.
Я шептал твое имя тихонько,
Чтобы память твою не будить.

Рюрик Ивнев.

* * *

Вьется, вьется пестрая дорога,
Где начало, где ее конец?
Я блуждал по свету очень много,
Чувствуя биение сердец.

Я беседовал с купцами, с моряками,
С арендаторами маковых полей,
Трогал собственными руками
Паруса и мачты кораблей.

Слушал я (любовью странной связан)
Про тайгу, охоту, промысла,
Чувствуя внезапно средь рассказа
Теплоту соленого весла.

И с прохладным ветром, на закате,
У кочующего сибиряка
Я узнал, как трудится старатель
В самых отдаленных приисках.

Я узнал, как дорога пушнина:
Тот не долго сможет отдыхать,
Кто выделывает для магазина
Эти драгоценные меха.

Но, изведав много приключений,
Испытав и счастье, и удар,
Прихожу к такому заключенью:
Нежность—самый дорогой товар.

Рюрик Ивнев.

ВОЕВОДА

В шубу закутался молча...
(С кем говорить? О чем?)
Брызнули в зарь колокольчики,
Звонко горят, золоченые.
Все отзвенит—изменится,
Все догорит до тла...
... Спуталась ныне с немцем,
В графы произвела.
Что же?—И он, пожалуй,
Верит ее божбе...
Встретил его,—прорвало,
Должный забыв решпект:
—«Я, мол, кровный болярин,
«Ты, мол, псина и шут!..»
В Тайную Канцелярию
Грамотку малую шлют:
—«Понеже от всех охаян,
«Яко крамольник и тать,—
«Доспешно, сугубо, тайно
«Язву сию из'ять!»
Мерзлая плаха снилась,
Сердце высвербил скрип,—
— Царская вышла милость
И высочайший рескрипт:
—«Да кроткий внемлет законам,
«Да правый ведает суд
«Ясашный, удельный, коронный
«И протчий сибирский люд...».
... В шубу закутался молча...
(С кем говорить? О чем?)
Брызнули в зарь колокольчики,
Звонко горят, золоченые.

Серый какой-то город,
Сирый какой-то край,—
— Справа белые горы,
Слева—желтый Китай.

Стынут где-то Саяны,
Зябнут в горах огни,
Бледная жуть сияний
Звездную зыбь леденит.
Вьюга в хоромину ломится,
Не оглянись назад:
В омуте темных бессонниц
Чьи-то косые глаза.
Все бы припомнить надо...
(Выжги! Задунь! Туши!)

. . . . . .

... Изволила быть променаду,
Являя веселость души.
Аллей раритеты, газоны,
И вздох, и зефиры весны,
И табели статской персоны,
И воинских рангов чины.
И тако рекла монархиня
В лирический оный час:
«Светлейший, довольно! Отныне,
«Отныне ни шагу от нас!»

. . . . . .

... Ночью не спит воевода.
Не оглянись назад:
В этой лихой непогоде
Чьи-то косые глаза.

Ночь ворожит—шаманит,
В черный колотит щит,—
Люди трясут головами,
Мудрая старость молчит.
«Разное там по народу,
«Всякое говорят:
«Будто-бы князь-воевода
«Был на царице женат».

Александр Кучковский.

Идут года, и каждый день ложится
Незримой тяжестью на скат усталых плеч,
Но мы, привыкшие бороться и стремиться,
Не научились чувств и сил своих беречь.

И это хорошо! Размеренности строгой
Всегда мне чужд был медленный расчет,
И до сегодня я скалистою дорогой
Иду уверенно. Пусть жизнь быстрей течет,

Пусть меньше дней, чем прожито, осталось—
Не стану их расчетом отравлять.
И все, что в жизни есть, гоня годов усталость,
Я взять хочу и что могу—отдать.

Неповторимая, короткая, как сон,
Проходит жизнь. Я к вечеру шагаю,
И, на вечерний глядя небосклон,
Минувший день благословляю.

Я счастлив тем, что молодость моя
Прошла в борьбе за счастье человека,
Что вижу я свободные края
В преддверьи нового ликующего века.

Н. Феоктистов.

С И Б И Р Ь.

Сибирь, настанет ли такое,
Придет ли день и год, когда
Вдруг зашумят, уставши от покоя,
В бетон наряженные города?
Я уж давно и навсегда бродяга.
Но верю крепко—повернется жизнь,
И средь тайги сибирские Чикаго
До облаков поднимут этажи.
Плывут и падают высокие закаты
И плавят краски на зеленом льду.
Трясет рогами вспуганный сохатый
И громко фыркает, почуявши беду.
Все дальше вглубь теперь уходят звери.
Но не уйти им от своей судьбы.
И старожилы больше уж не верят
В давно пропетую и каторжную быль.
Теперь иные подвиги и вкусы.
Моя страна, спеши сменить скорей
Ты бусы
из клыков зверей—
На электрические бусы!..

Павел Васильев.

Многочисленные преступления

и ошибки монгольских сановников, князей, чинов и простолюдинов, совершонные во время великих мировых смут.

Монгольская революционная пьеса-хроника на злобу дня в 4-х действиях.

Банзаракчи [1]).

Перевод с монгольскоіо А. Бурдукова.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

1. Посту-бейле Цультум, монгольский князь, националист.
2. Гоминдановец, китайск. генерал, поработитель Монголии.
3. Ердени-Ван Джамиидорджи, монгольский князь, китаефил.
4. 1 курьер.
5. Казанцев, белый атаман, унгерновец с русскими казаками.
6. 2 курьер.
7. 3 курьер.
8. Безродный есаул с казаками, каратель унгерновец.
9. Ванданов, есаул бурят, команд. белого отряда, посланного Унгерном в Улясутай.
10. Хатан-батор, национальный монгольский герой.
11. 4 курьер.

Пьеса вся поется.

События происходят в Северо-Западной Монголии в городе Улясутае в конце 1920 г. и первой половине 1921 года.

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА. Настоящая пьеса-хроника отражает события 1920-21 годов в Монголии. Для нас она интересна, как документ, лишний раз говорящий о сильнейшем влиянии Октябрьской революции на соседние с нами страны.

Только под знаменем Октября Монголия смогла избавиться от поработителей китайцев и от своих князей. Только после своего «Октября» страна номадов бурно устремляется вперед по пути национально-культурного возрождения и роста.

Здесь не место гозорить об успехах культурного строительства в Монголии (об этом мы думаем поговорить на страницах «Сиб. Огней» в особой статье), здесь надо только отметить, что после 21 года в этой стране появляется ряд культурно-просвети-

---

[1]) Банзаракчи—автор пьесы. В 1925 году был избран правителем округа, простолюдин, бызший канцелярист. Родина его р. Шумултай, левый приток р. Идыр, удел Цоктой-бейсе, теперь Нумурге-улаин хошу.

тельных и научных учреждений, появляются свои писатели, поэты, драматурги, возникает советский театр, создаются раз'ездные труппы.

Летом 1926 года мне пришлось встретить раз'ездную труппу монгольских артистов, посланную из Улан-Батор-Хото для агитработы. Эта труппа на грузовом автомобиле об'ехала всю С.-З. Монголию, побывав в Дзаине, Тарятах, Улясутае, Дайчин-Ване, Кобдо, Уланкоме, Байте, Гандыне, Тесин-Куре, Мурине, Хатхыле, Ван-Куре, пройдя, т. о., более 3.000 верст.

Труппу с ее спектаклями степняки встречали восторженно.

Конечно, на местах есть и свои труппы любителей. При этом пьесы, обычно, принадлежат перу местных авторов. «Многочисленные преступления» в рукописи получены мною от автора и переданы в Азиатский Музей Всесоюзной Академии Наук. В 1925 году я видел эту пьесу на сцене Народного Дома в Улясутае в постановке местной ячейки Ревсомола (революционного союза молодежи). Играли местные любители (резсомольцы). Присутствовал автор.

В тексте пьесы совершенно нет женских ролей, между тем на сцене играло несколько девушек. На мои вопросы автор и исполнители заявили, что они считают авторский текст схемой, которую актеры и постановщик дополняют своей импровизацией.

На сцене была введена (совершенно отсутствующая в тексте) романтическая интрига—борьба за обладание монгольской дезушкой между монгольским князем и китайским наместником. В жизни старого Улясутая такая борьба монгольских князей и китайских чиновников за обладание «вольными» девушками была обычным явлением.

Нужно отметить, что молодой монгольский театр находится под двумя влияниями—русским и китайским. От русского театра монголы заимствовали его внешнее устройство (закрытая сцена, платные места для публики, буфет), костюмы и грим; от китайского—импровизацию и пение.

Местные ревсомольцы—коренные кочевники. Нигде, кроме Улясутая и его округа, не были. Следовательно, все сведения о театре у них ограничены лишь тем, что они видели в своем городе (в Улясутае было две любительских труппы—русская и китайская).

Монгольская советская литература и театр делают только первые свои творческие шаги. Нет никаких сомнений в том, что скоро они выйдут на дорогу самостоятельного развития и работы без всякого влияния своих соседей.

ДЕЙСТВИЕ 1.

ПОСТУ-БЕЙЛЕ ЦУЛЬТУМ[2]). Волею великого Хагана я назначен правителем Улясутайского округа.
Все мои стремления направлены на то, чтобы сохранить спокойствие в округе на благо нашего народа.
Вот цель моей жизни.

---

[2]) Первое слово «Посту» означает титул в переводе «справедливый, или законник», «бейле»—князь 3 степени, «Цультум»—собственное имя.

Был правителем Улясутайского округа до конца 1920 года. Искренний смелый националист. После того, как Сюй-иш-чан в Урге свел на-нет монгольское правительство, Цультум в Улясутае продолжал держаться независимо. Китайского наместника в Улясутае продолжал считать только иностранным консулом, не допуская его вмешизаться в дела управления округом.

Так продолжалось до изгнания китайцев из Улясутая. Китайский консул с конзоем из Улясутая выехал в Гучен в начале 1921 года.

Цультум и при унгерновщине вел ту же независимую линию, не допуская хозяйничанья и произвола белых.

Вооруженной силы, на которую бы он мог опираться, Цультум не имел. Все обосновывал на «праве». Мы знаем, что значит «право», не подкрепленное реальной силой. Этого не знал смелый степняк Цультум, за что и поплатился жизнью. В апреле или мае 1921 года Цультум был убит унгерновским карателем есаулом Безродных, захваченный в Ебугун-куре, в 20 в. от Улясутая, у устья р. Иро.

Цультум был владетельным князем небольшого удела (хошуна) Сайн-хана аймака. В настоящее время, в связи с общими переименованиями в Монголии, аймак этот называется Цицерлик-Мандальский.

Бывший удел Цультума находится к югу от г. Улясутая, в сторону от китайской границы, теперь называется Гурбо-Сайхан-Ула, ин. хошун.

ГАМИН[3]) (выходит на сцену китайский чиновник, ставленник Сюй-ши-чана, до того был в должности консула в Улясутае. Одет в военную форму гоминдановцев).

В Улясутае я нахожусь по назначению Китайского правительства.
Мною получено извещение через прибывшего из Урги сановника.
Наш (великий) блистательный главнокомандующий Сюй-ши-чан[4]) договорились с монгольскими князьями Хутухтой[5]) об упразднении автономии.
Об'являю Монголию подчиненной непосредственно центральным законам и управлению Китая.
На основании вышеизложенного, предлагаю сановнику Посту-бейле сдать печать[6]) и дела вновь назначенному Сюй-ши-чаном правителю.

ПОСТУ-БЕЙЛЕ. Я не имею приказа и извещения о случившемся от моего монгольского правительства.
Ваши слова—для меня не закон
Печать и дела сдать отказываюсь.

ЕРДЕНИ-ВАН ДЖАМИНДОРДЖИ[7]) (выходит на сцену вновь назначенный Сюй-ши-чаном монгольский князь, китаефил, прибывший из Урги в Улясутай на смену Посту-бейле).

Посту, что вы ждете? Подчиняйтесь—сдавайте печать и дела.

ПОСТУ-БЕЙЛЕ. Да, выходит так, что мне, боровшемуся при всенародной поддержке и сочувствии за монгольскую независимость, приходится смириться и передать власть подлому

---

[3]) **Гамин.** Монголы слово «гоминдан» произносят сокращенно «гамин». Слово это в Монголии вошло в употребление после 1911 г.

Новые китайские консулы и их конвои, приехавшие в Монголию после Кяхтинского тройственного соглашения, резко отличались от старых манчжурских ставленников. Последние носили длинные косы и халаты, широкие манчжурские курмы (куртки); новые китайцы были без кос, в европейских костюмах.

Всех европеизированных китайцев монголы и стали называть «гамин», т.-е. младокитаец, совершенно независимо от того, принадлежит ли данное лицо действительно к Гоминдану или нет.

[4]) **Сюй-ши-чан**—китайский генерал, командовавший экспедиционным корпусом в Урге, упразднил автономию Монголии, диктаторствовал до самого прихода Унгерна—до конца 1920 г.

[5]) **Хутухта**—святитель-перерожденец ламайской церкви.

[6]) У монголов во времена уделов печати удельные и другие являлись святыней, хранились у князя на божнице. Такие печати в свое время были получены монгольскими князьями от манчжурских императоров. Печати эти выкованы из чистого серебра, весом до пяти фунтов каждая. Ручка печати делалась в виде тигра (эмблема феодальной власти), на нижней стороне было выгравировано на монгольском и манчжурском языках название удела.

Такие печати передавались из рода в род по наследству; каждый раз утверждался владелец печати манчжурским императором. Другие печати—по назначению Пекина.

После провозглашения независимости Монголии в 1911 году монгольское правительство все манчжурские печати собрало. Взамен наградило новыми с соответствующими новыми монгольскими эмблемами. Значение же осталось прежнее. Новые печати были такого же веса и серебряные.

Только теперь, после 1921 года, монгольское народно-революционное правительство, упразднив феодализм и касту князей, собрало все серебряные печати, взамен разослало медные небольшого размера.

[7]) **Ерденн-Ван-Джаминдорджи**—китаефил, князь того же Цецерлин-Мандальского аймака. Удел его был к югу от Улясутая; теперь называется Богдо-хаерахан-хошун.

изменнику Ердени-Вану, подчиняясь произволу жадных гаминов.
Такова уж судьба, видно, многострадального монгольского народа.
Ну что ж, посмотрим!
Нет, не может быть, не может быть, мы должны скоро изгнать ненавистных насильников—гаминов.
Дать желанную свободу и независимость монгольскому народу.
Монгольский народ!
Не теряй веры и борись за свою свободу.
В награду ты получишь желанную свободу и мир.
Подчиняюсь силе, а не праву (Посту-бейле передает печать и дела Ердени-Вану и гаминам).

ЕРДЕНИ-ВАН. Куда же годно, что мне, родовому и заслуженному сановнику с манчжурских времен, всегда получавшему от китайского императора чины, награды и жалованье, мне наше монгольское правительство в течение нескольких лет почти не платит жалованья, а награждает только обещаниями[8]).
На наше счастье прибыл великий Сюй-ши-чан, который награждает нас щедрою рукою долларами, шелками и парчей[9]).
Таким образом, он вывел из затруднительного положения монгольское государство.
Наши ханы, ваны и ламы чрезвычайно случившимся обрадованы.
Получили все они от гаминов большие суммы серебра и денег.
Легко всем достались большие чины и назначения.
Как им (нам) не стараться укрепить власть гаминов над Монголией?
Моя душа переполнена от всего случившегося великими радостями.
Великую радость выражаю и тому, что, наконец-то, мы смирили непокорного гордеца—сановника Посту.
Посадим его мы на землю (Выражение, аналогичное русскому—поставить на колени).

ГАМИН. Великий Ван (князь)! Твоя душа удивительно прекрасна.
Слова твои—сама истина.
Вы действительно верный, преданный друг, славный сановник.
Безмерно рад вашей речи (Смеясь, садится).

1 КУРЬЕР (входит с улицы, подает письмо Посту-бейле).

---

[8]) Во времена автономии монгольское правительство взяло на себя обязательство платить всем князьям жалованье. Плохо поставленное хозяйство, плохое финансовое положение не дали возможности монгольскому правительству платить жалованье князьям аккуратно, что и вызывало со стороны многих князей недовольство.

[9]) Китайское правительство, упразднив автономию, подкупало главных князей наградами, единовременными выдачами значительных сумм, иногда доходящих до 10-20 тыс. долларов на князя.

ПОСТУ-БЕЙЛЕ (читает, оживляется, вскакивает).
Товарищи! Монгольский народ пока что избавился от ненавистных гаминов.
Нам, товарищи, грозит другая, временная опасность со стороны белых.
Тем не менее, мы должны немедленно изгнать ненавистных гаминов.
(Гамины из Улясутая разбегаются в разные стороны).

ЕРДЕНИ-ВАН (плачет, озираясь кругом, потихоньку пятится и исчезает со сцены. Потом удирает в степь в свой удел).

ПОСТУ-БЕЙЛЕ. Пока мы вышли из великого затруднения, но еще несколько месяцев будем страдать,
вытесняя белых русских варваров,
выкинутых к нам революционной бурей.
Они должны исчезнуть сами собой.
С красным русским уехавшие товарищи скоро приедут,
Тогда сбудутся все наши желания.
Запомните это все, мыслящие товарищи.
Помощь красных нам будет все больше и больше.
Тогда только укрепится наша независимость.
Монгольский народ получит свободу и счастье.

Занавес опускается.

ДЕЙСТВИЕ 2.

ПОСТУ-БЕЙЛЕ. Я, Посту-бейле Цультум, во времена автономии,
будучи правителем Улясутайского округа, изгнал ненавистных гаминов, добивался независимости.
Теперь белые варвары вновь захватили власть над Монголией.
Надо бы белых изгнать силой,
Да нет у нас ни солдат, ни оружия.
Дано изобретать другие способы,
Чтобы от них избавиться.

АТАМАН КАЗАНЦЕВ[10]) (с казаками появляется на сцене).
Я посланный бароном-Унгерном по указу
монгольского богди-хана
водворить порядок, усмирить северных монгол.
Имя мое,—обладающий тысячным могуществом, неустрашимый мудрец-богатырь Казанцев.
Послан усмирить непокорных монголов, а достояние их конфисковать.
Еду я в Улясутай и Кобдо.
Не пощажу я темных (непросвященных) халхасских монгол.

---

[10]) Казанцев—атаман, енисейский казак, был назначен Унгерном в Западную Монголию. Стоял во главе белых отрядов в Улясутае. Прославился своей жестокостью и тупоумием. Убит в бою около д. Атамановки в Урянхае красными партизанами в начале 1923 г.

Всех сопротивляющихся уничтожу, а имущество их возьму—вот моя цель.

(Казанцев с Посту-бейле обмениваются обычными приветствиями. Казанцев спрашивает у Посту-бейле).

КАЗАНЦЕВ. Что, здесь красные и гамины есть?
Приказываю вам спешно приготовить для командующего и войск:
лошадей, амуницию, походное снаряжение, оружие, продовольствие.

ПОСТУ-БЕЙЛЕ. Здесь нет ни красных русских, ни гаминов.
Все в округе спокойно.
Зачем нам войска и те ненужные огромные расходы, которые обременяют население?[11]).
Нам не надо войск, мы отказываемся исполнять ваши приказания.
Поезжайте лучше вы спешно на охрану северной границы по линии Танну-ула[12]).

(После беседы разгневанный Казанцев уезжает).

2 курьер (входит, передает письмо Посту-бейле).

ПОСТУ-БЕЙЛЕ (читает).
Да, оказывается, надменный бурят Ванданов с войском сюда идет.
Мы должны задержать его приход в Улясутай.

(Посту посылает к Ванданову посланца).

3 курьер (сообщает Посту-бейле об аресте его посланца Вандановым).

ПОСТУ-БЕЙЛЕ. Нет, что бы ни было, с белыми варварами я
никогда не соединюсь.
Этим насильникам никогда не подчинюсь.
Посланный к белым товарищ к сроку не вернулся—
Это признак конфликта.
Для борьбы с ними на мне панцырь — одинарная только шуба.
Верное мое войско—
Женщины да дети.
Оружие мое—
Топор да нож.
Очевидно, настало время взять меня белым.
Умные товарищи, будьте храбры,
Защищайте независимость.
Необдуманно храбрившемуся
Мне, Посту,
Надо двигаться к югу.

---

[11]) Пред'явленные Казанцевым к Посту требования о снаряжении отряда в зимнее время являлись для округа разорительными. Готовых запасов не было, все нужно было собрать с населения в порядке реквизиции.

[12]) На севере Монголия граничит с Урянхайским краем (теперь Танну-Тувинской республикой). В то время в Урянхае была уже революционная власть, возглавляемая т. Сафьяновым; во главе красных партизан стоял иззестный партизан т. Кочетов. Белые боялись тогда прихода красных в Монголию.

Храбрые революционеры нарпартии,
Распространяйте свое учение[13]).

Занавес опускается.

ДЕЙСТВИЕ 3.

Действие происходит в двадцати верстах от Улясутая в монастыре Ебугун-куре. Туда выехал из Улясутая Посту-бейле.

Посту-бейле приезжает в Куре на р. Иро (Ебугун-куре), ища защиты и сочувствия у многочисленных лам монастыря.

РУССКИЕ. Вскоре за Посту-бейле вдогонку приезжают в Куре 4 русских военных.

ЕСАУЛ БЕЗРОДНЫЙ[14]). Я—правая рука бурята Ванданова, имя мое—Гедегер Цультум.
Послан я засвидетельствовать приветствие Посту-бейле.

Достает и подает приветственный хадак[15]) Посту-бейле).

Наш славный командир Ванданов свидетельствует вам почтение.

(Подавая хадак, Безродный схватывает Посту за руки, тащит. Посту-бейле сопротивляется, пытается освободиться. Ванданов стреляет в Посту-бейле. Посту-бейле, истекая кровью, зажимает рану рукой. Поет предсмертную песнь).

Верные мои товарищи по партии,
Возглавляемые славным Сюку-батором[16]),
Боритесь до конца за независимость
Монгольского народа.
Создавайте и укрепляйте народоправство.
Не суждено мне увидеть желанной свободы.
Пришлось погибнуть от рук белых варваров,
Пришло время уйти мне из этого мира.
Не осквернил я душу свою,
Не предал я свой народ
Белым варварам.

---

[13]) Действительно, тогда, кроме личной смелости и веры в свою правоту, Посту ничем не располагал. При уходе китайцев сданное ими монголам оружие белые беженцы сразу же забрали себе. Посту остался с голыми руками. Не было у него и ни одного солдата. События развертывались очень быстро, Посту не успел опомниться от уходящих китайцев, как фактическую власть захватили белые. Поняв, что дальше ему делать в Улясутае нечего, он хотел уехать временно в свой удел и увязаться с красномонголами в Кяхте, ждать оттуда помощи и тогда уже изгнать белых.

Совершенно не подозревая, что его, князя, в своей стране могут убить чужестранцы, он неосторожно заехал в монастырь к ламам для совещаний о дальнейших действиях. Здесь он был захвачен белыми, уведен из Куре и убит. Труп был найден, зазаленный камнями.

[14]) **Безродный**—есаул, был прислан Унгерном на расправу с красными в Улясутае. Он, как каратель, убил Посту-бейле, ряд русских колонистов и белых офицеров, протестующих против произвола над монголами и грабежей. Все они были расстреляны, как красные. Гедегер Цультумом он себя назвал иронически, очевидно, в пику Цультуму. Белые Посту называли Гедегер-Цультум. «Гедегер»—сопротивляющийся, пятящийся. В подлиннике слова «Безродный» нет, очевидно, автор не помнит, поэтому я восстановил его имя, под которым он в Улясутае безобразничал.

[15]) **Хадак**—это шелковый шарфик, употребляемый при всяких приветствиях, подается приветствующим приветствуемому.

[16]) **Сюку-батор**—революционный герой Монголии, первый главнокомандующий монгольскими красными войсками.

Освободившаяся душа моя
Предстанет чистой на суд Эрлика.

(С этими словами Посту-бейле падает и умирает).

ВАНДАНОВ[17]) (бурят Ванданов приехал в Улясутай).
Я ниспослан волею неба и Хагана водворить
порядок среди халхасских монгол.
Имя мое—есаул Ванданов.
(Садится).

БЕЗРОДНЫЙ (входит с тремя казаками, докладывает Ванданову об убийстве Посту-бейле):

ВАНДАНОВ. Что значит смерть одного непокорного
Цультума! Не одного главаря, а если нужно
будет, то я могу приказать уничтожить
всех непокорных монголов. Все зависит от моей воли
(обращается к Безродному и казакам, говорит):
Произведу вас всех в большие чины. (Каждому дает награду).

БЕЗРОДНЫЙ И КАЗАКИ (поют хвалебную песнь в честь Ванданова).
По доброте своей душевной,
Щедро наградил нас бурятский командир.
Быстрый конь его чалый иноходец.
Можно ли сопротивляться воле Ванданова?
Покопотивший[18]), непослушный Посту
Лежит заваленный камнями,
А богатства его конфискованы.
Молодцом рожденный бурятский командир
Победит заблудившихся красных оружием.
А инакомыслящих монгол—
Хитрой лаской соболиной.
Занавес опускается.

ДЕЙСТВИЕ 4.

ХАТАН-БАТОР-ВАН[19]) (там же, в Улясутае).
Имя мое—Хатан-батор-ван Максурджяб.
По необходимости состою командиром у белых.

---

[17]) **Ванданов**—есаул. Забайкальский бурят, бывший лама, хорошо знавший буддизм, грамотный по-тибетски и монгольски, также, конечно, и по-русски. Верный соратник Унгерна. Унгерн ввел его с небольшим отрядом бурят в большой монгольский отряд, где был официальным командующим Хатан-батор, на самом же деле был Ванданов, а Хатан-батор был заложником, который ждал момента, чтобы разделаться с белыми. Ванданов расстрелян Хатан-батором 23 июля 1921 года.

[18]) Буквальный перевод монгольского выражения поехать быстро, поднимая пыль. Копотить—поднимать копоть, пыль.

[19]) **Хатан-батор-ван Максурджяб**—национальный монгольский герой. Вел с 1911 года постоянную борьбу с китайскими войсками. Сюй-шичаном был посажен в тюрьму.В 1921 году руководитель восстания в Улясутае. Успешно боролся с унгерновцами. Им взят в г. Уланкоме в плен ген. Бакич и ряд офицеров в числе 18 чел. с отрядом до 800 чел. Был награжден Орденом Красного Знамени. До конца жизни был военным министром. Умер в сентябре 1927 г. в своих кочевьях на р. Селенге в м. Халинты-Куре.

4 курьер (подает письмо Хатан-батору).

ХАТАН-БАТОР (читает).

Товарищи монголы и солдаты,
Настало время уничтожить белых,
В лагере белых, в войсках под
руководством Хатан-батора
происходит восстание в пользу красных
Происходит уничтожение
белых, русских и бурят[20]).

(Ванданов, пользуясь суматохой, убегает. За ним организуют погоню, хватают и убивают).

ХАТАН-БАТОР (поет).

Был у нас приглашавший к нам белых варваров
Хвастунишка-глупец Цевен-тергунь[21]).
Был у нас и славный борец
Против белых Посту-бейле.
Но погиб он славной смертью.
Герою ему—вечная слава.
Ненавистного белого насильника
Ванданова мы победили.
Хатан-батору мне выпала великая честь
водворить мир в западном крае.
Навалившуюся на всю Монголию
унгерновщину мы уничтожили.
Вырвали с корнями белых варваров.
Наступил теперь мир и спокойствие.
Помогли нам укрепить революционную Монголию
Наши друзья—славные красные солдаты:
Высокодейные Сюку-Батор с товарищами.
Основали народно-революционное правительство.
Все трудящиеся получили
Власть и свободу.
Многочисленных изменников князей
Мы уничтожим постепенно[22]).
Да процветает вечно
Народное правительство Монголии!
Да распространится вечное счастье
На все живые существа!

Занавес опускается.

---

[20]) Во время восстания в Улясутае в ночь на 22 июля 1921 г. все буряты и белые русские в отряде были уничтожены монголами (около 50 чел.). В то время были убиты ни в чем неповинные русские колонисты, женщины и дети как в г. Улясутае, так и в окрестностях монгольским населением.

[21]) Цевен-Тергунь—восточный монгольский князь, соратник Унгерна, пригласивший Унгерна в Монголию для изгнания китайцев, усердно ему помогавший.

[22]) В силу ряда причин, монгольское революционное правительство было вынуждено к вопросу упразднения сословия князей подходить осторожно. Эту реформу теперь оно закончило совершенно спокойно. Теперь каста князей совершенно уничтожена, и они обезврежены. Во главе бывших уделов теперь везде стоят советы, выбранные из простолюдинов.

Сибирские контрреволюционные организации 1918 г.

В. Вегман.

В ночь на 26 января 1918 года Томский Совет ликвидировал Сибирскую Областную Думу. Ликвидация выразилась в том, что небольшой отряд красногвардейцев, окружив здание, в котором собрались сибоблдумовцы, конфисковал делопроизводство и арестовал нескольких членов Думы. Кой-кто из членов был арестован у себя на дому. Всего было арестовано 18 человек, в том числе 2 члена Сибирского Областного совета: Г. Б. Патушинский, впоследствии министр юстиции злосчастного временного сибирского правительства, и М. Б. Шатилов, министр туземных дел того же правительства. Кой-кого из арестованных отправили в Красноярскую тюрьму, а остальных доставили в поезде на ст. Тайга, где и отпустили на все четыре стороны, запретив в'езд в Томск.

Неарестованные же члены Сибоблдумы сами разбежались. Однако, пред своим бегством часть из них собралась на конспиративное совещание. Хотя кворума не было, тем не менее, конспираторы избрали сибирское правительство. Друг друга награждали министерскими портфелями. Для кого из заслуженных деятелей нехватило портфеля, того назначали «министром без портфеля». В министры попали и некоторые отсутствующие члены, при чем заранее не заручились их согласием. Такого внимания удостоились, понятно, люди с положением в «сибирском обществе», как, например, Вологодский, Серебренников и др.

Эсеры знали, что без таких лиц, после публичного отказа Г. Н. Потанина быть на поводу у эсеров-политиканов, опереточно-скомбинированное сибирское правительство вызвало бы только смех.

Конспираторы не ограничились, однако, только избранием правительства. Из подполья послали они «всем трудящимся Сибири» нечто в роде манифеста и декларации. В манифесте они заявляли, что им «подлинным избранникам трудящихся и народов Сибири» принадлежит «отныне вся полнота власти в Сибири».

«Предвидя возможность дальнейших гонений со стороны узурпаторов власти в г. Томске, Дума,—уверял манифест,—подготовила условия для дальнейшей творческой и гарантирующей от преступного вмешательства большевиков работы. Правительство никакого перерыва и ущерба в своей деятельности не потерпело; оно находится на безопасной территории, куда переезжает и Областная Дума».

«Опираясь на широкие демократические круги деревни и города», Дума,—обнадеживали эсеры,—«сумеет довести родную Сибирь до Сибирского Учредительного Собрания, созыв которого должен быть в мае месяце сего года».

Правда, до мая было далеко—ликзидация Думы состоялась ведь в январе, и пока что над Сибирью реяли советские знамена, тогда как эсеры областники поспешили выбраться «на безопасную территорию», в черносотенный и белогвардейский Харбин, тем не менее составленная ими декларация утверждала, что «Дума вступает на путь верховной законодательной власти в свободной отныне Автономной Сибирской Республике».

Хотя оба эти документа были опубликованы эсерами значительно позднее и только в отдаленной Манчжурии*), но сибирские большевики, особенно томские, уже тогда знали, что эсеры не сложили оружия. Не было сомнения, что эсеры начнут предпринимать шаги, чтобы свергнуть советскую власть вооруженной рукой. Не предполагали только, что эсерам удастся осуществить свой план.

Организацию свержения соввласти в Сибири ликвидированная Сибоблдума поручила своему военному министру, полковнику А. А. Краковецкому, который в то время находился в Киеве, где вел переговоры с Украинской Радой по вопросу об об'единении сибирских кадровых частей и об их переброске в Сибирь в качестве военной силы сибирского правительства.

Договориться в Радой удалось, но ход событий расстроил все планы, надежды, мечты. Краковецкий вернулся в Сибирь без армии. Армию пришлось начать создавать здесь, на месте, и создавать ее пришлось конспиративно .

К тому времени центр сибирских Советов, так называемая, Центро-Сибирь, находился в Иркутске. Эсеры же своим центром избрали Томск, что об'яснялось политическими, тактическими и стратегическими соображениями. С Томском, где жил Г. Н. Потанин, особенно тесно связана областническая идея. В Томске областники организовывали свои с'езды. В Томске мечтала обосноваться Сибирская Областная Дума. Эсеры были уверены, что томское население особенно симпатизирует им. С эсерами заигрывала и часть томской кадровой военщины, предусмотрительно снявшая погоны и облачившаяся в партикулярное платье. В Томске имелись большие запасы военного снаряжения, которыми эсеры рассчитывали завладеть при удачном восстании. Да и географическое положение, которое занимает Томск, указывало эсеровским стратегам, что именно этот город должен стать базой для их военных действий. В пользу Томска говорили и некоторые другие обстоятельства. И, поэтому, Краковецкий обосновал в Томске свою главную контрреволюционную штаб-квартиру.

Вступив в исполнение своих обязанностей, Краковецкий разделил Сибирь по течению реки Енисея на два военных округа: командование восточным округом было поручено полковнику Элерц-Усову, а западным—подполковнику Гришин-Алмазову. Оба командира состояли членами эсеровской партии. Насколько искренно они «эсерствовали», стало известно впоследствии, но тогда эсеры относились к ним с полнейшим доверием.

По традиционному конспиративному обычаю, формирование боевых дружин производилось по системе «пятерок» (только в Семипалатинске формировались «восьмерки»). Пятки об'единялись в десятки, десятки—в сотни. Во главе каждой сотни стоял сотенный, который находился в подчинении у начальника пункта. К моменту зосстания сотни должны были сводиться в полки, которые сосредоточивались в том пункте, в котором подготовлялось восстание. В распоряжении каждого начальника имелся штаб, который руководил технической стороной управления. Начальник пункта и его штаб находились в непосредственном подчинении у командира округа, который определял время и указывал место восстания. Самовольно никто из начальников не имел права начать военные действия.

Само собой понятно, что организационный план не всегда и не везде осуществлялся с точностью, но суть, понятно, не в этом.

Что касается оружия, то оно похищалось из советских складов, как это было в Томске, Семипалатинске и других городах, или же покупалось.

Кто припомнит тогдашнюю обстановку, тот ничуть не удивится, когда узнает, что в рядах красногвардейцев попадались и такие «защитники» советской власти, которые даже вверенные им пулеметы продавали врагам советской власти. Впрочем, в рядах Красной Гвардии, как потом выяснилось, находилось много эсеров в качестве эмиссароз во вражьем стане. Скрывая свою партийность и притворившись ревностными сторонниками советской власти, эти «красногвардейцы» вели в тиши и исподтишка скрытую антисоветскую агитацию, стараясь из-за пустяка и мелочи вызвать у истинных красногвардейцев озлобление против советской власти вообще и ближайшего начальника или командира, в частности.

Выполняя обязанность по дезорганизации советской армии, эти «красногвардейцы» информировали эсеровский штаб о количестве и настроении советских бойцов, о количестве и характере вооружения и снарядов и о многом другом, чем только контрреволюционный штаб интересовался. Кой-кто из эсеров ухитрился даже стать во главе той или иной советской военной части. Томскую милицию, например, возглавлял некий Меркулов, который, как потом выяснилось, был ставленником эсеровского штаба. Вкравшись в доверие к советским властям, эти лица были в курсе каждого мероприятия, порой секретного. Не мудрено, поэтому, если эсеровский штаб исправно получал нужную ему информацию. Не мудрено также, если контрреволю-

*) Они полностью перепечатаны в «Хронике гражданской войны», составленной В. Максаковым и А. Туруновым. М—Л. ГИЗ. 1926, стр. 143-144, 149-153.

ционерам удавалось с большой легкостью похищать и крайне выгодно покупать вооружение, боевые припасы и даже одежду.

Каждый дружинник получал месячное вознаграждение, размер которого колебался от 100 до 250-300 рублей, в зависимости от требовательности и экономического состояния дружинника, а также его боевой значимости. Сибирская кооперация широко субсидировала эсеровский штаб.

По первоначальному плану эсеров, их конспиративно формируемая армия должна была состоять только из эсеров и из таких беспартийных областников, которые искренно им сочувствовали. Впрочем, эсеры не чурались преданных контрреволюции меньшевиков, бундовцев и даже сионистов—только бы поступали. Но из этого плана ничего не вышло: эсеровская армия не увеличивалась. Пришлось первоначальный план изменить, тем более, что налицо имелся элемент, вполне подходящий и хорошо пригодный для боевых контрреволюционных действий.

Дело в том, что еще задолго до Октября в Сибирь просочились организованным путем и самотеком солидные боевые контрреволюционные части и большое количество отдельных отрядов. Чувствуя приближение Октябрьской грозы, предусмотрительный Керенский, желая предотвратить стремительный ход событий, перебросил в Прибайкалье есаула Семенова с его казаками, чтобы, в случае необходимости, иметь возможность усмирять Восточную Сибирь, а к Оренбургским степям приказал атамана Дутова с его частями, дабы, с одной стороны, иметь кулак против пролетарского Урала, а с другой—держать в страхе фрондирующую Западную Сибирь и, в случае неповиновения, вооруженной рукой заставить ее покориться. Впрочем, специально для Западной Сибири Керенский имел в запасе атамана Анненкова, который, однако, прибыл со своим партизанским отрядом в Омск уже после Октябрьского переворота.

Когда же советская власть утвердилась в центре, и диктатура пролетариата дала себя почувствовать во-всю, в Сибирь покатилась волна беженцев, которым пребывание в центре и в пролетарских районах вообще не сулило ничего хорошего. Чем дальше от центра, тем более замедленным темпом и не столь решительно и уверенно утверждалась советская власть в непролетарских районах. Даже пролетарский Урал запоздал. Что говорить тогда о крестьянской Сибири?! И в Сибирь, спасая шкуру, устремились все фабриканты, заводчики, крупные торговцы, домовладельцы, родовитые дворяне и прочая нечисть. В Сибири было сытно и более или менее спокойно. Здесь собирались они в уюте отсидеть те две недели, месяц-два, наконец, три, которые волею судеб суждено просуществовать вообще **«недолговечной»** советской власти.

После Брестского мира в Сибирь устремилась еще одна волна беженцев. На этот раз искала в Сибири убежища военщина, не пожелавшая изменить свои взгляды и убеждения, расстаться с погонами, орденами, привилегиями и преимуществами и признать «похабный» Брестский мир.

Проходят дни, недели, месяцы, а советская власть стоит незыблемо. Видя это, беженцы обеих волн начинают формироваться в робкие, разрозненные самостоятельные организации. Толчок к этому дали те белогвардейцы, которые, по поручению «Союза защиты родины», «Национального центра» и других столичных контрреволюционных организаций, приехали в Сибирь со специальной миссией образовать здесь контрреволюционный фронт для борьбы с советской властью.

Так случилось, что параллельно эсеровским организациям и независимо от них стали формироваться явно белогвардейские и черносотенные организации. Хотя обе стороны преследовали одну и ту же главную цель—свержение соввласти—но особых симпатий на первых порах они друг к другу не питали. Была вражда, но скрытая, глухая. Только незначительная часть беженцев ориентировалась на эсеров и слилась с ними. Главная же масса негодовала на Керенского и ненавидела эсеров, считая наряду с большевиками и их главными виновниками всех бед и зол.

Независимо от эсеров, образовало свою организацию и омское контрреволюционное казачество. В станице Атаманской, недалеко от Омска, конспиративно созвали они так называемый «войсковой круг», на котором поручили атаману Анненкову приступить к формированию вооруженных отрядов для борьбы с соввластью.

Все эти белогвардейские организации субсидировались торгово-промышленными кругами. Вначале, когда казалось, что свержение соввласти не за горами, деньги давались в изобилии.

Контрреволюционные организации имелись также и на Дальнем Востоке. Эсеры и махровые белогвардейцы насадили свои ячейки в Чите, Владивостоке и других дальневосточных городах. Даже «полоса отчуждения» имела свою контрреволюционную организацию, носившую громкое название «Дальневосточный Комитет активной защиты родины». Этот комитет, основателем которого был харбинский присяжный поверенный В. А. Александров, имел даже кой-какое разветвление и за пределами

«полосы отчуждения». Из этого комитета впоследствии вылупился исторически-сме хотворный «Деловой Кабинет» при «рыцаре на час»—«Временном Празителе» Д. Л. Хорвате.

На Украине контрреволюция представляла уже довольно стройную организацию. Она даже успела уже заявить о своем существовании многочисленными столкновениями с советскими войсками. В Сибири, между тем, контрреволюция все еще находилась в зародышевом состоянии, и ее организации носили кустарный характер.

Сибирью, однако, живо интересовались вожди добровольческой армии, генерал Алексеев и Корнилов. Оба они имели смутное представление о положении дел в Сибири. Знали только, что здесь существует какое-то сибирское празительство, которое вело с Радой переговоры о переброске сибирских воинских частей из Украины в Сибирь. Так, по крайней мере, уверял генерал Флуг, которого вышеназванные генералы командировали в Сибирь «для выполнения определенной задачи».

«Моя задача, говорит Флуг, сводилась к тому, чтобы сгруппировать и сорганизовать на местах элементы, одушевленные идеей борьбы с германо-большевизмом, произвести учет живой силы, могущей принять вооруженное участие в этой борьбе, разрешить вопросы ее снабжения, а также действия ее в тесной связи с политическими группами, которые, в случае свержения советской власти, могли бы принять на себя задачу управления».

Собственно говоря, «Алексеев не вполне сочувствовал командировке в столь отдаленный район, где даже благоприятный результат работы не мог оказать влияния на судьбу ближайших начинаний добровольческой армии». Иначе смотрел на дело Корнилов, по инициативе которого, повидимому, и состоялась эта командировка. Корнилов, как уроженец сибирского казачьего войска, имел большие связи в Сибири. Ему даже кто-то внушил, что его имя пользуется в Сибири каким-то «особым обаянием».

По словам Флуга, генерал Корнилов вообще «смотрел на вопрос шире, учитывая, кроме своего личного престижа в Сибири, также и важность заблаговременного захвата богатейшей продовольственной базы, какую представляет Степной край, если и не для непосредственной эксплоатации добровольческой армии, то хотя бы для лишения противника возможности пользоваться ею, как единственным остающимся в его распоряжении источником для продовольствования армии, при условии, если бы удалось отстоять от его захвата хлебородные районы южной России».

Получив столь ответственное поручение, Флуг основательно законспирировался и отпразился в путь-дорогу. 29 марта прибыл он благополучно в Омск, где с места в карьер начал связываться с контрреволюционными организациями. Плохое состояние контрреволюционного дела в Омске привело Флуга в отчаяние. Все было разрознено. Не было единоличного командования. Не было человека, которому это можно было поручить. Флуг, однако, такого человека нашел. Этот человек был не кто иной, как проживавший тогда в Петропавловске бывший царский урядник Иванов-Ринов, которого рекомендовали, «как лицо, пользующееся большим влиянием среди казачества и имеющее обширный административный опыт». Флуг уговорил Иванова-Ринова переехать в Омск и «принять на себя обязанности общего начальника над всеми организациями Омска и Петропавловска». Иванов-Ринов так понравился Флугу, что этот последний назначил его представителем делегации по Омскому району, «с предоставлением права непосредственного сношения со штабом». Как видим, бездарный стратег и неспособный администратор Иванов-Ринов своей головокружительной карьерой обязан Флугу. В одном Флуг не ошибся: делать контрреволюционное дело Иванов-Ринов, действительно, был способен. Это он восстановил погоны в белой сибирской армии, это он ввел в систему карательные экспедиции, это он внушил Анненкову учинить восставшим славгородцам кровавую баню.

В Омске один эсер информировал Флуга о состоянии рассеянных по Сибири эсеровских контрреволюционных организаций. Информатор не жалел ярких красок.

Покончив свои дела в Омске, Флуг отправился в Томск, где прежде всего ознакомился с той организацией, которая «состояла в подчинении военного министра Краковецкого», и где познакомился с полоквником Гришиным-Алмазовым, занимавшим уже тогда «должность начальника штаба по всем организациям Сибири к западу от Байкала». Оставшись довольным эсеровским приемом, Флуг отправился к Потанину.

«Г. Н. Потанин, которого я посетил в первый же день пребывания в Томске, оказался дряхлым старцем, со слабыми остатками зрения и слуха, живущим в крайне тяжелых материальных условиях. Письмо Л. Г. Корнилова, которое я ему передал, мне пришлось самому прочесть Григорию Николаевичу вслух, после чего он, заявив, что по старости уже не принимает личного участия в политике, пригласил своего соседа, А. Н. Гаттенбергера, рекомендовав мне последнего, как общественного деятеля и вполне доверенное лицо, заменяющее его в кружке, названном его именем. Гаттен-

бергер назначил мне деловое свидание, к которому обещал пригласить **нескольких лиц».**

На состоявшемся в тот же день свидании Гаттенбергер познакомил Флуга с офицером С., который был представлен «в качестве начальника наиболее крупной из местной военной организации».

Не трудно догадаться, что этот офицер был известный в то время в Томске махровый монархист, подполковник Сумароков, который возглавлял томскую белогвардейскую офицерскую организацию.

Вот этот Сумароков, Гаттенбергер и два других гостя, названные инициалами, расшифровать которые не удалось, знакомили Флуга с положением и состоянием контрреволюционного движения в Сибири*).

В виду того, что часть этой информации представляет большой интерес во многих отношениях, считаем необходимым привести эту часть полностью, как ее записал Флуг в своем отчете**).

«Правительство, возглазляемое Г. Дербером, ныне собравшееся в неполном составе в Харбине, по мнению моих томских собеседников, едва ли может рассчитывать на всеобщее признание, но по свойству характера своего главы и большинства членов, оно, повидимому, предполагает утвердить свою власть явочным порядком, посредством известных политических приемов, один из коих заключается, например, в том, чтобы в каждом данном пункте, пользуясь невозможностью, при существующих условиях, скорой проверки, распространять через посредство ловких агентов сведения о силе и значении, которое правительство будто бы уже приобрело в других местах, с тем, чтобы этим повлиять на признания его в данном пункте».

Да простит меня читатель за этот громоздкий и в стилистическом отношении несколько корявый период! Но как его не поместить, раз он дает такую меткую и верную характеристику эсеровщины того периода. И только ли того периода?! Сущность характеристики ничуть не опорочивается тем, что она сделана людьми пристрастными.

«Такой же прием, читаем мы в отчете дальше, применяется и для приведения в подчинение военных организаций. В действительности зависимыми от подполковника Краковецкого являются только те из офицерских отрядов, во главе которых сумели стать социалистические, преимущественно эсеровские, группы деятелей, но наряду с другими отрядами существуют и другие, не уступающие первым в численности, признающие себя беспартийными и не только не признающие сибирского правительства и его военного министра, но часто не знающие и об их существовании. К числу последних принадлежит организация, представляемая С. (читай: Сумароковым. **В. В.)**, наиболее крупная из существующих в Томске, субсидируемая местными коммерсантами и частью образовавшимся в Харбине «Дальневосточным Комитетом», ничего общего с сибирским правительством не имеющим. Здешняя эсеровская офицерская организация, также дозольно многочисленная, номинально содержится на средства, отпускаемые подполковником Кракозецким, в действительности же питается подачками местных кооператоров и обыкновенно испытывает острую нужду в деньгах. Во главе стоит вовсе не тот «штаб», который был мне представлен, являющийся продуктом искусной инсценировки, а социалистический «коллектив», в котором, кроме нескольких офицеров, участвуют рабочие и другие лица, с военным делом ничего общего не имеющие. В смысле снабжения обе организации обставлены слабо, но количество оружия постепенно возрастает, а в случае слияния обеих организаций в одну, вопрос снабжения улучшится, так как недостатки одной части возместятся избытками другой. Большинство офицеров эсеровской организации вовсе не являются правоверными социалистами, а в организацию попали случайно, ища какой-нибудь точки опоры».

Информаторы, раскрывая лозкий шантаж эсеров, в общем и целом правильно охарактеризовали эсеровскую организацию. Зато информаторы не сказали всей

---

*) Прис. поверенный Л. Н. Гаттенбергер занимал при временном сибирском правительстве (после падения советской власти в 1918 г.) пост управляющего Томской губернией. Он неоднократно ввязывая Сиб. Обл. Думу в конфликт с правительством и содействовал ее разгону. Гаттенбергер—человек крайне правых убеждений. При Колчаке он занимал пост товарища министра внутренних дел. Ничего удивительного нет в том, что мы встречаем Потанина в обществе людей типа Гаттенбергера и Сумарокова. Только такие лица и входила в то время в состав пресловутого «потанинского кружка», некогда имевшего даже социалистический налет. Пользуясь тем, что полуслепой и полуглухой старец Потанин находился от них в материальной зависимости, они окончательно заполонили его. Они не допускали к Потанину ли другого лагеря, других взглядов, других убеждений. Они не только ложно информировали Потанина о положении страны, но восстанавливали его против лиц, которые были им неприятны, и позволяли себе даже для пущей убедительности именем Потанина высказывать свои реакционные взгляды или же его именем оправдывать выгодные им реакционные поступки. Гаттенбергер не случайно был приглашен Потаниным для беседы с Флугом. «Потанинский кружок» именно на Гаттенбергера возложил обязанность всегда и ходиться при Потанине, когда он принимает гостей.

**) Свой отчет Флуг представил Деникину. Этот отчет под названием «Отчет о командировке из добровольческой армии в Сибирь в 1918 г.» опубликован в «Архиве Русской Революции», издаваемом Г. В. Гессеном в Берлине. См. т. IX, 1923 г., стр. 243—304.

правды о своей собственной организации. Не думаем также, чтобы томские коммерсанты поддерживали свою организацию более щедро, чем кооперация свою. Просто сказали, чтобы хвастнуть и умалить значение и роль эсеров. Но, как бы то ни было, собеседники произвели на Флуга выгодное впечатление.

«В результате полученных сведений, говорит Флуг, убедившись, что программа Потанинского кружка чужда идее сепаратизма, которая ей, по слухам, приписывалась, и близка к корниловской и также, что беспартийная офицерская организация охотно пойдет на слияние с так называемой эсеровской, делегация все остальное время пребывания в Томске провела в переговорах с подполковником Гришиным (оказавшимся лицом, обладающим здравыми военными понятиями) по вопросам о сближении обеих организаций между собою, об обмене излишествующими предметами вооружения и снаряжения, о выработке общего плана действия и т. п. с тем, чтобы работа вообще велась в направлении полного слияния организаций под единоличным командованием и при политическом руководстве кружка Потанина».

«Заручившись по важнейшим пунктам намеченной работы согласием представителей обеих организаций и обещанием содействия А. Гаттенбергера, я признал возможным этим результатом удовольствоваться».

Закончив дела в Томске, Флуг продолжил свой об'езд городов Сибири. Мы не будем следовать по пятам за Флугом, ибо в Иркутске и других городах он застал ту же картину и выполнял ту же роль. Мы подробнее остановились на отчете Флуга только для того, чтобы на основании показаний доверенного осведомителя, хотя и не всегда достаточно беспристрастного, дать представление о размере и характере контрреволюционных организаций Сибири. Отчет Флуга, с другой стороны, раз'ясняет, каким образом произошло слияние всех разнородных организаций и их об'единение под одно командование.

Было бы, однако, неправильным, если бы мы эту заслугу приписали только Флугу. В этом направлении действовали и некоторые другие лица, в частности, иностранные консулы и даже Пишон, прибывший в Сибирь до приезда Флуга. Но, как бы то ни было, лишь после проезда Флуга началось переформирование контрреволюционных организаций.

С этим переформированием надо было поторопиться, ибо приближался май, а сибирское правительство, как нам известно, обещало, что оно в мае созовет Сибирское учредительное собрание. В первой половине мая переформирование организаций действительно совершилось. Во главе каждой из них уже был поставлен не эсер, преданный партии, а военный из испытанных кадровых офицеров.

К концу мая численный состав сибирских контрреволюционных организаций, о которых нам удалось собрать сведения, был приблизительно следующий*).

Омская организация называлась «организация тринадцати», по количеству казачьих офицеров, формировавших дружины. В число «тринадцати» входили Анненков и Волков. В самом Омске организация держала под ружьем около 2.000 человек. Отряд Анненкова, насчитывавший 300 конных и приблизительно столько же пеших воинов, ютился в станицах под Омском, где содержался на средства зажиточного казачества. Анненков занимал в организации независимое положение и действовал на свой страх и риск. Что касается казачьего полковника Волкова, то он находился в непосредственной зависимости от омского военного штаба. Волков имел в своем распоряжении довольно сильный отряд—около 300 бойцов. Полномочия Волкова простирались на город Петропавловск и его район.

Томская об'единенная организация насчитывала 1.000 человек. Этой организацией, раскинутой в трех частях города, руководили полковники—Сумароков, Пепеляев и Вишневский. Томские эсеры, несмотря на соглашение, достигнутое Флугом, имели, как самостоятельную боевую единицу, партийную дружину в количестве 150 вооруженных эсеров и держали на учете около 300 меньшевиков, бундовцев, сионистов и мусульманских националистов, готовых, как рассчитывали эсеры, по первому зову выступить на защиту социалистических интересов от чрезмерных притязаний махровой белогвардейщины.

Чисто эсеровская организация, численностью в 60 человек, имелась и на станции Тайга. Этой организацией руководил некий Коротков.

Новониколаевская организация насчитывала в своих рядах до 600 человек. Во главе этой организации, как известно, стоял сам Гришин-Алмазов.

Барнаульская организация насчитывала по своему району 400 человек. По другим данным—только 250. В самом Барнауле орудовал отряд в 120 человек. Этим отрядом руководил штабс-капитан А. С. Ракин.

*) Приводимые нами цифровые данные составлены на основании сведений, которые доставили нам некоторые активные участники этих организаций. Тут же заметим, что в дальневосточных городах вполне оформленных контрреволюционных организаций не было, хотя контрреволюционного элемента в каждом из них было достаточно. Этот элемент стихийно организовался и стихийно выступил, как только контрреволюция утвердилась в Западной и Восточной Сибири.

Семипалатинской организацией руководил поручик И. А. Зубарев-Давыдов. Эта организация насчитывала до 300 человек. В распоряжении Зубарева, правда, недолгое время, находились также 300 конных киргиз*).

Красноярская организация, которую возглавлял генерал Чудилин (если не ошибаемся—псевдоним), насчитывала по одним данным 600, а по другим—не более 480 человек.

Иркутская организация состояла из нескольких отдельных групп, общей численностью в 1.000 человек. Этой организацией руководил Эллерц-Усов.

Если подведем итоги, то увидим, что в организациях было об'единено не более 7.000 активных контрреволюционеров. Это количество несомненно преувеличено, но и такое число контрреволюционеров, как показала действительность, не представляло угрозы для сибирских советов.

Во второй половине мая контрреволюция стала готовиться к захвату Зап. Сибири, намереваясь в первую очередь захватить Томск. Обстоятельства, казалось, особенно благоприятствовали контрреволюционерам. Дело в том, что с начала весны есаул Семенов начал делать набеги на дальневосточные советы, а в апреле японцы высадили во Владивостоке свой десант. Чтобы ликвидировать Семенова и быть готовыми к ответу на удар японцев, сибирские Советы, по требованию Центро-Сибири, концентрировали свои военные части в Восточной Сибири. Советы Омска, Томска и других западно-сибирских городов оставили в своем распоряжении лишь небольшие плохо дисциплинированные и военному делу мало обученные красногвардейские отряды. Отдавшись целиком советскому строительству, эти Советы совершенно не замечали, какая гроза на них надвигается. Осведомительный аппарат работал тогда из рук вон плохо, да и числился он фактически только на бумаге. И если б не счастливая случайность, то контрреволюционное восстание несомненно имело бы некоторый временный успех.

Но вот 26 мая случайно была накрыта эсеровская конференция в Томске. Одновременно с арестом участников конференции удалось захватить документы, которые изобличали эсеров в подготовке к восстанию. Вскоре Томскому Совету удалось получить более подробные сведения о готовящемся восстании. Стало известно, что свой первый удар контрреволюция направляет на Томск. В руках Совета имелся также план восстания, выработанный контрреволюционным штабом. Совету было даже известно, что контрреволюционеры откроют военные действия 28 мая на рассвете, в 4 часа утра. Знали и то, что штаб решил ни в коем случае не отменять дня и часа восстания**).

Томский Совет решил принять бой. Город был об'явлен на военном положении. Мобилизовали и вооружили всех томских рабочих. На помощь вызвали красногвардейцев-шахтеров из Анжерки и Судженки. В назначенное время контрреволюционеры выступили и были разбиты, несмотря на то, что в их рядах были кадровые офицеры и что руководили ими опытные полковники. На стороне контрреволюционеров было и численное превосходство***).

Характерно, что предпринятые тогда же попытки контрреволюционеров захватить Барнаул и чрезвычайно слабо укрепленный Семипалатинск также окончились неудачей. Повсюду наталкивались они на упорное сопротивление рабочих. Все это доказывает, что собственными силами сибирские контрреволюционеры никогда бы не свергли советскую власть в Сибири. Если этого не хотели признать самоуверенные сибирские контрреволюционеры, так зато это учитывали столичные контрреволюционеры. Не даром натравили они на сибирские Советы сорокатысячную чехо-словакскую орду. Эта орда и поспела к тому времени, когда контрреволюция делала усилия, чтобы свергнуть Западно-Сибирские Советы. Чехо-словаки спасли положение сибирской контрреволюции.

Застигнутые врасплох, не ожидая столь коварного выступления и не предполагая, что им готовится смертельный удар в спину, Западно-Сибирские Советы растерялись и сдали свои позиции. Как и почему это случилось, а равно история чехо-словакской оккупации Сибири не составляют тему нашей статьи. Мы себе поставили задачу более скромную: дать характеристику сибирской контрреволюции 1918 года и показать, что только при помощи иностранных штыков удалось нашей отечественной контрреволюции свергнуть на время советскую власть в Сибири.

---

*) Деятельность А. С. Ракина и И. А. Зубарева-Давыдова подробно освещена в приложении к настоящей статье. Кстати, П. Парфенов говорит в своей книге «Гражданская война в Сибири», что Семипалатинскую организацию создал есаул Сидоров. В наших руках имеется рукой Сидорова подписанный документ, из которого видно, что эта честь должна быть приписана только Зубареву.

**) Конспираторы эсеры по неосторожности или легкомыслию пригласили на одно из своих решительных заседаний, на котором обсуждался день, час и план восстания, двух большевистски настроенных юношей: Бориса Качинского и Бориса Максимовича. Качинский—сын учителя тайгинской двухклассной школы; он готовился к поступлению в Томский университет. Максимович был учеником реального училища. Узнав, что готовится восстание против советской власти, они пришли в Совет и сообщили весь план восстания.

***) Это восстание более подробно описано мною в статье «Как и почему пала в 1918 г. советская власть в Томске», см. «Сибирские Огни», 1923, № 1-2, стр. 127-147.

Деятельность Барнаульской белогвардейской военной организации в 1918 г.

В ночь на 26 мая н. ст. совершенно неожиданно для штаба Барнаульской Военной Организации в Новониколаевске произошел переворот. При каких обстоятельствах он произошел, кто был его инициатором и вдохновителем, Барнаульскому Штабу было неизвестно, так как телеграфная связь с Новониколаевском была порва- говорили, что выступила «Монархическая организация», военно-пленные германцы и, на, а всякие другие сведения поступали очень скудно и были крайне разноречивы: говорили, что выступила «Монархическая Организация», военно-пленные германцы и, наконец, чехо-словаки; ни их цели и задания, ни занятое ими положение по отношению к Организациям Врем. Сиб. Правительства (самое главное)—было неизвестно. Кроме того, положение Барн. Организации ухудшилось еще тем обстоятельством, что в Барнауле, сейчас же по выступлении чехо-словаков в Новониколаевске, было введено зоенное, усиленно-военное, а затем и осадное положение, связавшие Барнаульскую Организацию по рукам и ногам. В этих условиях, условиях полной неосведомленности и осадного положения приходилось выбирать позицию Барнаульской Военной Организации. Решающий голос в этом отношении имело приказание Зап.-Сиб. Штаба: «никаких частичных выступлений», «выступление только по приказу свыше» и т. п. Барнаульским же Штабом в эти дни неопределенного положения Организации никаких распоряжений и указаний ниоткуда не получалось, почему им и было занято выжидательное положение. Позже, благодаря самоотверженной и бесстрашной работе двух телеграфистов—Стерлина и Жаркоза, Барн. Штаб был введен в курс происходящих в Н.-Никол. событий, при чем им было получено шифрованное приказание за подписью: «Алмазов» о выступлении, переданное для исполнения с 30 на 31 мая в Бийск, Семипалатинск и Камень. Однако, вследствие отступления чехо-словакских отрядов из-под Барнаула, выступление в Барнауле не состоялось и было отложено до нового наступления чехо-словаков на Барнаул. При вторичном наступлении на Барнаул выступление Барнаульской Организации было назначаемо 3 раза (в зависимости от движений чехо-словаков между Барнаулом и Новониколаевском) и состоялось только в ночь с 10 на 11 июня, после разгрома красногвардейцев у ст. Тальменка.

Должен заметить, что 2-х недельное ожидание прихода чехо-словакских войск и троекратная подготовка к выступлению в условиях осадного положения с массовыми обысками и арестами среди офицерства вызвали в Организации сильный упадок духа и боеспособности и подорвали дисциплину настолько, что в интересах дела я вынужден был от Вашего имени издать приказ о предании суду всех членов Организации, не исполняющих распоряжения и приказания своих начальников и Штабов. Эта мера оказалась целесообразной: слабовольные и трусливые подтянулись, а начальствующие лица, почувствовав под ногами почву, твердо взяли в руки своих подчиненных, словом, дисциплина была поднята на должную высоту, и приказ Штаба о выступлении был выполнен.

Задания и цели, сообразно с которыми был составлен план этого выступления, принимая во внимание то обстоятельство, что Организация должна была играть вспомогательную роль, были таковы: 1) арестовать видных руководителей большевиков; 2) сохранить ценности Государственного Банка; 3) вооружить Организацию и вывести ее из города (освобод. из тюрьмы); 4) создать в тылу панику, угрозу фронту и тем самым оттянуть на себя с фронта часть сил.

В исполнение 1 пункта, в 1 день был задержан член Военно-Революционного Комитета Малюков и несколько видных исполкомцев.

Для сохранения ценностей Госуд. Банка (все наличие города)—около 8½ миллионов рублей—Штабом был арестован контролер Гос. Банка, доблестный гражданин Орфенов (с согласия последнего) со всеми ключами от внешних и внутренних запоров кладовой и хранилищ Гос. Банка (ключи эти (14) были взяты у г. Орфенова Нач. Штаба под расписку и зарыты в земле), вследствие чего большевики не были в состоянии даже путем подрыва дверей и т. п. расхитить деньги государства.

Далее: для вооружении Организации отрядом Организации были разоружены красногвардейцы при лагере военно-пленных, около 50-ти человек патрульных красногвардейцев, захвачено оружие при Управлении Алт. ж. д.; в общей сложности было захвачено около 250 винтовок, две с половиной тысячи патронов и несколько гранат. Вооруженная, таким образом, Организация освободила из тюрьмы членов Организации офицеров (около 20 человек, которым угрожал расстрел или самосуд)

*) Оригиналы приведенных здесь документов—рапорт штабскапитана А. С. Ракина и доклад поручика И. А. Давыдова-Зубарева—извлечены нами из папки личных дел («Исторические материалы») Гришина-Алмазова.

и др. политических, захватила телеграф и почту, здание гимназии, реальное училище и детский приют (расположенные вокруг совдепа) и повела наступление на совдеп, защищаемый 2 пулеметами и 80 мадьярами.

Наша атака, встреченная жестоким пулеметным и ружейным огнем, не удалась и, потеряв 5 человек ранеными, мы вынуждены были отступить под прикрытием зданий реального училища и гимназии.

Сейчас же на эти здания, создав угрозу нашему тылу (со стороны нашего тыла к совдепу шло подкрепление с окр. города «Булыгинской Заимки»), и мадьяры повели контр-наступление, но, несмотря на огневую поддержку 2 пулеметов, наступление было отбито, при чем они потеряли около 15 человек ранеными и убитыми.

Расстреляв патроны на отбитие контр-атаки мадьяр и получив сведения, с одной стороны, о приходе с фронта подкрепления (поезд с мадьярами и красногвардейцами), а с другой о том, что отряды Врем. Сиб. Правит. прибудут не ранее утра следующего дня, я во главе отряда в 120 челозек отступил за город—в лес, где и ожидал отрядов Врем. Сиб. Правит. в Барнаул до полдня 12 июня. К этому времени войска Врем. Сиб. Правит. не прибыли, и я с Барнаульским отрядом отправился в Гоньбу, где и соединился с отрядами полк. Буткевича утром 13 июня. Вечером этого дня Барнаульский отряд (в 120 человек) под моей командой и все отряды при взводе орудий под общей командой полк. Буткезича повели наступление на Барнаул. Встреченные огнем разведоч. партий красногвардейцев в расстоянии 1½-2 верст от Барнаула отряды, по приказанию полк. Буткевича, отступили. 14 июня, днем наступление отрядов, усиленных чехо-словаками, под общей командой пор. Чеснохозского было возобновлено, при чем отряды: Барнаульский, Чехо-словакский и капитана Николаева были встречены сильными партиями мадьяр и импровизированными бронированными зооруженными пулеметами, поездами, совершенно непробиваемыми пулями. Бой продолжался часа 2½, после чего по приказанию поручика Чеснохозского Барнаульский и Чехословацкий отряды отступили в дер. Гоньбу, куда прибыл отряд капитана Николаева. Отряды же пор. Лукина и капитана Степанова, потерявшие связь с остальными отрядами, отделенными от них речкой, двигались по горе на Барнаул и взяли его со стороны наименьшего сопротивления утром 15 июня.

Днем 15 июня в дер. Гоньбе, где стояли отряды, были получены сведения о взятии Барнаула, а в 1 час ночи на пароходах все отряды, за исключением Барнаульского, которому полк. Буткевич приказал итти пешком, были отправлены з Барнаул. Барнаульский отряд прибыл в Барнаул утром 16 июня.

В заключение изложенного, считаю своим долгом еще раз подчеркнуть о том, что Барнаульская Организация выполнила план выступления зполне удачно: задержала члена В. Р. К. Малюкова и др.; сохранила ценности Госуд. Банка; освободила из тюрьмы арестованных офицеров и др. политических; создала вооруженный отряд в 120 человек и вывела его из города, соединила с другими отрядами войск Врем. Сиб. Празительства, так что он участвовал во всех наступлениях на Барнаул, облегчая общую задачу, и, наконец, создал панику в тылу, отозвав на себя с фронта крупные отряды мадьяр с пулеметами.

О вышеизложенном и доношу на Ваше усмотрение. Бывший Начальник Штаба Барнаульской Военной Организации Врем. Сиб. Правит. Штабс-капитан А. С. Ракин.

Организация свержения советской власти в г. Семипалатинске и Семипалатинской Области в 1918 г.

В средине апреля сего года я, как политический комиссар и представитель Временного Сибирского Правительства, был командирован Барнаульским Областным Штабом в гор. Семипалатинск для организации восстания против советской власти. По прибытии в Семипалатинск я выяснил, что до меня там были лишь слабые попытки подготовить восстание, почему мне пришлось налаживать дело с самого начала. Прежде всего я вступил в сзязь с местными офицерами, лицами гражданского положения и некоторыми коммерсантами, сочувствовавшими идее свержения большевизма и работавшими ранее на этой почве. Из местного офицерства я организовал штаб в следующем составе: Начальник Штаба—капитан Иосиф Харченко (псевдоним Альский), начальник мобилизационного отдела под'есаул М. С. Герасимов (псездоним Спиридонов), начальник контрразведки Носков (псевдоним Рощин), начальник связи поручик Л. Суторихин (псевдоним Синютин), помощник начальника мобилизационного отдела корнет Анциферов (псевдоним Дубровин) и есаул Машинский (псевдоним Сальников). Одновременно с этим была составлена комиссия из лиц гражданского ведомства: председателя Семипалатинской Городской Думы Ф. К. Станкевича, гласных той же Думы: Н. В. Вайсера, А. И. Никольского, П. В. Клепацкого, В. П. Колтыпина и кандидата в гласные И. И. Гинята, которой было поручено, зо-первых, разработать схему гражданского управления областью на первое после переворота время, пока не будет связи с Вре-

менным Правительством и до полного воссстановления органов местного самоуправления, а, во-вторых, изыскать средства для военной организации. В момент моего приезда в Семипалатинск денежная часть обстояла у меня очень слабо. От Барнаульского Штаба я получил всего только пять тысяч рублей. Поэтому, главнейшей задачей моей в первое время было—получить нужные суммы из местных источников. Не ограничившись образованием вышеупомянутой комиссии, я постарался и сам непосредственно вступить в сношения с семипалатинским купечеством, в каковом отношении весьма ценные услуги оказали мне коммерсант А. А. Спасский и прапорщик М. М. Красильников, тоже сын местного коммерсанта. Сначала купечество очень неохотно шло на призывы жертвовать деньги, очевидно, несколько сомнезаясь в успехе нашего начинания. Но после значительных усилий, просьб и заверений как с моей стороны, так и со стороны вышепоименованных общественных деятелей, сгруппировавшихся около меня, денежные суммы стали поступать от купцов в мое распоряжение. Суммы эти вручались мне частью непосредственно, частью же через гражданскую комиссию. Таким путем мною было собрано с купечества всего 46.700 рублей. Но сумму эту я получил не сразу, а в разное время и сравнительно небольшими частями, каковое обстоятельство сильно тормозило зесь ход работ.

Как только выяснилась возможность пополнения организационной кассы денежными средствами, я немедленно приступил к мобилизации живых сил. В этом отношении деятельность моя сосредоточилась на трех направлениях: 1) организация офицерства и добровольцев; 2) установление связи с казачеством и 3) мобилизация киргиз. Привлечение офицерства и добровольцев в организацию происходило путем укомплектования отдельных более или менее самостоятельных ячеек. Каждая такая ячейка состояла из 8 челозек под командой особого начальника. Начальник восьмерки назначался начальником мобилизационного отдела или его помощником и обязывался набрать в свой отряд нужное число надежных людей, т.-е. 8 человек, держа их затем на учете и сохраняя с ними постоянную неразрывную связь. Насколько было возможно, требовалось, чтобы в интересах конспирации, состав одной восьмерки оставался неизвестным для других восьмерок, главными условиями для мобилизуемых ставилось полное сохранение тайны организации и борьба с советской зластью на платформе Временного Сибирского Правительства. Так как очень многие из начальников восьмерок и из восьмерщиков были совершенно не обеспечены материально, то им пришлось с первого же момента выплачивать жалованье в 100, 150, 200 и даже 300 рублей в месяц, в зависмости от имущестзенного состояния каждого из них. Это жалованье выплачивалось, в большинстве случаев, начальником мобилизационного отдела или его помощником, хотя иногда приходилось принимать эти обязанности и мне лично на себя. Как я, так и мобилизационный отдел по мере возможности требовали расписки в получении жалованья, но некоторые из участников организации, опасаясь быть обнаруженными со стороны большевиков, отказывались давать такие расписки, и мы, учитывая всю основательность такого опасения, а таковое в интересах конспирации, на выдаче расписок особенно не настаивали. Набор добровольцев производился сравнительно медленно, ибо люди записывались в восьмерки неохотно и приходилось привлекать их к делу, главным образом, денежными обещаниями. Гораздо лучше проходила мобилизация офицерства, хотя в конце-концов и из офицеров, состоявших на учете по гор. Семипалатинску, далеко не зсе приняли участие в восстании. Список офицеров, проявивших наибольшую деятельность как в организации восьмерок, так и в самом восстании при сем прилагается. Таким образом, с трудом преодолевая инертность масс я, к моменту воссстания смог привлечь в свои ряды всего до 200 человек офицеров, фронтовиков, солдат, добровольцев из граждан и учащейся молодежи.

Одновременно с мобилизацией офицерстза и добровольцев я предпринял шаги к установлению прочной связи с местным казачеством и к привлечению их в свою организацию. И то, и другое мне удалось сделать, но также не без труда. Казаки Семипалатинской станицы были весьма малочисленны (всего человек 40-50) и сильно опасались, что, в случае неуспеха, ярость большевиков обрушится прежде всего на их станицу, семьи и добро. Поэтому, сначала они обещали лишь поддержку при нашем выступлении. Когда я получил из Томска приказ о выступлении, явился на казачий сбор и уже открыто стал призызать казаков от имени Временного Сибирского Правительства к воссстанию с оружием в руках, сход вынес постановление о выступлении совместно с моей организацией, а также послал в ближайшие к Семипалатинску станицы требование о мобилизации и присылке казаков в Семипалатинск. Для постоянной связи с казаками я пользовался, главным образом, услугами бывшего станичного атамана Василия Леднева и казака Лиханова.

Наконец, учитывая, какую огромную по местным условиям силу представляют из себя киргизы, я сначала чрез упомянутого уже в настоящем докладе Н. В. Вайсера, а потом и непосредственными сношениями с киргизами постарался, насколько мог, привлечь и их на свою сторону. Задача эта, несмотря на зсю ее сложность, на неподго-

товленность киргиз к активной работе разрешилась, однако, удачнее, чем я ожидал. Киргизы через своего представителя Сарсенева, во-первых, выдали мне 29.000 рублей наличными деньгами, правда, перед самым уже выступлением, и, во-вторых, к моменту выступления выстазили до 100 всадников, принесших значительную пользу по службе связи. Впоследствии численность киргизского отряда возросла до 300 человек. Об условиях формирования этого отряда я подробно изложу в конце этого доклада.

Так слагалась мобилизация сил в Семипалатинске. Вместе с тем сознание, что Семипалатинские советские войска могут получить в случае надобности подкрепление из Павлодара и Усть-Каменогорска, если оставить в покое находившиеся там большевистские отряды, побудило меня заняться организацией восстания и в этих городах. В Усть-Каменогорск я откомандировал из своего отряда хорунжего Толмачова, а в Павлодар офицера Казначеева с павлодарским купцом Осиповым. Все эти лица, сообща с местными деятелями и силами и в полном единении с казаками, блестяще выполнили возложенные на них задачи. В Павлодаре и Усть-Каменогорске советские власти пали даже раньше, чем в других городах, и пали после боевых действий, предпринятых нашими отрядами. В Усть-Каменогорске во время боя с большевиками погиб хорунжий Толмачов. Значительную опасность для Семипалатинска по тому моменту представлял также и Барнаул, непосредственно связанный с Семипалатинском железной дорогой. Чтобы обезопастить себя с этой стороны, я послал на станцию Рубцовка также специальных лиц с целью организовать проживающих на Рубцовке железнодорожных рабочих, и эта задача была разрешена довольно удачно, ибо с'организовавшиеся рабочие взорвали около Рубцовки мост, чем прекратили сообщение с Барнаулом.

Самой сложной из стоящих предо мною задач было снабжение организации оружием, револьверами, винтовками и бомбами. При от'езде из Барнаула я не получил ни одной винотовки или револьвера, но и в Симипалатинске у местных организаций их оказалось такое ничтожное количестзо, что принимать это оружие в расчет совершенно не приходилось. Приобрести же нужное количество оружия в Семипалатинске покупкою было невозможно, за отсутствием нужных для того средств, а также и по той причине, что все почти наличное оружие находилось в руках большевиков. По слухам, некоторые запасы винтовок и бомб были у казаков и киргиз. К ним-то я и решил обратиться за помощью. Дело это было поручено мною начальнику мобилизационного отдела, который по прошествии некоторого срока доложил мне, что вышеупомянутые казаки Лединев и Лиханов обязались выдать нам винтовки и бомбы в момент выступления, что киргизы с своей стороны обещались достазить к тому же времени 100 винтовок и 100 гранат в указанное место, и что будто бы, казацкое оружие, он, начальник мобилизационного отдела, видал лично. Не имея никаких оснований сомневаться в докладе начальника мобилизационного отдела и считая, поэтому, что организация будет достаточно снабжена оружием для восстания, я, как только получен был из Томска приказ о выступлении, стянул все силы в Казачий поселок к г. Семипалатинску, где, по уверениям казаков, было сложено их оружие и куда должны были доставить таковое и киргизы. Люди нашей организации собрались в полном составе. Что же касается оружия, то у казаков, кроме бомб, ничего не оказалось, а киргизы своего оружия не доставили, об'ясняя это обстоятельство опозданием. Мы все ждали в станице оружие в течение трех дней, подвергая всю организацию, а также и некоторых членов гражданской комиссии (Ф. К. Станкевича, Н. В. Вайсера, А. И. Никольского, скрывавшихся от преследования большевиков в то же станице) громадному риску. Казаки, видя нас безоружными, от активного выступления решительно отказались и лишь постановили защищаться вместе с нами, в случае нападения на станицу советских войск. Однако, и через три дня киргизского оружия мы не получили. При таких обстоятельстзах наше выступление было бы бессмысленно и потому штаб, чтобы снабдить организацию оружием, постановил пойти на крайнюю меру: получить таковое из красноармейского арсенала по подложному документу с подкупом заведывающего арсеналом офицера.

Вначале дело двигалось блестяще: документ на вывоз оружия был изготовлен, и заведующий складом, поручик 24 Сибирского полка Пашковский, обещал выдать нашим посланным 200 винтовок и 10.000 патронов за 2.000 рублей. Деньги эти были Пашковскому уплачены, и за получением оружия был отпразлен небольшой отряд из офицеров с поручиком Правденко во главе, вызвавшимся пойти на это дело добровольно. Но в тот самый момент, когда посланные начали уже нагружать на подводы оружие, из ближайших зданий грянули залпы, Правденко был убит, а остальным из наших пришлось спасаться бегством. Оказалось, что мы были преданы в руки советской власти провокацией Пашкозского, предупредившего врагов о наших намерениях. Эта попытка с нашей стороны вызвала введение в Семипалатинске большевиками осадного положения, об'явление всего офицерства стоящим вне закона, и массовые аресты как среди офицеров, так и из гражданских лиц. Убедившись в полной невозможности достать оружие в Семипалатинске и учитызая общее положение дела борьбы с большевизмом в Сибири, ибо к тому времени из всех сибирских городов был занят правительственны-

ми войсками лишь Новониколаевск, я решил перенести центр тяжести своих работ в другую область, а именно: пришел к заключению о необходимости более серьезной организации киргиз, дабы с ними сделать неожиданный налет на Семипалатинск, при поддержке казаков и офицерства и принудить советские войска к сдаче нам оружия. Для этой цели мне было нужно отправиться в степь, что я и сделал, захватив с собой до 30 офицеров из своей организации в качестве инструкторов, а остальных оставил в Семипалатинске отчасти для связи, отчасти на случай вооруженного выступления большевиков. При содействии своих спутников я набрал до 300 добровольцев из киргиз, вооруженных находившимися в степи винтовками и привел их в Семипалатинск. Оказалось, что большевики за несколько дней до моего возвращения бежали из города. Очевидно, они были встревожены падением Омска, Павлодара и Барнаула и в то же время сознавали для себя серьезную опасность со стороны нашей организации, киргизской степи и казачества, так как им стала известна цель моего пребывания в степи из тех воззваний к населению, которые я, будучи в степи, время от времени распространял через своих офицеров по городу, призывая всех к восстанию против большевиков во имя лозунгов, провозглашенных Временным Правительством. О наличии этой опасности говорили также и наши собрания в казачьем поселке и попытки захватить красноармейское оружие и глухое брожение в населении. Во всяком случае, советские войска поспешно и позорно без единого выстрела бежали из Семипалатинска, бросая по дороге оружие и амуницию.

Когда я прибыл с инструкторами и киргизским отрядом в Семипалатинск, там было уже организовано преследование бежавших большевиков, и наш отряд был немедленно отправлен в подкрепление ранее выступившим правительственном войсковым частям. В самом городе власть была сосредоточена в руках особого военного штаба с есаулом Сидоровым во главе. В состав этого штаба вошли несколько казаков и, главным образом, офицерство моей организации. Вмешиваться в деятельность штаба я не считал для себя возможным, во избежание нарушения единства и планомерности дальнейших работ, тем более, что в Семипалатинск скоро должны были приехать из Омска уполномоченные Временного Правительства, от которых и штаб, и я ожидали подробных инструкций. С их прибытием и по докладе им всего излагаемого мною теперь, я счел свою миссию законченной.

В заключение настоящего доклада считаю долгом довести до сведения Правительства, что среди других задач я не мало внимания обратил и на надлежащую постановку информационной части, благодаря тому, что некоторые из служащих в советских учреждениях перешли на нашу сторону и что на нашей же стороне оказались почти все почтово-телеграфные и железнодорожные служащие, отдел информации у них был поставлен более чем хорошо. В особенности я должен подчеркнуть полезную деятельность почтово-телеграфного чиновника Сергеева и начальника станции Семипалатинск. Что касается приобретенного мною для организации разных родов оружия, то все оно в настоящее время находится в распоряжении Семипалатинского Военного Штаба.

Быв. Полит. Комиссар И. А. Зубарев-Давыдов.

Краеведение и генеральный план развития народного хозяйства Сибири.

Н. Н.

«Бывают полосы в существовании отдельных людей или целых обществ, когда настоятельные задачи жизни властно отодвигают на второй план запросы чистого знания или удовлетворение простой любознательности.

Из лекции проф. К. А. Тимирязева 20 июля 1905 г.—«Наука и земледелец».

Итоги генерального плана.

Сибирской плановой комиссией разработан генеральный пятнадцатилетний план развития народного хозяйства Сибирского края. В индустриализацию и реконструкцию сибирского хозяйства предположено вложить 4.115,5 миллиона довоенных рублей, в том числе в сельское хозяйство 2.539,2 милл., промышленность—545,2 милл., коммунальное хозяйство—500,4 милл., транспорт—432,4 милл. и социально-культурное строительство—98,1 милл. За этот же период капиталонакопление в народном хозяйстве Сибири достигнет 5.059 милл. довоенных рублей т.-е. превысит капитальные вложения на 943,9 милл. Эти вложения нужно рассматривать не только, как программу количественного расширения наших производственных средств, но прежде всего, как качественную их реконструкцию с достижением более высокой ступени техники и рационализации труда.

Своевременное и достаточное по размерам финансирование обеспечит сибирскому хозяйству действительную реконструкцию и в материальном, и в социальном отношениях. В отсталой аграрной окраине получит выпуклое выражение промышленность с высоким органическим строением капитала. Основной капитал сельского хозяйства к концу планового периода увеличится с 577,9 миллионов довоенных рублей до 1.639,1 милл., или в 2,8 раза. В то же самое время основной капитал промышленности возрастет с 44.130 тыс. довоенн. рублей до 388.123 тыс., или в 8,8 раза. Валовая продукция сельского хозяйства увеличится с 272,7 милл. довоенн. руб. до 765,2 милл., или в 2,4 раза, и валовая продукция промышленности—с 84 милл. довоенн. р. до 513 миллионов, т.-е. в 6 раз.

Среди других отраслей промышленности удельный вес тяжелой индустрии (Урало-Кузнецкий комбинат) займет первое место: по основному капиталу—59 проц., по продукции—31 проц. и по рабочему составу—38 проц.

Валовая выработка крупного государственного сектора увеличится на 1015 проц., в то время, как выработка мелкой и кустарной промышленности поднимется на 250 проц. Производительность труда повысится на 281 проц., число рабочих увеличится на 215 проц., и заработная плата почти удвоится. Себестоимость промышленной продукции снизится на 27 проц. (от 13 проц. в винокуренной промышленности до 51 проц.—в стекольной).

Вследствие индустриализации, резко выразится активность баланса Сибкрая. В 1925-26 г. привоз в Сибкрай промышленной продукции составлял 66.099 тыс. довоенных рублей при вывозе на 6.493 тыс. руб. К 1941 году проектируется привоз на 69.717 тыс. довоенных руб. при вывозе на 95.778 т. довоенных рублей. Иными словами—активный баланс составит 26.061 милл. довоенных рублей. Сельско-хозяйственной продукции к концу планового периода поступит к вывозу 3.608 тонн на 277.008 тыс. довоенн. руб., вместо вывоза в 1926 году 739 тонн на 42.597 тыс. руб.

Особенно преобразится административный центр Сибкрая—г. Новосибирск. Он превратится в крупнейший индустриальный центр. Население сибирской столицы в 1941 году превзойдет 500 тыс. душ. В ней будут сосредоточены крупнейшие промышленные предприятия края: самый мощный маслобойный завод на 24 пресса, самый большой кожевенный завод на 450 тысяч крупных кож, обувная фабрика на 3 миллиона пар, льно-ткацкая фабрика на 9 тыс. веретен, хлопчато-бумажная фабрика на 150 тыс. веретен, сахаро-рафинадный завод на 3 тыс. берковцев суточной производительности, крупный завод сельско-хозяйственного машиностроения сложных уборочных машин, крупный лесопильный завод и деревообделочная фабрика. Кадры пролетариата увеличатся в Новосибирске в несколько раз. Они будут превосходить современное число рабочих цензовой государственной промышленности всего края.

Генеральный план развития народного хозяйства Сибкрая не во всех частях разработан полностью. Некоторые крупнейшие вопросы требуют дальнейшей проработки. Сюда относятся: Сибирская сверхмагистраль, колонизация, лесное хозяйство, сельская электрификация и некоторые другие.

Основным вопросом хозяйственного развития Сибири является преодоление расстояния. При существующих транспортных условиях Сибирь отброшена, по крайней мере, на 3 тыс. верст от всех рынков сбыта и снабжения. Кроме того, она уже и сейчас переросла имеющиеся для сибирских грузов выходы через Урал. Дальнейшее развитие сибирского хозяйства неосуществимо без сооружения сверхмагистрали, или такого железно-дорожного сообщения с европейской частью Союза, которая может обеспечить свободные выходы массовых сибирских грузов (зерна, каменного угля, лесоматериалов, масла и др.) по низким тарифам. Проведение сверхмагистрали как бы приблизит Сибирь к Волге. Вместе с выгодами это создает некоторую опасность.

В довоенное время сибирское сельское хозяйство болезненно обнаружило кризис системы полеводства. Оно стало оправляться, стихийно приняв уклон в сторону животноводства. Для укрепления этого направления советская власть ведет планомерный курс на травополье. Но случайные заминки и просчеты в области хлебозаготовок и соблазн перебросить по будущей сверхмагистрали большие потоки зерновых грузов способны навести на старые мысли о расширении зерновых посевов. С рыночной точки зрения, это может принести временную пользу и на несколько ближайших лет поднять рентабельность крестьянского хозяйства. Но вскоре же неизбежно обнаружится кризис, так как зерновое хозяйство сибирского крестьянина в большей степени зависит от естественно-исторических условий, чем от рыночных.

Ставка советской власти на паротравопольную систему полеводства и животноводства делается прежде всего по организационно-производственным соображениям, с целью обеспечить сибирскому крестьянину максимальный и наиболее устойчивый доход. При дальнейшем же развитии зерновых посевов за счет замедления реконструкции хозяйства, сибирское крестьянство будет поставлено перед более тяжелым кризисом, чем в довоенное время.

Вопрос о форсировании зерновых посевов поставлен т. Рыковым на XV с'езде ВКП (б). Касаясь хозяйственной кон'юнктуры и имея в виду, что по сравнению с 1916 г. посевные площади под зерновыми достигли в нижнем Поволжье—80,5 проц., в среднем Поволжье—90 проц. и на северном Кавказе—90,7 проц., он указал, что «необходимо направить исключительное внимание на культуру зерновых хлебов, особенно пшеницы, в основных хлебных районах (Поволжье, Северный Кавказ, Украина, Сибирь)». С полным удовлетворением можно отметить, что в Сибири в этом отношении имеются большие достижения. По контрольным цифрам на 1927-28 г., посевная площадь 1927 года превышает зерновые посевы 1920 г. (год максимального развития в Сибири) на 6 проц., в том числе под пшеницей на 16 проц., при увеличении удельного веса пшеницы в товарной массе с 52 проц. в 1924-25 г. до 78 проц. в 1926-27 г., несмотря на повышение потребления пшеницы сельским населением с 6,5 пуд. в 1923-24 г. до 11,7 пуд. в 1926-27 году. Очевидно, нет оснований сдавать организационно-производственные планы реконструкции сибирского сельского хозяйства случайным рыночным выгодам, которые маячат в связи с проведением сверхмагистрали.

Одновременно с зерновым вопросом ставится вопрос о судьбах в Сибири технических и масличных культур. Широкое развитие их необходимо. Они являются основными элементами травопольной системы. Вследствие климатических и других причин, Сибирь бедна техническими и масличными культурами не только по размерам посевов, но, что самое главное, по видам культур. В то время, как в разных частях Союза культивируются наиболее ценные растения как-то: хлопок, кендырь, кенаф, клещевина, табак, свекловица, ворсовальная шишка, чай, виноград, хмель, подсолнух, горчица, лен, конопля, кукуруза, тутовое дерево и разные лекарственные растения, в Сибири производятся лишь лен и конопля, и делаются попытки к развитию посевов подсолнуха. Сибирские поля однообразны и тусклы. Генеральным планом предусматривается расширение посевной площади под масличными с 2,9 проц. до 6,1 проц. Это необходимо осуществить и присоединить еще в первую очередь культуры бадана. Нужно добиться, чтобы бадановое поле имелось даже в крестьянском хозяйстве. Экстрактно-бадановое производство должно приобрести самое широкое экспортное значение. Оно должно обеспечить потребности всего Союза в дубителях и занять большое место в заграничном вывозе. До империалистической войны в Россию ежегодно ввозилось почти на 7 милл. руб. дубителей. При посредстве сибирского бадана нужно добится, чтобы во внешней торговле дубителями роли России и заграничных государств диаметрально изменились.

До настоящего времени не существует практики сверхмагистрали и только еще зарождается теория. Союзные специалисты заняты разработкой проектов паровозов и вагонов для сверхмагистрали. Тем не менее, мы держим на нее курс. Поэтому вопрос о влиянии сверхмагистрали на зерновое хозяйство Сибири должен быть разработан безотлагательно, чтобы парализовать опасные рыночные соблазны.

Второй актуальный вопрос сибирской экономики составляет колонизация. В течение 15 лет предполагается переселить в Сибирь 2.145.000 душ, в

том числе 495 тыс. душ. в первом пятилетии, 660 тыс. душ—во втором пятилетии и 199 тыс. душ—в третьем. Потребуются капитальные вложения на одно хозяйство: в обжитых районах—585 руб. и в необжитых—795 руб. Все капитальные затраты на устройство 2.145 тыс. душ составят 781 милл. руб Сумма затрат колоссальна! Менее одной четверти новых засельщиков могут быть устроены в обжитой полосе. Остальные неизбежно будут размещены в таежных районах. Между тем, до сих пор не выработаны способы освоения тайги. Неизвестно, какими способами сводить лес: механическими, химическими или биологическими. Нет стандартных орудий для раскорчевки. Отсутствуют организационные планы хозяйства в тайге.

В значительной степени с переселенческой проблемой связаны перспективы развития лесного хозяйства. Лесной фонд Сибири исчисляется в 257 милл. гектаров. Исследованные леса составляют 12,3 проц. и устроенные—4 проц. Из колоссальных лесных массивов в ведении лесных органов находится 57,3 милл. гект., из них эксплоатируется только 17,2 милл. гект. Фактический отпуск леса составляет 46,2 проц. сметного и 15,5 проц.—возможного. Тем не менее, вследствие опустошения ближайших лесных массивов, в наиболее густо населенных районах ощущается лесной голод. По генеральному плану предполагается капитальные вложения в лесное хозяйство в размере 85,1 милл. руб. при чистом доходе в 43,46 милл. руб.

В области лесопромышленности к концу планового периода намечено увеличение числа лесозаводов с 23 до 47 и числа рам с 54 до 162. Не менее 72 рам будут обслуживать переселенческие районы по железным дорогам: Татарская—Усть-Тым, Енисейск—Ачинск, Тайшет—Усть-Кут. Намечено сооружение четырех бумаго-древесно-мясных и целлюлозных комбинатов. Все эти планы задолжат ничтожную часть переселенческого контингента. Необходимо широкое развитие лесохимической промышленности с расчетом на массовое вовлечение в заготовительные и первичные работы переселенцев Такие планы отсутствуют, а вне их невозможно обеспечить переселенцам благоприятные условия приживаемости в тайге.

Лесохимическую промышленность надо развивать по всем направлениям: смолокурению, терпентинно-канифольному производству, сухой перегонке лиственных пород и заводской обработке первичных продуктов. При современных технических знаниях, открывается широкий простор для построения доходного использования древесины посредством сухой перегонки березы, осины, сосны, ели, пихты и лиственницы. Напомним, что при сухой перегонке получаются, кроме угля и газов: скипидар, деготь, канифоль, древесный порошок, древесный спирт, ацитон, уксусная кислота, формалин, креозот, гваякол, хлороформ, иодоформ, камфора, кормовая патока, целлюлоза и т. д. В общем из древесины получается свыше 70 чрезвычайно ценных продуктов, употребляемых для технических, поделочных, изоляционных, военных, фармацевтических и др. целей.

Высшим достижением в области обработки древесины является производство древесного шелка (главным образом, вискозного). Искусственное волокно составляет около 25 проц. веса употребленной древесины. С единицы земельной площади можно получить искусственного волокна в 2-3 раза больше, чем хлопкового волокна или льняного. Оно не зависит от урожая, как все другие культурные волокнистые растения. Производство искусственного волокна сбережет в стране многие миллионы, уходящие за границу в оплату привозимых хлопка и шерсти. В рентабельности такого производства не приходится сомневаться. Уже в настоящее время фабрики древесного шелка доставляют около 25 проц. дивиденда. Спрос на древесное волокно ежегодно

возрастает. Например, в 1926 году по сравнению с 1914 годом мировое производство искусственного шелка увеличилось в 8½ раз.

В 1927 г. по сравнению с 1913 г. цены увеличились на натуральный шелк на 65 проц., на шерсть на 81 проц., а на искусственный шелк упали на 2,5%. Возможно еще дальнейшее удешевление. В истекшем году искусственный шелк расценивался в 6 раз дешевле, чем натуральный и в восемь раз выше, чем обыкновенная древесно-бумажная масса. Ясно, какая продукция лесохимической промышленности наиболее доходна.

Главными производителями древесного шелка являются Соединенные Штаты Северной Америки, Италия, Германия, Англия, Франция, Голландия и Бельгия. Это производство развивается на привозном сырье в безлесных Италии, Голландии, Бельгии и Японии. Безлесная Италия занимает второе место в мире по размерам производства шелка.

Оно прививается в маленьких государствах, как-то: Норвегия, Швеция, Австрия, Польша, Чехо-Словакия, Греция, Испания. При этом Италия, Голландия, Бельгия и Англия состоят крупными экспортерами искусственного шелка. Производство древесного волокна тем интересно, что оно пред'являет большой спрос на серную кислоту, соду, аммиак и др. продукты основной химической промышленности.

Новую задачу для научного исследования в области использования древесного спирта составляет получение искусственного каучука. В этом отношении возможно ожидать не менее крупного переворота, чем производство искусственного шелка. Организация лесохимической промышленности Сибири составляет большую, ответственную и почетную задачу для сибирских ВУЗ'ов и сибирских хозяйственников.

Для развития лесохимической промышленности потребуются крупные капитальные вложения. Но перед ними нельзя отступать. В этом отношении поучителен пример С. Ш. С. Америки, где в 1923 г. в производство сухой перегонки дерева было вложено 86 милл. руб., в производство скипидара и гарпиуса—68 милл. руб. и в производство бумаги и древесной массы—1.812 милл. руб., а всего—1.964 милл. руб. В Сибири же на ближайшее пятилетие предполагается вложить во все отрасли промышленности 545 милл. руб.

Сибирские леса должны привлечь максимальные вложения на организацию интенсивного использования их, вследствие крайней отдаленности экономических центров. Без оплодотворения капиталом они будут гибнуть от перестоя, вредителей и пожаров. При вовлечении в хозяйственный оборот они дадут прочное обеспечение таежным переселенцам и послужат неисчерпаемым доходным источником для всего Союза. Правильному лесоиспользованию в Сибкрае пора придать значение всесоюзной экономической проблемы.

Генеральным планом развития народного хозяйства Сибкрая предусматривается расширение большой электрификации, но совершенно оставлена в стороне сельская электрификация. Сибкрайисполкомом утвержден 4 октября 1927 года первый план сельской электрификации на ближайшие годы. В план внесены 26 электроустановок сельских и 3 городских, снабжающих электроэнергией сельские местности. Общая мощность электростанции проектируется в 1484 квт. Сельская электрификация выливается в форму электрокомбинатов, общая мощность которых 2.660 квт. Для первого периода в электрокомбинатах мельницы будут занимать 39,2 проц. и электроосвещение—38,3 проц. Остальная энергия будет поглощаться элеваторами, лесопилками, с.-х. мастерскими, кожзаводами, маслобойнями, маслозаводами, зерносушилками, молотилками, просорушками, льнообделочными заведениями и т. д.

Сельская электрификация быстро развивается и в больших и в малых государствах культурного мира. Повсюду она способствует развитию коопе-

ративных об'единений. Повсюду возрастает количество охватываемых электроэнергией производственных операций и бытовых приспособлений. Вопросы сельско-хозяйственной электрификации расцениваются, как политические. В 1925 г. Американская Академия Политических Наук издала специальную коллективную монографию, посвященную вопросам электрификации. Издатель Моррис Кук в предисловиях к книге пишет о схеме плановой электрификации, что она «является революцией по отношеннию к тому, что делается теперь. Схема плановой электрификации стремится заменить предвидением сожаление о сделанных ошибках, планом—политику от случая к случаю. Плановая электрификация может дать электрическую энергию больше, дешевле и на большую поверхность».

Для наиболее благотворного использования сельских электростанций необходимо правильное построение электрокомбинатов. Требуется удачное для них соединение предприятий, которые вовлекали бы в обработку важнейшие местные рыночные продукты. Задача очень трудная и сложная. Она должна быть разрешена. Должны быть выработаны стандартные типы сельских электрокомбинатов для каждого крупного экономического района.

Все указанные и другие недоделки в генеральном плане могут быть восполнены при помощи сотрудничества местных ВУЗ'ов и краеведческих организаций, об'единяющих большое количество специалистов, разбросанных по всей территории края. Современность выдвигает перед краеведами особый метод работы, а именно: сосредоточение массовых сил на разработке одного и того же крупного вопроса. К этой форме коллективной разработки подошли уже в Америке. В 1925 г. на конференции деятелей' сельского хозяйства в Сент-Луи секретарь Джердин в своей речи указывал, что в современных условиях является чрезычайно важным организовать исследовательскую работу вокруг определенных широких проблем. «Многие из стоящих перед нами проблем, говорил он, слишком обширных для разработки их усилиями отдельных штатов, они являются обще-национальными и опасно рассматривать их слишком узко». Если коллективную разработку важнейших экономических вопросов признали необходимой даже в капиталистической Америке, раздираемой конкуренцией частных интересов, то в условиях советского строительства она окажется наиболее осуществимой и продуктивной.

Связи науки с жизнью.

Еще в 1923 г. союзным Госпланом была предпринята попытка нащупать форму для сотрудничества между научными силами и плановыми органами. Для этого при Госплане было организовано бюро с'ездов. Как выяснилось на мартовском с'езде президиумов Госпланов в 1926 году, по ряду причин сотрудничество не наладилось. Вновь был поставлен вопрос о необходимости сомкнуть фронт плановой работы с научною мыслью. При этом обнаружилось непонятно-отрицательное отношение со стороны ленинградской группы ученых. По мнению этой группы, «Научная работа должна итти и развиваться самостоятельно, свободно от давления и директив планирующих органов, которым принадлежит бесспорное право формулировать очередные задания, вытекающие из хозяйственных планов и подлежащие исследованию, но не может быть присвоено функций управления научной работой, ее конструирования и приспособления для своих нужд. В частности ленинградская группа пришла к выводу, что «организация научных исследований и вообще научных работ не может быть поставлена в какую бы то ни было зависимость от планирующих органов».

Приведенное заявление заслуживает большого внимания. Оно, очевидно, является результатом тяжелого недоразумения. Представители научной мысли

с полной ясностью признают, что плановые органы имеют «бесспорное право формулировать очередные задания, вытекающие из хозяйственных планов и подлежащие исследованию». В этом все дело. Дальше признания этого права плановые органы не идут. Управлять наукой, внутренно конструировать научную работу они не собираются. Но приспособлять науку к потребностям государства обязаны обе стороны. При этом под приспособлением науки нужно понимать постановку плановыми органами заданий, а не выбор методов исследования или, тем более, не стремление влиять на выводы.

Наука развивается диалектически. Неустанно она движется вперед под влиянием сложных переплетений и разрозненных фактов текущей действительности или того, что было в прошлом. Ни в какой форме к ее развитию не приложима теория «самозарождения». Понятно, что не всякое отражение действительности на экране научного мышления отвечает актуальным задачам хозяйственного строительства. Поэтому в научном творчестве приходится разграничивать чистую науку от прикладной. Первая изучает *причинные* связи между явлениями, углубляется в изыскание каузальных зависимостей. Вторая поглощена *целевыми* установками и приспособлением к ним истин и выводов, добытых чистой наукой. Таким образом, прикладные науки проверяют теории посредством широкого опыта, накопляют новые факты для их подтверждения и вместе с тем дают материал для погребения господствующих идей и построения новых теорий. Вот почему А. И. Герцен писал, что без науки научной не было бы науки практической. Вот почему известный анатом проф. Вальдейр при вступлении в должность ректора Берлинского университета около 30 лет тому назад в традиционной для этого случая торжественной речи заявил: «Можно относиться с полным уважением к техническим и профессиональным знаниям, но не надо никогда забывать, что источник их прежде всего лежит в научных успехах и при том тех отраслей знания, которые непосредственно не считаются практическими».

Всякая научная работа заслуживает полного уважения, потому что каждая научная истина со временем воплощается в жизнь и приносит свою пользу. Например, известная периодическая система элементов проф. Менделеева представляла собою длительный процесс чистого научного творчества. Но она дала научное обоснование для отыскания новых элементов. Отчасти сам творец ее, отчасти последующие ученые, пользуясь ею, сделали целый ряд открытий. Значение, подобное периодической системе проф. Менделева в химии, для ботанической селекции имеет два закона, сформулированные проф. Вавиловым, а именно: закон гомологических рядов и наследственной изменчивости и закономерность в распределении географических центров формообразования культурных растений. Благодаря этим открытиям, в результате многолетней теоретической работы, практики-селекционеры получили широкую возможность вырабатывать определенные сорта злаков.

Изучение цветного луча начинается еще со времен Ньютона (1666 г.), но, спустя 200 лет, в результате теоретических изысканий проф. Роберт Бунзен дал в руки ученых и практиков изумительное средство в виде спектороскопа, при помощи которого оказалось возможным определять физический состав неизвестных тел и веществ по линии их спекторов. При помощи этого инструмента подошли к определению химического состава небесных светил, скорости их движения, их возраста, времени обращения вокруг других светил, состава крови, наличия окрашивающих веществ в пиве и анилиновых красок в вине, определения разных алкалоидов или отдельных производственных моментов при бессемеровании стали и т. д.

Бывшая сельская учительница из под Варшавы Мария Кюри, работавшая со своим мужем над лученспускательной способностью урановых соединений.

открыла в 1898 г. радий. Это величайшее открытие было сделано в лаборатории—сарае с попорченной крышей, лишенном самых необходимых приспособлений для химических работ. Тогда никто не подозревал, какое широкое практическое применение найдет радий. В виду исключительного значения великого открытия М. Кюри, она была увенчена дважды Нобелевской премией: в 1903 г. и в 1911 г.

В европейско-американской практике до такой степени укоренилось сознание важности теоретических изысканий для практической работы, что фабрики и заводы имеют обязательно научно-обставленные лаборатории с высоко-квалифицированным научным персоналом, доходящим иногда до нескольких сот человек. Так, на известной Баденской анилиновой фабрике под руководством крупнейшего ученого Бернтсена научные исследования вели более 200 специалистов. Иногда строились специальные лаборатории для отдельного ученого. Например, такая лаборатория была сооружена для американского ученого Этуотера, изучавшего вопрос о расходовании энергии человеком.

Практичные капиталисты затрачивали колоссальные деньги на «академические» работы ученых, терпеливо ожидая жатвы когда-нибудь в будущем. Например, Баденская анилиновая фабрика с 1880 г. по 1897 г. в течение 18 лет затрачивала по одному миллиону марок ежегодно на изыскания германского ученого Байера, открывшего синтетический индиго. Еще пример. Общество телеграфов Белля в Нью-Йорке устроило и содержало научно-техническую лабораторию, в которой с 1922 г. по 1927 г. в течение пяти лет американский физик Девиссон занимался рентгено-графическим анализом, имея в виду выяснение структуры вещества. Открытие Девиссона уже получило огромное практическое применение в металлопромышленности.

После Франко-Прусской войны говорили, что Францию победил немецкий школьный учитель. Этим подчеркивалось влияние высоко поставленного в Пруссии народного образования. Одним из действительных толчков к последней империалистической войне послужили успехи германской промышленности, опиравшейся на широкий научно-исследовательский фундамент. Благодаря последнему, Германия в промышленном отношении опередила Францию, Англию и даже Америку и стала вытеснять их с их же собственных рынков.

Можно привести не мало примеров того, как ученые откликались на утилитарные задания со стороны. Например, в 1775 г. Парижская Академия Наук об'явила премию в 12 тыс. ливров за указание способа производства соды из поваренной соли. В 1787 г. Леблан предложил свой знаменитый способ, который сохранился до наших дней, несмотря на конкуренцию более практического метода Сольвея. В 1800 г. Наполеон об'явил премию в 1 милл. франков за открытие способа получения искусственного индиго. Только в 1880 г. после 18-ти летних усилий германский ученый Вайер открыл метод добывания синтетического индиго из нафталина. В довоенное время во всех государствах, не исключая и России, были установлены премии за получение синтетического каучука. Ученые всего света не брезгуют получением колоссальной премии имени Нобеля, которая присуждается и теоретикам, и практикам.

Следует упомянуть, что чистые теоретики не мало потрудились для военного фронта. Классическим примером может служить знаменитый математик Архимед. Когда во время второй пунической войны (212 г. до Р.Х.) римляне напали на родной город Архимеда, Сиракузы, то он стал во главе обороны, изобретая разрушительные метательные снаряды и взрывчатые вещества. Такие же случаи творческого сотрудничества ученых теоретиков можно отметить для ближайшего к нам времени. В 1871 г. во время осады Парижа прус-

скими войсками правительство национальной обороны поручило химику Меж-Мурье превратить большие запасы животного сала в годный для пищи и удобоваримый продукт. Химик блестяще справился с заданием и превратил сало в маслоподобный продукт, известный под названием «маргарина». Другой французский ученый Марселен Бертело во время той же осады, работая над взрывчатыми веществами, помог отлить 400 пушек нового образца, которые по дальности стрельбы превосходили прусские орудия. Заслуживает внимания работа немецкого проф. Габера, который во время последней империалистической войны разработал синтетическое производство аммиака, которое дало возможность получать азот для нужд сельского хозяйства, промышленности и военной обороны. В настоящее время во всех «культурных» странах «взапуски» разрабатываются отравные вещества для будущей химической войны.

Теоретическая работа ученых до того своеобразно переплетается с практической и дает такие неожиданные проявления взаимодействия, что было бы вопиющей несправедливостью выделять на первый план какую-либо одну из них. Например, открытие анилиновых красок было большим торжеством синтетической химии. В Германии создалась на этой почве колоссальная промышленность. Анилиновые краски способствовали расцвету бактериологии после того, как ими стали окрашивать бактерии для распознавания под микроскопом. Вскоре же, благодаря этому методу окрашивания, Кох открыл бациллу туберкулеза. Те же анилиновые краски послужили исходным материалом для приготовления сальварсана проф. Эрлиха и т. д.

Европейско-американский способ увязки науки с промышленностью использован по возможности в советских условиях. В ведении одного ВСНХ имеются, например, следующие научно-исследовательские институты: Теплотехнический, Аэродинамический, Химический имени Карпова, Центральный институт минерального сырья, Нефтяной, Всесоюзный электротехнический, Институт прикладной минералогии и металлургии, Московский текстильный институт, Институт химических чистых реактивов, Институт силикатов, Научно-автомоторный институт, Научно-исследовательский институт торфяной промышленности, Институт прикладной ботаники и новых культур и другие. За исключением первых трех, институты бедно обставлены специалистами, оборудованием и средствами. Весьма часто между ними и промышленностью устанавливается определенный антагонизм. Институты подавлены массою текущих заданий и не могут развернуть плановой работы. Тем не менее, некоторые из них успели уже проделать очень ценную работу. Например, Институт прикладной минералогии разработал целый ряд новых производств, продукция которых достигнет 21 милл. руб. При этом будет сбережено 16 милл. иностранной валюты, и получится ежегодная экономия свыше 2 милл. рублей.

Научно-исследовательская деятельность институтов восполняется работой лабораторий, которые устраиваются при всех крупных заводах. В большинстве из них работа идет с перебоями и не удовлетворяет ни промышленность, ни специалистов. В частности хозяйственники жалуются на академичность и медленность исследований и отсутствие инициативы. Но можно сказать, например, что Центральная химическая лаборатория Азнефти, лаборатория Златоустовских заводов, лаборатория Харьковского паровозостроительного завода и другие—достигли крупных завоеваний большого теоретического и практического значения

Не остаются в стороне от этого течения некоторые ВУЗ'ы. Образцом в этом отношении могут служить исследовательские институты, об'единенные в ассоциацию при физико-математическом факультете Первого Московского Государственного Университета.

Для выполнения отдельных заданий привлекаются специалисты, не связанные с ведомственными научно-исследовательскими учреждениями. При этом плановые органы стремятся направить научно-исследовательскую работу всех ведомств по определенному плану.

Плановые органы не претендуют на управление научной работой в смысле установления последовательного внутреннего сцепления отдельных научных проблем. Они не навязывают ученым своих собственных методов для разработки поставленных перед ними вопросов. Но они обязаны указывать ученым на узкие места в хозяйственном строительстве и требовать от них изучения действительности, чтобы ее преобразовать. Можно определенно сказать, что выбор хозяйственной цели и ответственность за нее лежит на хозяйственнике или планирующем органе. Ученому же принадлежит выбор метода и всех научных средств для достижения поставленной цели. Вот разграничение прав и обязанностей хозяйственных и планирующих органов, с одной стороны, и научных деятелей, с другой. Только при обоюдной охране этой разграничительной линии будут обеспечены максимальное взаимное доверие и уважение, и максимальная эффектность общей работы.

Краеведение и генеральный план научных исследований в Сибкрае.

Построение генерального плана Сибкрая показало, что при достаточных капитальных вложениях возможно очень эффектное использование разнообразных местных богатств. Но осуществление генерального плана может затормозиться вследствие недостатка ассигнований, неизученности края и малочисленности научно-исследовательского персонала. По данным проф. Б. П. Вейнберга, относящимся к 1917 г. и сохраняющим свое значение до настоящего времени, Сибирь не исследована: в картографическом отношении на 77 проц., в геологическом на 76 проц., почвенном на 76 проц., в отношении флоры на 66 проц., фауны на 86 проц. и т. д. Очевидно, естественно-историческое изучение края нужно всемерно форсировать, используя все научные силы и края, и Союза. По разработанным Сибпланом предпосылкам, к построению генерального плана научных исследований предполагается использовать экспедиции Академии Наук СССР и ее учреждений. Гидрологический Институт, Луговой Институт, Институт опытной агрономии, Главный Геодезический Комитет и другие научно-исследовательские учреждения центра. Кроме того, должны развернуть научно-исследовательскую работу местные учреждения, подведомственные Наркомпросу, Наркомпути, Наркомзему, ВСНХ, Наркомвоенмору и Наркомздраву, в том числе специальные научно-исследовательские институты, ВУЗ'ы, музеи, научные об-ва, обсерватории, опытные учреждения и станции и т. д. Запроектированы исследования: обще-географические, топографические, геологические, метеорологические, почвенные, ботанические, гидрологические, ихтиологические, лесохозяйственные и другие.

В осуществлении намеченных исследований самое широкое участие должны принять краеведческие организации. Первым в этом отношении уже выступил Средне-сибирский отдел государственного географического о-ва. Им составлена общая схема работ на ближайшее 15-ти летие в области изучения атмосферы, поверхности, биосферы, недр, человека и экономики. С точки зрения краеведения, безукоризненно правильна основная мысль, положенная в схему Средне-сибирского отдела, но, с точки зрения построения генерального плана, она чрезвычайно широка, слишком универсальна. Краеведы с полным основанием заявляют, что необходимо изучать край в целом. «Для хозяйственного планирования в Средней Сибири, пишут они, необходимо изучение края в целом. Наиболее актуальные вопросы, касающиеся изучения тех естественно-производительных сил, познание которых может содействовать развитию

народного хозяйства Средней Сибири, должны разрешаться в первую очередь, но параллельно с этим необходимо решать и другие вопросы, на первый взгляд, имеющие лишь чисто академический интерес. Планируя систематическое изучение края в целом, мы учитываем все видоизменения жизни. Систематическое изучение даст возможность ответить на вопросы не только настоящего, но и будущего, возможные в процессе развития народн. хозяйства». Задача поставлена отчетливо. Но идея первоочередности разработки наиболее актуальных задач не нашла своего выражения в плане, хотя в нем отразилось даже намерение изучать предков выдающихся сибиряков. Нисколько не отрицая важности изучения вопросов генетики и, в частности, наследственности таланта, которыми занимается, например, Ленинградское Бюро по генетике во главе с проф. Филиппченко, все же нельзя признать эти вопросы актуальными для построения 15-ти летнего плана развития народного хозяйства Сиб-края. Схеме плана, разработанного Средне-сибирским отделом географического об-ва, придает вес не резко выраженный универсализм, а определенно выявленное желание мобилизовать местные научные силы для разрешения и обоснования хозяйственных задач текущего времени. С этой стороны нужно приветствовать здоровый государственный почин красноярцев. Вместе с тем нужно с полною ясностью определить задачи и формы краеведческого участия в построении плана народного хозяйства.

Задачу краеведения составляет изучение производительных сил. Понятие о них образуется из двух элементов: природы и человека. Природа—средство; человек—самоцель. В процессе развития производительных сил им принадлежит диаметрально противоположное назначение. Силы природы настойчиво порабощаются. Человек же, за счет порабощенной природы последовательно освобождается от приземливающей тяжести физического труда. Например, работа всего трудоспособного населения земного шара соответствует работе двигателей, мощностью в 80 милл. лошадиных сил. Между тем, во всем мире занято свыше 600 милл. лошадиных сил, т.-е. на одного трудоспособного рабочего приходится почти 8 механических рабочих, которые превращают энергию природы в полезную для человека работу. Чем богаче страна, тем сильнее в ней развита техника и тем больше «механических рабов» приходится на каждую семью: в Германии и Англии по 135 механических рабов, в С.-А. Штатах—130, во Франции—40, в СССР—15. Следовательно, население Союза должно было бы увеличить свое физическое напряжение почти в девять раз, чтобы получить при прочих равных условиях то же количество удобств и жизненных благ, как в Англии или Германии.

Развитие производительных сил является понятной и простой задачей всего культурного строительства. Но внутреннее соотношение элементов меняется в зависимости от социального строя. При капиталистическом строе рабочий является регулирующим придатком к машине, становится односторонним и ограниченным. Соответственно этому возрастает порабощение капиталом, зависимость от него. Только в социалистическом хозяйстве машина составляет орудие производства и средство освобождения. Поэтому, в отличие от других стран, в советских условиях изучение производительных сил должно иметь иную цель и новые методы и формы.

Характеризуя главнейшие достижения за 10 лет в деле изучения производительных сил, академик Ферсман пишет: «Впервые в истории науки выявилось само понятие о призводительных силах и впервые было заложено основание прочной связи между самой природой и хозяйствующим человеком». («Экономическое Обозрение». Октябрь, 1927 г. стр. 30). Это верное обобщение потеряло бы всю свою ценность, если бы мы не вывели его за пределы деятельности профессиональных ученых и не связали его с широким краеведче-

ским движением. В виду того, что социалистическое хозяйство коренным образом изменяет значение человека в процессе развития производительных сил, так же коренным образом должны измениться методы изучения последних. Из дела отдельных профессионалов оно должно стать массовым занятием широких кругов населения. В данном случае с особым вниманием следует остановиться на так называемой научной общественности, которая представляет собою свободное об'единение научно-исследовательских сил для изучения края.

Современные краеведческие организации представляют собой по существу совершенно новые об'единения, не имеющие аналогии в прошлом. Во второй половине истекшего столетия в капиталистических государствах, где с особою силою проявились противоречия первоначального капиталистического накопления и обездоленные массы стали представлять определенную политическую и даже санитарную опасность, проявилось новое движение в сторону популяризации знаний. Впервые, в семидесятых годах в Англии возникло общество распространения университетских курсов. Затем такие же общества воникли во Франции, Германии и других странах. Европейские примеры по распространению внешкольного знания среди народных масс нашли свое подражание в России. Одновременно возникли: в Москве—Комиссия при Учебном Отделе Об-ва распространения технических знаний и в Петербурге—Комитет при Педагогическом Музее военно-учебных заведений. Этими организациями намечался для читателей круг наук, указывалась литература, организовались публичные лекции, были открыты для публики коллекции и библиотеки, заведены с провинцией личные и письменные сношения. Но в задачи этого движения входила популяризация знаний, распространение уже добытых истин, фактов и сведений из *всех* наук и обо *всем*.

Советское краеведение поставило себе задачу более высокую. Она заключается в онаучивании масс, т.-е. в приобщении их к отысканию научных истин собственными силами. При популяризации знаний активен руководитель и пассивна аудитория. При краеведческом движении творцом науки становится активная масса. Краеведение создает армию рядовых научных работников. Как известно, познание действительности представляет собою целый ряд моментов: наблюдение, собирание материалов, обработка их—систематическая, морфологическая, генетическая и т. д. Научные деятели посредством теоретических курсов и практических занятий в свое время приучались правильно владеть всеми указанными моментами научного познания. Краеведение приучает массы к тому же самому. Смотря по об'ективным условиям и личным способностям, отдельные лица, вовлекаемые в краеведческую работу, овладевают различными моментами научного познания и достигают разной степени научной зрелости. Во всяком случае, при правильной постанвке краеведческой работы получаются большой ценности достижения. Последние позволительно сравнить с итогами круговращения веществ в природе (серы, углерода, азота и т. д.). Несметное количество бактерий помогает разложению белковых веществ, усвоению почвою органических остатков и дальнейшему образованию белковых веществ в животных организмах и т. д. Бесчисленное множесто неизмеримо-малых существ производит в природе в разных переходных формах колоссальную работу. Такова сила масс в природе. Такова же сила масс в социальных движениях, в человеческом обществе. Еще можно заметить, что, например, германская наука отличается изумительным богатством своих достижений вследствие того, что в Германии широко организовано массовое вспомогательное сотрудничество. Массы собирают материал и анализируют. Высококвалифицированные специалисты его синтезируют. В отличие от Германии советское краеведение опирается не на интеллигентские массы, а на рабоче-

крестьянские. Достижения должны быть лучше, потому что открывается более широкая возможность отбора талантов и охватываются более широкие контингенты природы.

В краеведении вместе с изменением познавательных методов изменились об'екты изучения. Популяризация многопредметна, всеоб'емлюща. В отличие от нее краеведение замыкается в изучение местной природы, ограниченной территорией, обитаемой и освоенной изучающим населением. Географической ограниченности площади изучения соответствует географическое постоянство контингента изучающих. Поэтому научно-исследовательские планы краеведческих организаций должны осуществляться во всех своих стадиях при максимальном участии местных людей. Наличность местной инициативы в постановке данных исследований и приток местных материальных средств служат лучшим показателем глубины и зрелости местного краеведческого об'единения. Однако, на первых порах допустимы со стороны: инициатива, руководители и финансирование. Но изучение данной местности не местными силами ничего общего с краеведением не имеет. Краеведы обязаны работать во многих отношениях по «выборочному» методу.

Дальнейшее сжатие об'ема краеведческой работы должно произойти в связи с сотрудничеством с плановыми органами по составлению генерального и перспективного планов развития народного хозяйства. Планы хозяйственного и культурно-социального развития опираются не на все отрасли знания, которые входят в круг краеведения. Здесь также применяется «выборочный» метод. Исключается почти все гуманитарные знания. Многие чрезвычайно важные специальности не могут быть использованы. Соответственно этому, для научных изысканий этой группы создаются менее благоприятные условия Небольшие средства, которые могут быть затрачены на субсидирование работ, связанных с планированием, должны быть употреблены на самое необходимое. И чем целесообразнее будут они израсходованы и правильнее будет сделан выбор очередности использования специалистов, тем скорее откроются более широкие перспективы для расцвета чистой науки.

К развитию производительных сил Дальнего Востока.

М. Колобов.

I.

Дальний Восток характеризуется слабым развитием основных отраслей народного хозяйства—сельского хозяйства и фабрично-заводской промышленности. Это является результатом как об'ективно-исторических условий, при которых развивалась жизнь сравнительно молодого края, так и проводившейся политики царского правительства.

До проведения Сибирского пути Дальний Восток жил в условиях натурального и полу-натурального обмена. Хозяйственная жизнь в этот период развивалась слабо, не имея ни внешних, ни внутренних импульсов для интенсивного роста. В то время русский Дальний Восток не представлял из себя рынка в законченных его формах. Хозяйство его было замкнутым в самом себе. Спрос и предложение, при своей примитивности, удовлетворялись преимущественно путем обмена, при посредстве скупщика, который в то же время являлся и торговцем.

В 1895 году началась постройка Забайкальской железной дороги, которая внесла переворот во всю экономику края. Проведение дороги дало сильнейший толчок к образованию товарного рынка не только в тех районах, по которым она проходила, но и в самых отдаленных уголках края. Дорога вызвала приток рабочих как из среды крестьянства, так и со стороны. Усилился спрос на хлеб и с.-х. продукты, что сразу же вызвало повышение цен на них. Сельское хозяйство получило импульс для своего развития. Теперь хлеб и продукты питания приобрели новый емкий рынок; системе полу-натурального товарообмена пришел конец.

Приобщение Дальнего Востока к российскому товарному рынку оказало влияние на все стороны народно-хояйственной его жизни: на колонизацию, развитие промышленности, приток капитала и т. д. Но развивающаяся жизнь края протекала при крайне нездоровых условиях. В области экономической Дальний Восток являлся сырьевым резервуаром для финансового и промышленного капитала России; взамен сырья, сюда ввозились товары русской индустрии.

За последний же период самодержавия моменты политики и стратегии заняли доминирующее положение, что привело, как известно, к русско-японской войне, которая, помимо расплаты за нее, надолго задержала рост производительных сил края.

В этих условиях, само собой понятно, трудно было привлечь в край солидный промышленный капитал, который мог бы быть вложен в разработку его богатых естественных ресурсов, что в свою очередь могло бы усилить товарооборот. В край стремился по преимуществу мелкий и средний торговый капитал как русский, так и иностранный, дававший при быстром обороте большие выгоды владельцам. Общее оживление хозяйственной жизни края, создали так называемые казенные подряды по постройке зданий для правительственных учреждений и поставки для военных гарнизонов предметов снаряжения и снабжения. На это казна не жалела средств. В результате такой политики дефицит по дальне-восточному бюджету, достигавший 40-60 (и более) миллионов золотых рублей в год, покрывался центром. Две трети дефицита падало на военно-морское ведомство.

Итак, к началу империалистической войны Дальний Восток в своем бюджете был дефицитным. Все планы царского правительства были связаны с завоевательными задачами, что требовало содержания в крае армии и флота. Стратегические цели преследовала постройка Амурской жел. дороги. Этой задаче была подчинена в конечном счете и начавшаяся с 1906-7 г. г. колонизация края.

II.

Какое положение в народном хозяйстве края занимают сельское хозяйство и промышленность?

Сельское хозяйство на Дальнем Востоке в период империалистической и гражданской войны пострадало менее по сравнению с центральной частью Советского Союза. Это можно видеть из следующих данных о посевной площади.

Посевная площадь (полевая и огородная) по Дальне-Восточному краю.

ГУБЕРНИИ	Тысяч десятин					%	%
	1917 г.	1923 г.	1924 г.	1925 г.	1926 г.	1923 к 1917 г.	1926 к 1925 г.
Забайкальская	283,5	221.7	207,6	234,9	267.2	85.3	113,7
Амурская	512,5	277,9	291,9	318,1	355.2	54.3	111,6
Приморская	296,3	279,2	256,8	252.6	297,6	94,3	117,8
Дальне-Восточный край	1092,3	778,8	756,3	805.6	919,9	71,3	114,2

Посевная площадь в Дальне-Восточном крае меньше всего сократилась в 1923 году по сравнению с 1917 годом в Приморской губернии: сокращение выразилось всего в 5,7 проц. Наибольшее падение дает Амурская губерния—на 45,7 проц. Что касается восстановления посевной площади, то оно происходит замедленным темпом по сравнению с Союзом и еще в большей степени—по сравнению с Сибирским краем. В 1926 г. посевная площадь Дальне-Восточного края равняется всего лишь 84,2 проц. от 1917 года, в то время как по Союзу 1926 год по отношению к 1913 г. дает 99,4 проц, а по Сибкраю—107,7 проц. (масличные же—174,4 проц.).

Как в довоенное время, так и теперь Дальний Восток имеет по хлебофуражному балансу дефицит. Хлеб ввозится ежегодно в рамере 7-8 милл. пуд. из Запаной Сибири и Манчжурии.

Это явление (недостаток зерновых культур) находит свое об'яснение в естественно-исторических условиях значительной части Дальнего Востока. Географическое положение и климатические условия края исключают возможность широкого развития земледелия. Забайкалье и отчасти Амурская область представляют из себя гористую местность с континентальным сухим

климатом. При кратком вегетационном периоде, недостаточном для созревания хлебов, с неравномерным распределением осадков, рассчитывать на хороший урожай не приходится. При недостатке осадков в зимние месяцы (бесснежные зимы) исключается и возможность озимых посевов.

На протяжении почти 20 лет, начиная с 1897 года, когда производилось обследование Забайкалья экспедицией Куломзина, и кончая 1916 годом, когда производилась с.-х. перепись, положение в сельском хозяйстве мало изменилось. За то время число хозяйств увеличилось на 29,2 проц., а посевная площадь на 34,1 проц. Но это увеличение приходится, главным образом, на 1908-15 годы, когда сотни тысяч переселенцев осело на территории края.

Если в довоенное время хлеб ввозился в Забайкалье по преимуществу из Северной Манчжурии, то с советизацией Дальнего Востока хлеб ввозится из Западной Сибири. Заградительная таможенная политика СССР прекратила также ввоз манчжурской муки в Уссурийский край и Амурскую область, что, как известно, вызвало закрытие ряда крупных мукомольных мельниц в Северной Манчжурии.

До проведения при советской власти указанной политики в отношении ввоза на Дальний Восток иностранных товаров, он находился в зависимости от восточных рынков и, главным образом, от китайского. Насколько эта зависимость была значительной до распространения на край государственной монополии во внешней торговле и насколько рынок Дальнего Востока носил и продолжает носить потребительский характер, это можно видеть из следующих данных таможен за 1922 год о ввозе в Дальне-Восточную республику товаров с иностранных восточных рынков.

Ввезено было:

1. Мануфактуры	на	4.288.396	зол.	руб.	30.5 %	всей ценности ввоза.
2. Муки	»	3.284.372	»	»	23,4 »	
3. Хлеба и зерна	»	1.948.704	»	»	13.8 »	
4. Крупы	»	719.333	»	»	8,8 »	
5. Сахару	»	7(5.170	»	»	87 »	
6. Масла растительного . . .	»	562.212	»	»	4,0 »	
7. Чаю всякого	»	268 767	»	»	3,3 »	
8. Обуви и кожевенн. товара	»	412 988	»	»	2,9 »	
9. Мяса и сала	»	239.422	»	»	1,7 »	
10. Табачных изделий	»	119.513	»	»	1.4 »	
11. Железа, скобяного и чугуного товара	»	108.660	»	»	0,7 »	
12. Предметов роскоши и не первой необходимости .	»	111.752	»	»	0.7 »	

На ввоз продуктов питания, как это видно из приведенных данных, приходится 63,7 проц. В эти данные не входят товары, привозившиеся контрабандным путем.

Товарами были насыщены исключительно торговые центры Дальнего Восока (города) и наиболее крупные железнодоржные станции. К настоящему времени хозяйственная структура Дальнего Востока мало изменилась: край попрежнему носит потребительский характер. Сельское хозяйство характеризуется кризисным состоянием зерновых культур, с сокращением таких культур, как овес и пшеница, с частичной заменой последней рожью. Состояние товарности полеводства и животноводства можно видеть из следующих данных:

(В милл. рублей).

	1913 г.	1923-24 г.	1924-25 г.	1925-26 г.
Товарность полеводства . .	230	14,5	14.6	15.0
Товарность животноводства .	27.5	27.3	27.5	27.4

При стабильности товарности животноводства товарность полеводства падает. Правда, наряду с этим явлением нельзя не отметить повышение товарности отдельных видов культур. Так, товарность риса в проценте к валовому сбору составляла в 1923-24 г.—40, в 1924-25 г.—56 и в 1925-26 г.—70. Товарность бобов за те же годы: 7, 28, 50. Рис в довоенное время не засевался на Дальнем Востоке, а за последние 3-4 года культура эта проявила бурный рост, встретивши в Приморье благоприятные условия (в 1923 году под рис засеяно было 4.077 десятин, в 1924 г.—813 дес. и в 1926 г.—9.020 дес.), в 1936 году рисосеяние достигнет по плану 100.000 дес.).

В области сельского хозяйства мы, таким образом, видим близкое к кризисному состоянию зерновое хозяйство в целом по Дальнему Востоку (исключением являются отдельные районы Амурской области). С другой стороны, наблюдается рост животноводства (в среднем на 10 проц. ежегодный прирост скота за последние три года) и, наконец, быстрый темп роста отдельных видов технических культур.

Хлебный дефицит Дальнего Востока—не временное и преходящее явление, а из год в год повторяющееся, органически связанное с естественно-историческими условиями края и его географическим положением. Ведомства и ряд экономистов не раз пытались разрешить проблему хлебного дефицита края, но всегда безуспешно. Любопытной с этой стороны попыткой является статья тов. А. Ярмоша—«Проблема изжития хлебного дефицита в Дальне-Восточном крае»*).

Указавши на размеры хлебного дефицита (в среднем для Забайкалья—36 проц., Приморской губерн.—33 проц. и избыток Амурской губ.—24 проц.), автор отрицательно относится к индустриализации края в смысле развития в широком масштабе добывающей промышленности на ближайшее время. «Индустриализация края, пишет он, дело отдаленного будущего. По самому осторожному подсчету, для широкой разработки промышленных богатств в край необходимо в 10-ти летие влить не менее 2-3 миллиардов руб., или же ежегодно вкладывать 200-300 миллионов рублей».

Автор, однако, не дает четкого оформления будущего развития края. Больше того. Без разрешения проблемы хлебного дефицита он не считает возможным проводить колонизацию края. «Без изжития хлебного дефицита, находит он, колонизация края в сколько-нибудь значительном размере невозможна. Проекты влития в 10-ти летие в край 1,4 милл. душ вне решения проблемы о хлебном дефиците—не серьезны. Переселенцы на дорогой хлеб просто-напросто не пойдут».

Пытается ли автор каким-либо образом разрешить вопрос о хлебном дефиците в связи с колонизацией края? Вопрос этот обойден им молчанием. Указавши на высокую стоимость заготовки колонизационного фонда в крае (минимальная стоимость десятины от 35 руб. до 100 р.), т. Ярмош находит необходимым заселять прежде всего обжитые районы. В первую голову должны быть пущены в оборот районы вблизи линий Читинской и Уссурийской жел. дорог, имеющие протяжение в 3.445 в. Эти пространства мало использованы населением по недостатку рабочей силы и капитала. Имеющийся фонд определяется в 35 милл. дес. (50 верст от дороги с учетом 30 проц. непригодной земли). Из неосвоенной населением земли 50 проц. будет отчуждено и 50 проц.—оплачено юридическим владельцам в возврат затраченного ими труда и капитала по мелиорации.

---

*) «Плановое Хозяйство», кн. II за 1926 г.

Указанные операции (отчуждение земли и оплата вложений в мелиорацию) входят в задачу Государственного Земельного Банка, который должен быть открыт для этой цели. В первое 10-ти летие банк получил бы 4-5 милл. десятин. Это—отрезки от старожилого населения, которые должны получиться при землеустройстве, а частью—добровольно переданные им земельные участки. «На этой площади можно было бы, говорит т. Ярмош, устроить до 200.000 хозяйств, или 1 милл. душ».

Будет ли изжит хлебный дефицит в крае после проведения в жизнь указанных мероприятий, на этот вопрос т. Ярмош ответа не дает. Мы считаем постановку вопроса о хлебном дефиците в увязке с колонизацией края совершенно неправильной.

Привозный хлеб дорог и для старожилого населения и для переселенцев. Это верно. Но следует ли делать вывод о невозможности успешной колонизации края благодаря хлебному дефициту? Приходить к этому выводу («переселенцы на дорогой хлеб не пойдут») нет никаких оснований. Это опровергается уже наличием переселенцев, вселившихся до революции в таежные районы Забайкалья. Значительная часть их осталась, несмотря на высокие цены на хлеб.

Несомненно, что стоимость хлеба в бюджете переселенца должна играть весьма существенное значение. Тем или иным путем необходимо стремиться к удешевлению хлеба. Но ставить успех колонизации края в зависимость исключительно от этого фактора—большая ошибка. Необходимо учитывать и другие возможности бюджетных поступлений новоселов. Сюда относятся кустарные промыслы, заготовка леса (лесоматериалы) с обработкой его для внутреннего и внешнего рынков. Необходимо учитывать возможности по развитию животноводства (при обилии кормовых трав) и связанного с ним маслоделения, сыроварения, развития льноводства и вообще технических культур, а также пушного промысла. Наличие рыбных богатств в крае также может до известной степени компенсировать переплату на хлебе.

Нельзя не указать еще на одно обстоятельство, которое забывает т. Ярмош. Крестьянин (новосел) на Дальнем Востоке переплачивает по сравнению, скажем, с крестьянином Западной Сибири не только на хлебе, но и на промтоварах, благодаря отдаленности края от промышленных центров Союза. Но никому и в голову не придет «ставить крест» на колонизацию Дальнего Востока в виду высоких цен на промтовары для крестьянства. Ведь не надо забывать того, что, переплачивая на хлебе и промтоварах, крестьянство Дальнего Востока, при отчуждении продуктов сельского хозяйства на рынок, получает за них по сравнению с крестьянством Западной Сибири более высокую цену. За масло, молоко, яйца, картофель, а также шерсть, кожи, пушнину и кустарные изделия—первое получает более высокий эквивалент стоимости по сравнению со вторым. Иначе говоря, крестьянский труд на Дальнем Востоке оплачивается более высоко по сравнению с оплатой труда в Западной Сибири.

Вместо того, чтобы на основании дорогостоящего для переселенца Дальнего Востока хлеба ставить под сомнение успех колонизации края, т. Ярмошу следовало бы дать анализ всей экономической его структуры и в частности крестьянских бюджетов, в сравнении с крестьянскими бюджетами той же Западной Сибири. Тогда хлебный дефицит не привел бы его в испуг и не получилось бы тех выводов, о которых он поведал нам на страницах «Планового Хозяйства».

Нам думается, что и с проведением указанных т. Ярмошем мероприятий, которые не разрешают вопроса о хлебном дефиците и которые во многом вызывают сомнение, он не будет изжит. Старожилое население, с урезкой

площади землепользования, не может увеличить продукцию зерновых культур. Новосельческое же население, естественно, долгое время будет прикупать хлеб.

III.

Состояние сельского хозяйства на Дальнем Востоке связывается обычно с его колонизацией.

Как ставится проблема колонизации Дальнего Востока на ближайший период времени? По этому вопросу интересный материал дает Дальне-Восточная Краевая Плановая Комиссия в своей десятилетке*). В десятилетний период (1927—1936 г. г.) предполагается вселить переселенцев из европейской части Союза 1.053.000 душ. Вся эта людская масса носит название плановых душ», т.-е. переселение их, нося государственный характер, будет производиться по определенному плану. За тот же период времени предполагается водворение 470.600 душ неплановых, кроме того, вселение корейцев, которые ввели культуру риса на Дальнем Востоке, и китайцев.

Несомненно, что столь широко развернутый план колонизации края, удаленного от места выхода переселенцев на 6-8 тысяч верст, представляет чрезвычайно сложную и трудную задачу. Если даже допустить, что при решении этой задачи не повторятся те наиболее крупные ошибки и недочеты, которые нашли себе место в царское время (централизация, бюрократизм и т. д.), то и в таком случае задача встает перед нами во всей ее грандиозности: за 10 лет предположено ни больше, ни меньше, как удвоить население Дальнего Востока, доведя его к 1937 году (с приростом) до 3.784.000 душ, при наличии старожилого населения к этому времени в 1.866.200 душ.

Колонизация края, по намеченному плану, потребует затраты значительных средств Союза. Достаточно сказать, что только на подготовку земельного фонда (раскорчевка, осушение, распашка) необходима затрата в 108 милл. руб. Далее—край должен быть обеспечен своевременным завозом 13.000 тракторов и 150.000 голов лошадей и рогатого скота. Необходимо также принять во внимание новое дорожное строительство, без которого успех колонизации немыслим. Предполагается, наконец, выдача переселенцам денежной ссуды в 800 руб. на семейство (имеется при этом в виду, что каждая семья переселенцев при водворении будет иметь не менее 300 рублей собственных средств, с которыми она начнет освоение нового места). Все затраты по колонизации (без землеустройства) на 10 лет выразятся в 237,6 милл. рублей.

Каким колонизационным фондом располагает Дальне-Восточный край на ближайшее десятилетие? «Несмотря на огромную площадь свободных пространств, разрешение проблемы развития сельского хозяйства края сильно осложнялся недостатком вполне пригодных и юридически свободных земель»**).

Вся площадь, пригодная для сельского хозяйства в Дальне-Восточном крае, определяется в 80 милл. десятин. Из всего этого количества земли, по почвенно-климатическим условиям может быть заселено 23,7 милл. дес. со включением сюда обжитой и полуобжитой зон и частично необжитых пространств. Использование остальных 56,3 милл. дес. растянется, в лучшем случае, на несколько десятилетий, требуя затрат в миллиарды рублей для приведения их в состояние, пригодное для заселения. Из указанных 23,7 милл. дес. на ближайшее время должны быть использованы обжитые земли в 15.669.400 дес. Из них удобных для сельского хозяйства 11.857.800 дес., при

*) «Капитальное строительство Д.-В. края». Хабаровск, 1927 г.
**) Там же, стр. 184.

чем 93 проц. обжитой зоны находится в юридическом пользовании населения, входя в состав отведенных ему в разное время наделов.

Прежде чем пускать под заселение обжитый земельный фонд, необходимо перевести старожильческое население на такие (уменьшенные) нормы земельного надела, которые были бы достаточными для ведения сельского хозяйства, обеспечивая его нормальный жизненный уровень. Иначе говоря, проблема колонизации упирается в проблему землеустройства старожильческого населения, что также является задачей сложной и притом требующей не малого времени. Переселенческое управление в довоенное время вселяло переселенцев на земли старожилов, не производя землеустройства. В лучшем случае работа по землеустройству шла параллельно с переселением. Это была ошибка, всюду вызывавшая справедливое недовольство крестьянского населения, иногда создавая трения между старожилами и пришлым населением (новоселы).

Авторы десятилетки так и ставят вопрос, подчеркивая всю трудность его решения. «Для приведения земельной площади в соответствие с потребностями хозяйства существует единственный способ—это проведение в крае сплошного землеустройства, осуществляемого за общегосударственные средства, построенного на учете земельно-хозяйственных особенностей его и связанного с задачей максимального уплотнения населения края.

Сложность задачи заключается в пестроте отдельных групп населения, наделенных разными нормами земли. Тут мы находим бывших казаков с 10-30 десятинами на душу, оседлых туземцев с 10-15 дес., старожил-стодесятинников, старожил-переселенцев с 12-15 дес. и, наконец, новоселов (переселенцы последнего времени) с 10-20 дес.

Мы находим, что план колонизации Дальнего Востока на десятилетие преувеличен. Недостаточность пригодного на ближайшие годы для заселения колонизационного фонда, незаконченное землеустройство старожильческого населения, за счет урезки земель которого предполагается на первых порах заселять край, и, наконец, ослабленный экономически контингент переселенцев—все это будет задерживать успех колонизации. Напрасно т. Крылов, один из авторов десятилетки, ищет параллели в колонизации Северной Манчжурии. Ссылаясь на данные Бюро Кит.-Вост. ж. дороги*), т. Крылов заявляет, что «если в Северной Маньчжурии будет сохранен настоящий темп прироста населения, то оно в десятилетие сможет удвоиться. Дальне-Восточный край в росте населения чрезвычайно отстал от Северной Манчжурии. В этом отношении он должен, *во всяком случае, (?)* нагнать ее. Поэтому необходимо проектировать, как обязательное задание, удвоение его населения в десятилетие и ежегодный рост в 7,5-8 проц.» (стр. 23).

Это утверждение носит чисто декларативный характер. Голыми пожеланиями хотя бы самого благонамеренного свойства колонизации не создать. Колонизацию Северной Манчжурии и Дальне-Восточного края совершенно нельзя ставить в одинаковые условия. Достаточно сказать, что если в Дальне-Восточном крае мы наблюдаем ежегодный хлебный дефицит, то из Северной Манчжурии вывозится ежегодно в сеседние и на мирные рынки сельско-хоз. продукции на 140-150 милл. р. **)

По характеру настоящей статьи мы не можем более подробно останавливаться на вопросе о колонизации Дальне-Восточного края по десятилетнему плану. Из приведенных данных, в связи с положением сельского хозяй-

*) North Manchuria and the Chinese-Easten Railway Charbin.

**) Наши убеждения в замедленности темпа колонизациями находят свое подтверждение в статье тов. Большакова «Как обстоит дело с переселением», напечатанной в «Экономической Жизни» от 12 ноября 1927 г.

ства и, в частности, с недостатком хлеба местного производства, мы должны притти к выводу, что сельское хозяйство на Д.-Востоке не является той базой, на которой должны строиться и развиваться производительные силы края.

IV.

Рост валовой продукции промышленности края за 10 лет в соответствии с ростом продукции сельского хозяйства характеризуется следующими данными Краевой Плановой Комиссии.

ПОКАЗАТЕЛИ	1926 г. в миллионах	1936 г. червонных рублей
Сельское хозяйство	254.5	753
Земледелие	106	370
Животноводство	58,5	145
Лесное хозяйство	38	110
Рыбное	42	115
Охотничье	10	13
Промышленность	115,5	447
Крупная добывающая (без золотой)	7,5	58
Крупная обрабатывающая	61	280
Золотая	13	24
Мелкая	34	85
Всего	370,0	1.200.0

По предположениям Краевой Плановой Комиссии, валовая продукция сельского хозяйства и промышленности, таким образом, увеличится за 10 лет на 224,3 проц., в среднем за год на 22 проц. Больше всего увеличится продукция промышленности—на 288 проц. Рост продукции сельского хозяйства—около 200 проц. Значительным рост продукции является по земледелию, лесному и рыбному хозяйству. Чрезвычайный рост отмечается по обрабатывающей (крупной) промышленности. Наряду с этим мы находим рост золотопромышленности очень незначительным. К концу десятилетия он не достигает довоенного уровня. В интересах накопления фондов Союза это явление нельзя признать положительным. Недооценка этой отрасли промышленности, с точки зрения интересов народного хозяйства, потребует, нам думается, внесения в эту статью соответствующих поправок.

Обрабатывающая промышленность на Дальнем Востоке до сего времени была развита слабо. В 1925-26 году валовая продукция обрабатывающей промышленности достигает 68,4 проц. от 1913 г. Производство по отдельным отраслям выросло по сравнению с довоенным временем; появились и новые производства. Товарная масса местного производства, поступившая на рынок в 1925-26 году, по отношению к довоенной составляет 74,8 проц., а по отношению ко всей товарной массе, обращавшейся в крае,—67,9 проц. Если сельское хозяйство в крае еще не достигло довоенного уровня, то обрабатывающая промышленность, как видно из приведенных данных, проявляет еще более замедленный темп роста.

Что касается кустарной промышленности, то она проявляет более быстрый темп роста, хотя точных данных об этом с 1917 г. нет.

По десятилетнему плану намечена в крае постройка ряда промышленных предприятий (фабрики и заводы). Предполагается вложений по капи-

тальному строительству 103.647 тыс. руб. Накопления предприятий в 10 лет почти на 75 проц. покроют вложения (по подсчетам Дальплана).

Не будем останавливаться на этого рода проектах в целом, так как это заняло бы много места. Остановимся только на проекте о постройке хлопчато-бумажной и шерстяной фабрик (стоимостью свыше 20 милл. руб.). Постройка хлопчато-бумажной фабрики проектируется во Владивостокском районе. Работа фабрики будет производиться на китайском хлопке, производительностью в 30 милл. метров бумажной ткани, стоимостью в 15 милл. руб.; стоимость же самой фабрики обойдется в 14,8 милл. руб.

Жаль, что автор статьи «Капитальное строительство обрабатывающей промышленности», помещенной в указанном выше труде, не подсчитал себестоимость хлопчато-бумажной ткани, которая будет производиться на проектируемой фабрике.

Он только отметил, что стоимость 30 милл. метров бумажной ткани будет равна 15 милл. р., иначе говоря—50 к. метр. При цене метра хлопчато-бумажной ткани в 30-33 коп. в Москве, продажная цена его во Владивостоке в настоящее время не может быть выше 50 коп. метр. Следует при этом отметить, что качество современного советского товара выше качества товара, который даст новая фабрика из китайского хлопка.

Важно еще отметить и то, что мощность новой фабрики будет очень невелика. К концу десятилетия будет открыто «около 27 проц. всей потребности Дальне-Восточного края к тому времени». Иначе, говоря—73 проц. хлопчато-бумажной ткани попрежнему будут ввозиться из центра Союза и контрабандным путем.

Необоснованным является также проект устройства суконной фабрики, которая должна работать на забайкальской шерсти, т.-е. вырабатывать грубосуконные изделия, спрос на которые в крае ничтожен.

Не останавливаясь на проектировании другого рода производств, требующих значительных капитальных вложений, нам важно в данном случае отметить наличие тенденций по насаждению своей обрабатывающей промышленности. Эта точка зрения, т.-е. стремление к изжитию Дальне-Восточным краем зависимости от центральных рынков Союза, а также иностранных восточных, не нова среди части хозяйственников и экономистов края. Встречает эта точка зрения поддержку и среди ряда экономистов, так или иначе изучающих народное хозяйство Дальнего Востока. Мы имеем в виду книгу т. т. Дербера и Шера «Очерки хозяйственной жизни Дальнего Востока», авторы которой трактуют о насаждении в крае «большой промышленности», продукцию которой можно было бы даже вывозить на иностранные восточные рынки.

Такого подхода к вопросу чрезвычайной важности, обусловливающему основные линии в развитии производительных сил Дальне-Восточного края, мы совершенно не разделяем. Для развития в Дальне-Восточном крае «большой промышленности» (фабрично-заводской) или по производству изделий легкой индустрии нет необходимых данных, по крайней мере на ближайшее время. Наличия топлива еще недостаточно для того, чтобы разрешить проблему производства. Ничтожная емкость рынка края может вызвать создание лишь карликовых предприятий, со слабой мощностью и высокой себестоимостью продукции, что уже отмечалось выше в отношении хлопчато-бумажного и суконного производства. Это поставит вновь открываемые предприятия в невыгодное положение со стороны их конкурентноспособности. При высокой себестоимости продукции предприятия будут поставлены в необходимость снижать качество товара.

Проблема развития фабрично-заводской промышленности в Дальне-Восточном крае не может решаться обособленно, вне учета факторов народнохозяйственного значения всего Союза. В частности, в данном вопросе должна быть увязка с близлежащими районами и прежде всего с Сибкраем. С развитием индустриализации Сибкрая Дальне-Восточной край будет находиться ближе к производственным центрам, чем до сего времени. Это удешевит стоимость ввозимой в него продукции. В частности—текстильное производство Сибкрая, при снабжении хлопком из Западного Китая, а отчасти и из Туркестана (с проведением Туркестано-Сибирской жел. дор.), при наличии топлива, расположенного в районах производства, и более широкого, мощного рынка, на который выйдет товар (вся Сибирь и Дальний Восток), может строиться на более широкой базе, с большей мощностью, чем это проектируется в Дальне-Восточном крае.

Правда, создание большой индустриальной базы в Западной Сибири является делом не завтрашнего дня. Это не будет сделано в год-два. Но ведь постройка фабрик в Дальне-Восточном крае также примет длительный характер. Что касается данного времени и вообще периода, предшествующего развертыванию производства, то при наличии плановых начал в народном хозяйстве Союза имеется возможность провести ряд мероприятий по увеличению ввоза в Дальне-Восточный край промтоваров из центра, особенно недостаточных товаров, ввозимых контрабандным путем. Мероприятия эти—увеличение контингентов товара, ввозимого в Дальне-Восточный край, понижение тарифов по отдельным из них, улучшение условий кредита торгующим организациям в смысле продления сроков и т. д. Проведение этих мероприятий в жизнь, как нам кажется, не является непреодолимым.

Нельзя делать вывод вообще об ограниченных возможностях в области развития обрабатывающей промышленности в Дальне-Восточном крае. Этот вывод был бы неправильным. Речь идет о таких предприятиях, постройка которых на данной стадии хозяйственного развития края и при существующей кон'юнктуре рынка в сопредельных странах, не находит для себя оправдания. Промышленность в Дальне-Восточном крае должна развиваться не на ввозном сырье, а на своем, местном. Для мелкой и средней промышленности местного значения тут открываются большие возможности. Много данных имеется и для развития кустарных промыслов в крае. Сырье и рынок сбыта для этого рода изделий обеспечены. В области же производства товаров массового потребления, требующих наличия крупных производственных предприятий, построенных на широкой технической базе, Дальне-Восточному краю по необходимости приходится ограничивать свои устремления по насаждению этого рода предприятий.

Капитальные же вложения в крае должны быть направлены по такому пути, который может дать наибольший эффект и связан будет с рентабельностью производства.

V.

Что же должно быть положено в основу развития производительных сил Дальне-Восточного края, если этой основой не является сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность? Очевидно, основой должна быть признана добывающая промышленность. Огромные естественные ресурсы, которыми богат край, не только еще не использованы, но и мало изучены.

К отдельным видам добывающей промышленности, которая должна играть роль ведущего фактора в народном хозяйстве Дальне-Восточного

края, определяя пути роста его в дальнейшем, относятся: золотопромышленность, рыбопромышленность, лесопромышленность, угольная промышленность и нефтепромышленность.

В горной промышленности Дальне-Восточного края первое место занимает золотопромышленность. По запасам золота Дальне-Восточный край занимает одно из первых мест в мире. В 1913 году в России было добыто золота 3.007 пудов. Из этого количества на Урал и Западную Сибирь пришлось 682 п. и на Восточную—2.325 п. Из всего количества золота, приходившегося на Восточную Сибирь, на Бодайбо и Енисейскую губернию падает 1.000-1.100 п. Остальное количество приходится на Дальний Восток—1.000-1.225 п. В этих последних размерах определяется лишь количество зарегистрированного золота, которое далеко не охватывает всю добычу. При недостаточности контроля и близости границы, куда вывозилось золото китайскими рабочими, размеры нерегистрируемого золота достигали от ⅓ до ½ всей его добычи.

Можно без преувеличения считать, что добыча золота на Дальнем Востоке в довоенное время выражалась в 1.800-2.000 п. Это составляет не менее ⅓ стоимости всей продукции населения на Дальнем Востоке в довоенное время. В 1925-26 г. добыча золота в крае достигла лишь 48 проц. довоенного уровня. В довоенные годы на приисках было занято 40-45 тыс. рбочих, в 1924-25 г. их было 11.172 чел., а в 1925-26 г.—9.898 чел. Не двинулась вперед механизация по добыче золота в более или менее заметных размерах.

Запасы золота в недрах, территориально охватываемых Дальне-Восточным краем, определяются в 500.000 п., а по подсчетам Э. Анерта, они уменьшаются до 370.000 пудов. Можно думать, что эти исчисления (особенно последнее) преуменьшают имеющиеся запасы. Недавно открытое золото на Алдане, недостаточная выясненность золотых россыпей в Охотском и Чукотском районах, наличие в Забайкалье около 50 месторождений рудного золота (по данным геолога Макерова), из которых разрабатывается всего 10, а в Приморье 27 коренных месторождений, из которых разрабатывается одно,—все это говорит за то, что золотые запасы могут быть определены лишь приблизительно и скорее всего—в сторону преуменьшения их, а не преувеличения. Косвенным подтверждением больших запасов золота могут служить данные горного управления Дальне-Восточного края за 1915 год, когда имелось заявок на залото 5.742, отводов—1.353, из них разрабатывалось—441.

Золотопромышленность в экономике Дальнего Востока имеет, таким образом, огромное значение. Эта отрасль добывающей промышленности определяет рост производительных сил края на долгие годы. При росте золотопромышленности увеличится поступление золотых запасов в валютный фонд Союза. Кроме того, золотопромышленность импульсирует приток рабочей силы в край, что будет связано с его освоением со стороны и не только рабочего населения. Заселение отдаленных районов около приисков будет неизбежным. Усилится дорожное строительство, повысится спрос на продукты сельского хозяйства (хлеб, мясо, овощи и т. д.), что будет создавать предпосылки к развитию земледелия и скотоводства. Повысится, наконец, общая емкость рынка края.

Само-собой понятно, что развитие золотопромышленности требует вложений в основной капитал. Только механизация добычи золота может дать желательнй эффект. Мы знаем, что как в довоенное время, так и в период советизации края вложения эти были очень незначительны. В золотопромышленность стремился, в большинстве случаев, мелкий и средний капитал, а затем старатели-золотничники. На десятилетие размер вложений предпола-

гается в 78.688 т. руб. Из этой суммы затраты на драги определяются в 45.445 т. руб.*)

Рыбопромышленность на Дальнем Востоке также занимает видное место в его экономике. Добычу рыбы в Приморье и Камчатке (без Забайкалья и Амурской губернии) можно видеть из следующих данных (в миллионах рублей за соответствующие годы):

	1913 г.	1924-25 г.	1625-26 г.
Валовая продукция	20.0	31,9	41,7
Товарная »	18,6	29,5	39,1
Потребление местного населения	1,4	2,3	2,6

Необходимо отметить, что количественно продукция за два последних года не достигла размеров довоенного времени (16,4 милл. п. в 1913 г. и 14,9 милл. п. в 1925-26 г.); в ценностном же выражении в 1924-25 г. даже при значительном недолове продукция равна 101,6 проц. довоенной. Необходимо сделать оговорку, которая приводится в «Контрольных цифрах народного хозяйства Дальне-Восточного края на 1925-26 г.», что «рост ценности товарной продукции наших промысловых районов приходится, главным образом, на промышленность японскую. Ценность добычи нашей промышленности пока еще не достигла довоенной».

Несмотря на то, что успехи русской рыбопромышленности со времени советизации края значительны, все же весьма большая доля добываемой в наших водах рыбы приходится на японскую рыбопромышленность. В «Контрольных цифрах», к сожалению, не указано соотношение размеров добываемой нами и японцами рыбы. В «Плановом хозяйстве» (за 1926 г. кн. № 5) находим такие данные за 1923 год.

Распределение продукции рыбопромышленности по группам:

Японская	4.493	тыс.	пуд.	на	19.549	тыс. руб.
Русская	4.909	»	»	»	13.795	» »
Местного населения	2.666	»	«	»	3.336	» »

Из второй и третьей группы экспортом вывозилось на 8,0 милл. руб. и на 9,0 милл. руб. поступало на внутренний рынок.

Японская рыбопромышленность на Дальнем Востоке после заключения рыболовной конвенции в 1907 году (на 12 лет) проявила быстрый рост. *Япония добывает рыбу в конвенционных водах (главным образом, по Охотско-Камчатскому побережью) не только для своего населения, но и экспортирует ее в другие страны.* В то время как мы вывозим рыбу в ту же Японию и отчасти в Китай, Япония экспортировала рыбу в разных видах (сухой засол, консервы) в Китай, Квантун, Формозу, Англию, Америку (в довоенное время даже в Россию морским путем). При наличии капитала и мощного торгового флота Япония без труда вытеснила с рыбного рынка русских частных рыбопромышленников, поставивши их в положение своих комиссионеров.

---

*) Кроме золота, Дальний Восток богат месторождением полезных ископаемых, имеющих промышленное значение. Так, на Балягинском руднике разрабатываются железные руды для Петровского завода, а также серебро-свинцовые и цинковые в Забайкалье и на Тетюхинском месторождении; имеются запасы вольфрамовых руд и т. д.

Необходимо стимулировать рост нашей рыбопромышленности на Дальнем Востоке. Как дешевый и питательный продукт, рыба и рыбные продукты, помимо экспорта, могли бы найти широкий выход на внутренний рынок (в 1913 году на рынки Сибири и Европейской России было вывезено 2½ милл. пуд. рыбы).

В довоенное время в бюджете приморского населения рыбные промыслы играли большую роль. Ими было занято 77,4 проц. старожильческого и 75,2 проц. новосельческого населения. Туземное же население было занято рыбными промыслами поголовно. Из годового заработка старожильческой семьи (средний заработок) в 1013 руб. от рыбного промысла в 1911-13 г. г. приходилось 529 р. 30 к., или 52,2 проц., для новосельческой семьи при среднем заработке в 415 р. 50 к. от рыбных промыслов приходилось 291 р. 50 к., т.-е. 70 проц.

Рыбные промыслы стимулировали колонизацию Тихоокеанского побережья. Это можно видеть из того, что в первое пятилетие после русско-японской войны в низовьях Амура образовалось 22 новых селения, а к началу европейской войны там вновь образовалось 29 селений. За время революции появилось еще 5 новых заселенных пунктов.

Рыбные промыслы способствуют развитию кустарных промыслов: заготовка лодок, сетей, боченков для засолки рыбы и т. д. Насаждение же кустарных промыслов в приморской полосе способствует колонизации и росту экономического благосостояния населения. В брошюре «Кустарно-ремесленные промыслы на Нижнем Амуре» И. Лопатин пишет: «Стыдно сказать, что Николаевск, расположенный на мощных залежах глины, получает всю глиняную посуду из Японии. Находясь среди сплошных зарослей тальников по островам, мы получаем корзинки, нужные в каждом хозяйстве, в каждом доме, из той же Японии или Китая».

Намеченным на десятилетие планом капитального строительства предполагается проведение целого ряда мероприятий по развитию и укреплению государственной рыбопромышленности.

Остановимся на некоторых из них:

а) частичный переход от сдачи рыбы свежьем на японские рынки к переработке ее в консервы на собственных заводах;

б) постепенный переход от изготовления из рыбы дешевых японских рыбопродуктов, убыточных для предприятий, к переработке их в консервы для экспорта на европейские рынки;

в) расширение крабоконсервного дела в целях непосредственного выхода с их продукцией на американские рынки;

г) выход с сельдью на китайский и корейский рынки, минуя японское посредничество и т. д.

Для проведения в жизнь этих мероприятий Дальгосрыбтрестом предположена постройка в Усть-Камчатке, центре японских заготовок, консервного завода в 6 линий с производительностью в 100.000 ящиков консервов за сезон. Предполагается далее постройка во Владивостоке жестяночной фабрики, производительностью в 150.000 ящиков. В 1928 году и следующие годы будет строиться ряд новых консервных и крабоконсервных заводов. В 1931 году предполагается приобретение плавучего рефрижератора; в следующем году—приобретение трех траулеров; в 1932—1936 году—10 плавучих крабоконсервных заводов-факторий, завод по утилизации рыбных отбросов и т. д.

Все эти мероприятия, уже частично проводимые в жизнь, заслуживают самого серьезного к себе внимания. Они характеризуют начавшийся поворот

в политике по развитию рыбопромышленности на Дальнем Востоке; до сего времени огромные ресурсы утилизировались лишь в малой доле, а хозяином положения являлся японский капитал.

Рыбопромышленность на долгие годы по праву должна занять одно из центральных мест в народном хозяйстве Дальне-Восточного края.

Лесопромышленность наряду с золотопромышленностью и рыбопромышленностью является также одной из основных отраслей народного хозяйства Дальне-Восточного края. По экспорту леса перед краем открываются широчайшие возможности.

Общая площадь лесных дач в крае определяется в 89.903 т. гект. Удобной для эксплоатации площади из этого количества имеется 50.000 т. гект.; исследованных дач—13.500 т. гект. Возможный средний отпуск леса с удобной площади—75.500 т. куб. метр. Наличие огромной площади лесных дач в крае можно видеть из того, что если отбросить малолесный Камчатский район, то они составляют ⅔ общей его площади. Площадь исследованных дач составляет лишь 16 проц., а устроенных—4 проц. Камчатка и Сахалин совершенно неисследованы и неустроены. Породы лесов: сосна—5,6 проц., лиственница—49,3 проц., кедр—7,1 проц., ель и пихта—18,8 проц., разные лиственные породы—19,2 проц.

В довоенное время экспорт леса был ничтожен. С 1923-24 года он проявляет быстрый рост. Но в то время, как из СССР лес вывозится в обработанном виде, с Дальнего Востока вывозится лес в сыром виде, что, само собой понятно, сказывается на рентабельности экспорта. Если экспорт всех лесоматериалов с Дальнего Востока в 1924-25 году по отношению к экспорту СССР составлял 13,6 проц., то по экспорту обработанного леса на край приходится лишь 1,8 проц. Структура экспорта леса, таким образом, отражается на размерах дохода вывозящих организаций.

В 1913 году экспорт леса выражался в 6.700 куб. саж.; в 1923-24 году дает большой скачок, достигая 100.000 куб. саж. В 1924-25 году, в виду депрессии на японском и китайском лесных рынках, экспорт несколько пал. В 1925-26 году он вырастает до 208.000 куб. саж.

Экспортируется лес по преимуществу в Японию и Китай. Потребление леса Японией возрастает с чрезвычайной быстротой. Импорт древесины с 1914 г. по 1924 год возрос в ней с 8,7 милл. куб. фут. до 104 миллионов кубических футов. Быстрый рост спроса на древесину проявляет и китайский рынок. Америка же, как один из главных экспортеров леса, повышает собственное потребление его. На увеличение экспорта Америки рассчитывать, поэтому, не приходится. В виду всего этого экспорт древесины с Дальнего Востока через 10 лет ориентировочно определяется в 5.500 т. куб. метров.

Капитальные вложения на десятилетие в лесопромышленность Дальне-Восточного края определяются в 38.670.000 руб. Предполагается механизация лесозаготовок, производящихся в настоящее время исключительно мускульным трудом. Предусматриваются значительные расходы на тракторы и устройство дековилек. Имеется в виду постройка новых лесопильных заводов (16,0 милл. р.), дооборудование старых, развитие фанерного производства, химической переработки древесины (целлюлозное и писчебумажное производство). Предусматривается, наконец, жилищное строительство в местах заготовки леса (2,7 милл. р.).

Остановимся в нескольких словах еще на двух видах добывающей промышленности: каменноугольной и нефтяной.

Рост каменноугольной промышленности можно видеть из следующих данных (в тысячах довоенных рублей).

ГОДЫ	Стоимость продукции в т. дов. руб.	% %
1913	3.421	100
1923—24	4.679	136,8
1924—25	4.806	140,5
1925—26	7.136	208,6

Чрезвычайно быстрый рост каменноугольной промышленности вызван как повышением внутреннего потребления угля с удешевлением его при вздорожании древесного топлива, так и увеличением экспорта. Запасы угля в крае огромные. Особенно это надо сказать относительно сахалинского угля (еще неизученного), высокого по качеству. На десять лет предполагается увеличение добычи угля с 750 тонн в 1926-27 г. до 2.055 т. в 1935-36 г. (увеличение на 174 проц.) и экспорт за те же периоды с 141 т. до 240 т. (увеличение на 70 проц.). Капитальное строительство на десятилетие: 13,4 милл. рублей на новое строительство и 11,6 милл. рублей—на капитальный ремонт, а всего—25,1 милл. руб.

Что касается нефтяной промышленности, то роль ее в народном хозяйстве края должна быть также признана огромной. Сахалинская нефть, по данным геологических обследований, начиная с 1905 года, имеет большое будущее. Только на Охинском месторождении добыто нефти (в тоннах) в 1921 г.—380; 1922—1.080; 1923—1.374; 1924—12.507; 1925—13.642; 1926 (за 8 м.)—40.300. Имеется ряд и других месторождений. При неглубоком залегании нефти и наличии близких рынков для экспорта (в первую очередь Япония), сбыт этого продукта обеспечен. Япония скорее всего будет приобретать сахалинскую нефть, чем производить закупку в Америке и Голландской Индии за 2.500-4.500 миль.

VI.

Из изложенного можно сделать следующие выводы:

1) Дальне-Восточный край, как сельско-хозяйственный район, в силу естественно-исторических условий, имеет ограниченные возможности. Сельское хозяйство (зерновые культуры), однако, должно быть признано одним из основных элементов в народном хозяйстве края как для старожильческого населения, так особенно для переселенцев. В дальнейшем сельское хозяйство будет развиваться в сторону его интенсификации, с повышением урожайности, увеличением роста технических культур и животноводства; с.-х. продукция в значительной своей части имеет местное значение, т.-е. идет на местный рынок (внутреннее потребление) и лишь часть ее, в виде продуктов животноводства (масло, кожи, шерсть), а также полеводство (рис. бобовое масло), могут найти выход на внешние рынки;

2) обрабатывающая промышленность при наличии слабой емкости рынка и высоком коэффициенте себестоимости продукции по необходимости ограничивается лишь переработкой местного сырья для внутреннего рынка; более широкий масштаб развертывания обрабатывающей промышленности должен быть связан с наиболее рациональным направлением капитальных вложений, при чем должна быть учтена индустриализация на ближайшее время как Союза в целом, так и ближайших районов, могущих обслуживать рынок Дальне-Восточного края отдельными видами товаров;

3) в целях удешевления промышленной продукции, вывозимой из центра Союза в край, что связано с успехом по борьбе с контрабандой, необходимо снизить тарифы по отдельным товарам (недостаточным), увеличить контингенты недостаточных товаров по планам завоза, а также улучшить условия кредитования торгующих государственных и кооперативных организаций;

4) будущее Дальнего Востока, определяющее рост его производительных сил в развитии добывающей промышленности (золотопромышленность, лесопромышленность, каменноугольная промышленность, нефтяная и рыбопромышленность), связано с ростом промышленного пролетариата; увеличением материальных ценностей края и повышением экономического благосостояния населения. К развертыванию указанных отраслей добывающей промышленности должны быть направлены усилия как центра, так и местных руководящих и хозяйственных органов; рассчитывать на значительный прилив иностранного капитала (на началах концессии) в отрасли промышленности, имеющие обще-союзное значение, не приходится; рост их на ближайшие годы должен происходить за счет капитальных вложений по преимуществу центра;

5) признавая за делом колонизации Дальне-Восточного края исключительное не только экономическое, но и политическое значение, необходимо создать условия, благоприятствующие переселению путем рационализации системы заселения края с землеустройством старожильческого населения. Этим будет достигнуто в известной мере изживание аграрного перенаселения в центре Союза и укрепление края, находящегося в сфере влияния борющихся в бассейне Тихого океана империалистических держав.

Вопросы художественного творчества.

Л. Анисимов.

I.

У меня сохранилась пачка писем. Они написаны слушателями курсов, ВУЗ'ов, рабочими корреспондентами газет. Авторы этих писем касаются самых разнообразных тем, преимущественно художественного порядка. С особой настойчивостью, иногда прямо, иногда косвенно, в этих письмах ставится вопрос, что такое художественная правда? В самом деле, это—основной вопрос в искусстве. О художественной правде не мало писалось и самими художниками, и критиками, в частности Белинским. Чернышевский, Добролюбов, Плеханов разработали у нас эту тему в ряде блестящих и непревзойденных статей. Но так как вопрос о художественной правде продолжает занимать и писателей, и читателей, вызывать споры и разногласия, то не мешает еще и еще лишний раз сосредоточить на этой трудной проблеме внимание.

Я не собираюсь и не беру на себя смелости осветить сложный вопрос о художественной правде с надлежащей полнотой. И, кроме того, мне представляется более своевременным оттенить такие стороны и части этого вопроса, которые больше всего выдвигаются теперешним временем, состоянием искусства наших дней и запросами наших художников, читателей и зрителей. Ограничивая себя таким кругом, я все же нахожу нужным остановиться предварительно на некоторых положениях общего характера.

Художник, создавая свой художественный мир, имеет цель, как и всякий иной человек, со своими ощущениями и представлениями. Он как бы окружен ими и не может выйти из них. Это—бесспорная истина. Но эта бесспорная истина довольно и бессодержательна: она не отвечает на вопрос всех вопросов—имеют ли наши суб'ективные ощущения об'ективное значение. Тот, кто придерживается утверждения, что бытие определяет собою сознание, а не наоборот, обязан сказать себе, дабы не впасть в невыносимые противоречия, что наши суб'ективные ощущения могут иметь и об'ективное значение. Я считаю единственно достоверным мнение о примате бытия над сознанием и потому полагаю, что через посредство наших ощущений мы познаем об'ективный, независимый от нас мир. Наши образы мира не являются его точными копиями, но они не являются и смутными иероглифами мира и тем более они не носят только суб'ективный характер. Практика определяет, что в наших образах имеет лишь личное значение и что является подлинными, досто-

верными показаниями и истинами. Диалектический материалист отличается от своих предшественников тем, что знает относительность и незавершенность нашего познания мира, ибо он понимает, что все окружающее, в том числе и человеческое сознание, находится в процессе постоянного живого преобразования.

Казалось бы, эти истины очевидны, по крайней мере, для всех, кто близок к марксизму. Однако, это далеко не так. Простые истины обладают особым свойством; они теряют свою простоту, как только мы начинаем разбираться в сложных явлениях. Для примера позволю себе остановиться на некоторых рассуждениях М. Горького, высказанных им в последнее время в интересном письме о М. М. Пришвине, напечатанном в «Красной Ниве». Тов. Горький пишет:

> «Есть нечто первобытное и атавистическое» в преклонении человека перед красотою природы, красотой, которую он сам силою воображения своего внес и вносит в нее. Ведь нет красоты в пустыне,—красота в душе араба, и в угрюмом пейзаже Финляндии нет красоты,—это финн ее вообразил и наделил ею суровую страну свою. Кто-то сказал: «Левитан открыл в русском пейзаже красоту, которой до него никто не видел». И никто не мог видеть, потому что красоты этой не было, и Левитан не «открыл» ее, а внес от себя, как свой человеческий дар земле.
>
> ...Великолепно украшали ее и ученые, такие, как Гумбольдт, автор «Космоса». Материалисту Геккелю угодно было найти «красоту форм» в безобразнейшем сплетении морских водорослей и в медузах; он нашел и почти убедил нас—да, красиво. А древние эллины, тончайшие знатоки красоты, находили, что медузы отвратительны до ужаса».

Сделаем допущение, что тов. Горький прав: красоту, которую мы видим в окружающем, мы вносим только от себя. Но, если мы создаем красоту лишь силой своего воображения, то что же представляет собою природа, как она есть? Если в ней нет порядка, гармонии, которые поражают нас и создают впечатление красоты, то в действительности космос есть хаос, беспорядок—тогда «все возможно». Так именно и чувствует М. Горький. Он воспринимает природу, космос, как хаос, он не верит прочности мира. В том же письме о Пришвине М. Горький сообщает о себе:

> «Стало казаться, что в обаятельном языке, которым говорят о «красоте природы», скрыта бессознательная попытка заговорить зубы страшному и глупому зверю левиафану-рыбе, которая бессмысленно мечет неисчислимые массы живых икринок и так же бессмысленно пожирает их».

Едва ли будет ошибочным утверждение, что основная эмоциональная доминанта, преобладающее ощущение Горького, как художника, сводится к восприятию мира, как ненадежного, коварного и страшного хаоса. В этом убеждают его «Мои университеты»; последние рассказы, статьи, художественная подпочва последнего романа «Сорок лет» («Жизнь Клима Самгина») питаются в значительной мере этим настроением. Мир, как он есть, ненадежен, неверен, хаотичен и страшен этим своим изначальным бессмыслием. Но тогда не только наши понятия о красоте носят личный характер, но также исключительно суб'ективно и наше научное постижение вселенной. Очевидно, мы придумываем не только красоту, но и законы, по которым существует, развивается и видоизменяется мир. Наше научное познание тоже, повидимому, лишь вносится нами в некий темный и беспорядочный хаос, как и наши представления о том, что прекрасно и что безобразно. Все наши ощущения, все наше познание только суб'ективны и не имеют об'ективного значения. Строго говоря, мы не можем сказать даже и того, что нечто непостижимое есть хаос. Во всяком случае, последовательно развивая мысли М. Горького до конца, мы обязаны притти к заключению, что бытие отнюдь не определяет собою сознания: напротив, между бытием и сознанием непроходимая пропасть: бы-

тие—хаос. Дабы скрыть и «заговорить зубы страшному и глупому зверю», человек силой своего воображения и ума наделяет природу красотой, находит в ней порядок, сочиняет законы и т. д., словом—наши ощущения имеют лишь суб'ективное значение.

Это ошибочная точка зрения. От нее прямая дорога к философскому и художественному солипсизму. Товарищ Горький, несомненно, прав, когда он говорит, что красота—в душе араба, финна, Левитана, и что понятия о красоте у эллинов иные, чем у Гегеля. Но «в душе» араба, финна, Левитана заключены и их теоретические познания мира, и познания эти заманчивы, как и понятия наши о прекрасном. Вопросы совсем не в том, что красота в душе араба, а в том—соответствует ли этой «красоте в душе» нечто реальное, независимое от нас. Мы утверждаем, что красоте в душе может соответствовать красота в природе, во вселенной подобно тому, как нашим научным, отвлеченным, разумным представлением о мире может соответствовать мир, как он есть. Наши понятия о прекрасном более суб'ективны и непостоянны. Это правда. Но эта правда не меняет существа дела. Во вселенной нет ни абсолютного хаоса, ни абсолютного порядка, но она существует и видоизменяется на основании известных открываемых и усвояемых нами законов, следовательно, в космосе есть относительный порядок, относительная гармония. И этот порядок и эта гармония могут постигаться не только нашим разумом, но и нашими чувствами, т.-е. создавать в нас впечатления прекрасного. Наше разумное познание помогает нам успешно вести борьбу со стихиями и силами природы, но такую же помощь оказывают нам и наши представления о прекрасном. И в том и в другом случае практическая деятельность общественного человека проверяет и испытывает на опыте и наши отвлеченные познания мира и наши представления о красоте. Финн наделил красотой свою суровую, угрюмую страну, арабу представления о красоте финна, вероятно, покажутся странными. Но араб может переселиться в Финляндию, освоиться в новых для него условиях жизни, и если не ему, то его потомкам мало-по-малу понятия финнов о красоте их страны станут более близкими, родными и понятными. Арабу трудно жить со своими понятиями о прекрасном в Финляндии, но так же трудно и необычайно жить и финну, например, в Египте. Кто из них прав? Оба правы. Нет истины вообще, нет красоты вообще. Всякая истина конкретна, всякая красота правдива в соответствии со временем и с местом. Представления о прекрасном финна и араба разнолики, но вид самума и на араба, и на финна произведет, вероятно, одинаково антиэстетическое впечатление; и арабу, и финну землетрясение, скажем испытанное ими в Крыму, покажется грозным, страшным и отнюдь не прекрасным; и самум и землетрясение одинаково губительны и для того и для другого. И потому эти их понятия о красоте и о безобразии будут иметь об'ективный смысл.

Подобные соображения, конечно, т. Горькому вполне известны. Едва ли он будет возражать и против утверждения, что наши суб'ективные ощущения могут быть и об'ективными. Но это рационалистическое представление о космосе художника далеко не всегда совпадает с его эмоциональным, подсознательным восприятием мира. В произведениях последних лет у Горького с особой силой и настойчивостью начинает звучать мотив о космосе, как о страшном, глупом и бессмысленном звере, как о «хаосе мрачной разобщенности». И это часто понуждает писателя забывать об истинах, казалось бы, несомненных.

Вопрос о прекрасном затронут нами не случайно. Художественная правда, как и правда научная, существует «в душе», но не только «в душе»—художественное произведение правдиво, если ощущения и представления, которые оно в нас возбуждает, соответствует действительной «природе вещей»,

если они имеют характер об'ективности. В этом искусство не отличается от науки. Об'ект и у художника, и у ученого один и тот же. Своеобразие, особенность художника в том, что он мыслит не отвлеченными категориями, а образами. В достоверности или недостоверности той или иной научной теории мы убеждаемся путем ее логической оценки. В правдивости или неправдивости произведения искусства мы убеждаемся путем эстетической оценки. Художественный образ есть наше представление, но от обычного представления он отличается тем, что наделен обобщающей силой. Он касается не отдельного явления, а группы явлений. И так как художественный образ имеет своей целью обобщить группу явлений, он всегда получается в результате чувственной и умственной деятельности человека. Художественный образ не есть фотография, не есть копия действительности, не есть пассивный снимок, но он не является и выдумкой. Он вытесняет в нас и заменяет конкретные представления одним обобщенным представлением. И вместе с вытеснением этого конкретного материала он вытесняет и наши реальные непосредственные чувства. Любовь, ненависть, жалость, презрение, которые мы испытываем, читая роман, повесть, рассказ, поэму,—совсем не та любовь, не та жалость, не та ненависть, не то презрение, которое мы испытываем в повседневной нас окружающей жизни. В жизни мы переживаем эти и другие чувства, если можно так выразиться, в неочищенном состоянии. Они вызываются в нас и конкретными людьми, конкретными событиями. Они создают в нас и конкретные представления. В искусстве, где наши представления очищены, обобщены, и наши чувства, и наши мысли, связанные с этими чувствами, тоже переживаются и испытываются нами в обобщенном виде. Реальное, не художественное чувство всегда ограничено, всегда приурочено к данному случаю, событию, лицу. Художественное чувство благодаря обобщающей силе образа лишено непосредственности, оно скорее подобно сновидению, оно более тускло и отвлеченно и как бы более прозрачно и легко, но оно захватывает больший круг явлений, оно лишено всего несносного, случайного, излишнего, оно более подвижно и более экономно. Художественное чувство не заставляет нас расходовать в слишком интенсивных переживаниях наши силы, и оно, поэтому, дает нам возможность в короткие отрезки времени вместе с героем повести, романа испытать и горе, и радость, нередко всей его жизни. Когда художественный образ кажется нам убедительным? Он кажется нам убедительным тогда, когда мы переживаем особое душевное состояние радости, удовлетворения, возвышенного успокоения, любования, сочувствия автору. Это душевное состояние и является эстетической оценкой произведения искусства. Эстетическое чувство лишено узко-утилитарного характера, оно бескорыстно и в этом отношении связано органически с нашими общими понятиями о прекрасном, хотя, конечно, и уже этих понятий. Эстетическая оценка произведения—критерий его правдивости или неправдивости. Художественная правда определяется и устанавливается именно благодаря этой оценке. Те критики, которые забывают об этой элементарной истине и строчат свои фельетоны и статьи безо всякого намека на художественную оценку произведения, занимаются, в лучшем случае, переливанием из пустого в порожнее. В свое время Г. В. Плеханов знал настоящую цену этим упражнениям. Суздальская мазня прикрывается рассуждениями о социологическом методе, но социологический метод не исключает, а включает эстетическую оценку. В этом мы убедимся ниже.

В художестве, как и в науке, наши суб'ективные ощущения должны иметь об'ективное значение. В искусстве правда познается путем эстетической оценки. Эстетическая оценка получается в результате ощущения, что художник верно, понятно, близко для нас сконструировал свои образы. Но конструируя свои образы в соответствии с действительностью, подлинный ху-

дожник никогда не является простым зеркалом, отражающим явления жизни, хотя он и не творит их лишь из себя. В каких же взаимоотношениях находятся в исскустве суб'ект и об'ект, художник и действительность? Для ответа на этот вопрос я позволю себе напомнить пространные, но превосходные мысли, высказанные по этому поводу В. Г. Короленко. В статье о Л. Н. Толстом он писал в 1908 г.:

«Если не ошибаюсь, Гюи-де-Мопассан сказал, что каждый художник изображает нам свою «иллюзию мира». Обыкновенно принято сравнивать художественное произведение с зеркалом, отражающим мир явлений. Мне кажется, можно принять в известной комбинации оба определения, художник—зеркало, но зеркало живое. Он воспринимает из мира явлений то, что подлежит непосредственному восприятию. Но затем в живой глубине его воображения воспринятые впечатления вступают в известное взаимодействие, сочетаются в новые комбинации, соответственно с лежащей в душе художника общей концепцией мира. И вот, в конце процесса зеркало дает свое отражение, свою «иллюзию мира», где мы получаем знакомые элементы действительности в новых, доселе незнакомых нам сочетаниях. Достоинство этого сложного отражения находится в зависимости от двух главных факторов: зеркало должно быть ровно, прозрачно и чисто, чтобы явления внешнего мира проникали в его глубину не изломанные, не извращенные и не тусклые. Процесс новых сочетаний и комбинаций, происходящий в творящей глубине, должен соответствовать тем органическим законам, по которым явления сочетаются в жизни. Тогда, и только тогда, мы чувствуем в «вымысле» художника живую художественную правду.

Иллюзия мира... Да, конечно. И эти иллюзии сложны и разнообразны, как и сам воспринимаемый мир. Одно и то же лицо может быть отображено в зеркале плоском, или вогнутом, или выпуклом. Ни одно из этих зеркал не солжет—элементарные процессы природы лгать не могут (кажется, в этом смысле софисты доказывали, что лжи совсем нет). Но, если вы отразите все эти изображения на экране и измерите их очертания, то увидите, что только прямое зеркало дало вам отражение, разм ры и пропорции которого об'ективно совпадают с размерами и пропорциями предмета в натуре. Отражение того же лица на поверхности самовара, конечно, не «ложь»: оно и движется, и изменяет выражение, оно, значит, отражает действительное, живое лицо. Но между этим лицом и видимым нами отражением легли искажающие свойства выпуклой поверхности. А ведь порой на этой поверхности есть еще ржавчина или плесень, или она из'едена кавернами, или окрашена случайными реактивами, изменяющими живую окраску. И тогда, вглядываясь в чуть меркающее отражение живого лица, мы едва узнаем знакомые нам черты—они растянуты, обезображены, искажены: на месте глаз—ржавые пятна, вместо живого тела—цвет разложения, вместо «иллюзии живого явления»—«иллюзия» призрака.

Конечно, может случиться, что и при такой отражающей поверхности, внутренний процесс творчества будет обладать свойствами органически правильного и оригинального сочетания, как это было, например, у больного Достоевского. И тогда в искаженных отражениях местами, как клочки неба в черных лесных озерах, будут сверкать откровения изумительной глубины и силы. Они будут и драгоценны, и поучительны, но всегда односторонни. Они вскроют нам почти недоступные глубины больного духа, но не ищите в них ни заканов здоровой жизни, ни ее широких перспектив. Продолжая ранее взятое сравнение, я скажу, что по прямому отражению пейзажа, зарисованного с птичьего полета на бумаге, вы можете ориентироваться в натуре, легко найдете свою дорогу и рассчитаете усилия, необходимые для достижения цели. Попробуйте сделать то же по рисунку, отраженному неправильной зеркальной поверхностью, и, конечно, вы собьетесь с пути».

Так писал В. Г. Короленко.

Художник в своем произведении отражает действительность, но он отражает ее в соответствии со своей «общей концепцией мира». А от чего зависит эта общая концепция? Она зависит от общественно-бытовых, от культурных, от политических, от исторических, от наследственных условий, в которых живет и действует человек. Эти условия оформляют его нравственные, правовые, религиозные, эстетические, научные взгляды, из которых и скла-

дывается «общая концепция мира». В обществе, разделенном на классы, определяющим моментом являются классовые интересы. В конечном итоге они коренятся в экономике данного строя. Совершенно очевидно, что некоторые классовые концепции мира помогают художнику быть прямым зеркалом по отношению к действительности, другие, наоборот, делают это живое зеркало выпукло-вогнутым, тусклым, неровным, исцарапанным. Наиболее благоприятной для художественно-правдивого проникновения в действительность представляется эпоха, когда класс, чью концепцию мира разделяет художник, находится в стадии под'ема, роста и расцвета. В эти моменты класс в своих интересах, домогательствах, намерениях и действиях выражает в той или иной мере интересы и потребности огромного большинства общества, и в общей концепции мира этого класса отражаются нужды этого общества и всего культурного человечества, потребности дальнейшего развития.

Однако, это положение требует уточнения. Прежде всего общая концепция мира нового поднимающегося класса не есть нечто готовое, застывшее. Она вырабатывается в сложном диалектическом процессе. Она должна прежде довольно отчетливо сформироваться, чтобы художник, руководствуясь ею, мог бы правдиво отражать действительность. Такое оформление нуждается в сроках. Обычно, чаще всего, особенно в исскустве, такое оформление становится возможным, когда класс уже победил главные препятствия, упрочил в основном свое положение, т.-е. в периоды органического развития Искусство преимущественно—занятие мирное. Искусству бывает трудно в эпоху войн, битв, острых классовых столкновений и напряженной борьбы. В эти моменты воля видеть затемняется сплошь и рядом волей хотеть и действовать. Препятствуют также и общие неблагоприятные экономические и бытовые условия. В наше время пролетариат имеет все основания считать свою общую концепцию мира выражающей интересы общественного развития человечества, но даже в России пролетариат далек от того минимального благополучия, какое необходимо «для процветания наук и искусств».

С другой стороны, не редки случаи, когда класс, находящийся в явно ущербном состоянии, выдвигает необычайно сильных художников, впитавших в себя господствующий распад, духовную прострацию и дезорганизацию. И именно эта отравленная общая концепция мира помогает раскрыть с гигантской, неподражаемой силой темные стороны человеческого духа и бытия. В их произведениях, выражаясь словами В. Г. Короленко, сверкают «откровения изумительной силы и глубины». Они собирают и отражают все мизантропическое, гнойное, уродливое, нелепое, глупое, недостойное человека. С их вещами часто случается то, что бывает с человеком, когда он наблюдает отражения в неровной поверхности, из'еденной ржавчиной. В уродливо растянутых чертах лица, в идиотски приплюснутом лбу, в искривленном носу, в сдвинутом в сторону подбородке, в непомерно увеличенных глазах, в зверски раздвинутой челюсти вдруг почудится своеобразная гармония, блеснет что-то удивительно характерное, типическое и своеобразное, чудесная и страшная карикатура на плотоядие, чревоугодие, на тупость, животность, на подхалимство, свирепость и т. д. И вы надолго запоминаете чудовищный образ, и он кажется более правдоподобным и настоящим, чем обычные, гармоничные отражения. Такой был гений Гоголя и Достоевского.

Художественное произведение есть результат взаимодействия об'екта и суб'екта. Художественно правдиво то произведение искусства, в котором суб'ективные чувства и мысли, пропущенные сквозь эстетически оформленную общую концепцию мира, имеют характер и об'ективного показания. Следовательно, художественная правда, отличается от всякой иной правды, скажем от правды научной, не тем, что она суб'ективна, а тем, что эта вполне

об'ективная правда есть правда, производит эстетическое на нас воздействие. Она возбуждает в нас впечатления прекрасного. Это эстетическое чувство является мерилом, с помощью которого оценивается, насколько соответствует истине то или иное произведение. В свою очередь это мерило подвергается испытанию, благодаря практической деятельности человека, которая в классовом обществе носит классовый характер. Определить место, смысл и вес художественного произведения с точки зрения этой практики и, значит, оценить его социологически. Итак, социологическая оценка является последней окончательной оценкой того, в какой мере правдиво или ложно то или иное произведение искусства.

Вопрос об об'ективном моменте в искусстве до сих пор вызывает в наших рядах много споров. Сторонники взглядов журнала «На литературном посту», да и не они одни, готовы считать тех, кто придерживается мнения, что подлинное художественное произведение должно иметь и об'ективную значимость, чуть ли не изменниками пролетариата. Ход рассуждений подобного рода критиков, примерно, таков: художник не может выйти за пределы интересов, чувств, мыслей того или иного класса, он не может находиться в стороне, быть безучастным свидетелем совершающегося. Не трудно заметить, что во всей этой аргументации лежит невообразимая путаница понятий и прежде всего неумение правильно поставить вопрос. Когда заходит речь о художественной правде, вопрос не в том, имеет или не имеет те или иные суб'ективные ощущения, представления, мысли художник: он суб'ект и не может их не иметь, весь вопрос в том, есть ли в этих суб'ективных состояниях, отражается ли в них то, что происходит или происходило в действительности, и в какой именно степени. Подменять этот вопрос рассуждениями о том, что художник не может быть лично беспристрастным, стоять в стороне и т. д. означает говорить бессодержательные и банальные вещи. С суб'ективными состояниями людей вообще и художников в частности происходят нередко довольно странные случаи. Гоголь лично полагал, что он в «Мертвых душах», в «Ревизоре» ведет борьбу с человеческими страстями в пользу православия и укрепления самодержавного строя, а об'ективный резонанс этих и других его произведений был и остается до сих пор таков, что на них воспитывались и воспитываются многочисленные поколения революционеров. Таких примеров сколько угодно.

Опасаясь всякого упоминания об об'ективности, подобно тому, как некая замоскворецкая купчиха боялась слова «жупел», у нас хватаются впопыхах за такие, насквозь идеалистические, определения искусства, как то, какое в полюсу своего аскетизма давал Л. Н. Толстой: искусство есть средство эмоциального заражения; в этом будто бы главная особенность искусства. Недостаток этого определения в том, что сторонники его даже и не ставят вопрос об отношениях в искусстве суб'екта к об'екту. Поэтому лучше, и это целиком будет соответствовать марксизму, определять искусство, как особое чувственное и умственное познание мира с помощью образов, познание, целиком зависимое от общественного бытия человека. Некоторых, повидимому, отпугивает чрезмерный рационализм этого определения, заключающийся в понятии—познание, но этот рационализм только кажущийся. Основа искусства—образ. В создании образа деятельное участие принимает наш ум, но еще большее участие в его образовании принадлежит бессознательной творческой работе.

Как бессознательно создаются отдельные образы—об этом можно найти ценный материал в книге К. С. Станиславского «Моя жизнь в искусстве» Ограничусь приведением одного его рассказа:

«Мне посчастливилось наблюдать со стороны, пишет Константин Сергеевич, за процессами создания Чеховым его пьесы «Вишневый сад». Как-то

так убоги психологические анализы и оттого произведения не захватывают, не подчиняют себе.

Читатели нередко спрашивают, что именно *конкретно* надо понимать под художественным изображением человека со всеми его подсознательными намерениями, помыслами и поступками. На это ответить очень не трудно. В третьем томе «Войны и мира» Л. Н. Толстой таким образом рассказывает об атаке эскадрона Николая Ростова в местечке Островне:

«Ростов своим зорким, охотничьим глазом один из первых увидел этих синих французских драгун, преследующих наших улан. Ближе, ближе подвигались расстроенными толпами уланы и французские драгуны, преследующие их. Уже можно было видеть, как эти, казавшиеся под горой маленькими, люди сталкивались, нагоняли друг друга и махали руками или саблями.

Ростов, как на травлю, смотрел на то, что делалось перед ним. Он **чутьем чувствовал,** что ежели ударить теперь с гусарами на французских драгун, они не устоят; но ежели ударить, то надо было сейчас, сию минуту, иначе будет уже поздно. Он оглянулся вокруг себя.

Ротмистр, стоя подле него, точно так же **не спускал глаз** с кавалерии внизу.

— Андрей Севастьяныч,—сказал Ростов,—ведь их мы сомнем.

— Лихая бы штука,—сказал ротмистр,—а в самом деле.

Ростов, **не дослушав** его, толкнул лошадь, выскакал вперед эскадрона **и не успел он еще скомандовать движение,** как весь эскадрон, **испытавший то же, что и он,** тронулся за ним. **Ростов сам не знал, как и почему он это сделал.** Все это он сделал, как он делал на охоте, **не думая, не соображая.** Он видел, что драгуны близко, что они скачут, расстроены; он знал, что они не выдержат, он знал, что была только **одна минута, которая не воротится,** ежели он упустит ее». Описывая дальше атаку, Толстой рассказывает: «Через мгновение лошадь Ростова ударила грудью в зад лошади офицера, чуть не сбила его с ног, и в то же мгновенье Ростов, **сам не зная зачем,** поднял саблю и ударил ею по французу».

Вот гениальный образец изображения гениальных индивидуальных и коллективных бессознательных чувств и действий. Ростов знал, что ударить на драгун нужно «сию же минуту», что этот удар в «сию же минуту» опрокинет врага, он знал так же: «одну», «сию же минуту» упустить никак нельзя. Знал это и ротмистр, и весь эскадрон, потому-то они и двинулись вперед, не дождавшись команды. Откуда такое точное, такое безошибочное знание? На это нет и не может быть логически, разумно осмысленного ответа. Знание это подсознательное, инстинктивное. И мы, читатели, тоже не можем разумно об'яснить, почему нельзя было пропустить «одну минуту», почему эскадрону нужно было атаковать французов, не дожидаясь команды, и, однако, мы чувствуем, что это так и было и иначе быть не могло.

Таких изображений у Толстого можно найти сколько угодно. Вся эпопея «Войны и мира» написана Толстым с целью показать силу бессознательного в истории человеческого общества.—«В исторических событиях,—заявляет Л. Н. Толстой,—очевиднее всего запрещение вкушения плода древа познания. Только одна бессознательная деятельность приносит плоды, и человек, играющий роль в историческом событии, никогда не понимает его значения. Ежели он пытается понять его, он поражается бесплодностью».

Одним из гениальных художественных типов, созданных Толстым, несомненно, является Платон Каратаев. Платон—стихиен, он живет бессознательной жизнью. «Он, видимо, никогда не думал о том, что он сказал и что скажет; и от этого в быстроте и верности его интонаций была особенная убедительность»; «он пел песни не так, как поют песенники, знающие, что их слушают; но пел, как поют птицы, очевидно, потому, что звуки эти ему были также необходимо издавать, как необходимо бывает потянуться, или расходиться»; «его слова и действия выливались из него так же равномерно,

необходимо и непосредственно, как запах отделяется от цветка. Он не мог понять ни цены, ни значения отдельно взятого действия или слова». Толстой переоценивал роль бессознательного в исторических судьбах человечества: его угнетал страх смерти, и он полагал, что, только отдаваясь стихийным силам, человек освобождается от ужаса пред индивидуальным исчезновением—Каратаевы не думают о смерти, они умирают просто и также непосредственно, как дерево, как растение.

Другой пример художественного изображения бессознательного можно привести из «Братьев Карамазовых». В ночь, когда был убит Федор Павлович Карамазов, Митя в исступленном состоянии бежит от Морозовой к дому отца, полагая застать там Грушеньку. Митя отворяет уже дверь, чтобы уйти от Морозовой, но вдруг возвращается, подбегает к столу, на котором он раньше заметил медную ступку с пестиком, схватывает пестик, сует его в карман. Зачем понадобился ему пестик? В романе случай с пестиком—самое темное место. Во время следствия Митя не может дать следователю никакого вразумительного об'яснения своему поступку. Следователь спрашивает, с какой целью он, Митя, вооружился? Митя сначала отвечает: «Никакой цели! Захватил и побежал». Дальше он поясняет еще хуже: «ну, от собак схватил. Ну, темнота... Ну, на всякий случай»; на это следователь ему вполне резонно возражает, что раньше Митя, выходя куда-нибудь ночью, как-будто не имел привычки брать с собою оружия. Митя совсем теряется и заявляет, что он не знает, для чего взял пестик: схватил и побежал, вот и все. Находясь у Морозовой, Митя не думал об убийстве отца, не думал он и о самозащите. Смысл Митиного поступка так и остается не раскрытым. Мало того, Достоевский явно издевается над попытками на суде и прокурора, и знаменитого защитника разумно об'яснить случай с пестиком. Поступок Мити—иррационален, он бессознателен; логически его невозможно понять и читателю. И вместе с тем читатель чувствует, что так именно и должно было случиться: убегая из дома Морозовой Митя Карамазов должен был вернуться к столу, схватить пестик и сунуть его в боковой карман; благодаря случаю с пестиком вся сцена в доме Морозовой получает характер особой художественной правдивости, как и все последующее поведение Мити, а, главное, благодаря пестику образ Мити делается вполне законченным и выразительным.

Достоевский, подобно Толстому, был великим мастером в изображениях бессознательного поведения человека, но в отличие от Толстого и в противовес ему бессознательная сила у Достоевского почти всегда сила не благодетельная, а злая, коварная, враждебная человеку.

Отношение к бессознательному и Толстого, и Достоевского, с нашей точки зрения, требует весьма значительных поправок. У Толстого творческой силой является лишь одно бессознательное, он не верит разуму. Разумное в изображениях Толстого—всегда сухо, безжизненно, оно заводит человека в лабиринты неразрешенных противоречий и лишает его радостей жизни. У Достоевского, наоборот, бессознательное—дьявольское, разрушительное, губительное начало. Надо обуздать эту вечно бунтующую, своевольную силу с помощью чуда, авторитета и тайны, надеть на человека спасительные путы, сковать в нем свидригайловщину, карамазовщину, смердяковщину, смирить буйное тысячемиллионное стадо могучей и умной волей инквизитора. Соответственно с мироощущением и с мировоззрением нового поднимающегося вверх класса, соответственно с новейшими открытиями в области психологии наши художники—изображают ли они общественную жизнь и события, заняты ли они художественным анализом душевных состояний отдельного человека—обязаны по-своему осветить вопрос о взаимоотношениях сознатель-

ного и бессознательного. Усвоив прочно художественные открытия Толстого, Достоевского и других мастеров слова, они, должны суметь показать в своих произведениях относительность, условность противоречий между сознанием и бессознательным, Толстым—ограничить пессимизм Достоевского и Достоевским—поправить оптимизм Толстого. Только тогда мы и сумеем «преодолеть» старых классиков и двинуться дальше. Наша эпоха дает тут неисчерпаемый материал. Революция выдвинула и вызвала к напряженно деятельной жизни новых героев с особым душевным складом, с особыми сознательными и подсознательными чувствами. Империалистическая, гражданская войны, военный коммунизм, голод, национализация промышленности в столкновениях со стихией рынка—сколько во всем этом новых неожиданных положений, случаев, какой необычайный простор открывается для художественного наблюдения, экспериментирования, с каких новых точек зрения становится возможным взглянуть на человека! Тут и необузданная общественная стихия, бессознательные, неосмысленные движения человеческих масс, разгул инстинктов и страстей, безбрежный разлив их, и вдруг—остро и холодно поблескивающие стекла пенсне, хитро и умно прищуренный взгляд, внимательный учет тысячи обстоятельств, уступки, отступления, сложнейшее маневрирование, внезапный зигзаг, общественная муть, новые подпочвенные, подспудные процессы! Тут есть над чем подумать и поработать художнику, здесь всякая мало-мальски серьезная творческая работа сулит новые и новые открытия. Меж тем, достаточно под этим углом зрения взглянуть на наше современное художество, чтобы убедиться, как мало обращают внимания наши писатели на основные вопросы творчества. Но без освещения и сознательной, и бессознательной общественной и индивидуальной жизни не может быть и художественно-правдивых произведений искусства. От этого неумения и нежелания подойти к изображаемому герою во всеоружии анализа его разнообразных, противоречивых чувств и мыслей часто и получается схема, голая тенденциозность, предвзятость. Из современных писателей наиболее чутки к бессознательным истокам жизни: Бабель, Пильняк, Всев. Иванов, но они не верят, не доверяют разуму; из поэтов силу стихийного в человеке чувствуют: Есенин, Пастернак, Н. Тихонов. Наиболее рационалистичны—Либединский, Никифоров, Безымянский, Жаров. Для многих писателей вопрос о взаимоотношениях сознательного и бессознательного до сих пор совсем не существует: беззаботность тут велика и доходит до наивности. Нередко художник изо всех сил старается подробно мотивировать поступки и действия, не поддающиеся логическому об'яснению: пусть у героя не останется ни одного темного, неосвещенного уголка в душе. Но этого никогда не бывает и не может быть. «Насквозь» живых людей не видно. Есть огромные, таинственные, пока мало исследованные области человеческого духа, в них, как в морских пучинах, таится своя, неприметная для взора, могучая жизнь; по временам эта жизнь прорывается, показывается на поверхности человеческого сознания, и тогда человек совершает поступки, какие он никогда не совершал, тогда неожиданно изменяется обычный строй мыслей его и чувств, его характера, отношения его к окружающему. Утверждают, что молодые, революционные классы всегда склонны к излишнему рационализму, к преувеличенной вере в творческую силу разума, в противовес слепым инстинктам и смутным эмоциям. Я отнюдь не склонен умалять великое преобразующее значение человеческого разума. Но марксизм никогда не придерживался взгляда, что мнения правят миром. Последователи Маркса всегда понимали и учитывали стихийность общественных процессов и то, что, по выражению Маркса, «исторической борьбе мы должны отличать фразы и продукты воображения партией от их дей-

ствительного организма и их действительных интересов, их представления от их реального содержания». Точно так же обстоит дело и в частной, в личной жизни человека. Марксизм—наука. Пролетариат не нуждается в «иллюзиях мира». Утверждая, укрепляя страну советов, пролетариат впервые практически делает скачок из царства необходимости в царство свободы, из области господства стихии в область разумного руководства общественным развитием; но именно поэтому его руководители, его теоретики, практики, его художники обязаны трезво, с полной дальновидностью и ясностью уметь определять удельный вес сознательного и бессознательного в общественной и индивидуальной жизни прошлого, настоящего и нового будущего.

IV.

В современном художестве много выдумывают и часто занимаются сочинительством самого дурного тона. Пишут романы и повести о графах, о князьях, о сенаторах, которых ни разу не видели, не наблюдали в их быту, пишут о старых подпольщиках, не зная ни подполья, ни прежней революционной обстановки, пишут об английских лордах, об американских миллиардерах, не имея о них никаких представлений, кроме тех, которые вычитаны и заимствованы (а иногда и сворованы) из книг, из публицистических статей, изображающих Индию, Китай, Австралию, Англию, не побывав в них, описывают исторические события и людей, не вникнув в эпоху и не зная ее, фантазируют о будущем, как кому заблагорассудится, сочиняют стихи о героических битвах, о подвигах, не умея вложить пачку патронов в винтовку, занимаются психологическими анализами, философствуют, обладая умственным багажом блаженной памяти Кифы Мокиевича, поучают, как надо быть «идеологически выдержанным», располагая лишь одними талантами и развязностью Хлестакова. Даже лучшие, наиболее талантливые и строгие художники нередко позволяют себе прибегать к сомнительным выдумкам. Читатель сплошь и рядом испытывает чувство недоверия, неуверенности. Писатель не убеждает, не побеждает его до конца. А в этом «до конца» в искусстве вся суть дела. Искусство не терпит полупобед, полууспеха, оно не знает отступлений, остановок, его оружие приятно, но всевластно, оно не допускает ни восстаний, ни даже возражений: диктатура искусства безусловна, непререкаема. А этого-то как-раз часто у нас и нет. Да, превосходно, умно, живо: может быть, так и нужно изобразить вот это событие и этого человека, как изобразил их художник, может быть, но, может быть, обо всем этом следует написать и по-иному. Возможно, так и было, но, возможно, и не было. И верится и не верится. Нет чувства, нет сознания, когда с радостью, с восхищением, с благодарностью к автору думают:—вот она—настоящая правда, и иначе нельзя написать; я сам видел, смутно переживал то, о чем рассказал писатель, удивительно, как все это просто и понятно и как это не замечено мною раньше!—Бор. Пильняк—очень талантливый писатель; я хочу верить в его западничество, но он отнюдь не убеждает меня в нем, как художник. В превосходном, хотя несколько и растянутом романе Леонида Леонова «Вор» можно сомневаться, действительно ли Митя ушел к дровосекам; я не знаю, не уверен, подплывал или нет селезень к замерзающему крестьянину, чтобы согреться, как о том повествуется в одном из рассказов у Всев. Иванова; я не уверен так же, в самом ли деле у Гладкова в «Цементе» отдавалась Даша партизанам из-за любви к общему революционному делу; и даже у Бабеля есть страницы, не всегда убедительные. Что же сказать о таких надуманных произведениях, как повесть Юрия Либединского «Завтра», о таких, поистине фантастических и вне литературы находящихся вещах, как роман Малышкина

«Две войны и два мира», где художественная правда совсем отсутствует? Наконец, у нас есть халтура, о ней еще давным-давно В. А. Соллогуб писал в своем «Тарантасе»:

> «теперешние портные или литераторы славно себе набили руки для выкройки. У них все дело идет: и политика, и религия, и нравственность, и юридические вопросы, и философские задачи, а паче всего—любовные похождения всевозможных родов... Эта литература приводит мне всегда на память крикливых сидельцев Апраксина двора, которые чуть не хватают прохожих за горло, чтобы сбыть им свой гнилой товар».

Да, у нас многие славно набили себе руку; все у них есть: и «выдержанность, и индустриализация, и международные хищники, и добродетельные герои, и разрешение половых проблем,—нет только иногда одного: подкупающей, искренней художественной правды. Сколько навыдумано, присочинено, измышлено, а то и прямо налгано и сколько книжного добра тлеет в гостеприимных подвалах! И не своевременно ли пустить в ход особую этакую машинку для разгрузки этих молчаливых и мрачных помещений, ибо мыши и крысы тут бессильны?!

Нам нехватает художественной правды. И здесь вновь и вновь следует вспомнить Льва Николаевича Толстого. Толстой—гений, Толстой—прозорливец, Толстые рождаются однажды в пятьсот, в тысячу лет. Но в чем поразительная, потрясающая убедительность его художественных произведений, где ключ к этой убедительности? Этот ключ надо искать, прежде всего, *в просторе и в общеобязательности* того, о чем писал Толстой. Толстой изображал только наиболее простые, общеобязательные в данных условиях душевные человеческие состояния; он умел выделять лишь самое очевидное, непременное, неизбежное. Несмотря на всю свою художественную мощь, он старательно отстранял от себя все мало-мальски сомнительное, недостоверное, запутанное, слишком сложное, непроверенное, смутное и неясное, что не поддается словесному оформлению. Он не измышлял, не выдумывал, не касался того, чего не знал; *больше, он не писал и о том, что могло быть, но могло и не быть.* Он шел от непреложного, обладая высочайшим чувством меры, постоянно себя ограничивая. И потому ему не было нужды оглушивать читателя диковинными вещами, ужасами, придумывать острые, пикантные положения, занимательную, запутанную, сложную фабулу, писать изощренным языком, манерничать, поражать читателя сверхпатетическими отступлениями,—словом, он не делал ничего того, что постоянно делали и делают многие писатели. Толстой знал жизнь высшей аристократии своего времени, помещичью среду, крестьянский быт, и он изображал их. Но он не знал и не интересовался жизнью розничной интеллигенции, мещан, купцов, чиновников, и они почти отсутствуют в его произведениях. Он не изображал также рабочих, городскую и деревенскую бедноту по той же самой причине. Но, главное, он изображал простое, непременное и общеобязательное. Простоту он возвел в высший принцип своей художественной творческой работы. Не даром Пьер думал: «простота есть покорность богу». Какими приемами пользовался Толстой, описывая внутреннее состояние своих героев? Князь Андрей лежит раненый на поле сражения. Казалось бы, какая благодарная тема для художника, какой простор для фантазии, сколько можно написать самых трагических страниц и сколько в самом деле нагорожено, выдумано в наши дни при описании подобных картин. Но ничего этого у Толстого нет.

> «Он (Андрей. **Л. А.**) раскрыл глаза, надеясь увидеть, чем кончилась борьба французов с артиллеристами, и желая знать, убит или нет рыжий артиллерист, взяты и спасены пушки. Но он ничего не видал. Над ним не было ничего уже, кроме неба, высокого неба, неясного, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нем серыми облаками. Как тихо, спокойно и

торжественно, совсем не так, как мы бежали, кричали и дрались. Как же я не видел прежде этого высокого неба? И как я счастлив, что узнал его, наконец. Да! Все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба».

В чем здесь сила? Странно сказать, она в том, что Андрей Болконский, раскрыв глаза, увидел высокое небо.—Только-то,—скажет, может быть, иной читатель, привыкший к сложным изображениям. Да, только, но в этом «только» весь толстовский гений. Увидеть высокое, бесконечное небо, сравнить его с недавним шумом сражения, подумать, что все обман, кроме этого неба,—тут все очень просто. Толстовский прием, казалось бы, до крайности элементарен: он основан на контрасте. Сутолке битвы противопоставлены: небо, облака, тишина, бесконечность. Но это видят все, кто находился, находится и будет находиться в положении князя Андрея, это *просто и общеобязательно*. И мы говорим и чувствуем—да, это было так и иначе быть не могло, это—художественно правдиво. Андрею Болконскому вместе с мыслью о небе, наверное, приходили в голову и другие мысли, лежа на поле сражения он пережил и иные сложные и разнообразные ощущения, но Толстому они не понадобились: он ограничил себя кругом чувств и настроений, всем понятных, для всех обязательных, самых характерных и самых достоверных. О небе князь Андрей должен был непременно подумать, остальное, виденное и передуманное им, могло быть, могло и не быть, и потому Толстой не воспроизвел эти другие состояния Болконского.

Андрей Болконский в Бородинском бою получает вторую рану:

«граната, как волчок, дымясь, вертелась между ним и лежащим ад'ютантом на краю пашни и луга, подле куста полыни.—Неужели это смерть?—думал князь Андрей, совершенно новым, завистливым взглядом глядя на траву, на полынь, на струйку дыма, вьющуюся от вертящегося черного мячика.—Я не могу, я не хочу умереть, я люблю жизнь, люблю эту траву, землю, воздух... Он думал это и вместе с тем помнил о том, что на него смотрят»...

И здесь изображены самые главные и обязательные душевные состояния, и нет ничего сомнительного, случайного, того, что могло быть, но могло и не быть. И так у Толстого всюду. Даже тогда, когда он рассказывал о необычайных, сложных эмоциях, почти не поддающихся изобразительным средствам искусства, он находил простые, обязательные образы. Таково, например, изображение кошмара и духовной смерти Андрея Болконского:

«Он видел во сне, что он лежит в той же комнате, в которой он лежал в действительности, но что он не ранен, а здоров. Много разных лиц, ничтожных, равнодушных, является перед князем Андреем. Он говорит с ними, спорит о чем-то ненужном. Они собираются ехать куда-то. Князь Андрей смутно припоминает, что все это ничтожно и что у него есть другие важнейшие заботы, но продолжает говорить, удивляя их, какие-то пустые, остроумные слова. Понемногу, незаметно все эти лица начинают исчезать, и все заменяется одним вопросом о затворенной двери. Он встает и идет к двери, чтобы задвинуть задвижку и запереть ее. От того, что он успеет или не успеет запереть ее, зависит в с е. Он идет, спешит, ноги его не двигаются, и он знает, что не успеет запереть дверь, но все-таки болезненно напрягает свои силы. И мучительный страх охватывает его. И этот страх есть страх смерти: за дверью стоит о н о. Но в то же время, как он бессильно, неловко подползает к двери, это что-то ужасное, с другой стороны уже, надавливая ломится в нее. Что-то нечеловеческое—смерть—ломится в дверь, и надо удержать ее. Он ухватывается за дверь, напрягает последние усилия—запереть уже нельзя—хоть удержать ее; но силы его слабы, неловки и надавливаемая ужасным дверь отворяется и опять затворяется. Еще раз оно надавило оттуда. Последние сверхчувственные усилия тщетны, и обе половинки отворились беззвучно. О н о вошло, и оно есть с м е р т ь. И князь Андрей умер. Но в то же мгновенье, как он умер, князь Андрей вспомнил, что он спит, и в то же мгновение, как он умер, он, сделав над собой усилие, проснулся.—Да, это была смерть. Я умер—я проснулся. Да—смерть—пробуждение,—вдруг просветлело в его душе, и завеса, скрывавшая до сих пор неведомое, была приподнята

перед его душевным взором. Он почувствовал как бы освобождение прежде связанной в нем силы и ту странную легкость, которая с тех пор не оставляла его».

То, что пережил князь Андрей, относится к душевным состояниям, трудно понимаемым в обычном, в нормальном состоянии; еще труднее чувства и мысли Андрея Болконского поддаются изображению. И, однако, Толстой нашел простейшие обязательнейшие художественные средства. Он изобразил уход от жизни князя Андрея с помощью сновидения, довольно обычного, которое переживается и испытывается очень многими, всем понятного и близкого. Многие из нас не раз переживали во сне то, что увидел Андрей Болконский: и это непонятное, страшное и безымянное, ломящееся в дверь, и ощущение, что нужно запереть дверь во что бы то ни стало, и сознание, что нужное мгновение уже упущено, и эти попытки запереть дверь и даже эту страшную подробность, что дверь отворяется и затворяется и что половинки ее, наконец, открываются *беззвучно,* простым, наглядным «примером» Толстой приблизил, сделал понятным кризис, происшедший с князем Андреем. Тут полная победа над материалом, одержанная с помощью общеобязательного, и я не знаю в мировой литературе более гениальных и более простых страниц, чем те, которые посвящены Толстым смерти Андрея Болконского. Толстой никогда не изменял своему основному приему. Наполеон стоит на Поклонной горе, он впервые видит Москву. О чем думает прославленный полководец? О том же, о чем непременно подумал бы любой из самых обыкновенных людей, находясь в положении Наполеона. *Основное* чувство, переживаемое Наполеоном, поистине самое элементарное и убогое, даже ребяческое:

«Вот он, наконец, этот знаменитый, азиатский город»... «это правда, что я в Москве?»... «но, неужели я в Москве?».

Кутузова Толстой любил за то, что он был прост, говорил всегда самые обыкновенные вещи, за то, что он презирал и знание, и ум, сложнейшие и хитроумнейшие диспозиции и верил лишь в правду народной стихии. Просты и примитивны Каратаев, Ерошка, Аким, Денисов, Ростов. В чем смысл духовного переворота, пережитого Пьером в плену у французов? Толстой сообщает:

«в первый раз Пьер вполне оценил наслаждение еды—когда хотелось есть, питья—когда хотелось пить, сна—когда хотелось спать, тепла—когда хотелось говорить и послушать человеческий голос»....

О бурном и трагическом 12 годе Толстой пишет:

«рассказы, описания того времени все без исключения говорят только о самопожертвовании, любви к отечеству, отчаянии, горе и геройстве русских. В действительности же это так не было... Большая часть людей того времени не обращала внимания на общий ход дел, а руководилась только личными интересами настоящего. И эти-то люди были самыми полезными деятелями того времени».

Описывая природу, Толстой тоже оставлял в стороне все спорное, экзотическое, затейливое, подчеркивая лишь то, что должен видеть каждый из нас (но не всегда видит):

«стояла та необычайная, всегда удивляющая людей, осенняя погода, когда низкое солнце греет жарче, чем весной, когда все блестит в редком, чистом воздухе так, что глаза режет; когда грудь крепнет и свежеет, вдыхая осенний пахучий воздух; когда ночи даже бывают теплые, и когда в темных, теплых ночах этих беспрестанно, пугая и радуя, сыплются золотые звезды» и т. д.

Простота и общезначимость толстовского творчества имеют две стороны: никогда не следует у Толстого смешивать простоту изображения с неуклонным стремлением его живописать лишь самое обязательное и безусловное, хотя одно органически связано с другим. Толстой как бы говорит нам всегда своим несравненным художественным опытом:—если вы хотите быть ху-

дожественно-правдивыми, изображайте, описывайте, рассказывайте только то, что должно быть, не может не быть в данных условиях; избегайте не только все сомнительное, смутное, запутанное, но и то, что может быть, а может и не быть, лишь одно безусловное и общезначимое создает подлинно-правдивое произведение и лишь этот «прием» достигает верной цели: произведение искусства тогда долговечно и созвучно не узкому кругу людей, а миллионам людей. Не надо думать, что толстовский «прием» легок; наоборот, он—самый трудный: наиболее элементарные свои состояния мы обычно не замечаем, они слишком привычны и слишком первичны.

Нет сомнения, Толстой, как и всякий иной художник, сочинял, и, может быть, гораздо больше, чем это кажется с первого взгляда. Но художественная выдумка Толстого заключалась в своеобразном комбинировании материала, в его отборе и отсортировке, согласно тому методу, о котором говорилось выше. Могут возразить еще, что есть другой путь, путь Достоевского. Да, такой путь есть, путь изображения сложнейших психологических узоров, проникновения в сокровенные, в темные недра человеческого духа, путь художественного эксперимента, доведенного до крайности. Что можно ответить на такое возражение? «Могий вместить, да вместит». Достоевский мог вместить, но творческий путь Достоевского и более узок; несмотря на свою гениальность, Достоевский не имел и, вероятно, не будет иметь такого широкого влияния на читателей, какое имел и имеет Толстой. Кроме того, едва ли можно сомневаться в художественной правде у Достоевского; не даром ученые, психиаторы и психологи утверждают, что разные болезненные состояния, припадки эпилепсии, кошмары, бредовые и полубредовые ощущения, не говоря о прочем, описаны Достоевским с такой точной протокольностью, что могут помещаться в учебниках.

Символизм, футуризм, имажинизм, конструктивизм, космизм, ритмическая проза, «смещение плоскостей», пышное изобилие самых красочных, самых причудливых образов, эпитетов, азиатская пестрота и живописность, увлечение сказом, стилизацией, хитроумнейшие сюжеты «шиворот навыворот», плакатность, митинговость, «индустриализация» и «электрификация» стиля, а в итоге часто—огорченный, оглаушенный, недоумевающий либо скучающий читатель. «Сколько их, куда их гонят?». Да, мы готовы сдаться, готовы признать свое невежество, свою непосвященность в тайны школ и групп, готовы прославить их представителей и застрельщиков, но все же мы сомневаемся. Хорошо, превосходно, но нет уверенности—было ли *непременно* так, как о том повествуют и пишут стихи, или эта непременность отсутствует? И футуризм, и имажинизм, и космизм, и смещение плоскостей, и многое другое имеют свои исторические оправдания, свои несомненные заслуги. Наша современная литература самобытна, в ней содержится много поучительного, в ней нет гнилостного застоя и безыдейности, за последние годы наша литература сумела привлечь к себе внимание обширных читательских кругов, и все-таки она не приблизилась к нему вплотную. В чем же препятствия? Причин много. Изрядной долею эти причины надо искать в том, что искусству наших дней все еще нехватает художественной правдивости. Для того же, чтобы ее было больше в числе всего остального, нам следует твердо помнить завет Толстого—изображать только то, что непременно, безусловно бывает, и избегать не только всего сомнительного, но и того, что может быть, но может и не быть. Нужно помнить, что пришел новый, низовой читатель, ему толстовская простота ближе замысловатых, затейливых приемов, пора усвоить, что художественная выдумка не имеет ничего схожего с той психологической и всякой иной отсебятиной, которою нас совсем нередко награждают, да еще требуют благодарности, признаний и восхвалений.

V.

Еще несколько дополнительных соображений о дурном сочинительстве. В русском переводе появились романы Марселя Пруста—«В поисках за утраченным временем», «Под сенью девушек в цвету». Романы Пруста очень трудны для усвоения. Они исключительно психологичны; между прочим, в них дается замечательное изображение процесса припоминания. Для писателя припоминание имеет гигантское значение. Художник должен обладать незаурядной образной памятью. Романы Пруста поучительны в том отношении, что в них писатель с исключительной тщательностью и правдивостью воспроизводит, с помощью каких средств, методов он заставлял себя припоминать такие мелочи из далекого прошлого, какие, казалось бы, безвозвратно погибли для памяти. Вот, например, один из выводов Марселя Пруста, касающийся процесса припоминания:

> «Когда от недавнего прошлого ничего уже не осталось, после смерти живых существ, после разрушения вещей, одни только более хрупкие, но более живучие, но более невещественные, более стойкие, более верные з а п а х и долго еще продолжают, словно души, напоминать о себе, ожидать, надеяться, продолжать среди развалин всего прочего, нести, не изнемогая под его тяжестью, на своей, едва ощутимой, капельке огромное здание воспоминания».

Путем длительного, упорного, постоянного упражнения, наблюдений над собою, усилий Пруст довел припоминание до предельной виртуозности. Читатель в самом деле убеждается, что автор не выдумывает, а правдиво восстанавливает драгоценнейшие картины и события из своего детства и юности. Если с этой точки зрения присмотреться ко многим произведениям наших современных писателей, то не трудно будет убедиться, насколько поверхностна и случайна бывает у авторов творческая работа припоминания, как бледны, тусклы эти воспоминания и как много в них надуманного и неправдивого. Из современных художников слова образной памятью больше всех наделен, пожалуй, Максим Горький; правдивы также: «Повесть о многих превосходных вещах»—А. Толстого, «Детство и юность Алпатова»—Мих. Пришвина.

VI.

В «Былом и думах» Герцен писал:

> «Ничего в мире не может быть ограниченнее и бесчеловечнее, как оптовые осуждения целых сословий по надписи, по нравственному каталогу, по главному характеру цеха. Названия—страшная вещь... Это—убийца, говорят нам, и нам тотчас кажется спрятанный кинжал, зверское выражение, черные замыслы, точно будто убивать—постоянное занятие, ремесло человека, которому случилось раз в жизни кого-нибудь убить. Я имею отвращение к людям, которые не имеют, не хотят или не дают себе труда итти дальше названия, перешагнуть через преступление, через запутанное, ложное положение, целомудренно отворачиваясь или грубо отталкивая».

Суждения по надписи вообще свидетельствуют о большом скудоумии, но в искусстве они бывают прямо гибельными. Искусство конкретно. Общее, типичное в искусстве обнаруживается лишь с помощью и при посредстве особенного, индивидуального, неповторимого. Произведение искусства перестает быть убедительным и художественно правдивым, как только эту конкретность изображения подменяют «суждениями по надписи». У нас таких подмен сколько угодно. Чаще всего к таким и подобным подменам прибегают благодаря убогому толкованию классовой точки зрения. У нас постоянно смешивают суб'ективные чувства, мысли и настроения изображаемых героев с их действительным значением в жизни. Поэтому и полагают, что капиталист

лично всегда мерзавец, исчадие ада, зверь, подлец, изверг и т. д. Существует особый шаблон в изображении владельца фабрики, кулака, белогвардейца, мещанина, коммуниста, рабочего, комсомольца; всякое отклонение от этого шаблона считается отступничеством; строчатся грозные статьи, делаются отечественные и начальственные внушения, исступленно работают редакционные ножницы и красный карандаш. Читатель же со скукой откладывает книгу в сторону, в лучшем случае говорит: благонамеренно, но сухо и безжизненно. И старательные советчики, и сам писатель не понимают, что они оказывают революционному искусству медвежью услугу. Наше время—тенденциозное. В эпохи острых классовых битв тенденциозность—неизбежное и естественное явление в искусстве. Но и тенденциозность бывает различна. Иногда тенденциозность содействует художественной убедительности произведения и, во всяком случае, не мешает ей. Это бывает тогда, когда художник сохраняет чувство меры, когда тенденция органически связана со всеми мировоззрениями художника и когда она поясняет, усиливает правдивость изображения. Поэтому-то такие заведомо тенденциозные произведения, как «Что делать»—Чернышевского, «Кто виноват»—Герцена—Искандера, «Андрей Кожухов»—Степняка-Кравчинского в свое время оказывали могучее воздействие на целые революционные поколения. К сожалению, тенденциозность художественных произведений нашего времени очень часто не удовлетворяет этим основным требованиям. Прежде всего, у нас много грубых, явно фальшивых и бессовестных подделок под революционность. Об этом говорилось и писалось вполне достаточно, но «воз и поныне там». Гораздо, однако, опаснее поверхностное усвоение революционно-марксистской идеологии пролетариата, лишь бы выходило хотя и дешево, но зато горячо. Это опаснее потому, что, с первого взгляда, тут все на месте, но при первой же *жизненной* проверке такая «выдержанность» терпит очвидные крахи, а в искусстве лишь очень прозрачно прикрывает самое обыкновенное «россейское» мещанство, литературный и не литературный карьеризм, а то и впрямь самые недвусмысленные пошлости и враждебное отношение к делу рабочего класса.

В искусстве, как и в других областях жизни, мертвое всюду хватает живое и мешает правдоискательству. Художник, подобно остальным обыкновенным людям, всегда несет с собой огромный груз прошлого; унаследованные атавистические инстинкты, отжившие предрассудки, привычки, верования, давным давно сданные в архив передовыми людьми мысли, закоруэлые обывательские суждения, ничтожные, ходкие мненьица—все это окружает художника с раннего детства и до последнего его часа и все это препятствует постигнуть ту художественную правду, которая смутно мерещится ему. Все это ему нужно преодолеть. Лишь тогда художнику открываются своеобразные видения в окружающем, только тогда он начинает видеть то, что не видят, не замечают другие, и лишь в эти моменты он переживает то особое творческое самочувствие, которое называется вдохновением. В примелькавшихся фактах, в мелкой повседневной жизни он неожиданно для себя находит новый смысл, пережитое получает новое освещение, постигаются новые истины. Особенно это нужно помнить в революционные эпохи, когда наши чувства и наши мысли явно отстают от общественного бытия. В частности, в эти моменты особенно важно, чтобы писатель вдохновлялся не книгами, не газетами, не журнальными статьями, а самой жизнью, потому что только она помогает художнику освободиться от всякого застойного, отжившего. Как это ни странно, наша литература, и пролетарская, и непролетарская, органически еще не слились с нашей действительностью. Иногда испытываешь впечатление, что жизнь сама по себе, а наше искусство—само по себе. Искусство лишь *сопри-*

касается с жизнью, но не входит в нее составной частью. Оттого-то и у искусства наших дней есть свои беспризорники. Беспризорником является средний рабочий, работающий на фабрике и на заводе, о нем не умеют писать, его быта не знают; беспризорником является современный чиновник и бюрократ; беспризорником является новый буржуа, нэпман; беспризорными были дети революции—о них стали писать только за последние два года («Республика Шкид», «Дневник Кости Рябцева» и т. д.), словом, беспризорных тем у нас сколько угодно, и это свидетельствует о том, что наше искусство еще очень сильно вдыхает в себя тепличный, парниковый воздух. Вдохновляются плохо усвоенными передовыми статьями, стилизуют, рабски подражают образцам прошлого, слегка гримируют прежних, хорошо известных героев и героинь, списывают друг у друга, занимаются прямыми плагиатами, воруют и целые страницы и отдельные фразы и образы, выдавая их простодушным читателям за свою творческую работу. За последнее время, например, особенно рьяно и беззастенчиво «используют» Бунина—благо он за рубежом и новому читателю часто известен лишь по-наслышке. Такое «использование» старого культурного наследства практикуется очень широко. Пора ему положить конец. Излишне напоминать, насколько все это вредит художественной правде и убедительности.

Есть еще одно условие, необходимое для художественно-правдивого изображения жизни. Об этом условии у А. П. Чехова очень хорошо напоминает старик-профессор в «Скучной истории»:

> «Исключая двух-трех стариков,—говорит он,—вся нынешняя литература представляется мне не литературой, а в своем роде кустарным промыслом, существующим только для того, чтобы его поощряли, но неохотно пользовались его изделиями. Самое лучшее из кустарных изделий нельзя назвать замечательным и нельзя искренне его похвалить без «но»; то же самое следует сказать и о всех тех литературных новинках, которые я прочел в последние 10-15 лет; ни одной замечательной, и не обойдешься без «но». Умно, благородно, но не талантливо; талантливо, благородно, но не умно; или, наконец, талантливо, умно, но не благородно.
>
> Я не скажу, чтобы французские книжки были и талантливы, и умны, и благородны. И они не удовлетворяют меня. Но они не так скучны, как русские, и в них не редкость найти главный элемент творчества—чувство личной свободы, чего нет у русских авторов. Я не помню ни одной такой новинки, в которой автор с первой же страницы не постарался бы опутать себя всякими условностями и контрактами со своею совестью. Один боится говорить о голом теле, другой связал себя по рукам и по ногам психологическим анализом, третьему нужно «теплое отношение к человеку», четвертый нарочно целые страницы размазывает описаниями природы, чтобы не быть заподозренным в тенденциозности. Один хочет быть в своих произведениях мещанином, другой непременно дворянином и т. д. Умышленность, осторожность, себе на уме, но нет ни свободы, ни мужества писать, как хочется, а, стало быть, нет и творчества».

Отзыв профессора относится к временам стародавним, но с известными ограничениями он может быть отнесен и к нашей литературной действительности. Не будем самообольщаться: у нас тоже многое (конечно, далеко не все) похоже не на литературу, а на кустарный промысел, существующий только для того, чтобы его поощряли, но неохотно пользовались бы его изделиями. В литературе у нас расплодилось много бесхребетных и беспринципных людей. Они снуют повсюду—одни с одной лишь готовностью услужить, другие с кукишем в кармане, третьи—равнодушные ко всему, за исключением червонца, четвертые—с обалделым и измученным видом, пятые—«с социальным нахрапом», шестые—с ударностью, седьмые—еле очухавшись с перепоя, восьмые—с твердым убеждением, что нынешний читатель «не разберет» и т. д

и т. д., а в итоге—ремесленные, никому не нужные изделия. Мы не можем допустить, чтобы чувство личной свободы испытывали враги революции, полувраги, опустившиеся мещане, но все надо делать с разумом, чего у нас, по правде говоря, сплошь и рядом нехватает. У нас часто смешивают современность с злободневностью. Истинный, правдивый и чуткий художник должен находиться в тесном, в органическом союзе с нашей революционной современностью: торжество международного коммунистического дела—вот единственная верховная цель творческой работы художника наших дней. В соответствии с этим он должен суметь отразить новые чувства и мысли наиболее передового класса, обязан уметь подметить, подглядеть ростки нового быта повести борьбу со всеми и со всяческими пережитками. Но это не означает, что нужно подпевать разным группкам, угождать рынку, дурным вкусам, моде. Художник должен уметь сочетать временное с вечным. Только тогда его вещи и становятся достижением будущего, и только в таких произведениях подолгу живет художественная правда.

Русская художественная литература революционного десятилетия.

А. Лежнев.

I.

За эти десять лет русская литература испытала такие удивительные перемены и превращения, подобные которым едва ли можно найти в каком-либо другом историческом отрезке равной продолжительности. Правда, уже раньше, с началом нового столетия, смена поэтических напразлений стала у нас происходить с необычайной стремительностью.

При всей своей пестроте и судорожности, при всей ожесточенности борьбы художественных группировок развитие дореволюционной литературы все же укладывается в рамки эволюции более или менее равномерной и лишенной разрывов постепенности. После же Октября происходит как-раз разрыв постепенности. Это сказывается уже в радикальной смене оснозных литературных кадров. Их составляют писатели или вовсе новые, или только предприявшие первые неуверенные шаги в годы войны и кануна революции, писатели, творческая индивидуальность которых сложилась уже в пооктябрьские дни: Сейфуллина, Всев. Иванов, Бабель, Пильняк, Федин, Артем Веселый, Леонов. Здесь названы лишь прозаики, а ведь проза—наиболее консерзативная область художественного слова. Перед нами один из редких моментов в истории искусства, когда им почти всецело завладела молодежь. Дело здесь не в том, что «старики» умерли или рассеяны ветром эмиграции. Мертвый Чехов продолжал оставаться живым для поколения между двумя резолюциями, быть может, более живым, чем все здравствовавшие современники. Эмиграция заставила замолчать Куприна, но она не заставила замолчать Гейне. Дело в том, что Андреев, Арцыбашев, Куприн, сам Чехов, знятные и действенные десять лет назад , перестали для нас «звучать». Словно произошел обвал и скрыл под камнями и обломками то, что сделало в искусстве ближайшее к нам поколение. Писатели-эмигранты кажутся нам иностранцами не потому, что они отрезаны от родной почвы и механически от'единены от общего потока русской литературы. Не было бы большой разницы, если бы они все остались в России. Они были бы все равно отброшены от главного течения, все рано не смогли бы сохранить свое положение основных кадров. Они—иностранцы, они чужды нам потому, что представляют вчерашний день, угасшие настроения, исчезающий строй мысли. Из больших «стариков» почти один только Горький сумел войти в литературу сегодняшнего дня, как действенная сила; но он ведь и всегда стоял особняком.

II.

Литературу революционного десятилетия можно разделить на два периода, границей между которыми служит 1921 год, год введения нэп'а. В первом, совпадающем с эпохой гражданской войны, прабладают процессы распада старой литературы. Во втором, соответствующем периоду восстановления народного хозяйства, на первый план выдвигаются процессы новообразовательные.

Распад старой, дореволюционной литературы происходил стремительно и неудержимо. Быть может, правильнее было бы говорить даже не о распаде, а об онемении, о параличе.

Почему же так случилось? Почему произошел такой скорый и почти полный паралич старой литературы? Самый как будто простой и естественный ответ: inter armae silent musae*).

Время острой гражданской войны мало подходит для развития литературы. Не потому (или не только потому), что «музы» напуганы шумом оружия. Исчезают необходимые материальные условия для литературного (и вообще художественного) «производства». Резко уменьшается количество журналов и печатаемых книг. Энергия революции уходит на непосредственную борьбу с врагом. Нет возможности уделить достаточно внимания и материальных ресурсов искусству. Хозяйственная разруха лишает его не только нужных средств производства, но и потребителя и т. д., и т. д.

Все эти и аналогичные им обстоятельства несомненно об'ясняют многое. Но не все. Нашлись же в дореволюционном искусстве группы, которые сумели, не только сохраниться в огне гражданской войны, но и развернуть свою деятельность в значительно более широком, чем прежде, масштабе (футуристы). Далее—если дело было только в гражданской войне и связанных с ней сугубо «материальных» фактах, как разруха и т. д. и, значит, паралич старой литературы язляется временным, то почему же он не прошел, когда минула гражданская война и постепенно исчезли пресловутые факторы?

Старая литература погибла потому, что революция разрушила тот социальный базис, на котором она выросла.

Чем дальше шло ее развитие, чем дальше уходила она от рубежей 1905 г., приближаясь, не подозревая о том, к другим грозным рубежам: войны и второй революции, тем больше теряли з удельном весе и влиянии ее радикальные и народнические группировки, и тем все большее значение получало буржуазно-окрашенное ядро. 1905 г. явился здесь переломным моментом. Наступившее вслед за ним торжество символизма—первое в русской литературе торжество откровенно-буржуазного направления. «Героический» период русской литературы кончился уже тогда, сколько покойный Венгеров не уверял в обратном. Она стала «европеизироваться», и кто знает, до какой степени европеизации сумела бы она дойти, если бы революция 1917 г. не прервала этот «естественный» процесс. Не то, чтобы она сделалась вся политически-реакционной. В царской России, стеснительной даже для буржуазии, трудно было не сохранить хотя бы легкую оппозиционную окраску. Но технически-умелая и обогащенная завоеваниями европейского мастерства, эстетствующая и кокетничающая мистицизмом, она свое внимание обращала в сторону личных проблем и все больше избегала общественных мотивов. Тот революционный, протестующий, общественный пафос, который был так характерен для русской литературы и так удивлял иностранцев, понемногу исчезал из нее. Она становилась похожей на среднюю, «нормальную», стабилизованную европейскую литературу времен упадка: все, как в самых лучших домах.

Подобное искусство оказалось, конечно, меньше всего созвучным революции. Расхождение между ними—«ножницы»—было гораздо больше, чем, например, в 1905 г. За 12 лет, протекших между обеими революциями, искусство развивалось как-раз в таком направлении, которое увеличивало угол расхождения. Оно связало себя с буржуазией. Оно теснейшим образом приросло к этой социальной своей основе. Естественно, что когда революция разрушила основу, она тем самым разрушила выросшее на ней искусство. Последнее слишком стабилизовалось, перетерпело слишком сильный процесс буржуазного перерождения, чтоб суметь приняться на новой почве, срастись с революцией. Расхождение между ними было непримиримо.

III.

Старая литература погибла не из-за разрухи, расстройства производственного аппарата и т. д. (хотя и это имело значение), а потому, что разметан был социальный базис, на котором она возникла. Почему же сумел сохраниться и даже расцвести футуризм, занимавший один из флангов, пусть и крайний «левый», этой литературы?

Правильное разрешение вопроса дает Л. Д. Троцкий. Футуризм сумел принятся на новой почве потому, что зетер революции захватил его не сложившимся, не успевшим пустить прочных корней в буржуазную «общественность», молодым и не признанным, только боровшимся за «место под солнцем». Он еще находился в «богемной», оппозиционной стадии развития.

Революция в первые свои годы, в периоде острой гражданской войны, требовала подчеркнуто-агитационного, плакатного, лозунгового искусства. Ни одна из школ старой литературы не была приспособлена—даже не в силу настроений, а в силу методов работы, подхода к искусству, взглядов на него—к «агитке». Наоборот, футуристы только приветствовали такую плакатную, лозунговую поэзию. Дело было не

*) Когда говорит оружие—молчат музы.

столько в революционности, сколько в том, что в «агитке» работа поэта сводилась*) к словесному оформлению уже готового и несложного идеологического «материала», а это вполне отвечало формальным тенденциям футуризма. Можно спорить, допустим ли такой чисто формальный подход даже к агитке, и насколько удачно получалась она у футуристов, но одно то, что футуристы не отшатнулись от «агитки» и стали ее культивировать, явилось уже большим преимуществом для них.

Гражданская война привела к сильнейшему сокращению литературного производства. Перестали выходить журналы, выпускалось очень немного книг... От печатания писатели бывали вынуждены перейти к зачитыванию своих произведений перед аудиторией клуба или кафэ. Начинался устный, «кафейный» период русской литературы.

Футуристам, с их установкой на звук, на декламацию, с их привычкой к словесным дракам и выработанной долголетней практикой скандалов непринужденностью, эстрада оказались особенно подходящей. Отныне их производство идет по двум линиям: агитационной и «кафейной», при чем определяющей является, конечно, кафейная. «Кафейная» аудитория становится на время опорой искусства, правда, опорой шаткой, неустойчивой, слабой, но по необходимости замещающей старую разрушенную основу, пока не образовалась новая прочная социальная база. Эта текучая аудитория, на три четверти интеллигентская, изменчивая, жаждующая эксцентризма и новизны, скоро выдвинет и раструбит имажинизм, ее специфическое порождение, но до известного срока, она служит не плохой питательной средой и для футуризма.

Футуризм побеждает потому, что обстоятельства складываются для него необычайно благоприятно. Прежние его противники, старое стабилизованное искусство, разметаны революцией, приведены к молчанию. Новые соперники не успели еще народиться. Зачатки пролетарского искусства слишком слабы, чтоб их принимать в расчет, как серьезную силу. На поле битвы остается один футуризм. Ему не с кем бороться.

IV.

Характерной чертой футуризма того времени (как и всего революционного периода) является гипертрофия теории. Он гораздо деятельнее в области теоретических построений и полемики, чем в области художественной «практики», непосредственного творчества. В сущности революционный футуризм первых трех лет (1918-20) заключался в двух поэтах: Маяковском и Вас. Каменском, между которыми и вокруг которых вился целый рой теоретиков. Прочие поэты-футуристы присоединились лишь позже (как Асеев и Третьяков) или так и остались в стороне, продолжая прежнюю линию работы (Хлебников, Крученых). И если дореволюционный футуризм никак нельзя было свести к Маяковскому, то футуризм 1918-20 г. г. почти целиком покрывался фигурой этого крупного поэта. Когда речь заходила о том, что же собственно дал футуризм, как революционное течение, его теоретики немедленно указывали на Маяковского, на его «Мистерию-Буфф», «Войну и Мир», революционную лирику.

Революция застала Маяковского в расцвете, в апогее его творчества. Никогда—ни прежде, ни позже—не было у него таких плодотворных лет, как 1915-17—годы создания «Облака в штанах», «Флейты позвоночника», «Человека», «Войны и Мира». Именно тогда Маяковский развернулся во всю ширь. Быстрыми шагами взбирается он по лестнице своего развития. К 1917 году он ее прошел уже почти до конца. Ему оставалась только одна ступенька. И этой ступенькой явилась «Мистерия-Буфф».

«Мистерия Буфф» обозначала переход поэта от богемно-анархического бунтарства к отчетливой революционной целеустремленности. И в этом было ее положительное значение (потому-то ее и можно назвать дальнейшей, т.-е. более высокой ступенью в его эволюции). Но она в то же время явилась началом его замыкания в элементарную агитку. А это было началом упадка Маяковского, как художника. Агитка—несомненно законнейший (а иногда и нужнейший) вид искусства, но когда она делается единственным его видом, она приводит искусство к обеднению. Во всяком случае, Маяковского она обеднила. Он обладал слишком сильным художественным и бунтарским темпераментом, он нес в себе слишком большой груз личного, индивидуалистического содержания, чтобы он мог без ущерба для себя втиснуться в тесные рамки агитки. То, что Пунин назвал его классицизмом**), являлось на деле его стабилизацией, остановкой в росте и развитии. После «Мистерии Буфф» Маяковский ничего принципиально нового не произвел. Некоторое время его творчество сохраняет еще тот грех, который присущ его лучшим годам (1915-17 г. г.), что особенно проявляется в небольших лирических вещах («Наш марш» и «Ода революции»). Но постепенно оно на-

*) Или могла быть сведена.
**) «Искусство Коммуны».

чинает застывать в найденных формах и достигнутом мастерстве. Его апогей, его вершина позади.

Путь Маяковского характерен для футуризма в целом*). Таким поэтам, как Асеев, у которых было меньше и темперамента, и содержания, работа над агиткой принесла вначале пользу: она дала им то содержание, которого нехзатало их беспредметной формальной поэзии (так газ надувает сжавшуюся оболочку шара или воздух—пустую шину),

Но и они впоследствии вынуждены были повторяться и закостеневать в найденных приемах при извне заимствованном «содержании».

Так, заняв пустое место, освободившееся после гибели старой литературы, добившись на время господства в искусстве, футуризм и сам постепенно превратился в пустое место, выветрился, свелся к нескольким застывшим догматам и формальным канонам. Но это не значит, что он не сыграл своей исторической роли. Она прежде всего заключалась в том, что футуризм очистил русскую литературу от большей части того мусора, который был нанесен символизмом и родственными ему течениями.

Но футуризм оказал сильнейшее влияние на последующую литературу не только своим отрицанием, которое, впрочем, шло гораздо дальше, чем следует, и из отрицания символизма перешло в отрицание всего искусства прошлого. Современная поэзия несет на себе неоспоримый отпечаток его поэтики, его приемов, даже его настроений. Из его школы вышел конструктивизм. Его воздействие испытали на себе и пролетарские поэты (Безыменский, Обрадович). Правда, это влияние ослабевает с каждым годом, и еще вопрос, насколько оно—факт положительный...

Если футуризм и обагатил поэзию рядом новых приемов, то ведь не надо забывать о таких его особенностях, как эксцентризм, «разорванное сознание», крайний индивидуализм, словесное фокусничание, обо всем этом недобром футуристском наследии, которое современной поэзии приходится с трудом и напряжением преодолевать в себе.

V.

Весь «устный» период русской литературы проходит под знаком футуризма. С футуризмом тесно связан и имажинизм, типичное порождение «кафейной» атмосферы.

Имажинизм не был однороден по составу. В нем можно было различить две группы. Одна включала в себя большую часть имажинистского «актива» (Шершеневич, Мариенгоф, Ивнев). Это была группа «городская», едва ли не урбанистическая по своей окраске и настроениям, группа, так сказать, деклассированных интеллигентов, т.-е. интеллигентов, утративших какую-нибудь определенную социальную установку. Часть из них имела уже длительный стаж в школе Северянина и проделала всю ее эволюцию, ее путь приспособления к мещанству. Теперь укрепившиеся было социальные связи были снова порваны резолюцией, и освобожденные от оков прочных классовых зависимостей поэты вступили во вторую богемную стадию.

Другое крыло имажинизма было сзязано с крестьянством (Есенин). Правда, и здесь богемные черты давали себя чувствовать очень заметно, но все же социальные связи в творчестве Есенина сказывались несравненно сильнее, чем, например, у Мариенгофа. Общность богемных настроений сблизила Есенина с «городским» ядром имажинизма; совершенное отличие их общественной основы заставило их в конце-концоз разойтись...

Можно себя спросить, каким образом на третьем году революции, в период ожесточеннейшей гражданской войны, сумело возникнуть, развиться, занять виднейшее место в литературе такое «направление», как имажинизм, изысканное по форме, богемное по настроениям, лишенное твердой общественной установки? Эксцентрическая школа, воскресившая рекламно-скандальные приемы довоенного футуризма, от которой ясно попахивало тлением? Дело опять было в том, о чем мы уже зыше говорили. Искусство временно оказалось без прочной социальной основы. Не успел еще появиться новый массовый читатель, связанный с художником и контролирующий его, который бы занял место исчезнувшего старого потребителя. Колесо литературы вертелось в холостую. Небольшие круги интеллигенции, преимущественно столичной, уцелевшие остатки богемы, молодежь, только начинающая знакомиться с искусством или приходящая в какое-нибудь «Стойло Пегаса» просто для того, чтобы поглазеть на писателей—зот эта текучая, неустойчивая среда посетителей литературных кафэ и диспутов почти одна только питала, поддерживала, направляла поэзию тех лет.

Для нее были уже непереносны стихи Бальмонта и рассказы Чехова, но эксцентризм Шершеневича или Мариенгофа еще приятно щекотал ее нервы.

---

*) Имея в виду «левый», т.-е. переменивший с революции свою установку футуризм.

Имажинисты имели на первых же порах несомненный и едва ли не решающий успех. Возникший в 1919 г. имажинизм уже в 1920-21 г. господствует и на книжных витринах, правда, немногочисленных, и в литературных кафэ; он кладет отпечаток на всю литературную (не очень богатую, но все же самую жизую в Союзе) жизнь Москвы. Эти годы можно без натяжки назвать годами имажинизма. Но он гибнет почти так же быстро, как расцвел. К 1923 г. он уже распался. В 1925 г. о нем можно говорить лишь, как об историческом факте.

Имажинизм прошел в литературе, не оставив после себя почти ничего, что бы удержалось на долгий срок или сохранило бы интерес и значительность хотя бы для наших дней.

VI.

Футуризм и имажинизм, связанные кровным родством, были теми образованиями, которые явились наиболее характерными для литературы первого периода революции. Но все же и в «старой» литературе, гибнувшей, как целое, и, особенно, в молодых пролетарских группировках, слишком слабых еще для того, чтобы окрасить искусство в свои цвета, имелись такие явления и процессы, мимо которых нельзя пройти.

«Старая» литература дала первая художественный отклик на революцию. Он возник как-раз из «недр» того направления, которое за время реакции (1905-17 г. г.) сумело больше всего стабилизоваться и буржуазно «переродиться» из недр символизма. Это—«Двенадцать»—Блока.

Трудно найти произзедение, которое вызвало бы столько восторгов, но и недоумений и нападок, как «Двенадцать». Нападали на мистику, на конструктивную слабость, на импрессионизм. Сомневались во всем, даже в «смысле» поэмы: хотел ли автор в ней возвеличит революцию или, наоборот, унизить, показав ее звериный лик.

Теперь можно было бы уже отнестись к этой замечательной поэме без запальчивости и придирок. Многое в «недоумениях» выдумано, искусстзенно, сочинено. Смысл «Двенадцати» ясен: революция права, несмотря на все кровавое и грязное, что пристает к ее подошвам. Она права и в своем стихийном проявлении, в сзоем бунтарском облике. Пусть Петрухи—убийцы—они апостолы новой правды, правды иных человеческих отношений. Пусть «нонче грабежи» и «гуляет голытьба»—старый мир, старая Россия гибнет под ее ударами—

Пальнем-ка пулей в святую Русь.
В кондовую,
В избяную,
В толстозадую.

Революция—«без креста», безбожна, но она «с Христом», она полна самоотверженного, «идеалистического» пафоса, пафоса людей, несущих высшую «правду» и преобразующих мир—и символом этого пафоса, а не мистическим символом, является Христос «Дзенадцати». Конечно, этот символ вряд ли уместен по отношению к революции. Он целиком из старого поэтического реквизита Блока. Он возник, как призрак его прошлого. За «Двенадцатью» Блока—двенадцать лет реакции, а это не проходит бесследно. Но ведь никто и не собирается изобразить Блока носителем последовательского революционного мировоззрения. Да, он был одинокий человек, запоздалый романтик, поэт, прошедший школу Владимира Соловьева. Но этот индивидуалист и романтик сумел дать в сзоих «Двенадцати» своеобразную апологию революции.

Этот образ «метельной», стихийной России, вставшей на дыбы, станет через несколько лет излюбленным, господствующим образом в русской литературе, он повторится у Пильняка, Малышкина, Артема Веселого. Точно также не раз зазвучит в поэзии полуславянофильская тема «Скифов».

Но, «преодолев» себя и дав начало новому в «Двенадцати» и отчасти з «Скифах», Блок словно весь высказался и замолк. В закате его поэтической звезды, в его медленном умирании последних лет как-будто символизировалась судьба русского символизма. «Двенадцать» было лучшее из того, что он сумел дать. «Мечтатель»—Блок оказался наиболее живым из всей плеяды когда-то блестящих поэтов, так страшно потускневших в революцию. Еще только Андрей Белый сумел сохраниться, как действенная творческая индивидуальность. Даже Брюсов, «приявший» революцию не пассивно, созерцательно, как сторонний благожелательный наблюдатель, Брюсов, сделавшийся коммунистом, не создал уже ничего художественно-значительного. В этом не было вины Брюсова, как не было вины Блока и др. Здесь сказалась непригодность символизма для нозой жизни, его мертвенность, его изжитость.

VII.

Пролетарская литература первых лет революции развивалась по дзум направлениям. Одно—ударно-агитационное, шедшее формально от классических образцов. Придерживавшиеся его поэты не заботились ни о новизне приемов, ни о том, чтобы

найти специфическое для пролетариата «мирочувствование» и столь же специфический способ выражения последнего. Они старались лишь добиться наибольшей действенности своих «злободневных» стихов, которые должны были явиться орудием в борьбе масс и за массы, и поэтому стремились к максимальной понятности, ясности и отчетливости. Желаемую ясность и простоту, лишенную словесных «вывертов» и формального эксцентризма, отвлекающих внимание в сторону и затрудняющих восприятие, давала «классика».

Другое направление—декларативно-лирическое, более общее и абстрактное, формально связанное с символизмом. Его представители не имели тяготения к «злободневной», изо дня в день, от «случая к случаю», ведущейся агитационной работе. Она у них велась в ином, «высоком», обобщенном стиле.

«Высокий»—лирико-реторический, абстрактно-философский или патетически-декламационный—стиль характерен почти для всех поэтов этого направления. Они не ограничиваются поэтической «практикой». Они стоят близко к «Пролеткульту» и участвуют в его теоретической работе. А она уже и тогда в большей мере сводится к тому, чтобы отыскать «спецификум» пролетарского искусства, найти то, что, согласно теоретическим положениям, должно быть положено в основу пролетарской поэзии. Вот почему творчество пролетписателей первой поры носит часто такой абстрактный, тезисный характер.

Первое направление было представлено почти одним только Демьяном Бедным; за ним шли, правда, многочисленные составители «политических» стихов в газетах, но их произведения по большей части не имели никакой литературной ценности. Второе насчитывало ряд имен, принадлежавших более или менее одаренным, быстро выдвигавшимся поэтам: Кириллов, Герасимов, Гастаев, Филиппченко, Александровский, Обрадович, Самобыткин, Садофьев и др. И все-таки удельный вес первой, значение ее, как активной, действующей силы, связь ее с современностью—были гораздо больше, сильнее, чем у второй. В этом смысле, один Демьян Бедный перевешивал всю остальную пролетарскую литературу того времени. Его влияние, его роль, его популярность были огромны и не могут не быть оценены слишком высоко.

«Агитки» Демьяна Бедного были образцом того, как нужно писать агитки, если хочешь, чтобы они действовали на тех, на кого они рассчитаны, а не удовлетворяли отвлеченным литературным теориям или избалованному вкусу гурмана.

Но если поэзия Демьяна Бедного в огромной степени превосходила творчество тогдашней молодежи (Кириллов, Герасимов и др.) силой своего воздействия на массу, своим «полезным эффектом», непосредственной социальной ролью, то зато творчество молодежи имело гораздо большее значение для дальнейшего развития пролетарской литературы. Демьян Бедный стоит в ней особняком. То, что им написано, имеет смысл и ценность вне тесной зависимости с ее эволюцией. Наоборот, работа молодежи, художественно и не очень сильная, интересна и важна именно, как этап в развитии пролетарской литературы.

Зависимость пролетарских поэтов «первого призыва» от символистов легко об'яснима. Поэты эти начали писать, в большинстве еще до революции, и, естественно, что они складывались под воздействием того направления, которое в то время господствовало. Формальное влияние футуристов в первые резолюционные годы сказывается сравнительно слабо. Оно достигает апогея позже—с выступлением второй смены пролетпоэтов (Безыменский, Жаров), формировавшихся уже в иной литературной атмосфере, в обстановке футуристической гегемонии.

Так же естественна декларативность пролетпоэзии начального периода. Это был период самосознания. Пролетарская литература делала заявку на право существования и в то же время на будущее господство. В таких условиях «декларативность», т.-е. высказывание о себе, возглашение своих целей, усиленное самоутверждение—неизбежны. Литература неизбежно получает реторический, программный, отвлеченный характер. Победы революции придают этой реторике особую торжественность и мажорную яркость. Пролеткультовские теоретики раздувают ее и без того пылающий пафос, ее склонность к отвлеченному «философствованию». Она подымается все выше и выше, ее горизонты раздвигаются все шире, ее обобщения становятся все необ'ятней, и вот она уж теряет из виду грешную землю и остается с глазу на глаз со вселенной, с Солнцами, с Вечностью, с Трудом, с Человеком—со всеми абстракциями с большой буквы. Начинается планетарный, космический период пролетпоэзии.

Отвлеченность пролетарской поэзии стала настолько очевидной, что она вызвала реакцию со стороны молодежи, выросшей в революцию и потребовавшей от литературы «показа» человека современности, перехода к земной конкретности. «Космизм», хотя и не без борьбы, вынужден был сдать свои позиции. Старшее поколение, первый призыв пролетарских поэтов, потеряло свое руководящее значение. Оно и само должно было перейти к иным методам работы. Не только Кириллов, являвшийся и прежде лириком по преимуществу, но и Герасимов, родоначальник «заводской мета-

физики» и самый ее яркий выразитель, занялся «чистой» лирикой. «Космизм» погиб с первыми годами нэпа. Но без него немыслима была бы нынешняя пролетарская поэзия. Он сообщил ей необходимый заряд самоутверждения. Он выделил ее из плоти окружающей литературы. Он переболел за нее болезнями детского возраста. Даже его мотивы повторяются в ней в смягченном виде. Принцип заводского образа, «производственного» восприятия вселенной, дозеденный «космистами» до скучного и безвкусного преувеличения, живет хотя и менее явственной жизнью и в современной пролетарской лирике.

Так, в течение всего нескольких лет литература совершенно изменила свой облик. Изысканную и манерную, занятую «вечными» проблемами любви и смерти, притворяющуюся мистической, отрешенную от realia для realiora или устойчиво-бытовую, традиционно-реалистическую, спокойно-направленческую, радикальную чаще в силу традиций, чем революционного темперамента—ее нельзя было узнать в боевой поэзии агиток и барабанной поэзии «улицы», в заводской романтике «Кузницы» и озорном богоборчестве имажинистов. Новое искусство отрицало все, чем жило и во что верило старое: его эстетизм и его эстетические каноны, его порядок мыслей и его строй чувств, его требования логической расчлененности и внутренней цельности, его психологизм и его реализм, его повышенную оценку значенья художника и порой даже самую необходимость искусства. Статическим и созерцательным формам старого были противопоставлены формы сугубо-действенные и динамические. Динамика достигалась во что бы то ни стало и любой ценой. «Разорванность сознания» и строение по ассоциациям разрушили былое единство вещи. Легкая конница стихов вытеснила грузную пехоту прозы. Вместе с тем проявляется тяготение к утилитарным формам поэзии: агитка, плакат. Возникает теория производственного искусства.

VIII.

Второй фазис в развитии литературы наступает вскоре после введения нэпа. Гражданская война закончилась. Страна входит в период хозяйственного восстановления. Для литературы это означает, прежде всего, возобновление книжного производства, издание журналов, возможность для писателя заняться всерьез писательским делом. На первых порах выдвигается впер д именно количественный рост литературы. Оживают частично замершие в анабиозе группки, сохранившиеся от прежнего. Начинает работать кое-кто из молчавших видных «стариков». Но главное, за счет чего совершается рост, это—появление все новых и новых кадров молодежи—или зовсе еще неизвестной, пришедшей впервые, или только-только начавшей выступать в последние предреволюционные годы. Это начало нового фазиса, характеризующееся преобладанием «количественных» процессов, можно назвать периодом собирания литературы (1921-23 г. г.). Большую роль в деле собирания сыграл журнал «Красная Новь», об'единив··ий вокруг себя ряд писателей, преимущественно прозаиков.

Если «кафейный» период отличался гегемонией стихов и почти полным отсутствием прозы, то новый проходит под знаком постепенно усиливающегося преобладания последней. Проза возродилась,—и это было фактом огромного значения.

Но возродившаяся проза была очень мало похожа на прежнюю. Читателю она даже показалась более своеобразной, чем была на деле. Внешне хаотическая и разорванная, лишенная стройности последовательного развития действия, «многопланная», переходящая то и дело из одной сюжетной или «временной» плоскости в другую, построенная не на архитектоническом, а на музыкальном принципе: повторяющихся лейтмотивов, жадная к цветному народному слову, к заговору и частушке, к газетной вырезке, к архивной пометке, ко всякому красочному «чужеродному» материалу, вставляемому яркими кусочками в ткань произведения, как куски дерева или жести в картины кубистов, судорожная и торжественная—такой предстала она в вещах Бориса Пильняка, виднейшего писателя тех лет. Пильняк не был одинок: за ним или рядом с ним шла целая плеяда писателей: Лидин, Огнев и др. В лице Н. Никитина к нему приблизилась и группа «Серапионовых братьев». «Многопланность» и другие особенности конструкции и слога роднили с ним таких авторов (правда, выступивших несколько, позже), как Малышкин или Артем Веселый, у которых колеблющаяся полисюжетность Пильняка перешла в полную бессюжетность; создавался определенный стиль эпохи, накладывавший свой отпечаток даже и на наиболее удаленные фланги литературы. Литературные истоки этого стиля ясны: он идет, главным образом, от Андрея Белого и Ремизова.

Общность стиля явилась до известной степени следствием сходства содержания. Проза этих лет отличается однородностью тематики. Прекращение гражданской войны, переход к мирному положению дали писателю впервые возможность художественно осознать то огромное, что созершилось только что на его глазах, и чего он сам, большей частью, был активный участник. Гражданская война явилась главным, почти исключительным об'ектом художественного изображения.

Общность материала была связана с общностью подхода к нему. Революция воспринималась, вслед за Блоком, преимущественно в ее стихийном, «метельном» облике. Партизанщина, крестьянские восстания, теплушки, трагический эпос голодающих деревень—вот к чему больше всего тяготеет художник. Крестьянская, бунтующая Русь встает перед нами. Но у Блока «стихия», бунтующая масса (представленная его двенадцатью апостолами—красногвардейцами) берется в «мессианическом» разрезе, как носительница великих, освобождающих человечество идей. Здесь же стихия, бунтарство всего чаще взяты именно, как таковые, в их противопоставлении плановому началу, организации, городу, пролетарскому руководстзу. У Пильняка это протизопоставление достигает особой остроты: на одном полюсе—17 век, лесная деревенская Русь с колдовством и языческими обычаями, ночь, мрак, волки, на другом—машины, заводы, кожаные куртки, железный рационализм обдуманной и вычисленной революции.

Другая особенность Блока 18-го года—скифство «евразийство», «панмонголизм», обращение на Восток—также нашла сво образное выражение в литературе рассматриваемого периода. Она устремлена не только к русскому фольклору, но и к восточной экзотике, краски которой так хорошо гармонируют с яркими и жестокими тонами стихийной, крестьянской революции.

Многие из указанных особенностей—и стилистических, и тематико-идеслогических—проявляются с еще большей отчетливостью, чем у пильняковской школы и близких к ней писателей, у Всеволода Иванова. Это относится и к художественному тяготению к революционной стихии, к партизанщине («Партизаны», «Цветные ветра», «Бронепоезд» и др.) и к культивирозанию «фольклора», «этнографии», восточной экзотики. Но Иванов лишен пильняковской «многопланности» и чересполосицы. Его конструкции не изломаны и не построены из кусочков, как у автора «Голого года». Он орнаментален и лиричен. Его больше всего привлекает резьба по слову, тонкая его расцветка. И, действительно, редко у кого мы погружаемся в мир таких ярких и звучных красок, как у Иванова. Его страницы цветут голубым и розовым, как его пески и ветра. Они дышат разнообразными и острыми запахами. Его экзотика пряна и изыскана в своей варварской грубости. И вся эта звучная природа и монгольская пестрота врывается в суровый его эпос гражданской войны, данной без малейшей идеализации, не нарушая его, но знося необходимые элементы контраста и дополнительного цвета. Партизанская героика показана им просто и без преувеличений. Но он умеет и с огромным лирическим напряжением передавать ее размах и пафос («Цветные ветра») и в нескольких словах раскрывать социально-освободительный смысл революции (знаменитая сцена с американцем в «Бронепоезде»). Но перелистайте несколько страниц, и запахнет самогоном и кровью.

Вся эта молодая проза (Пильняк, Огнев, Малышкин, Вс. Иванов и др.) при зсем впечатлении, которое она сразу произвела на читателя, обладала одним недостатком... Ей нехватало «понятности», простоты, отчетливости. Сложная, клочковатая конструкция, многосюжетность, переходящая в бессюжетность, стремление к максимальному динамизму, адэкватному динамизму революции, убыстренная, усеченная, бесхвостая или безголовая фраза, многопланность и беспланновость, пророческий стиль и стиль намеков, проглатызание главного и выпячивание деталей—делали произведения новой школы трудно-усваиваемыми, громоздкими, утомительными. Это относилось даже и к Всев. Иванову, несмотря на то, что динамические излишества были ему чужды. Писатель слишком много думал об оригинальности, об экспрессии, и слишком мало—о читателе. Его намеки часто оказывались непонятными, а ход ассоциаций—неразгаданным. Появилась необходимость в авторе, который рассказал бы, может быть, о том же самом, но рассказал бы ясным и доступным языком, нашел бы отчетливую, на свет видную форму. Этой потребности удовлетзорила Сейфуллина.

Формально нового у Сейфуллиной было очень мало. Она писала з обычной повествовательной манере, правда, сильно окрашенной «сказовым» элементом. При желании можно было бы заметить в ее неровном творчестве слабость художественной культуры. Кое-кого это отталкивало от талантливой и чуткой писательницы—находились (и находятся) люди, готовые считать ее широчайшую известность недоразумением, а ее художественную работу—знелитературным фактом.

Это, конечно, совершенно не верно. Сейфуллина не внесла в литературу формальной новизны, но она внесла то, что такой новизны стоит: новизну и правду художественных наблюдений, новизну типических фигур, обладающих широкой значимостью, уменье синтезировать. Читатель ее потому и полюбил, что оценил ее синтетический дар, соединенный с большим темпераментом и с тою искренностью и увлечением, интересом и любовью к людям, которые так пленяют з писателях прежней, «героической» литературы.

Сейфуллина тоже всего чаще и всего удачнее изображает крестьянский «стихийный» лик революции («Перегной», «Виринея», «Кани-Кабак»). Жестокость и тем-

нота восставшей деревни не раз демонстрируются и ею. И у нее не мало сцен истязаний, убийств и насилий. И не раз она заставляет в революции звучать специфические крестьянско-бунтарские, анархически-махновские ноты. И все-таки у Сейфуллиной нет этого постоянного противопоставления деревни городу. Общие лозунги революции отчетливо слышны у нее в шуме взбаламученного мужичьего моря. Сознательный, целевой, коммунистический момент массового движения подчеркнут гораздо сильнее.

IX.

Имена Пильняка, Всев. Иванова, Сейфуллиной характеризуют целую большую группу, решительно доминировавшую в литературе з период 1922-24 г. г., да и сейчас продолжающую оставаться одной из самых сильных, группу, к которой первой было применено название—«попутчики». Несмотря на то, что в этой молодой прозе нет полного единства (Сейфуллина, например, стоит в ней особняком), не трудно заметить, что она создана и выдвинута, если не идентичными, то сходными общественными настроениями, возникшими на почти одинаковом общественном базисе, и усиливающимися спраза налево—от Пильняка к Сейфуллиной.

Это—литература советской интеллигенции. Она выросла в революцию и вынесена ею вперед. Революция—та почва, на которой она стоит и «иначе» не может. Не может, хотя бы у отдельных ее представителей и прорывались скептические нотки и запоздалое славянофильство.

Вне этой центральной, доминирующей группы, не сходясь с ней ни в «настроениях», ни в вопросах формы, находится самый читаемый автор тех лет, Илья Эренбург. В противоположность скифству пильняковской школы, он представляет в литературе западно-европейские тенденции и навыки. Читатель находил в нем все то, чего нехватало молодой русской прозе, «динамизированной», громоздкой и затрудненной: легкость конструкции ,прозрачность замысла, острота сатиры и общедоступную сентиментальность. В этом—секрет его успеха. Эренбург временно исполнял у нас обязанности аббата Прево и Вольтера. «Хулио Хуренито» был нашим «Кандидом», а «Жанна Ней»—«Манон Леско». И если русские «кандиды» и «Манон» получались нередко несерьезными, поверхностными, фельетонными, то большой беды в этом не видели: они были зато не менее занимательны, чем их европейские оригиналы.

Но все-таки сводить все творчество Эренбурга к фельетону нельзя. Его сатира была довольно зла и кусательна.

Она была заострена протиз буржуазии, т.-е. шла как-раз в том направлении, в каком ей было обеспечено сочувствие советского читателя. Но это не была сатира целеустремленная. Скептик, нигилист и романтик, человек, который ничего крепко не любит в действительности сегодняшнего дня, который боится и завтрашнего дня с его пан-организующими тенденциями, с неизбежной (как ему представляется) всеобщей механизацией и рационалистической «геометрией», мертвящей жизнь—он отрицает ради отрицания, а не во имя какой-нибудь ясносознанной цели, и порой не прочь направить острие своей сатиры и против тех самых сил, которые борются с ненавистным ему «мещанстзом». Это—типичный романтическо-богемный бунт.

X.

К основной группе молодой прозы, выдзинувшейся в 1921-22 г. г., присоединяются с течением времени все новые и новые силы, значительно изменяющие ее характер. Да и сама основная группа претерпевает заметную эволюцию, так что сейчас, через несколько лет эволюции, литература наша является во многом иной и несхожей.

Яркую черту «иначести» внес в нее Бабель. Его рассказы поражали уже своей формой, резко отличной от господствовавшей. Сжатые, концентрированные, предельно острые и выразительные, лаконичные лаконизмом французской прозы и вносящие мелодию ее фразы в строй русской речи, отчетливые, ясные, часто парадоксальные—они поражали после ломаных конструкций Пильняка и восточной орнаментальности Вс. Иванова. Они почти всегда построены на контрасте: между цветистой лирикой описания и сухой жестокостью действия, между великолепием пейзажа и мрачностью сцен убийства и насилия. Мягкому, уязвленному жалостью рассказчику, «очкастому интеллигенту» противостоял призыкший к крови, ожесточенный вековой ненавистью угнетенного, страстный и буйный буденовец или отважный и находчивый, нарядный, как павлин, налетчик—«рыцарь Молдаванки». Этот контраст является как бы выражением двойственности самого автора. В «Конармии» он «ушиблен» жестокостью происходящего (отсюда и ее подчеркивание) и в то же время знаем ее неизбежность и оправданность зеликим смыслом борьбы.

Неверно распространенное мнение, будто Бабель показал в конармейцах только жестокое, «звериное». Не вдаваясь в психологический анализ, пользуясь только действенными приемами, Бабель умеет раскрывать «внутреннее», заветное своих героев, и мы очень нередко видим тогда их революционную «суть», одушевляющий их пафос

борьбы (так, напр., в знаменитой «Соли»). Бабель не оклеветал Конармию, он не взял ее также только для того, чтобы через нее раскрыть себя. Наоборот, он через себя показал Конармию. Показал так, как он ее видел. Конечно, он видел ее глазами интеллигента, а не пролетария. Но об'ективные неудобства своего наблюдательского положения, как интеллигента и еврея, он нередко обращал в достоинства: если он кое в чем и «исказил» реальное соотношение и пропорции, то он сумел увидеть то, чего не заметил бы другой глаз.

Бабель сразу же стал в первые ряды наших писателей. Очень скоро стало проявляться и его влияние, в особенности формальное. Оно сказывается не только на писателях начинающих, но и на таких, уже «устоявшихся» мастерах, как Вс. Иванов («Смерть Сапеги»).

Несколько раньше выступивший и совсем молодой Леонов шел вначале малозаметным, боковым путем. Почти всегда его первые вещи представляют собой стилизации, порой виртуозные («Туатамур»). Но уже тогда сквозь имитацию поэтических голосов начинает пробиваться характерная леоновская тема «мелкого человека», попавшего под удары революции, личности, раздавливаемой колесами истории («Петушихинский пролом»). Эта тема развертывается во всей своей широте в «Записях Ковякина» и «Конце мелкого человека», произведениях, которые, несмотря на сильно сказывающиеся литературные влияния (Гоголь и Щедрин—в первом, Достоевский—во втором), не могут уже быть названы стилизациями. «Раздавливаемая» личность получает все более конкретные очертания: это мещанин, обыватель, отгороженный от истории стенками своего тесненького мирка. Иногда он принимает образ профессора Лихарева (чуть ли не европейская знаменитость!), другой раз—Ковякина, убогого умственно-скудного и смешного обывателя маленького городка: сущность остается одна.

Уже «Записи Ковякина» и «Конец мелкого человека» обратили на Леонова пристальное внимание критики и читателя. Роман «Барсуки» сделал его одним из наиболее популярных и читаемых авторов. Тема «мелкого человека» звучит и здесь в судьбе и надломе Егора Брыкина, но она уже отодвинута несколько в сторону. Главный стержень романа—столкновение города и деревни в революции. Это, пожалуй, тот же скифский «стихийный» мотив, только дальше развитой и продуманный. Столкновение кончается победой города, организованности, пролетариата над стихией крестьянского бунта. Предводитель «барсуков», восставшей деревни, Семен идет с повинной к старшему брату, большевику Паше.

В последнем романе Леонова «Вор» собраны все основные мотивы его творчества—здесь и противопоставление города деревне (Митя Векшин и Зазарихин), причем повергнутый «противник» вновь встает в облике приобретателя-кулака. Мотив этот проходит в романе как-то боком, стороной, и конфликт, намеченный, но еще не раскрытый, предвещает о себе глухим и угрожающим громыханием. Здесь и тема «мелкого человека», данная то в лирическо-мягком оформлении (Пугель и Пчхов, так напоминающий Катушина из «Барсуков»), то в оформлении сатирически-заостренном (Чикилев: «мелкий человек» приспособляется).

Леонов не внес в литературу такого острого формального своеобразия, как Бабель. Стилистически он, при всей своей изысканности, крепко связан с «классикой». К своему особенному стилю он идет медленно, преодолевая разнообразные влияния. Ближе всего подошел он к нему в «Воре» с его богатой, насыщенной, но извилистой и немного вычурной фразой. Он внес с собой заглохший было вкус к большой форме, к широкому социально-бытовому полотну.

Не менее сильно чувствуется связь с классикой и в работе К. Федина, стоящего в этом смысле среди «Серапионов» почти изолированно. Как и Леонов, он тяготеет к «большим полотнам». Его «Города и годы»—одно из «основных» произведений об эпохе гражданской войны. Чрезвычайно сильное в отдельных сценах, в частностях, в целом оно, однако, громоздко, сюжетно, чересчур усложнено. Книжный налет на нем явно ощутим. Герой романа, Андрей Старцев («что касается вина, то он пил воду»)—прямой наследник длинной цепи «лишних людей» русской литературы. Значительно более совершенной с художественной стороны представляется нам другая его крупная вещь—повесть «Трансвааль». «Классически» ясная («классицизм» ее выражен гораздо сильнее леоновского), четкая и простая она дает поразительный образ кулака. Николка Зазарихин остался в деревне и превратился не то в эстонца, не то в бура Сваакера*). Сваакер забирает деревню в свои руки. В этом хотели видеть апологию кулачества. Но можно говорить о чем угодно—о сгущении красок, об искажении действительности, только не об апологии. Федин переоценивает силу Сваакера, но он чувствует к нему отвращение и ненависть.

---

*) Старший Зазарихина в литературном отношении «Трансвааль» написан раньше «Вора».

Если Леонов, отчасти Федин, дают «классику», как общую преемственность «классику», преломленную сквозь литературное восприятие современности и обогащенную опытом и достижениями последних лет, то Пантелеймон Романов являет образцы беспримесного, чистейшего «старого» стиля. Здесь уже не преемственность, а продолжение, почти воспроизведение «классической» манеры. Особенно отчетливо это сказывается в его эпопее «Русь», где попеременно имитируются голоса большинства наших классиков—от Гоголя до Толстого. Мелкие бытовые его рассказы, особенно «теплушечные», уже значительно оригинальнее. В них есть острота, краткость, характерность диалога. Но в дальнейшем, напав на золотоносную жилу семейных и половых проблем, Романов, к сожалению, снова соскользнул на путь серого и бесхарактерного эпигонства. Между тем, именно эти рассказы доставили ему широкую известность. Такой факт об'ясняется не только притягательностью затрагизаемых автором проблем. Романова читают усиленно, и потому, что он пишет ясно, почти не манерничая. И еще потому, что он довольно хорошо знает психологию интеллигенции, которую чаще всего изображает.

XI.

Уже одно появление в новой литературе таких писателей, как Бабель, Леонов, а в известном смысле и Пант. Романов, начинает совершенно менять ее облик. Если раньше Федин со своей спокойно-реалистической манерой, с ясными и уравновешенными конструкциями, стоял в литературе особняком (как особняком стояла и Сейфуллина), то теперь перевес переходит именно к этой «отчетливой» манере. Преемственность завязывается уж не столько от еретиков предреволюционного десятилетия (А. Белый, Ремизов), сколько от «классикоз». Дело здесь не просто в возвращении к старинке, к реакции против художественных новшеств. «Динамическая», многопланная, разорванная, бессюжетная проза изживает себя. Отчасти это является следствием изменения тематического материала. Гражданская война перестает быть исключительным об'ектом изображения. «Города и годы» и «Барсуки» обозначили конец той литературной эпохи, для которой характерными были «Падение Дайра»—Малышкина или «Цветные ветра»—Всеволода Иванова. Уже в самой форме романов Федина и Иванова, хотя они и говорили о гражданской войне, было нечто указывавшее, что эта форма созрела для иных тем. Литература переходит к быту и «мирному строительству».

Но самоизживание «динамической» прозы явилось и результатом консолидации, упрочения читательской базы. Литература получила постепенно корректировавшего ее читателя, прочную социальную основу. В последней были и элементы городского мещанства, но, конечно, не они одни. Литература связалась с широкими слоями интеллигенции, она пустила корни в рабочем классе (что являлось особенно важным). Такому массовому читателю проза 1921-23 г. г., рассчитанная на квалифицированного «верхушечника», кажется усложненной и искусственной. В этом есть здоровый протест. Но так как здесь сказывается нередко и слабая художественная культура, то рядом с Бабелем и Леоновым получает возможность расцветать, подчас заглушая настоящих мастеров, литература разных «вопросов пола» и халтурное «приключенчество».

«Динамическая» проза была специфична и ограничена в своих средствах. Она должна была неизбежно быстро исчерпать себя. Сами ее создатели почувствовали это и стали изменять, а иногда и ломать свою манеру. Это проявляется в последних вещах Пильняка, еще сильнее у Малышкина («Февральский снег»), у Лидина, переходящего к связной повествовательной манере («Марина Веневцева», «Отступник» и др.), но всего отчетливее—у Всеволода Иванова. У него, действительно, совершилась коренная ломка манеры, даже, пожалуй, всего художественного восприятия. Внешне она выразилась в необычайном упрощении фразы и конструкции. Но, несмотря на видимую ясность и простоту отдельных элементов, составляющих произведение, все оно в целом оказывается порой чрезвычайно сложным, непрозрачным и с трудом доходит до читательского восприятия. Стиль писателя переходит тогда в стиль намеков. Подспудный ход новеллы, идущий вне сюжета, под его корою, слышимый и в прежних его произведениях, здесь становится особенно отчетливым. Странная, ломаная линия ассоциаций, пристрастие к темным, элементарно-звериным, иногда патологическим страстям—придают последним вещам Всеволода Иванова что-то тяжелое и терпкое. Человек в них уже высвобожден из пантеистической, безличной слиянности с природой, но весь погружен в омут подсознательного и только редко-редко высовывает оттуда голову, чтобы отдышаться.

Эти новеллы Вс. Иванова обнаруживают совершенствование его, как мастера—в особенности, как стилиста, и тягу его к психологизму, к углублению психологической «основы» характера. В этом положительное значение его эволюции. Здесь он не одинок. Тяга к психологизму проявляется и в так называемой «попутнической» (Леонов, Катаев и др.) и в пролетарской литературе (Фадеев, Малашкин). Она характерна для нынешней фазы литературного развития; без «психологизма» реалистическая литература рискует перейти в голый «бытовизм», поверхностный и мелкий.

XII.

Пролетарская литература, поскольку дело касается прозы, имеет следующие «истоки» и компоненты: 1) рабочие писатели дореволюционной поры, зачатки пролетарской литературы в собственном смысле (Бибик и др.), 2) «знаньевцы», 3) народники, 4) та, основная, группа молодежи, которая вошла в нее уже в революцию и сложилась под влиянием современной прозы.

Из «знаньевцев» можно говорить сейчас только о двух писателях: о Горьком и Серафимовиче. Горький, игравший огромную роль в развитии пролетарской литературы до революции, оказывающий на нее большое влияние и сейчас, не являлся раньше, не является и теперь пролетарским писателем, в точном значении этого термина. Он близок к пролетлитературе, он даже может быть назван ее пионером («Враги», «Мать» и т. д.), но он почти также тесно связан темами, приемами творчества и с попутнической группой. Следы его воздействия можно найти у Вс. Иванова, у Леонова (Катушин и Дудин в «Барсуках»). Он—в центре нашей литературы, скрепленный сотнями связей со всеми ее школами и направлениями. Но потому-то его и трудно отнести к какому-нибудь определенному участку литературного «фронта», поставить в ряды под таким-то номером. Творчество Горького, нисколько не оскудевшее за время революции (замечательная книга о Л. Толстом; «Мои университеты», где есть такой поразительный рассказ, как «Сторож»; романы «Дело Артамоновых» и «Жизнь Клима Самгина»), все же не совпадает своим направлением с линией развития пролетарской литературы (хотя в известном смысле и идет параллельно ей). Значительно большее совпадение замечается у Серафимовича. В дореволюционном периоде его творчество носило гораздо менее явственный пролетарский отпечаток, чем у Горького. Но «Железный поток» завоевал ему видное место в пролетарской литературе—подействовали не столько приемы (они сильно отдавали «знаньевством»), сколько тематика (гражданская война), героика. «Железный поток» имел очень большой успех, но литературное его влияние оказалось незначительным: для молодежи он, по крайней мере, со стороны формы представлял уже пройденный этап.

Больше влилось в пролетарскую литературу «народнических» и «полународнических» элементов, т.-е. таких, которые были близки к беллетристике «русско-богатского» типа или связаны с ними. В художественном отношении они находились под воздействием писателей-народников 80-х годов, Короленки, «знаньевцев». Кое-кого слегка заразил модернизм начала века, перенятый очень внешне и неуклюже. Это были все бытовики, бравшие материал из жизни деревни, городской бедноты, интеллигентного пролетариата. Они образовали довольно сильное крыло в «Кузнице» и родственных группировках и, в сущности, стояли на границе между крестьянской и пролетарской литературой—с одной стороны, и пролетарской и попутнической—с другой (Низовой, Новиков-Прибой и др). Наиболее ярким их представителем является покойный А. Неверов. Его работа обнаруживает быструю эволюцию в двух направлениях: от неопределенного радикализма к пролетарскому мировоззрению и от народническо-«знаньевских» шаблонов к более высоко организованной и более созременной художественной манере. Быстрота этой эволюции, хотя и прерванной ранней смертью, ставит его выше большинства однотипных писателей. Хорошее знание деревни, простота языка, сильный революционно-общественный пафос, соединенный с большой внутренней мягкостью, сделали его книги одними из наиболее читаемых. Но надо все же добавить, что художественное его значение переоценено у нас частью критики.

К народникам и «знаньевцам» литературно близка та собственно пролетарская группа прозаиков, которая сложилась еще до революции. Не отличаясь специфическими формальными признаками, она об'единена и отграничена от других тематико-идеологической установкой. Она писала о жизни рабочих, о пролетарской борьбе и была проникнута революционными тенденциями (хотя и не всегда выдержанными). Для этой группы характерно творчество Бибика, который остается еще и сейчас любимейшим автором в рабочих библиотеках. По характеру работы и литературной манеры сюда должны быть отнесены также Ляшко, Бахметьев и, пожалуй, но уже с натяжкой—Гладков. Гладков гораздо дальше ушел от «русско-богатских» традиций и обнаруживает значительно более сильное влияние «модернизма». Он уже не является бытовиком по преимуществу—в его произведениях видна тяга к большому стилю. Особенно показателен в этом отношении его нашумевший роман «Цемент». Роман этот грузен, угловат, часто схематичен и написан странно-напряженным языком. И все-таки он имел право на исключительное внимание, оказанное ему читателем и критикой. Гладков первый рискнул взяться за очень большую и трудную тему о пролетариате-организаторе и восстановителе народного хозяйства, сплетя ее с другой, не менее трудной темой развала старой семьи и формирования нового типа женщины. Так как в его замысле главным было передать пафос строительства и рождения нового человека, то реализм «Цемента», быть может, даже невольно приобрел патетический,

приподнятый романтический оттенок. Это проявляется и в подчеркнутой, преувеличенной эмоциональности диалога и з сильной гиперболизации характерных черт героев (у Даши, Клейста, Бадьина), в обостренности контрастов и известном злоупотреблении ими. Персонажи Гладкова—та же Даша—говорят и держатся порой так, что кажутся неправдоподобными, искусственными. Но неправдоподобность их внешняя (сущность верна, а форма преувеличена). Требования естественности принесены автором в жертзу требованиям выразительности. Принципы Гюго ему внятнее принципов Толстого.

Роман Гладкова имел в пролетарской литературе значение, как переход от бытовизма, заедавшего ее, к большим обобщениям. Он явился, таким образом, естественным и важным звеном в ее развитии. Сам Гладков стал одной из центральных фигур в пролетлитературе. Но в целом творчество той группы, близко к которой он стоит, оттесняется все больше в сторону молодежью, несущей с собой иные навыки и настроения, теряет в удельном весе.

А молодежи этой много. В пролетарскую литературу нахлынуло огромное количестзо начинающих писателей из рабочей, крестьянской, нередко и интеллигентской среды, так что численно она является наиболее сильным образованием. Но, к сожалению, качественный рост здесь пока еще сильно отстает от количественного, особенно отстает культурная подготовка молодых авторов. Среди сотен, а то и тысяч (см. статистику ВАПП'а) писателей вряд ли можно набрать больше двух десятков таких, что-обладали бы хотя бы средней квалификацией и умели заинтересовать читателя. Вся эта молодежь разбросана по многочисленным организациям: «Кузница» (где, впрочем, больше отсиживаются «старики»), ВАПП, «Перевал», разные мелкие группки. Всюду дерезенское крыло, крестьянский элемент чрезвычайно сильны. И не только в анкетном смысле. Это проявляется и в заметном преобладании деревенских тем и мотивов и в самом способе их обработки, где «крестьянское» выступает особенно выпукло («мужичий» сказ, сельские образы). Помимо «официального» крестьянского крыла (М. Волков, Дмитриев и др. в «Кузнице»; Акульшин, Ветров—в «Перевале», Доронин, Каразаева и т. д.—в ВАПП'е), в каждой группе имеется и ряд писателей переходного типа. Граница между собственно пролетарской и крестьянской литературой зыбка и неустойчива (отсюда и неопределенный термин «рабоче-крестьянские писатели»).

Целый ряд условий (недостаточная художественная культурность; отправление, как от исходной точки, от газетной, рабкоровской корреспонденции, являющейся часто неразвернутой бытовой картинкой; курс на показ нового быта, примитивно понимаемый и т. д.) привел к возникновению и развитию в этой молодой литературе мелкого бытовизма. Жанровые зарисовки, бытовые сценки, в лучшем случае, «идеологически выдержанные» повестушки с обязательным открытием кооператива и любовной сценой в лесу, сделанные топорно, неуклюже и «нарочито», по знаменитому рецепту—50 проц. сырой публицистики, 50 проц. лошадиной эротики, с прибавлением известного количества замысловатых матюгов (для «художественности» и чтоб отбить запах). Такая литература вредна даже не своей скучно проведенной публицистикой, расхолаживающей читателя, или неуклюжей и добросовестной эротикой, она вредна тем вкусом к мелкой форме, к малому искусству, который она несет с собой и который противоречит существу пролетарской литературы.

Если остазить в стороне мелко-бытовистическую (в чистом виде) беллетристику, многочисленную, но художественно-малоценную, то мы сумеем различить в молодой пролетарской литературе несколько направлений. Во-первых, психологически-бытовое. Оно началось претенциозным, но остро годанным «Шоколадом»—Тарасова-Родионова. Впрочем, эту повесть можно считать и родоначальницей новой «проблемной» литературы, при чем справедливость требует указать, что она (повесть) была сделана ловчее, чем последовавшие за ней «опусы» других азторов. На большую высоту поднялось это направление в «Неделе»—Либединского, где психологический элемент явно перевешивал «бытовой». Либединский, каким он развернулся в «Неделе», «Завтра» и «Комиссарах», представляет собой типичного пролетписателя интеллигентского склада. Это звучит противоречиво, но тем не менее это так. Преобладание анализа, даже рефлексии, склонность к зыдвиганию нравственных проблем, и в то же время мягкость тона, переходящая порой в сантиментальность, обнаруживает в нем явного потомка Гаршиных, Успенских, «разночинцев». От интеллигента же у него известная анемичность красок и сравнительно малая чуткость к слову, к стихии слова. В прозе он занимает место, схожее с местом Безыменского в поэзии*).

*) Темы и подход к ним—преимущественное изображение партийца (у Либединского это большей частью интеллигент) и партийного быта, слабый «показ» рабочего и производства или даже полное отсутствие его.

Еще больше, чем у Либединского, усиливается психологизм у Фадеева («Разгром»). Весь смысл и содержание его романа—в психологическом анализе, впрочем, не носящем такого абстрактно-интеллигентского отпечатка, как у автора «Комиссаров», быть может, потому, что Фадеев отправляется от Л. Толстого, с его могучей конкретностью. Фадеев красочнее и крепче Либединского, у него хороший глаз и верный инстинкт реалиста. Он еще в ученическом периоде и не преодолел пока подавляющего влияния Толстого. Но он уже сделал, подобно Гладкову, большое дело в смысле преодоления инерции мелкого бытовизма своим трезвым и глубоким психологизмом.

Наконец, у таких писателей, как Барсуков и, особенно, Малашкин, психологизм решительно доминирует, доходя до большой, иногда, крайней усложненности, до того, что порой он деформирует, уничтожает быт («Больной человек»). Здесь влияние Достоевского сказывается так же решительно, как у Фадеева влияние Толстого.

Другую линию развития, во многом полярную первой, представляет Артем Веселый. И Либединский, и Фадеев, и Малышкин исходят от классической литературы, так или иначе связаны с нею. Преемственность Артема иная. Он—нераздельная часть той «динамической» прозы, которая возникла в 1920-22 г. г. У него много родственного с Пильняком, со Всев. Ивановым («Цветные ветра»), с Малышкиным. Его убыстренная, стремительная манера, его задыхающийся ритм, обрывающий фразы и проглатывающий слова, его бессюжетность и разорванность композиции, его вкус к цветной русской речи, простонародной, мужицкой, матросской, его пристрастие к стихии (бунта, восстания, революции) и его умение изображать ее, порой не давая ни одной фигуры, а только ряд мелькающих лиц («Россия, кровью умытая»), отсутствие психологизма и анализа—все это делает его самым ярким и теперь уже, пожалуй, единственным представителем манеры, выдвинутой эпохой гражданской войны. Он весь еще в этой полосе, со своими военными темами и глухотой к быту. Он, несомненно, самый талантливый прозаик в пролетарской и один из самых талантливых во всей современной литературе. Но исчерпанная манера изживает себя и в его блестящих вещах. Дальше—неизбежное повторение. Но дальше, вероятно, и поворот писателя на новые пути.

XIII.

Поэзия, начиная с 1921-22 г. г., когда она потеряла свою исключительно-доминирующую роль, переживает эволюцию, если не вполне аналогичную, то параллельную эволюции прозы. Распадается имажинизм. Космисты, забравши предельную высоту, видят себя вынужденными предпринять осторожный спуск, но снизившись, они с удивлением замечают, что их место на земле занято новыми пришельцами. Благополучнее как-будто обстоят дела у футуристов. Они еще не завершили своего распространения в ширь, их популярность и влиятельность некоторое время не уменьшаются, может быть, даже несколько возрастают, но их развитие приостанавливается. Высшая точка кривой перейдена. Начинается ее нисходящая часть.

К моменту выхода журнала «Леф»—1923 г.—падает уже и их влияние. Обнаруживается, что абстрактная, риторическая, декларативная, обнаженно-агитационная поэзия первых лет революции претерпела коренным образом изменивший ее процесс конкретизации, схожий с усилением реалистических тенденций в прозе.

Первым шагом на этом пути явились «Орда» и «Брага»—Н. Тихонова. Наибольшее впечатление и на читателя, и на поэтов произвели находившиеся в них баллады на темы из гражданской войны (хотя их в книге было меньшинство). Сам Тихонов определил их впоследствии, как «скорость голую». Это было несправедливостью по отношению к самому себе. Баллады действовали не только своей динамичностью, но тем, что показывали человека революции, пусть и в упрощенно-героической трактовке, и передавали атмосферу, окраску этих удивительных лет. Они поразительно совпадали по настроению с современной им «динамической» прозой.

«Брага» оказала огромное действие на поэзию, в особенности пролетарскую. Привился и балладный тон, и героика, и своеобразные ритмы книги. Язственнее всего это отразилось в стихах Лелевича, Родова, Безыменского, Обрадовича. Забытые «коммунары» двух первых авторов были (формально) почти точным повторением Тихонова, его приемов. Сложнее дело обстояло у Обрадовича и, особенно, у Безыменского. Там перекрестились две линии влияний: тихоновская и футуристская, при чем последняя нередко преобладала. Но Тихонов важен был не только тем, что нашел соответственные ритмы и формы, но еще больше тем, что первый дал выход потребности в конкретизации поэзии и в романтической героике. В этом смысле Безыменский следует ему. Он еще усиливает, осознает и рационализирует эту тягу к конкретному, он открыто заявляет о необходимости показать «живого человека» наших дней. Правда, его человек несколько иной, чем тихоновский романтик, узнавший на «обломках дорог» прекрасные, горькие и жесткие слова. Он определеннее, рационалистичнее, трезвее. Его романтизм лишен всякой дымки и надрыва. Это не «стихийный» большевик,

а партиец, четко ставящий задачи и живущий прежде всего жизнью партии. Организационный принцип у поэта з крови—он непрочь (как и Жаров) «осоветизировать» даже природу. Он смело зносит в стихи «злободневность», очередные политические лозунги, газетный материал (здесь сказалось влияние футуристов). Он реалистичнее, пожалуй, современнее Тихонова. Но он не обладает лаконической энергией, сосредоточенностью, красочностью автора «Браги». Его рационализм, многословие, фельетонность приедаются—уже приелись. Безыменский выразил тот момент в развитии пролетарской литературы, когда она переходила об абстрактности и возвышенности космизма к известному снижению тона и конкретности тем, материала, мотивов. Когда эта цель была достигнута и пролетарская поэзия вступила в следующую фазу, Безыменский, застрявший на предшествующей, потерял большую долю своего значения и действенной силы.

Быть может, еще большую роль, чем Тихонов со своей «Брагой», сыграла в поэзии этого времени, т.-е. начиная с 1921-22 г. г., лирика Есенина последнего периода. С распадом имажинизма Есенин отнюдь не кончился, как поэт. Наоборот, он только вырос. Еще в эпоху имажинизма Есенин, несмотря на нарочитость своего эксцентризма и разные зыверты с целью «эпатированья», выделялся из общего хора формальной и изощренной поэзии особым теплым и «грудным» голосом. Эта эмоциональная теплота и насыщенность еще явственнее проявились, когда Есенин сбросил с себя путы надоевшей ему школы. Он становится проще и классичнее. Эксцентризм все больше претит ему, а виртуозность мастерства перестает импонировать. Его стихи становятся все непосредственнее и обнаженнее. Не темы «Москвы кабацкой», не пессимизм и обреченность одинокого человека—не этот мрачный эмоциональный фон Есенинской лирики так подействовал на поэтов и захватил молодого читателя (хотя и он оказал свое отрицательное влияние на тех и на других), а, главным образом, непосредственность и простота его манеры в эпоху, когда поэзия стала формальной, надуманной и трудной. Лирическая струна, давно находившаяся под спудом, з его стихах снова пробилась наружу, и звон ее стал слышен каждому уху.

Влияние Есенина (наряду с тихоновским) все больше стало оттеснять футуристское. Непосредственно вокруг него сплотилась небольшая группа поэтов «неокретьянского» толка (Клычков, Орешин, позже—Наседкин, Приблудный), элегических и несколько однообразных по темам и приемам. Установка на простоту и лирическую раскрытость действительно сближает их с Есениным. Крестьянские мотивы ззучат у них сильнее, чем у автора «Черного человека», и не окрашены в такой трагический цвет (грядущая гибель деревни под пятой торжествующего города, выраженная Есениным еще в знаменитом противопоставлении жеребенка и «стального коня»). Но им нехватает его могучей «мужичьей» образности, стихия которой сохранилась в стихах Есенинского «брата», Н. Клюева.

Глубокий след остазил Есенин и на пролетарской поэзии. Под комбинированным действием балладной героики Тихонова и лирической «раскрытости» Есенина развилась целая группа молодых комсомольских поэтов, «перевальцев»—Светлова, Голодного, Ясного и др. Если стихи Безыменского после космистов означают в своей конкретности и действенности приближение пролетпоэзии к широкому читателю, то лирика Светлова и Голодного, эмоционально окрашенная сильнее и своеобразнее, сочетавшая общее с личным, коллектизное с индивидуальным, является дальнейшим шагом на этом пути. Светлов и Голодный сдержаннее и «умнее» Безыменского. У них достаточно вкуса, чтобы избегать его аляповатостей и оглушительных общих мест. Они знают меру пафосу и не кричат там, где можно говорить спокойным голосом. «Гренада» и «Рабфаковка»—Светлова показывают, как он умеет даже «затасканную» агитационную тему так своеобразно преломлять и насыщать страстью, что затасканная оболочка с нее спадает, и она предстает перед нами во всем своем первоначальном величии. Этой молодежи хорошо известно, что барабан—не единственный инструмент в оркестре.

Она хочет показать человека во всей его сложности, таким, каким он растет из прошлого, полного предубеждений и мертвых, но цепких традиций,—в будущее («пролегло мое длинное дело перешейком от деда к внуку»—Светлов). Она не скрывает от себя трудностей такого показа, но ей претит дешезое и самодовольное упрощенство, декламация звонких и пустых фраз. И правота за нею.

Негромкая, раздумчивая и жизнеутверждающая лирика Казина в каком-то пункте соприкасается с этой юношеской поэзией. Еще больше общего с ней у Иосифа Уткина. Последние сумрачные тени, еще скользящие по строкам Голодного и Светлова, исчезают в его нарядных и легких стихах. Праздничность, декоративное богатство и бодрость его лирики как бы отражают эпоху хозяйственного восстановления страны. Они свидетельстзуют, что время аскетизма и схематичности для пролетпоэзии прошло. Стихами Уткина, Светлова, Голодного пролетпоэзия поднимается на третью ступень.

Футуризм, несмотря на то, что к нему прибывают новые подкрепления (отрезанная было дальне-восточная группа: Асеев-Третьяков), все это время неуклонно теряет в своем весе и значении. Виртуозные стихи Асеева (искусственно газированные воды) не могут возместить того ущерба, который создался для этой группы приостановкой поэтического развития Маяковского (неизбежное следствие исчерпанности футуризма). Только один поэт, связанный с футуризмом, не только не склонился к закату, но сумел вырасти, увеличить свою притягательную силу, стать в известном смысле центром современной поэзии. Это—Пастернак.

Он не поэт для широких читательских кругов. Его затрудненную и сложную поэзию будут всегда любить сравнительно немногие. Но в поэзии его влияние огромно и превосходит влияние и Маяковского, и Есенина. Его испытали и Антокольский, и Петровский, и Сельвинский, и Тихонов. Его можно найти и у пролетарских писателей. Сам Пастернак, стихи которого производили такое неотразимое впечатление свежестью поэтического восприятия, оригинальностью формы, эмоциональной напряженностью, после своих «Тем и вариаций» свернул на другую дорогу. Он перешел к эпосу (роман в стихах «Спекторский»). Его «1905 год» и «Лейтенант Шмидт» обозначили дальнейшую перемену установки. «Общественность» ворвалась широким потоком в его творчество.

С футуристами же связана преемственностью группа конструктивистов. В конструктивизме происходит преодоление Лефа. В теории он выдвигает принцип максимальной организованности художественного произведения, некоего монизма приемов (локальный метод), зведения в поэзию методов прозы. Он порывает с нигилистическим отрицанием эстетики, искусства, связи с культурой прошлого свойственным футуризму. Но «западнические» тенденции последнего, культ техники в нем сохраняются. Да и сама идея «пан-организации» очень близка к положениям, выдвигавшимся Лефом.

Как осуществляются эти теоретические положения на практике? На такой вопрос ответить немного затруднительно: конструктивизм не только эволюционировал, как направление, но и сильно изменял свой личный состав. Та его группа, которую можно назвать ядром, очень невелика: Зелинский (но он только теоретик), Сельвинский, Вера Инбер. Остальные или очень мало пишут, или находятся в группе очень недавно (Багрицкий, Луговской и т. д.), не «переварены» еще ею, и творчество их, поэтому, не может служить показательным.

Лидер школы, мэтр—Сельвинский. Это поэт очень крупного дарования. Его известность началась недавно—с выхода «Рекордов» и «Улялаевщины». Теоретические положения конструктивизма ярче всего проявились именно в его работе («инфляция» методов прозы, локальный метод и т. д.). Но все-таки и его нельзя назвать стопроцентным конструктивистом. «Западничество» терпит частый ущерб в его склонности к «стихии» (и ее невольной поэтизации). Торжество организационного принципа звучит в его великолепной «Улялаевщине» наивно и слабо. Наоборот, стихия крестьянского бунта показана с предельной убедительностью. В самой поэме организованность (материала) деформируется темпераментом автора, выступающим из берегов (так неотчетливо дан, задавлен глыбами описаний и вставок—«аттракционов»—сюжет). Все это, конечно, не мешает быть Сельвинскому писателем поразительной силы, соединяющим в себе тонкость словесной работы поэта с чутьем к действительности, наблюдательностью и способностью создавать «типы» беллетриста натуралистической складки.

Вера Инбер—индивидуальность во многом полярная Сельвинскому. Изящество, мягкость, чистота линий, «кларизм»—ее отличительные свойства. Ее принадлежность к конструктивизму кажется, на первый взгляд, недоразумением. Но когда присмотришься к ее эволюции, идущей от условной грации и «красивости» первых стихов к темам и линиям «Рассказа о рубашке» и «Восток и мы», когда, вчитавшись в вкрадчиво-эксцентрические строфы ее парадоксальных и строго логических стихотворных новелл, заметишь, что там неуклонно проведен и монизм приемов, требуемых локальным методом, и развернут сюжет—начинаешь убеждаться, что это не так уже необоснованно.

Третий из видных поэтов школы—Багрицкий—романтик чистой воды. Багрицкий—не начинающий писатель, но звезда его взошла поздно—с поэмой «Дума про Опанаса», одной из лучших вещей истекшего «сезона». Ни у кого романтика гражданской зойны не сказалась с такой волнующей силой, как у него.

Работа Сельвинского, Инбер, Багрицкого, трех лидеров группы, говорит нам—в «конструктивизме» мы имеем довольно стройную теорию, идущую в общем по удачно выбранному направлению, и несколько талантливых поэтов, которым надо еще не мало поработать над собой, чтобы стать конструктивистами. Пока еще, как целое, как школа, конструктивизм в искусство не вошел.

«Рецензия».

М. Горький.

Пришел из деревни отличный поэт Сергей Есенин, быстро заставил полюбить его милые стихи; немножко чрезмерно возгордился этой дешевой любовью; затем почувствовал дешевизну ее и был многократно уязвлен завистью к его славе; затосковал; начал отравляться нечистыми удовольствиями города, потом стал бунтовать против него детским бунтом и, разбив об город некрепкое сердце свое—погиб.

Драма совершенно законная. Вероятно, и еще не один талантливый человек погибнет, если не сумеет понять, почувствовать глубокое и всем ходом истории обусловленное значение того, что называется «смычкой» города и деревни. Трудо лирикам жить во время эпическое, в героические будни, я бы сказал.

А вот Госиздат напечатал книжку стихов крестьянина Михаила Исаковского—«Провода в соломе». Этот поэт, мне кажется, хорошо понял необходимость и неизбежность «смычки», хорошо видит процесс ее и прекрасно чувствует чудеса будних дней. Он пишет такие стихи:

РАДИО-МОСТ.

Каждый день суров и осторожен,
Словно нищий у чужих ворот:
Был наш край от мира отгорожен
Сотней верст, десятками болот.

Эта глушь с тоскою неразлучна,
Ветер спал на старом ветряке.
Падал дождь. И было очень скучно,
И дремали мысли в тупике.

Но взметнулись, вспыхнули зарницы.
Чрез болота, пашни и кусты,
К деревням и селам из столицы
Протянулись радио-мосты.

И в углу прокуренном нардома,
Сбросив груз соломенной тоски,

Примечание. К сожалению, по независящим от редакции обстоятельствам, «Рецензия», присланная М. Горьким для нашего журнала и напечатанная в настоящем номере, появилась ранее выхода «Сибирских Огней» в Известиях ЦИК.

Вечером доклад из Совнаркома
Слушали, столпившись, мужики.

Грудь полна восторженного гула,
Но кругом немая тишина,
Будто всех внезапно захлестнула
Голубая радио-волна.

А когда невидимые скрипки
Зазвенели струнами вдали—
Теплые, корявые улыбки
На корявых лицах зацвели.

Этот день никто не позабудет,
Этот день деревню поднял ввысь.
И впервые неохотно люди
По своим избушкам разбрелись.

Он рассказывает, как отец его вырубал орешины и дубки для цепов, а затем:

«На вновь отстроенном общественном гумне
Отчетливо стучала молотилка».

О том, как Ленин, «простой и добрый», приказал возвратить отобранную у бедняка единственную корову. Он, Исаковский, говорит:

«Нынче жизнь расценивает в грош
Разве только лодырь да колека».

Он знает:

«Есть у нас прекрасная земля,
Остальное вырастим мы сами».

И—о себе:

«Я потерял крестьянские права,
Но навсегда останусь деревенским».

Вот это, последнее, я думаю, уже не верно.

Михаил Исаковский не деревенский, а тот новый человек, который знает, что город и деревня—две силы, которые отдельно одна от другой существовать не могут, и знает, что для них пришла пора слиться в одну, необоримую, творческую силу, слиться так плотно, как до сей поры силы эти никогда и нигде не сливались.

В сущности—именно этот мотив и звучит во всех стихах Исаковского:

«Разбудили сразу, растревожили,
Сердце бьет во все колокола:
Мы воскресли,
Мы сегодня ожили,
Чтоб творить великие дела».

Стихи у него простые, хорошие, очень волнуют своей искренностью.

Впрочем, оговорюсь: я не считаю себя знатоком и тонким ценителем техники современного стиха. Страдаю пристрастием к стихам, простая форма которых насыщена ценным содержанием.

Италия, Sorrento. 10/I-28.

Деревня о современной художественной литературе.

(Продолжение).*

А. Топоров.

В. Зазубрин.—«Два мира» (Чит. с 22 ноября по 5 декабря 1927 г.).

КРЮКОВ М. Ф.—Чорт знает, что за книга!!! В иные моменты я просто не в себе находился!.. Офицер у костра собственноручно убивает своих детей! Да это что же такое?!. Не стрелял; это бы еще ничего, если б застрелил, а то прямо рукояткой расхлестал головки. О-е-е-е-ей!!!... Какое надо мужество иметь, чтобы своих детей убить!

...До невозможности меня перевернула и сцена разговора Чубукова с беляком Жестиковым, который изнасиловал 14-ти летнюю Машу Летягину. Сукины дети, что вытворяли!!. Как только Чубуков стерпел и сразу же не пристукнул эту мразь—Жестикова!

«Два мира»—можно назвать «Страшной книгой»... Кровь, трупы, вши, ужасы!.. Только в «Ташкенте» такие сцены встречаются... Эх, а какой смельчак и молодец поп Воскресенский... Жарков хоть необразованный был мужик, а крестьянскую мысль понимал. Политик был. Заставил Воскресенского служить перед народом церковную службу, чтобы толпу на свою сторону совратить. Весело у них тут получилось! Жаркову лишь бы народ залучить... И религию, и резолюцию—все смешали. Разумно это схвачено писателем...

Прямо говорю: если в какой деревне «Два мира» не будут читать, то для нее нету книг на белом свете. Это—большая история. Через в е к а - в е к а она будет иметь свою цену...

Но мало обрисован в ней Колчак. Его надо бы подольше описывать. Я до самого конца книги надеялся, что Колчак будет выведен полняком... А всякому хотелось в «Двух мирах» видеть Колчака и его гибель. Крестьянину это надо. Пусть писатель добавку сделает про Колчака. Ты погляди—в деревне по сю пору не знают, как погиб этот зверь. Знают, что расстреляли его, а как и где—неизвестно...

Рагимов—правильный тип. Ему все равно—«нашим и вашим». Чистый, вылитый вояка... Барановский—не воин, а умный человек. Лучше всех своих товарищей он понял красную идею.

По человеческому чувству, мне чувствительны страдания и белых, и красных. Но идея белых—заблудящая. И жалеть их нельзя... И революционный человек будет жалеть несчастных белых, но по обязанности революционера будет и крушить их. Смерть корнета Завистовского всех проберет. Человек кричит: «мама! мама!.. Мамочка!». Даже партизанам его жалко стало. Расстреляли, а жалко. И автор верно это подчеркнул. Сам писатель—везде это видно—жалеет мучеников. Без жалости он так не написал бы хорошо. Все эти смерти, эти ужасти колотятся в моем сердце... Даже в такое «з а б л у ж д е н и е» вгоняют, что ничего, порой, не понимаешь, не чуешь... постороннего... Работу забываешь... Когда я приходил после читки «Двух миров» домой, то подолгу не мог забыться или заснуть. Не могу заснуть,—хоть что хочешь де-

*) Начало см. № 6 за 1927 год.

лай! Всю ночь из головы не лезут сцены. Особенно: «хрустнула еще одна корочка»... Головку ребенку проломил офицер. Ведь это!... Это!.. Это!.. Кажись, прочти это зверю и тот заплачет... Самый грубый и злой человек, я думаю, от таких сцен размягчится...

В книге нет слабых или средних мест. Все сильное. Вот это написал, так написал!!! Как гром гремит по всей книге. А этот идол—Мотовилов! Ну, и намалевал! Хоть белый, а герой он настоящий и помер геройски. Не придумаешь, не придашь ему человечества, а идейный он человек. За твердость его уважать можно. Если бы у белых все были Мотовиловы, то пришлось бы с ними долго воевать...

Ох, и книга! Нарасхват она пойдет в деревне по рукам. Вот какие книги нужно читать по деревням. А про нее в деревне мужики совсем и не знают. Необходимо такие книги через избы-читальни проводить в дерезню. Жалко, что в деревню такие книги почти не доходят, а ползет сюда ерунда, которой места в городе нет. По заголовку книги уж догадываешься, о чем будет речь итти...

Только один недостаток я нахожу в книге: белого зверства много, а красного мало. Ради правды, нужно было бы и красного зверства подбавить. А то все красные у Зазубрина какие-то очищенные, святенькие. Я боюсь, попадет эта книга в те села, где красные, в роде рогозцев, безобразили, ей кое-где и не поверят. Правильному не поверят. Будет худо. Для разнообразия обязательно писатель должен был прибавить и беспорядки партизан. Хотя немножко бы! Не всюду, на самом деле, партизаны чисто проходили. Конечно, у них меньше дебоширства было, а все же было оно. Так и надо было помянуть об этом.

ТИТОВ П. И.—Книгу «Два мира» я прослушал с жаждой. Как-будто я прошел сто верст, уморился и захотел пить, а потом встретил целое озеро воды и выпил его все. «Два мира» пронзили мои мозга и оставили в них целые тысячи картин. Сплю и вижу, как отступают крестьяне в тайгу, спасаются от белых. Бегут со своими лохмотьями, ползут, как букашки, во все стороны, а над их головами летели чугунные ядра. Не знали они, где им придется погинуть на журавле, где чугунное воронье вырвет у них живое мясо, где повытащит мозга. Также ярка и картина таянья белой армии... Мотовилов на протяжении тысячи верст громил все и всех, что попадало ему на пути. Не признавал он даже и своих, как бешеная собака не признает своего хозяина.

Разговор у писателя, что клей. Что бы он ни сказал, как приклент!.. «Два мира» отвратит нашего крестьянина от буржуазного строю. Он увидит насилия над женщинами и несовершеннолетними девушками. Ему будет бросаться в глаза, что колчаковщина была прессом, который выжимал из крестьян кровь... А тайга... мать! Со всех сторон ползли в нее люди, как дети к матери. А она принимала всех и награждала—кого счастьем, а кого и гибелью. В ней горели люди на кострах и убивали своих родных детей...

БОЧАРОВА М. Т.—Книга научная и интересная. Слушать ее было завлекательно. Будто сам ты был во всей этой картине. В иных отношениях было и весело в книге, а больше в ней—все ужас... Расстреляли белые 49 человек! Другие люди стояли, ровно черные пятна. Исказнила бы я попа проклятого, который донес на большевиков полковнику Орлову! Растерзала бы его по кусочку да ему в морду и швыркнула бы!..

А вешали-то на очипе?! Сердце мое замирает и даже дрожение разливается. Гулянка у полкозника Орлова в школе—это отвратительно. Голые бегали!.. Жен красноармейских тиранили как!!! И еще картина: белый офицер попался в плен красным. Он думал его расстреляют. Его помиловали. Красные не такие звери, как белые... Тут как-то весело. Душа радуется...

Который человек самостоятельный, тот скажет, что эта книга шибко повлияет на людей.

ПУШКИНА А. Т.—И не определишь эту книгу. Всего в ней много. И все ужасное. Обдумать если, то... у-у-у-х!!. Много-много помянешь и про свое горе, и про людское... Представление гадкое было в церкви... Воронцова, курва, появилась. Нахальная гадина! Тут больные при смерти, а она давай любоваться с Мотовиловым!.. Книга эта—целая гора передо мной. Крут-а-а-а-я! Шибко всего много в ней захвачено. И широко, и далеко! И как-то пространно. Писатель все это, будто на карту снимал... Все у него чередом списано и растолковано...

Воронцова—стремелюдина! Визжала шибко. Кабы не она, Мотовилов поужинал бы себе в церкви и лег бы спать. Безо всякой подлости. А то явилась сорока: «на, разболакай меня!». Оба православные, а про бога забыли. Не до него им было. В церкви, при больных, всякую тварь творили...

Напорно все описано... Дьячков-буркул хорошо он насмех выводит... А Фома-то как дрова в церкви колол! Все загудело, ровно в наполе (в бочке. А. Т.).

БОЧАРОВА А. П.—Больно мне пришлася Петрова смерть. Живого мужика в землю закопали. Все бы я общество за это разогнала к дьяволам! Вся моя шкура дро-

жала от злости на общество. Сукины дети! Не могли человека сохранить! Так мне Петру было жалко, что, кажись, сама бы за него прыгнула в яму. Да нюжли жа обманом общественники не могли его выручить от чехов?! Нюжли нельзя было как-нибудь придумать соврать ради жисти человеческой?! Какая им прибыль, что человек задарма пропал? Дураки—мужики черемшанские. Чехи уехали, они нашли бы какого-нибудь мертвого да и зарыли бы, вместо Петры. Што? мертвых чо ли не нашлось на кладбище?..

А милосердная сестра-то чо в церкви разделывала. Подлюка бестыжая! При больных-то людях?! Так бы и дала ей по затылку, чтоб не воняла тут! Што она разводит там разные пустяки?! К чему приставлена, то и делай, ходи за больным людом... Зло на нее берет... Хоть бы ее паху не было на белом свете!..

Похожденье все это на меня, как с неба грохнуло, как камнем по голове о ш а б у р и л о! Сидела я не в себе. Плакала, и все было. Приду домой, и ночи целые думаю, догадываюсь, понимаю... Вот ляжу спать—висит передо мной мужик на журавле! Висит, болтается, а тут коло него несмышленые детишки бормочут: «п а п а н я п л я с и т и д л а з н и т с я». В думу мою вбилась книга эта, кто знает как! Одной дома теперь мне страшно оставаться. Как наступит темь, так перед глазами расстрелянные, повешенные, убийство, трупы, пожары...

Мотовило (так она называет Мотовилова. А. Т.) так Мотовилом и остался. Вон сколь про него сказано, а нигде добром не помянут... Но и ему мало доброго пришлось хлебнуть. Одно маянье у него было. Глядико-сь, сколь он выходил да выездил! хорошова мало, а голоду и холоду принял. Не мед и ему бывал...

Орлов дюже бесстыдник был. Голую компанию завел.. Ишь, как налопались! Никто свечки поставить не мог! С моей стороны—к чертям бы их всех этих пьяюг пожечь! Ох, и пужанула бы я их! Люди воюют, а они пируют...

Все тут печальное, ежели одуматься. Пилили тайгу-то как крестьяне! Батюшки! Страшишься весь и сам, будто с ними там торкаешься...

Я так по своему сомышленью держу: подставь эту книгу первому глупцу, да лишь бы он грамоте мерекал—уткнется он в нее, и не отцепишь... Р о з м ы с л дюже хороший в ней. Прочтут одно—о х л о б у ш и т оно тебя, а тут, маленько сгодя, еще страшней подойдет. И сидишь очумевши.

БЛИНОВА Т. П.—Лазочник, что доносил полковнику на большевиков—сволочь. Нашел, щеголь какой, ябеда! Чтоб те провалиться!.. Некоторые бабы не верят, что голяком у полковника гулянье шло. Правда эта истинная. А мы-то, помнишь? Раскосматимся, бывало, ежели нажремся самогону, в старину-то! Подходя это прописано... Я видала раз пьянство поповское у журавлишинского отца Михаила на именинах. О-о-ох, что там только было! Хуже нашего брата придумляют. Дюже дурней нас гуляют. Попы пьяны готовы подштанники с себя содрать...

И говорить нечего: ни слова тут не солгано... Не позабыть мне эту книгу, нет! Из глаз не вылазит все, про что я слышала. Ревела я. Шибко ревела, когда офицер ребятишек своих леворвертом убивал. Намаялся, несчастный, так, что на свое отродье руку поднял. Сам себе не рад стал. Не в чувствах был...

И смех есть в этой книге, но весь он горький. Без горького нету смеху. Инда всхихикнешь, а потом за ум возьмешься—и перелом в тебе делается, страшно кажется и жалко... Смех-то тут не веселый, а все с перцем, печальный. Спирька отцу кажет страмное место, будто и смешно, а нет! Скоро убивство случилось...

Барановский белый, а я его жалею. В е ж н ы й он шибко был. С каждым человеком он обойдется приятно. Не хотела я никак его смерти. Все ждала, чтоб он на красную сторону перебег...

Но и времечко было!.. Про которое-то сказано в книге. То дорого в книге, что понятность ее—самая деревенская. Ш и б ч е е всех книг она мне пришлася... Мне все про Мотовилова мстится: и вреден же был он!! Хоть кому, голову отляпает, ирод! А до самой смерти в одну сторону тянул. Уверился, значит, в свое дело. Я его ненавижу за то, что вредный был для всех.

ТИТОВА Л. Е.—Эта книга не то, что... а на всю меня повлияла. Всю нашу Сибирь в то время она перевернула и все обсказала. Больно было слушать! Будь я грамотная, как следно, я сама бы еще прочитала ее... Завистовский зря пропал. Напрасно его партизаны убили. Он ни в чем не разбирался. Ребенок еще был. Что с него еще требовать? Куда люди шли, туда и он. Скрыть мне его хотелось, чтоб он еще пожил на свете... Попал в кашу, и капут ни за что. Не надеялась я, что партизаны убьют его. И хотелось мне, чтобы партизаны пробрались через тайгу, куда им плант ихний гласил...

Крестьяне, которые в селе Медвежьем на молебне лежали головами вниз, поди, и теперь еще, ежели живы, не отошли от ужасти. Поди и сейчас у них сердца черные...

Про книгу еще такой у меня помысел есть. Писатель, как ровно вот стоял где-нибудь на слободном месте; его никто не трогал, не мешал ему, а он всякое дело об-

думывал, соображал, как получше описать все военное беспокойство людское, все страсти. От его рассказов и з моей немудрящей головенке мысли—одна за другой, одна за другой, одна за другой... Мне кажется, что писатель, когда сочинял свою книгу, думал: заблудился народ. Надо его жалеть. Не в своих памятях он... И добрых людей жалеет писатель, а худых нет...

ШУЛЬГИНА А. Г.—Орлов—свинья. Противен он мне. Не глядела бы на него. Сколько он, сволочь, народной толпы погубил! И поп Купаресов (читай: Кипарисов. А. Т.)—идиот, прохвост! По пути ему башку снесли...

Ежели красные белых лупили—мне по душе было, а белые красных—мне было п о р а з и т е л ь н о... Завистовского не знаю,—как понять? Зачем его чорт носил с белыми?..

Услыхала я, что офицер убил своих детей, и подумала о своих детях. Я бы, кажется, с ума сошла, кабы мне так с детьми пришлось!.. Вся книга чересчур даже проборчивая. Мы теперь повсегда собираемся днем у сапожника Григория в избе... Много баб налезет в избу. И все говорим, и все обсуждаем про эту книгу. Дружка дружке рассказываем. Почитай, по целым дням толкуем. И ни от кого я дурных разговоров о книге не слыхала. Видно, что тот, кто сочинил ее, недурной человек, сердешный. Должно, подумал же он, о чем и как написать!.. Живого человека закопали в могилу! Я во сне это видела. Испужалась!!! За работой чуточку забудешь про читанное, а как только ляжешь спать ночью,—сейчас же все и полезет, и полезет на ум. И тебя обдирает, обдирает... Вон как страждали люди! Больше всех у меня в башке Дарья засела... Сильно разворошили меня эти рассказы. Тинька уменя плачет (ребенок 4 лет. А. Т.), не пускает в школу, а мне—вот как надо слушать! Заберу его с собой, и сижу здесь. Заснет Тинька, я его оттащу скорей домой, и опять сюда бегом. Ой, думаю, пропущу много! Я седни баню топила. Рано встала, ухлесталась, уморилась. Боялась, что не поддержуся. Нет, высидела бодро до самого краю. И в сон не тянуло. Забыла про свою умору.

Мотовилов—басурман, собака. Еще солдат не помер, а он его в снег с саней швыряет. А жрал-то как около мертвой старухи! И не блевал...

«Два мира» волнуют наше сердце. И ума от этой книги у людей прибавится.

БЛИНОВА Т. П.—И после нее мануть будет в школе. Даже ленивых. Скажешь: може еще такое будут читать, как «Два мира», и пойдешь в школу. Такая книга любое сердце растревожит (Ко мне. А. Т.). Всегда такие книги ты нам читай! По себе понимаю человеческую кару. Пронимает она, эта книжка. Будь ты доска-доской—поймешь! Вот попробуй в деревне почитай старухам про молебен али про виселицу, али про Петру, и те ревом заревут.

ТУБОЛЬЦЕВА Х. Т.—Конца-краю нет мучениям людским... И про все рассказано. И не утомляет это. Желается про будущее узнать. Еще и еще страшного охота послушать. Слышишь из книги про людскую беду, и то боязно, а ежели самому попасть в экое горе?.. Мне дьячок в церкви потешным показался. Яственный он какой-то... Как говорит, какой собой—ну!... Красиво и боязно—вот как цветы-то кровавые на снегу... от убитых людей... А глаза-то лопались у людей, когда их жгли на кострах—у-у-ух! Не можно терпеть ажно!..

Подлеца Жестикова—не жалко. Пропади он пропадом! Он не посчитался с Машей, когда насильничал... В смыслах гад был, а та—маленькая девочка...

Воронцова—чистая сучка! Подсыпалась к Мотовилову. Улестила его на грех. А мужику че? Подается, ну, и хапай. И как только у нее совести хватило?

ЗУБКОВА А. З.—Меня все удивленье берет: какие это такие люди, что все могут приметить, разузнать и рассказать?! Этот вот писатель писал так, будто он все видел, тут был. Взаправду чо ли он увезде шнырял?.. Изба деревенская. Люлька висит, в ней ребенок. Женщина качает люльку и унимает ребенка—«а-а-а-а». Байкает его, а у самой слезы, горе... и тут же лежит мертвая старуха...

Настоящее, правдивое все. И пилит грудь-душу байканье, мертвая старушка и слезы женщины. А тут еще война!

Говорят, Мотовилов бога признавал. Какой там ему бог! Рукой он его признавал, а сердцем—нет. Молился, а глядел кого бы застрелить. Ишь, кресты-то да чаши к себе в чемоданчик склал... Какой у него бог, коли сошелся с Воронцовой любоваться при больных людях, в алтаре... С х о д л и в о е, должно быть, сердце у писателя, потому что слышно: припадает его душа к людям... Этта я Стекачевой баушке рассказала про чтение, она: «схожу, схожу—послухаю». И притащилась.

ШУЛЬГИНА А. Г.—Было у нас восстание, но меня это не касалось. Людей где-то били, казнили. Моему сердцу было ни холодно, ни жарко. Послушала эту книгу, и буду понимать и жалеть страдающих людей. Ясно теперь мне стало, что много нашего брата—мужчин, женщин и детей—полегло в бою с Колчаком, за свободу. Буду теперь знать, что свободу эту надо понимать и беречь. Беляки дали нам жару-пару...

Беляки не жалели крестьянских детей, жгли, стреляли, колотили их. А при чем дети? Вот и писатель, видать, жалостливый до детей—хоть до белых, хоть до красных...

БОЧАРОВА А. П.—(Обращаясь ко мне. А. Т.). Напиши ты этому писателю от нашего лица большую благодарность за его видную картину. Скажи ему: забудешь про нее, когда уснешь. Прикачнула нам его книга думок без счету, без краю.

ЗУБКОВА Е. А.—И разливались же барыни на балу с Орловым. Паскудницы такие! Мотовилов—собака, зверь, сволочь. Сам себя в неделю раз любил...

Против других рассказ этот какой-то грозный. Не шаля-валя написан... Уж, должно быть, взялся за него писатель, так взялся! Гроза, а не книга. Еще страшней грозы. Та на час и—прошла, а эта на всю жисть напугала меня... Скажет слово, и как молотком тебя стукнет и оглоушит...

Рассерчала я даже на партизан за молоденького офицерика, как его?.. Завистовский чо ли? Который перед смертью маму-то звал? Я бы его не стала расстреливать.

Фома-денщик каким же треплом служил у офицеров! Не худой он и не хороший, а средний. Он, должно, рыжий, толстый, с бородищей вот этакой (показывает руками. А. Т.). И не злой он. Так себе. А где надо, он беспременно рассердится... А офицеров-то он уважал. Все поил их... Равнодушный он...

Настю я не виню, что связалась с офицером. Раз она влюбилась в Барановского, дак чо?.. А Спирька-то, вот аглоед, отца прибил! Но только, я думаю, таких Спирек мало найдется. На что он отца-то убивал? Он может быть, перешел бы к красным. Вишь, у отца-то рука не поднялась на сына. Хоть Спирька и красный, а поступок его плохой. Но а писатель не с'облыжничал тут. Пошто он будет брехать?..

Сочинитель этой книги любит писать все страшное, задиристое. Ежели начать в Журавлихе (село, отличающееся косностью. А. Т.) чтения с этой книги, то все начнут ходить в народный дом (обращается ко мне. А. Т.), забыла я те сказать еще про Мотовилова. По-моему, он поджаристый на вид, тонкий, черный, морда ядучая!..

БОЧАРОВА П. Ф.—Таких страшных речей в книгах я еще никогда не слыхивала. Я на них сколь раз даже плакала. Слышно даже, как понятие в тебя входит от книжки. Чижало народу было переносить разбойство белых. И тут вспомнишь про себя: и нам могло быть так в ту пору... Что есть: все наши бабы испужаны этим чтением. Подумаешь-подумаешь, и диву даешься—пошто ж это люди так друг друга изнистожают? То ли навыхвал, то ли от отчаянности?!!

СТЕКАЧОВА М. Е.—Ужас великий и страсть вон какая!! Издивлялись над народом—хуже и некуда. Власть, значит, этим белым нужна была, гнались за ней. И каждый раз в книжке все боле и боле страху. Тут тебя переворачивает всего, а там еще, а там боле. В лес пойдешь за грибами, нападешь на кулигу. Рвешь-двешь, дальше ступишь, а там еще грибы, да лучше, да гуще. Так и тут страстей... Другой раз я и смеялась (ко мне. А. Т.). Но это я над вашим чтеньем. Складно, вишь, все приходится. Прыснешь маленько, а смеху-то от книги нету и не должно ему быть. Горе же кругом... Как дьячок читал в церкви, как люлька скрипела и мать ребенка байкала... боязно тут мне было, неловко...

И как только такого гальства хватило у белых! Хоть и не видали мы этого, а ровно все это правда истинная... Могло быть...

В 19 году осенью мы молотили. Глядим—роговцы едут. На дороге—народ. Они снимают с мужиков шубы, срывают с голов шапки, бегут во двор—тащат оттуль седла, потники. Испужалась я тогда насмерть! Машина у нас была на ходу. Ну, думаю, ежели до нас станут добираться—живая в барабан полезу. Да это еще свои. А ежели бы беляки?.. Да тут я и не знаю, чо сделала бы!!!

Настю виноватить не буду. Дело любовное у них с Барановским сошлось. Кабы не по своей воле она шла, так, поди, было б чо-нибудь прописано. А то ничего не сказано... Не мог же ее Барановский в пазуху посадить... Он хоть и оборуженный был, а слабый был в белых, а думу вел про красных... О-о-ох!!! И сутормa же была!!! Кулешь—ничего не разберешь!..

ЗУБКОВА В. Ф.—Война... Какая-то безумная голова довела до нее. Провал бы ее взял, эту царизму. Сомустила она весь народ друг на друга. Белые и красные наделались. А всем им жизнь нужна. Делали бы люди со старины хорошо, и война миновалась бы. Царизма наделала делов. Церквя все строила, на водку деньги валила, а на ублаготворение народное—шшш...

Иностранных буржуев еще тогда нелегкая к нам нанесла. Как Носов (наш овчар. А. Т.) крюком ловит овец под закол, так и я бы этих чехов да французов посхватала бы... Черти!

СТЕКАЧОВ Т. В.—Наши ходили Китай усмирять. Так же галились над народом, как чехи и французы.

СТЕКАЧОВА М. Е.—И наших бы гнать оттуль, чтобы не видали, где носки и где пятки. Глядеть чо ли на них.

ЗУБКОВА В. Ф.—У меня два брата были у белых, там в России. Чо они понимали? Ничо. Как баранов, их погнали на войну неизвестно, за что. Вот так же, надо быть, убили или повесили на проволоке, как в книжке людей контромили, кончали... Билизовали их. Они шли. А б е з с е р д ц а шли...

Офицера Рагимова я задавила бы в первую очередь. Его правило жизни («Падающего толкни»... продажа знанию, кому угодно... А. Т.) самое подлое, самое скверное. Он хуже Мотовилова. Тот за свое дело был герой, а Рагимов—продажная душонка...

От речей писателя в озноб кидает. Тут часто страшно. И не только страшное описание, но и художественное.

...Пилят партизаны тайгу... И «шаль тайги». Сразу тебе все маячит... Я считаю, что «Два мира» будут слушать люди всякого возраста. И всем она будет интересна. Хоть ты кто будь.

КОРЛЯКОВ И. Ф.—Это—не простая книга, а история колчаковской тирании. Разделить ее по частям и напечатать по всем книжкам, которые идут школьникам. Наши дети и комсомольцы не видели тяжести борьбы за свободу. Они плохо эту борьбу представляют. Так пусть же из «Двух миров» узнают про нее. Пусть, чтобы не считали они труды отцов, их борьбу чепухой... О книге много-много можно сказать, но всего не скажешь. Одно скажу: для наших потомков она—самая нужная, самая первая книга. Всем слоям деревни, а особенно отсталым, ее нужно предложить читать в обязательном порядке. А то у нас еще много таких типов, которые ничего, кроме своей разверстки, не ценят. Они не знают, что некоторые люди отдали за революцию побольше разверстки...

Рассказано все очень живо. Фразы, кого-бы писатель ни обрисовывал, точные. А уж офицеров он до точки знает. Весь тон ихних слов! Верно! Сейчас у меня такое состояние на организме, будто я сам был партизаном и только что вернулся с битвы. Все нервы перекручены... На читке книги я каждым моментом, каждой мыслью автора дорожил. Писатель ненужные мелочи нам не давал, а самые сильные случаи описал. Судьба всех героев интересует. О них думается. Барановский, мне кажется, не закончен... Неизвестно, что с ним было, когда он попал к красным? Как они отнеслись к нему и к Фоме?

Конечно, я не могу сказать, что лучше этого писателя нет, что нет книги художественнее этой. Есть.

В «Двух мирах» есть шершавости. Не все под лак подведено, но... все чересчур сильно изображено!!! Какая-то везде грузность и грубость... Мягко нюнить нельзя было тогда. Была жестокая борьба, люди были грубые, безжалостные. Так писатель это и выразил... Сам же писатель не был тогда груб и не был мягок. А сила! хорошо бы на сцене поставить некоторые картины из книги. По-моему, у нас можно сыграть сцену—в церкви и пир у Барановского...

Мне думается, не надо к этой книге ничего подбавлять. Пусть она идет в деревню так, как есть... Про смех говорят... Он, правда, есть, но кто тут вздумает смеяться? Не весело от этого смеху!

БЛИНОВ Е. С.—Бывало, на войне так приходилось. Сидишь в окопах, и вдруг снаряд около тебя—шлеп! Будто и засмеешься: промахнулся, мол. А на самом деле тебе совсем не смешно. Такой же смех и в этой книге...

СТЕКАЧОВ Т. В.—Тут всякое место представлено так, что голова вверх лезет. Кто был на войне и п р и г а л т а л с я к опасности, тот еще так-сяк терпел, а кто не видал военного аду, тот натресся при чтении. Я и сам думал, что белые бесчинства и партизанщина везде прошли, как у нас. Верил, что белые не так безобразили, как про них рассказывал кое-кто. А послушал: не то. Теперь видна мне вся их невыносимая картина, все нутре.

Заметил я и одну неверную штуку. В курятнике-то... Жестиков насильничал над Машей. Что насильничал—верно. Но чтоб хвалиться он стал Чубукову—не знаю. Пусть хоть он и не знал, что Чубуков—партизан и родня Маше.... И своему Жестиков не станет так хвастать. Да еще больной. Не живет так, по-моему...

Написана книга умно: с перебоями... Не все под ряд пущено ужасное. Тут идет жуткое, а тут и именины со смешком, с шутками. Первая сцена начата сражением. Она сразу поражает читателя и слушателя. Убита семья Жаркова, убито много крестьян... Все валяется на дороге: самовары, трупы детей, мужчин и женщин, всякое добро!.. Спервоначатья меня это обдало жаром. Есть места и послабже. Как и было. По жизни писано. Из всех этих событий какой-нибудь такой писатель... много бы лишнего раздул. Напихал бы в книгу и того, чего не было. Старался бы подделать из пустяка красоту. А тут без лишних прибауток описано. Без стружка ловко отделано. У доброго плотника и без стружка чисто выходит. Украшения в рассказах есть, но там, где надо, к месту. Смотри-ка, у костра-то... вши, вонь, грязь, больные люди и тут же—дети. Как цветы, говорит, выросшие на навозе. Разве это не красиво?!. Где надо, там и

подкрашение было... И, главное дело, наречие народностей всяких у писателя ясно выходит. Татары, китайцы, чехи, французы—под нацию подведены точно. Видал я их на войне...

Сильно тукнули меня по сердцу слова попа Воскресенского на партизанском митинге в школе: «Я не выпущу из рук оружия до тех пор, пока не будет уничтожен последний из этих гадов»... Скажи это какой-нибудь партизан, не так бы меня задело. А то поп сказал, от которого таких слов и не ждешь! Поражает этакое поповское слово...

В книге густо песен. Все они придуманы к случаю, складно...

Рагимов? Грузин он. Ему воевать—дай. Он без драки не будет жить. Дома они и доветру без кинжала не ходят...

Перед началом чтения у писателя оговорка есть насчет того, что книга его не доделана. Верно, она не шибко выглажена, но крепкая. Не нужно ее доделывать, ежели для деревни... Вот Колчак почти не обрисован. Это плохо. Фронт писатель захватил, тыл тоже захватил, а центральное правление не взял. Но... как сказать? Можно и без центральных обойтись. Не в них дело.

ЗУБКОВА В. Ф.—Умный или глупый был Колчак, злой ли, хитрый ли, или мягкий—это нужно в такой книге рассказать. Колчаковщина описана, а самого главаря почти не видать. Показать его надо, что он за чучело был... Да еще мало обрисованы буржуи, которые на Восток убегали. Одна милочка какая-то есть.

СТЕКАЧОВ Т. В.—И нежные места в книге есть. Смерть Завистовского, как Татьяна Владимировна поцеловала шашку Барановского и провожала его на войну... тут как-то смешано: нежное с боязным. Часто такое приходится...

Чуть не из каждой главы можно сделать целую пьесу для театра.

По четырем дорогам ведется рассказ, а все понятно. Во-время писатель перескакивает от красных к белым, от фронта в тыл.

СТЕКАЧОВ И. А.—Ведет писатель читателя правильно. Поведет-поведет, главу кончит—остановится. Про другое зачнет. Перервет на самом интересе и вернет на первую дорогу. И тебе любопытно и то, и другое. Манит, значит. Так ты все время и думаешь: а ну, еще послушаю. Она сама тогда, книга, волокеть тебя.

НОСОВ М. А.—Раньше мы на заводах так-то ждали: придешь к заводским воротам и ждешь—вот сейчас начальство придет выбирать нас на работу. Выйдешь,—не выберет. Завтра опять идешь и ждешь. Долго так-то ходишь. Ждешь: авось когда-нибудь выберут...

Я не робкого десятка, а и то сердце у меня тряслось, как осиновый лист, когда шло описание войн. Сижу и ходуном хожу—эх, дал бы сейчас какому-нибудь белому! Ярь большая брала... Спекулянта, который разговаривал с профессором, темно вижу... Язык авторов, можно сказать, в полном достижении народности. Советский и армейский дух может поднять. Все слова в тебя влипают. Разных мелочей в книгу можно бы еще добавлять сколько хошь, но и так гоже сделано. Пожалуй, немного вставишь другого прочего. Действительно, нехватает подробностей о Колчаке. Это справедливо. Если б не пристигло ему офицеров встречать, может быть, мы и совсем бы его не увидали... Про него нужна добавка....

Вот уж, действительно, художество: лес партизаны пилят, дорогу себе прокладывают! Пахнет смолой, а еще гуще—человечьим потом. Во! Носом чуешь... Слов у писателя бывает мало, а картина получается... Застрелили Завистовского. Барнаулка его покраснела. И все. И понятно. Такое писание похоже на семена: бросишь одно зернышко, а из одного вырастет много!.. Что и говорить: письмо у Зазубрина краткое, но дельное. Он не разводит антимонии: пошли в тайгу, перешли ручей, перепрыгнули рытвинку. А просто говорит: пошли в тайгу....

И тыл изображен за первый сорт. Хоть возьмем Орлова. Какие пиры устраивал с голой бабьей кавалерией!.. Скажу, что у меня от книги было не впечатление, а беспокойное раздражение. Пойми: разная сволота офицерская гуляет, издевается над нашим братом... Только один Барановский с понятием. Трубил о красных, метался к ним. Капустин—не военный человек. Колпакову только бы сидеть в своем кабинете, развалемши пузо. По-его, пущай воюют, лишь бы его не задевали... А профессор—шельма! Вилюга! Мягко стелет, а хруско спать. В Таврии есть трава курай. Зеленая на вид, мягкая, а пойдешь по ней разумши, ноги исколешь. Такой и профессор...

Староста Кадушкин—балбес, что не вытащил Петра из могилы. Доведись на другого, выпустил бы его и—в тайгу. Ищи...

В наших деревнях поверят всему беспутству белых, о котором рассказано в «Двух мирах». Не поверят только разве Егоры Патрикеевичи (Егор Патрикеич—отсталый, заскорузлый старик из с. В.-Жилинского. А. Т.).

Рассказы о гражданской войне заденут народ так, как матерая ось за пень... Верно сказывали ребята, что выгладки в сочинении этом нету, а вытесано все топором. Стань гладить—еще испортишь.

КОРЯКОВА Н. В.—Врезалось писание в меня так, что все сердце мое изныло... по несчастным людям. Сколько они сил положили, чтобы пропилить тайгу да стерпеть всякую нуду белую! Шибко муки долгие были у крестьян, когда они тайгу пилили! Дарья-то бедная! Ей скажут: «отдохни», а она еще пуще пилит. С испугу это она. С испугу и силы-то больше стает, самое чижолое поднимешь. Все гребтелось мне, чтобы скорее пропилили партизаны дорогу себе. Так бы вот, кажись, соскочила и давай им пособлять!.. Намедни я в сельсовете исполнителем за Лукерью дежурила. Со мной в черед попал Кузьма Носов из коммуны «Свобода»... Сидели мы с ним, сидели; ночь долгая; скушно; в совете, как в казарме. И зачала я Кузьме рассказывать про это, про все похождение, про «Два мира»-то. Всю книжку ему рассказала, а он слухал-слухал и говорит: «да, Наталья, все это правда. Рассказ твой справедливый. Было это, было»... У них в коммуне таких книжек не читают. Нежим у них не такой. Лампы в школе нету....

Шибко я ждала, чтобы поскорее кончилось пиленье тайги: вон сколько люди страждали!.. По моему нутрю эта книжка пронзительно прошла... Сколь вечеров я ее ходила слушать и хоть бы тебе раз вздремнула. А бывало со мной часто, что сон давит и давит. При этой книжке у меня беспрестанно сердце кипело на белу гвардию.

ТИТОВ Н. И.—Орудия, сказывает, плевались длинными кусками огня... Так, так. Это уж так. Плюнет так плюнет! Видызгал я на японской войне. Так баско прилажен рассказ, что хоть ты и был на войне, а лучше не расскажешь. Видать, что писатель сам везде коло боя елозил. Глядел все. Хоть, может, сам и не бился, а высматривал всяко место.

САШИН Ф. М.—Здорово садануло беляка в пузо ржавыми гвоздями с толчоным чугуном!

ГЛАДКИХ А. И.—Рагимов—это, как Шакро у Максима Горького... А певица подстать офицерам визжала, что они на все иностранное жили. Подковырку им сделала:

«Костюм английский,
Погон российский,
Табак японский,
Правитель омский»...

ШИТИКОВ Д. С.—Китаец умно придумал про белых: «холоса песнь. Англий-костюма, японска лузья, наса тавала». Как-раз верно!

БЛИНОВА Т. П.—От молебна у меня аж кололо под пятками. Страшно дюже на обгорелых глядеть. Это в селе Широком-то... Из книжки слушаешь, и то терпеть не можешь, а ежели это увидать взаправду!!! И слова-то, слова-то в книжке какие!!!

ШУЛЬГИН И. Г.—(Случайный посетитель. Старик 80 лет. Приехал в коммуну к дочерям, погостить. **А. Т.**). Этот стервец Орлоз до баб охоч был, как я же. Кобель какой! Ишь, увивается. Удал, видно. Не хуже меня. Да меня тоже эти беляки по сограм гоняли. Вишь, сынишка мой с войны от них утек. А я самогон курил и его хоронил с собой в каштаке. Раз они к нам и наплыли. Я давай парня прятать. Сам тожа в согру. А кабы не ушел, надрали бы мне задницу... А поп-то, поп-то как вынтил перед полковником! Про всех большаков рассказал. Сатана навязался!

СОШИНА Е. И.—Язык бы этому идолу зырвать тут же. Одной пули ему мало. Язык бы вырвать и на кусочки исполосовать. И лавошник такой же, сукин сын. Язви их!

КРЮКОВ М. Ф.—У спекулянта рука гаденькая, холодная, липкая. Так про спекулянтов и надо писать. Это—другой Елисатов. (Из «Любви Яровой»—К. Тренева. **А. Т.**). А умен, гад. Отгадал он насчет колчаковской власти. Все, говорит, спекулянты да воришки. Отгадал.

КОРЛЯКОВА Н. В.—Танечке-то, видно, кухаркой не хочется быть. Ободрать бы тебя, шлюшку такую!

БЛИНОВ Е. С.—Есть маленькие людишки и из ученых. Тоня Бантикова—чистая лягуша! Самого бы профессора послать на войну. Пусть бы. А то на речах-то он мастак вертеть туда-сюда. Как это ему долго брехать на митинге дали?

ТИТОВ Н. И.—А зажурились офицерики, когда в вагоны сели и на войну поехали. Пьют, пьют, а трусят. Уж видно, что трусят. Не хуже меня. Эти офицеры—всяк по-своему революцию понимали. Сразу у них на раскоряку шло.

ТИТОВ П. И.—Ну, да. Куда кривая вывезет. В гимназисток-то стрелять они все—молодцы... Только все у них какое-то детское. Даже игры были детские. Ничего хорошего. Все глупое. На фронте я насмотрелся на них. Ради скуки, они на все руки.

НОСОВА М. М.—Партизанские крики: «у н и ч т о ж и т ь!» поднимают дух. Жда-ла я речь старика Чубукова на партизанском собрании. Поп Воскресенский сразу кру-то повернул свое положение.

ЖЕЛЕЗНИКОВА Т. Ф.—До девок-то эти белые полковники дюжи были. Знаю я это про них. А не понравилось хранцузу, когда Катя его по рылу шаркнула. Так и надо. Собака!

НОСОВ М. А.—Хранцуз—сволочь! Добрался до сибирских дезок, ровно наш «Г р о з и н ы й» (хряк-йоркшир. А. Т.) до свиней. Слюни аж распустил...

КОРЛЯКОВА Н. В.—На журавле повесили мужика с бабой. Ой! Не могу! Когда это читали, у меня в горле будто иголками кыляло. Замерзну я скраю, а после меня в жар кинет. То замерзну, то в жар кинет.

СТЕКАЧОВА М. Е.—Спиридонка-то, видно, молодой, да из ранних. Садыкнул отца-то!

ТУБОЛЬЦЕВ И. И. (Шутит).—Говорили, для нашего Федюхи Джейкало никто книги не напишет, чтобы он не заснул, когда будет слушать. А вот же написал За-зубрин. Не спит Федюха.

ДЖЕЙКАЛО Ф. Ф.—Тут и рад бы заснуть, но не заснешь.

НОСОВ М. А.—Верно. Поневоле будешь сидеть и слушать.

ДЖЕКАЙЛО Ф. Ф.—Тут и рад бы заснуть, но не заснешь.

Опал. Аж как-то в роде скушно сразу стало. И жалко, что оборвалось все.

ЗУБКОВА В. Ф.—Хорошо, что Баранозский жив остался. Я думала, что его кончили в первых боях, а он жив остался! У него большое склоненье к красным было. Умный он.

СТЕКАЧОВ Т. В.—Вот как Петру живого в могилу мир закапывал, тут народ наш сидел так, ровно его к стенке приколотили.

БЛИНОВА Т. П.—Тут не токма что люди, и вши все умрут от ужасти. Слезу никак не удержишь. Какой народ чудной был: напоили Петру чаем, а потом закопали.

ТИТОВА А. И.—Толпа, так толпа и есть. Закопают. Себя каждый огораживал. Боялись мужики: вернутся чехи, узнают, что Петра остался живым—и все село со-жгут. Такие здесь меня нерва брали, ну, просто... ажно сердце раздымалось.

ШИТИКОВ Д. С.—У меня к белым такое отвращение, что не слушал бы об их зверствах. Но слушать гребтится. Невыносимо только.

ЗУБКОВА А. З.—У беляков, должно, ни одного путного человека не было. Все—звери, обормоты... Безумные те мужики были, которые Петру закапывали.

НОСОВ М. А. (Возражает).—Это ты сейчас такая умная. Почему ты, Анна За-харовна, не заступилась за Мошкина Ягора, когда его партизаны зря к расстрелу присудили?

СТЕКАЧОВ Т. В.—Нет, в нашей Журавлихе не засыпали бы живого. Уйди чехи, не засыпали бы.

БЛИНОВА Т. П.—Да уж ково там говорить!? Моего Егора стреляли в хате бан-диты, все соседи слышали, а ни один не помог. Все только крепче з а л о м и л и двери.

БОЧАРОВА М. Т.—Жарков здорово орудовал. Нигде не трусил.

ШИТИКОВ Д. С.—Тоскливо мне было, когда зверствовали белые. И рад я бы-вал, ежели красные беляков настигали. Вот как мне было сладко, когда партизаны сре-зали сашкой череп хранцузскому полковнику!! На сахарницу черепок этот годится.

НОСОВ М. А.—Срезали череп и раскрыли в нем «ядовитый мед».

ТИТОВА Л. Г.—Другому-то хранцузику или как его там... тоже скоро голову снесли. Как у зарубленного петушка шея торчала. И кровь!!

БОЧАРОВА П. И.—Партизаны в тайге все кричали: «пили!-пили!». Крик этот им нужен был, значит, для душевности. Так и надо было почаще покрикивать. О-о-ох! И было же там! И крик, и стрельба, и ребятишки, и коровы. И как только народ вы-нес эту байгу? Всю бы ночь слушала я экое чтенье...

КОРЛЯКОВА Н. В.—Новую книжку читают—сердце спит. А тут—терзанье, ко-лотье и беспокойство всякую минуту. И некогда тебе о другом забыться. Мне погля-нулось и смешное: когда Настенька разговаривала с Мотовиловым о порядках в красном войске. Вы, говорит, порядки ведете, как у красных. Ну, и подверстала она ему тут словечко!

СТЕКАЧОВА П. Ф.—Так это она. Не сообразила, к чему несет. С бабьего ума.

НОСОВ М. А.—Не в ту жилу ударила... Мотовилов хоть и сукин сын, а может определять людей. Смотрите-ка, как он своих офицеров расчистил! Человек он без сердца. Ну, а с сердцем человек—не вояка... Офицерские жены—сучки. Ишь, какая у них разнобратчина шла с офицерами! Кто какую хотел, туе и валил. Помутился у них весь монастырь.

СТЕКАЧОВ И. А.—Белое отступление было такое же, как великое отступление французов. Вот, поди, когда от них редькой-то несло! Все разрушали на своем пути. Птицу лопали нечереденую.

ШУЛЬГИНА А. Г.—Мне жалко старуху, которую солдаты на печи поджаривали. Ей, бедной, с печки слезть некуда, теснота, а в печке каждый солдат блины пекеть. Разве это не горе?

БЛИНОВ И. Е.—На этой печи только Вельзебулу жить—(Вельзевул заимствован из пьесы-сатиры «Буржуи в аду» Д. Долева, недавно поставленной на нашей сцене. А. Т.), а солдаты старуху туда загнали. Всю, поди закоптили, несчастную. Фома при Барановском был, как Ваничка при Филипп Степаныче в «Растратчиках»—В. Катаева. Похоже.

СТЕКАЧОВ И. А.—Быстро прикончили прапорщика Гвоздя. Погиб за очередь на переезде. Это—верно. Шляпка Гвоздя не стерпела. Есть замашка у офицеров: по зубам солдат. Ну, и те в ответ садят... Местами в книге такое ясное художество, что тошнительно делается от разбойства беляков.

БОЧАРОВА А. П.—Мотовило (Читай: Мотовилов. А. Т.) находит на малаховского Нехорошева (известный в наших местах партизан. А. Т.). В глазах играет. Не отвяжешься от его обличности.

СТЕКАЧОВ Т. В.—Вел он свой ударно-удирающий батальон, как Моисей водил народ Израилез по пустыням. Только Моисею тепло было, а Мотовилову и холодно, и голодно доставалось.

ТИТОВ П. И.—Мотовилов—не трус, лев. В церковь залез и жгеть книги. А задумался же над словами горевшей книги, что человек должен подохнуть, как ни крутись. Вот гад-то! Отдельный кабинет в алтаре устроил. Архирей какой! Ну, чорт возьми, и сцена же!!

ТИТОВА А. И.—Нет, тут тебе не кабинет, а страсть страшенная. Любовные дела Мотовилоза в чувство при этом деле не входят. Все жилы из человека эта картина тянет.

ТИТОВ П. И.—Конечно, кабы не было больных в церкви, то большой отвратительности к Мотовилову и Воронцевой у нас не получилось бы... А когда на почехонское положение Мотовилов перешел, то стал заваруху лопать. Не понравилось это ему. Любопытно, как на похоронах партизан два завета встретились: православные «зечную память» дуют, а партизаны—«похоронный марш».

СОШИНА Е. И.—Вера Владимировна на полковницком балу, как меделянская сука, выставляла свой зад... А подходя, видно, был тот офицер, что возил на себе голую барыню. Страмец!!

ЗУБКОВА В. Ф.—Неужели до такой подлости доходят люди?! Эх, горячим бы кипятком шарахнуть в голую компанию!

БЛИНОВ Е. С.—Мотовилов в'елся нам в память навеки. Рагимов ему под пару. Всех бы они били. Пощады—никому. Тамбовские кулачки и то лучше.

БЛИНОВА Т. П.—Маленько писатель неправильно поставил про красных. Надо бы наполовину писать: и хорошее, и плохое. Не везде и партизаны были добрыми. В переворот к нам один залетел, вскочил прямо на полати—хоп рукавицы и убежал... Немножко бы похаять в книжке и красных надо. Гладкие они у него дюже поставлены. А не такие они все-то... Ведь и наши пакостили. Намаются в тайге—ну, и делаются зверями... Прописать бы и про это. Тогда бы уж все правильно было... А опричь этого, вся книжка кручинная, заботливая!

ТИТОВ П. И.—Истикт (читай: инстинкт. А. Т.) чувствия супротив войны у некоторых белых офицеров превышал даже супротивность красных. Колпаков-то чо говорил? Провались она пропадом и вся война! А Барановский? За красных весь был. Насчет белых по совести описано. Не все они звери были. Там были хорошие, ну, и у нас были плохие. Так бы и обозначить.

БОЧАРОВА П. Ф.—Как крестьянин, говорит этот писатель. Ково зря не вытворяживает. Будто знал он, что мы на свете есть... непонятливые. Да так и написал, чтоб и мы поняли. Разбористо, безо всякой антиситенции. Только когда пишет он про одного человека, мне интереснее слушать, чем писанье про многих людей. Лучше у него выходит писание про одного человека.

СТЕКАЧОВ Т. В.—Про массыю он пишет скоро, а про горе одного человека—дольше и жалостней... Смерть Завистовского... Ждет, когда догорит цыгарка. И—смерть; конец.

И думки у него: стоит только одному партизану сказать слово, и жизнь спасена. Кричит: «мама, мамочка!» Разве это?! А офицер-то убивает своих детей?!

НОСОВ М. А.—(Возражает) А молебен? А расстрел у церковной ограды?! Это тебе—не сила?!

НОСОВА М. М.—Там разбрасываешься, потому что погибают многие. Не знаешь, про кого страдать. Петра зарывают живого одного—и его видно, и его жалче, чем всю толпу. Как-то так чувствуешь... Одно название этой главы—и то беспокоит душу. Ишь как: «Всему миру или тебе?».

БЛИНОВ Е. С.—Я тут понял вот что: до чего же старый мир был дряхл умственной способностью! Взять профессора и Спирьку. Профессор не мог понять, что народную революционную волну никому нельзя остановить. Раз течение отправилось, то ему противостоять ничто не может. Дурной профессор. Вообще этот ученый мир в свое только углублен... А больше ничего не видит, не понимает... Спирька среди масс вращался. Он понял, куда надо тянуть. Хоть его отец и ушел к белым, но Спирька знал, что все-равно белая сторона неправа...

Возьмем офицеров: Рагимова, Колпакова, Капустина, Мотовилова, Барановского. Из них только один Мотовилов борьбу вел за существование белой власти. А это—меньшинство. Барановский сразу же на фронте заметался. Не только что воевать, а не знал, куда двинуться. Профессор не понял, что помощников у него—один Мотовилов. Но и тот не будет беречь его паркет...

Рагимовых было много у белых. Из Колпаковых да Капустиных состояла почти вся офицерская шатия. За одно офицеры никак не умели думать. Из романа хорошо видно, из каких лохмотьев состояла белая армия... Каждый офицер в свою сторону тянул. Разложение полное дадено... Кабы писатель это все дело подкрасил через силу, пожалуй, я многому бы и не поверил. А то написано все не по-лизаному, а как должно соответствовать. Факты видишь. Не догадываться тебе тут приходится, как иной раз... Бывает, что сомневаешься: верить аль нет писателю. В «Двух мирах» такого недоуменья у меня не было. Здесь—интерес в тебе, ожидание дальнейшего. И насчет правды не сомневаешься...

Тимофей Васильевич Стекачов не верит, что Жестиков мог хвастаться Чубукову об изнасиловании Маши. А я говорю—было так. Как только белые занимали деревню, им начальство разрешало алырничать и всякое творить. Этим-то они и народ от себя отшили... Вот и Жестиков. Он же глупый был. Умный беляк не стал бы пакостить, ну, а Жестиков был дурак...

Слыхать, что писание у автора наскоро накрученное. Может быть, он сам думает: вскоростях писал, неладно вышло. А нет, вышло очень даже ладно... Художество рассыпано всюду, по всей книге. За течением «миров» я следил внимательно и постоянно. Хотелось понять, как и что из них образуется... Хоть и перескакивает писатель с главы на главу, а ты знаешь, какой отрывок куда надо определять. Легко связывается у Зазубрина все. И, главное, затягает. Согласен ты книгу слушать или читать, пока хватит мочи.

В романе взяты самые бойкие примеры т о г о времени. Возьми-ка дурость Орлова. Нигде поставить на сцене такой картины невозможно. А так было. Или—отступление партизан или смерть Петра?! Да много такого!? Я вижу, что этому писателю нужны жизненные факты—тогда он здорово напишет. Он из книг не берет, чо надо. По-моему, буржуазному классу эту книгу давать не надо, а то прочтут пузаны и скажут: «Э, глупо же наши белые воевали с красными. Никакой у них склепки не было. В будущем так воевать нельзя. Надо воевать организованно, как красные»... В книге Зазубрина все существенное. Ежели ее прочитать через 50 лет, то она тогда еще жутче покажется... Как вон «9 3 г о д» Гюго—теперь ужасно читать... В деревне эта книга нужна для народного воспитания. По прочтении ее всякий тумак поймет, какой же «мир» лучше: белый или красный?

Хорошо все подогнано в книге. У меня никакой путаницы в голове не было. Как глава появится, так ты уж знаешь, откэль она и куда принадлежит...

Эту книгу я не ровняю со всеми прочитанными в школе. Может, в будущем только попадет ровня ей. У Под'ячева сильные книги, но там про отдельных личностей. Например, о бедном мужике, бродяге или пропойце я не буду сильно страдать. А тут человека волна революции занесла, и он мучается. Петр, повешенные на журавле, Маша, Дарья, расстрелянные у церкви и др. Это же огромные картины! То ли я читал где, то ли от кого слышал такую штуку. У французского астронома был единственный сын. Этот сын заболел и умер. Собрались родные, плачут, ревут, мечутся. Астроном—знай смотрит в трубу на небо. Родные на него обиделись. «Что ты, аль тебе не жалко сына, аль тебя это не касается?». А он им сказал: «Посмотрите на всю вселенную. Там ежесекундно целые миры гинут, а я должен, по-вашему, об одном сыне думать?». Так и «Два мира» выше многих произведений, в которых описывается про отдельных личностей. Широко здесь охват берется. Правда, знал я, чем должно все кончиться, а хотел от писателя про концы узнать. Я предполагал, что Воронцова была Татьяна Владимировна. Вот-вот, думал, в церкви Барановский ее узнает и между ними произойдет интересный разговор. А надо бы так писателю эту сцену подвести. Наверное, Барановский раскаялся бы ей, что напрасно она ему целовала шашку, когда отправляла на войну против красных. Чтобы она ему на это ответила?!!

«Два мира»—в аккурат для нашего брата сочинена. Может, какой-нибудь «тонкий» человек и будет ею недоволен, ну, а нам она в самый раз. Лучше и не требуется.

ТИТОВА А. И.—Ужасно для меня это описанье. Картина вешанья на журавле показалась мне ближе, чем расстрел сорока девяти человек. Та в отдаленности. При повешении у людей выраженье слов было, а это лучше. Когда убивали сорок девять—над ними, казалось, стояла тихая туча. Правда, нестерпимая, но у писателя в этом месте мало выраженья было. Почти все люди страждали молчком. Кабы тут был народный рев, крик—еще бы страшней обошлось тогда! Но все было тихо. А подпиши он реву—ну, с ы с т о р о н н ы, могли бы мы все закричаться!.. Стоят эти сорок девять душ передо мной, все помертвелые...

Смерть Завистовского еще ближе приняла к моему сердцу, потому что слова тут выражал вьюнуш. Много слов. И слова эти и з и л и меня всю: «м а м а, м а м а, м а м о ч к а!». Не сравнишь, ведь эти слова с тихой смертью. Со словами смерть пронзительней, лучше. Волнуешься тогда шибче...

Неспокойная эта книга. Все время она тебя дергает. Придает всем людям страсти. Я замечала по людям: слушают-слушают, замрут, а потом разом и вздохнут (Изображает. А. Т.) о-о-ох-ох-ох! П л а ч у щ е е сердце матери не вынесло страданья детей. В бессознании, видно, была офицерова жена, когда муж убивал револьвертом детей. А если бы она была в чувствии, то у них занялась бы борьба. Мать не даст на смерть своих детей. Лучше сама вперед покончится... Никакие еще книги я так не поняла, как эту. Сочинитель ее многоумный, видать, человек. Кое-чего описанного он, может быть, и не видал, но сообразил без виденья, как надо представить любое дело. Соображение, значит, у него настоящее...

Неправедно то, что красные все—хорошие вышли. М я т е ж н и к и и о х а л ь н и к и и у красных были. Но только что их общий умысл был справедливый, а кур некоторые из них тоже воровали. Уж не без того...

Книга «Два мира»—не чищена, не тесана, не стругана, а русским языком... просто рассказана. Может быть, где-нибудь плохие слова и были, но я за ними не гналась и не запомнила...

Воронцова—настоящая кобыла! Маленько бы ей п о к р о т ч е быть, стерве, в церкви-то! Ихнюю потеху с Мотовиловым делать бы не в церкви, не при больных, а где-нибудь н а п р о с т о р н о м м е с т е...

Дьячку дивлюсь: как он мог читать в церкви один над мертвым? То ли он шибко веру чо ли держал?..

Жалко, что Мотовилов белый был. Будь он у красных, он бы еще жестче за дело брался. Не поддался никому: сам уничтожил свою жизнь... Некому, видно, было его подмуштровать, чтобы он красным сдался...

Навой раз писатели просто дурь вытворяют. А Зазубрин этот дорого стоит: он думать заставляет. Вот всего, что завертелось в голове, рассказать, может быть, и не смогу я, а о н о е с т ь т а м, в о м н е...

Есть которые писатели несут никово: коровы, да овцы, да овечьи языки, да луну обоссять, да как кобыла в барских хоромах напрудила... Неково слушать. Бить бы этих писателей эких ихными книгами в лоб!.. (Обращается ко мне. А. Т.). Недоумлю я, как это писатель мысли человеческие узнает? Молотов проходил коло мертвой старухи, которая лежала под снегом на дворе... еще чулочек-то торчал из снегу. Проходил Мотовилов и думал. Как это писатель отгадал, что думал Мотовилов? Сложно угаданы мысли. Точка к точке, подходя...

Пишет Зазубрин так, что у него слово—слово родит. И ядрено пишет, по-мужичьи. С его писанья я разбор такой себе в ум взяла. Люди все—люди. Все одинаковы. Но зачем они полосуются? За власть боролись. А все это наделало богатство.

СОШИНА Е. И.—Не даром Мотовилова так назвали. Вон сколь он людей замотал! Добрая мотушка. Ишь, какой Антип! Здорово коло мертвой старухи лопал... Жгли белых на костре, глаза у них лопались... Оно хоть и жалко, а пущай их! Получили то, что другим сами давали..

Написано все с перекидкой. Вот как у нас в хозяйстве бывает: одно дело делаешь, на другое оторвешься, опять бежишь к первому, и понимаешь, как его гнать дальше надо. Не сумлеваешься...

Мы вечерами про книгу все судили во дворе (В теплом скотном. А. Т.), когда пойдет доить и убирать коров. Там у нас ладный, попутный разговор бывает. Здесь я маленько как-то ошибаюсь. Не могу всего обсказать. А там у нас: один скажет слово, другой подовторит, и еще дальше-дальше зачнем судить. Разносим коровам мякину, а сами торопимся, чтобы послушать, чо люди толкуют про чтенье. Книжка туго взяла нас за думку...

ШИТИКОВА М. Т.—При отправке белых на войну речь профессора показалась мне скучноватой своей удлинительностью. Денщика Барановского Фому очень ясно видно. Простоватый, добродушный и преданный слуга, который ничего лучше своей работы и не знает и думает, что все так и должно быть, как есть. Рагимова чувствуешь, как храброго военного человека, который все-таки производит отталкивающее впечатле-

ние. Уважения к нему никакого. Образины его не вижу. Также слабо представляю личности Капустина и Колпакова, хотя и понимаю, что они неспособны к войне и заботятся о том, лишь бы их не трогали... К офицерским гулянкам песни приходились как-раз под масть.

Партизан Жарков деловит, храбр, умен. Питаю к нему уважение, но личность его для меня туманна...

Шибко длинных и скучных описаний не нападала. Всюду было слушать интересно. В споре Мотовилова с Барановским о правде я была, конечно, на стороне Барановского...

«Два мира» выставляет на вид всю человеческую злобу, ненависть, самолюбие и подлость и в то же время—усиленную борьбу и жестокую расправу одних над другими. В книге красота, может быть, и участвует, но я ее почти не заметила. Тайга описана хорошо. Вышла бы, вероятно, еще лучше, если бы в ней изображались не военные приключения, сеявшие смерть и страдания, а что-нибудь другое. Помню слова писателя: кровавые посевы дают красные всходы... Хорошо! В книге почти все места видны. Но художественнее всего показались мне картины: обоз Мотовилова с больными, лежавшими в дровнях, недалеко от дороги, на снегу валяются мертвые люди, лошади, и всюду большие пятна крови, ровно разбросанные цветы; потом еще оставленное Мотовиловым пристанище; убитое семейство офицера у потухшего костра; вороны садятся на головы детей и выклевывают глаза и мозг...

Всякие мысли и чувства остались от книги. И радостное—к победе красных, и печаль о потерпевших и погибших людях, и ненависть к гнусным и безжалостным злодеям—Орлову, Пестикову, Жестикову и другим.

Не совсем понравилась мне выходка Спирьки, который так зверски через речку убил отца. Отец еще не пришел в себя от удивления, что встретил сына на войне. Спирькин поступок я не одобряю и не уважаю... Эта сцена напомнила мне встречу в битве Тараса Бульбы с сыном. Только там убийство вышло наоборот, чем здесь. Но у Гоголя почему-то получилось трогательно, а здесь—нет. Тарас породил сына, вырастил, на измене его застал и убил. Верно это. А Спирька зря уколотил отца. Отец еще ничего, а он его бацкнул. Спирька—молокосос. Ему и на войну-то еще рано... Ну, пусть так: отец к белым, а он—к красным. Враги, значит, политические. Хорошо. Но писатель же малость помянул, что перед стрельбой Спирька вспомнил отцову ласку. Надо было получше тут описать. Я ждала так: Спирька убьет отца по горячности, по глупости и по солдатскому подзуживанию, но, а потом, когда опомнится, выронит из рук винтовку, схватится за головушку и начнет метаться и каяться о своем плохом, необдуманном поступке. Случилось так, мы почувствовали бы к Спирьке жалость и уважение, а то этого нет. Спирька оказался, по-моему, таким же дурным зверем, как Пестиков или Жестиков. Убийством отца Спирька не украшает революции, а пятнает ее. Не злюсь я на отца, а злюсь на Спирьку. А этого не должно бы от книги получаться.

ШИТИКОВ Д. С.—Баба моя (М. Т. Шитикова. **А. Т.**), говорит уклонно. А я буду говорись пространно (Ко мне. **А. Т.**). Слухай! Я тебе наперед говорю: ежели ты к какому-нибудь моему слову не приложишь понятия, то спрашивай, к чему оно сказано. Я тебе раз'ясню, чтобы это слово до всякого людского понятия дошло об'яснительно. Понять слова мои можно всяко, ежели который человек этого пожелает. Может, поймут и с точки зрения политического уклона к меньшевизму или к крестьянству. Ведь мы, мужики, много разного выражаем. Но надо сделать так аккуратно со своими мыслями, чтобы т а м - т о, свыше нас понимали настояще. Это—предисловье. Пиши дальше. Читал ты эту книгу. Кончил. Да, постой... Хочется мне высказать свою мысль без выдерга, а сложно и складно... Чтобы весь резонт был выведен... Читал ты. А я слухал бы, слухал и слухал. Она меня, эта книга, дюже заинтересовала. Она долго учила меня быту, какой был при Колчаке и при гражданской войне. Я не затомился еще слухать ее, и—хлоп!—книга кончена. И мне ее было жалко-жалко (Наклонившись к моему лицу, просит нежно и убеждающе. **А. Т.**). Пожалуйства, ты так и пропиши: жалко-жалко! Два раза это слово поставь! Я тебе подовторю, жгло меня всего это писание (Поднимается, размахивает руками и патетически восклицает. **А. Т.**). Так и сказал бы я писателю: Эх, брат, хорошо ты написал, но мало. Еще от ума твоего хочется послухать! Вот тут в чем дело-то... Как обсуждать всю эту представленную сложность? Какой подход? Кабы я умел писать, как баба моя Маланья Тимофеевна, я прокритиковал бы книгу не так, как она! Я бы каждое слово прогнал п о - г р а ж д а н с к и, п о - к о м м у н и с т и ч е с к и и п о - о п п о р т у н и с т и ч'е'с'к'и? («Витиеватость», очевидно, результат увлечения «И с т о р и е й В К П (б)» Е. Ярославского. **А. Т.**). И сказал бы: нате, люди, читайте! Мыслей у меня—полный зоб. Но прозорочисто и чисто их сейчас не скажешь. Забываешь...

Одним словом, ты читал книгу, и как все равно передавал нам электрический звук—радиво. И передает, и передает, и передает... И ты только и знаешь, что ловишь

этот звук-радиво своими мыслями-мнениями. Заботишься запомнить каждое словечко. А почему? Да потому, к примеру, чтобы было у тебя, о чем речь повести, когда сойдешься с чужим хорошим человеком. Сойдешься ты с ним и сейчас же спросишь его: «Читал ты книгу «Два мира»? Нет, так слухай, я тебе расскажу. И должен ты раз'яснить человеку вот, дескать, какое понятие отвращения от белой э к с п р и я ц и и дал Зазубрин... Век будут люди об этих «двух мирах» помнить. И веки-вечные у каждого крестьянина не оборотится душа к белым. Нехай, скажет, этот белый мир исчезает с земли навсегда. Чорт с ним! Нехай бы эта книга была в три четверти аршина толщиной, нехай бы в ней было полное революционное ученье для человека, и тогда ее всяк будет слухать—вот как!! Тогда а к к о р д писателев был бы еще лучше. Нехай тут попадались бы и скучноватые страницы, но всякий читатель знал бы, что дальше—интерес...

Пропиливали партизаны тайгу... Это рассказано на 5-6 листочках. Напиши автор, вместо них 50-60 листов, и то я слушал бы этот рассказ с охотой...

Составлено все из отрывков, без подробных доказательств, а так представительно, будто писатель все это сам пережил, перевидал. Все п р о и с х о ж д е н ь е писатель изобразил с наглядного факта. А ежели Зазубрин это выдумал, не видючи, то у него здоровенная голова! А ежели он описал слыханное от людей, то он сурьезный мастер своего дела. Все факты колчаковского времени показаны в точности. И какие люди тогда были, и как, и чем они были настроены. Дело писателя было—показать это. А люди пусть разбираются, потому что у всякого свой у к у с на людей. Почитай, у самого настоящего остолопа в голове от «Двух миров» хлыснет волна к умственному размышлению...

Ежели разобраться со всеобщего масштабу, то у офицера Рагимова никакой дельной науки и не было. Жил он там, где лучше... Я думаю, что всю книгу можно показать только в к и н е м а т о г р а ф е. Да и то не покажешь пира полковника Орлова. И непременно проведется книга когда-нибудь в театрах. И будет в народе ходить эта книга ужасная и в п е ч а т л е н н а я! Отшибет она народ от всего подлого творчества старого режима. Отчего это так? Оттого, что составлен роман не токма что трогательно, а просто-таки к а р д и н а л ь н о! Теперь еще добавлю: как я понял «Два мира». А вот как. Будет мне 75 лет, и будут у меня внуки. Буду я садить своих внуков на пузо, и все им до слова, до тонкости расскажу из этой книги. Иначе нельзя. Потому что, когда я слушал чтение про «миры», то был в припадке. Такое душевное положенье у меня было, что будто бы я убил человека, и мне грозило большое наказанье... Человеческое сердце к сердцу примыкает. Завистовского берем—как ты об нем не пожалкуешь? Но пожалкуешь, и тут же вспомнишь два мира, которые насмерть схватились, и все становится в тебе мертво. Болезно за Завистовского, а должно быть так. И слова эти «д о л ж н о б ы т ь т а к»—мягкие слова, успокоительные... Про смерть офицерских детей, про самих родителей надо сказать как-то ласково и п о к р е т н е е (читай: покорректнее. А. Т.). От веры своей идейный офицер шел. Шел куда-то в Месопотамию.

Про слова Зазубрина еще добавлю такое. Он писал не по пословице: т в е т д е н е ж к и б е р е т. Он в записанную правду кое-где вбил лишь свои художественные клинушки. Для ладности. Ну, а уж лаку-то нету. Он мог бы размаслить, развести сколь хошь, но, должно, не схотел. И так обойдется. Перемаслишь—хуже может выйти. Применю писателей к нашему столярному делу. Есть такие мастера. Сделает вещь, а в ней внутренний разрыв. Мастер засаживает в него кусок материала, который там не должен быть и пользы не дает. Потом мастер дурную вставку закрашивает, чтобы покупатель обман не узнал. Так и писатели иной раз нашего брата прикраской надувают. У Зазубрина в «Двух мирах» этого нет. У него лукавства с прикраской нет. По доброй совести все сделано. Много страниц совсем даже некрашенными остались.

А делу это не мешает нисколько.

СТЕКАЧОВ И. А.—Сцена расстрела 49 мне кажется длинной. Здесь необходимо было как-то иначе написать, чтоб и сильно было, и не тягуче. Выражение «П и л и - п и л и!» шибко часто повторяется. Сократить бы его. Надоедливо получается. Вместо него, другие слова кое-где поставить—лучше будет. Поддерживать публику надо бы чем-то живым, веселым. На войне ведь хоть умирают, а подбадривают себя... Опять же про расстрел 49 скажу. Винтовки, черные точки, винтовки качнулись, то, другое, пятое, десятое—и тягучее все. Если бы автор расстрелянных изобразил в изуродованном, искаженном вида, с размозженными черепами, так же, например, как убитых офицеровых детей, куда ярче была бы картина! Частичка в этом описании газетного отражается... Мне так думается: где писатель старался скорей да крепче сказать, там хуже вышло, а где проще—там лучше. При расстреле у церкви сказано: стена побелела. Что побелело? Какакя стена побелела? Понимай, как знаешь... Но таких смутных

мест я больше в романе не находил. Это—пустяшный недостаток. Трудно, видно, писать про много людей.

Хорошее место одно я приметил в книге. Это—чтение сгорающей книги Мотовиловым в алтаре. Он прочел слова: ...«и паки мя возвративый в землю, от нее же взят бы»...

И призадумался над ними. Подходят эти слова к настроению Мотовилова. Понимаешь, что они ему напоминают о скором конце. Как ни собачился он, а взял в толк, что этих слов обойти нельзя...

«Два мира»—история. Стало быть, писатель должен был справедливо говорить про обе стороны—про белую и красную. Про белую—верно, исправлять нечего. А насчет красных надо коснуться и плохого их поведения...

Спирька, мне думается, просто озорник, хулиган.

У всякого писателя бывает хорошее и слабое. У Зазубрина в «Двух мирах» есть то и другое. Но замечательного и поразительного куда больше. В общем, сильнейшая книга. И я всякому человеку ее предлагаю. Нету подобной книги про гражданскую войну. Я не знаю ее.

ТИТОВА А. Н.—Думаю я, что эту книгу никто не забудет, потому что в ней все страсти военные описаны. Этот писатель сочинил книгу с правды. Он как-то не из чего может сделать смешное или нестерпимое. Например: он взял избу крестьянскую и написал, как солдаты там пекли лепешки. Всяк себе печет, и все время топят печь, а старуха на печи жарится. Тут и жалость, и смех—все вместе. Скажет писатель какое-нибудь одно слово, а в нем мысли три али четыре... Все обсказано действительно: такое уж время было. Были в Сибири тогда народы всякой масти: французы, китайцы, чехи, немцы и друг. Всяк по-своему распоряжался. Друг друга не слушались.

Мотовило (читай: Мотовилов. А. Т.) ровно живой. Жилистый. Глаза, как у ястреба, так и вертятся.

БЛИНКОВ И. Е.—«Два мира», можно сказать, такая книга, лучше которой насчет революции я и не видывал, и не слыхивал, и не услышу, и не увижу. Слушал я ее с тихим дыханием. Ладил не прослушать каждое слово. А ежели где зверский случай описывался, то я слушал, совсем замерши. После даждого страшного случая я с затихшим дыханием бил себя по лбу и сам себе говорил: «запомни, Ванька, это зверство!». И запомнил я всю эту картину: пожары, убийства, расстрелы, разорванных лошадей и пр. ...Вот партизанские семьи уезжают из разореных белыми деревень. Рвутся снаряды. Кругом пожар... И в это время кулак правой руки у меня туго зажался и зубы заскрипели. И я проговорил: «У, язви вас, сволочи!». В голове у меня появилась мысль: сделаться бы мне каким-нибудь сказочным героем и поснести бы всем белым головы, кроме Барановского, Колпакова и Капустина.

...На мой взгляд—книга написана с фактов. Кто не верит, пусть посмотрит на недавнее. В городе Семипалатинске недавно был суд над атаманом Анненковым, который шибко галился над рабочими и крестьянами. Писали в газетах. Вот вам и доказательство... Когда у нас прочитали «Два мира», то мне в голову попала еще такая мысль: чем дурней буржуазия, тем скорее она загонит себя в могилу.

Всякая нация будет читать эту книгу. Запнется над ней и подумает.

КОНЦЕВАЯ М. П.—Автор этого сочинения пишет перерывами. Он сразу описывает несколько жизней. Не так, что все про одно, да про одно. Пишет он про белых, а ты ждешь не дождешься того времени, когда он начнет про красных писать. А пишет про красных—ждешь про белых. Сразу хочется узнать про всех людей, которых он захватил в свое сочинение... Пули, говорит, как птички, летали. В то время так и слышишь над головой этих «птичек». Еще выдается то место, где говорится, что капля крови убитого крестьянина капнула на чистый обшлаг какого-то иностранца, кажись, француза. Эта застывшая капля крови так и дрожит в глазах... Типы все проплывают передо мной. Особенно чехи повлияли на меня. Противные! В главе: «Папаня плясит и длазнится» так и хотелось их раздавить, как гнид! Там, где Зазубрин описывает, как трупы итальянцев висели на проволоке, становится жутко. Сильно описал он и тайгу, как ее пилили партизаны. В этом месте у меня в голове шумело, ровно в тайге. По-моему, писатель правильно делал, что часто повторял слова: «пили-пили!». Из этого видно: усиленно старались партизаны пробить себе дорогу через тайгу. В писании много и таких мест, что надо бы плакать, а возьмешь да и засмеешься. Много и нежных описаний. Деятельность этого рассказа все время кипит, ровно ключ. Также у этих «Двух миров» полно сравнений, которые приложены к делу и звучат приятно. Ишь: дети—цветы на навозе!.. Писатель шибко хорошо изобразил души людей, которые закапывали в могилу Петра. В то время я чуть было не заплакала. Крестьяне уговаривали Петра лечь в могиле вниз лицом, чтобы не слышать, как земля придавит его. Этими словами они не уговаривали, а растравляли только его. Не уговаривали, а заржавленные гвозди вбивали ему в свежую рану. Лучше бы скорее закопали его!..

Мне понравилось, что «Два мира» посолены песнями да стихами. Разбавка вышла...

НОСОВА М. М.—Я слышала книгу два раза, и еще согласна слушать. Все строчки в ней напоминают человеческую кровь. Мне настолько омерзел Мотовилов, что, когда он застрелился, я (хотя мне, комсомолке, не полагается) невольно сказала: слава богу! Так ему, чорту, и надо! На душе у меня стало весело оттого, что он издох. Мотовилов—не человек, а крокодил. При чтении сцен: молебна, закапывания Петра, убийства Завистовского, офицерских детей, изнасилования и сумасшествия молоденькой учительницы с белокурой детской головкой и других—у меня в глотке что-то подкатывалось, на глазах появлялись слезы, я становилась глухой и пропускала дальнейшие слова. Как я ни старалась слушать дальше—не могла... Книга эта целую революцию во мне сделала... Крупная книга...

СТЕКАЧОВА Е. И.—Увесистыми и тяжкими словами написана книга. Жалко, что Мотовилов сам застрелился. Мне хотелось, чтобы его красные поймали и вздернули на журавце. Когда стреляли Завистовского, у меня по спине мурашки бегали.

ЗУБКОВА Е. Я.—Эти «Два мира» шибко растревожили меня. Мне было жалко безвинных детей, которых белые душили. Я все время думала: «зачем же они, мошенники, детей-то губят?! Но, и сволочи!». Кабы я была с силой, порвала бы я белых людоедов на клочья! Раздражено мое сердце на них... Барановский стал мне милым, как только он направил свой путь к красным... Был противен мне еще Костя Жестиков. Куда-то тоже совался, слюнтяй! На человека не похож, а лез воевать! Он мне кажется тонким и черным, похожим на цыгана... Щемил мое сердце и дергал Завистовский. Хоть и белый он, а жалко его. В а ж н о он кричал перед смертью. Удивило меня то, что офицер убил своих детей. Я в то время не могла слушать. Зажмала уши, чтобы не слышать их стона. И по сю пору не могу забыть этих детей... Написано все гладко. Плетня, как у других, нету.

ТИТОВА А. С.—«Два мира» для меня показались очень и очень занятной штукой. Эта книга напоминает о прошлой жизни. Видишь из нее: по всей России шла революция, и два врага сошлись и били друг друга вкровь. Вспомнишь про всю эту схватку, и в голове появится злоба к буржуазному положению. Ударными словами написана эта книга. Новой раз у меня от страсти аж мысли растеривались... Ежели не рассматриваться п о в л а с т я м, за какую люди в книге стояли, то всех людей жалко. Душу человека все едино жалко. А ежели п о в л а с т я м глядеть, то бить буржуев надо, как скотину... Костя Жестиков не злой, а просто болван глупый. Не своим умом живет. Лишь только крестьянина повесили на журавце, у меня сердце так и заколотилось, словно хотело выпорхнуть... Этим Костям война совсем не была нужна. Им бы только разгуляться по белому свету. Нахальники! Мотовилов—другое дело. У него—убийство, так убийство. Твердолобый дьявол! Никак его никуда не переборишь.

Гражданская война—бушующее море. Видел его писатель, оттого так верно и изобразил.

ТУБОЛЬЦЕВ И. И.—Танец повешенных ударил по мне пуще всякого камня. А речи и воззвания не шибко затяжливые, они не наскучили мне нисколько, а проскочили между прочим ладно. Вот, что всех красных писатель поставил тихонями—это нехорошо... Во всем рассказе без натуги писателя получается художество. Как-то оно в этом деле само по себе выходит... Голова-то у французика...—с кобельком который—так и свалилась от сашки... А шея кровавая так и ткнулась в спину ямщика! Это, что?! Так тебя и режет! Это, брат,—о-о-о!! Книга «Два мира» ровно не шибко чищенная. Наподобие индюшек, которых варили на заимке солдаты Мотовилова. Индюшки были нечереденные, а суп выходит из них самый лучший... Шибко очищать книгу, по-мне, и нечего. Другой раз в чищенном сочинении не скоро уловишь понятие. А раз такое положение, то ты весь бываешь п о г р у ж е н в поиски, в догадки, а д е й с т в и т е л ь н о с т и на организм не получишь от чтения. В «Двух мирах» тебе враз все открывается. Непопутного мыканья-тыканья нет. Бывало, ораторы по деревням ездили. Выйдет какой-нибудь хлюст перед мужиками и начнет: «в о б л а с т и к а с а ю щ е г о о т н о ш е н и я... п о с т о л ь к у - п о с к о л ь к у п р о ц е н т н ы е д е б е т - к р е д и т ы и т о м у п о д о б н о е м е ж д у н а р о д н о е и в н у т р е н н е е п о л о ж е н и е»... Чорт-е что! Мужики лупят глаза и молчат. Не берут на ум. И в книгах пишут иногда такую же мешанину.

А про «Два мира» скажу так, что не придумаешь такого человечьего типа, чтобы он их не понял слету, сразу...

ЗУБКОВ П. С.—«О н а и о н»—непонятно. Понятно, что старый мир умирает, а новый бьет его, но почему «она»?..

Главу первую обязательно нужно переделать на пьесу... Офицеры всегда были такими самодурами, какими они изображены в главе второй. Молебен досконально верен. Я сам лично видел такой молебен в городе Барнауле в 1919 году. Как-раз в день годовщины «освобождения» Барнаула от большевиков. На площади одних попов

штук до 30 было. Были добровольческие и полицейские части. Начальник города, социалист-революционер Строльман в своей речи благодарил бога за освобождение Барнаула от «разбойников» и грабителей большевиков. Это так. Но в главе «Молебен» плохо описан расстрел около церкви. Неужели сорок девять человек только и видели перед смертью черные дырки винтовок, а толпа ничего не видала?! Я видел. Когда у нас расстреливали девять человек партизан, то видел я, что одни падали назад, другие наперед... мозги из их голов летели во все стороны. И если бы это растрел был где-нибудь около стены, то, вероятно, всю стену облепило бы мозговой сметаной. У Зазубрина этого нет. Наверное, он здесь поспешил. В «Молебне» напоследе сказано: «а колокол вселгал». Неправильно. На торжествах не звонят в один колокол, а во много колоколов. «Нежные пальчики», по-моему, совсем ненужная глава. Автор хочет сказать: Барановский, несмотря на всю любовь к Татьяне, не выполнил ее заветов. Но нигде почти нет того, чтобы он вспоминал наказ Татьяны, переживал это. Единственный раз он вспоминает Татьяну—это в церкви. Больной, в бреду... Речи ораторов в пятой главе подходят к людям. Не могу согласиться я с тем, чтобы офицеры слушали речь профессора. В лучшем случае они профессору заткнули бы глотку, а в худшем—на журавец! По тогдашним зверствам белых, профессора должны были одернуть. Вся десятая глава держит читателя под узцы и в напряженном состоянии. В особенности ужасна сцена сумасшествия китайца... Когда китайцу попал в руки кусок мозга... Вот бы в кино!!! «Всему миру или тебе!» обязательно надо переделать для театра. Только здесь не верю я, что Петр так скоро согласился умереть. «Или-или!»—скучновато. Нужно бы во время работы партизанам говорить что-нибудь повеселей: рассказы, прибаутки про белых. Пускай бы кто-либо из них своих товарищей подбадривал... Отход белых, ну, и!! Говорит, черные трупы людей и лошадей страшными вехами обозначали путь отступления. Такого не выдумаешь из себя. Остроумно назван «ударно-удирающий» батальон.

До невероятности сильна сцена в церкви. Особенно, когда Барановский кричит на бога-отца... Или, когда Мотовилов читает горящие книги... Очень утомительна сцена убийства корнета Завистовского. В действительности она была бы короче... Рассуждения Веревкина надоели офицерам. Это верно. Они надоедают и читателю. «Голый бал» шибко скоро образовался. Подходу к нему настоящего у писателя не дано... Беспорядок гражданской войны так описан в книге, что кровь стынет при чтении. «Есть у нас легенды, сказки»... Тут автор пытался выразить предпоследние чувства Колчака. Все это как-то неясно переплетено со стихами. От стихов хуже получилось.

Вообще же надо сказать: «Два мира»—самая нужная сейчас в деревне книга. Надо шире оповестить о ней народ сельский, надо удешевить ее, чтобы всякий мог ее купить себе. А то что? У нас о ней, действительно, не знают еще. Всякая чепуха заграждает ей путь в деревню. В том, конечно, виноват тот, кто продвигает книгу.

Несмотря на то, что мы в коммуне прочитываем много книг, мы все-таки не знали о «Двух мирах». Роман этот попал к нам совершенно случайно. Большую память он оставил о себе в нас. Он глубоко вспахал чувства наших слушателей. Почти из каждой главы этой книги можно выгадать целые повести, рассказы и пьесы для театра. Справедливо указывает автор, что книга его выпущена в сыром виде. Но из этого сырья сам автор и многие другие писатели, вероятно, наделают множество настоящего фабричного товару.

В заключение мое пожелание автору «Двух миров»: пусть он поскорее инсценирует многие главы книги, и эти инсценировки издаст для сельских театров.

ЕДИНОГЛАСНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. «Два мира»—широчайшая и жуткая художественная история колчаковщины в Сибири. Это—лучшая из всех известных нам книг, изображающих белый террор в нашем крае в 1918-19 годах и всенародный мятеж против Колчака. Художественное и историческое значение романа слегка обесценивается явно благоприятным пристрастием автора к героям из «красного мира». Произведение значительно выиграло бы в правдоподобии, если бы автор дал в нем несколько типов и сцен, представляющих темные стороны партизанщины, которые в действительности имели место.

Но и в настоящем ее виде книга незабываемо оглушает слушателя запечатленными в ней ужасами и оставляет до очевидности отчетливое представление об эпохе уничтожения диктатуры «белого мира» в Сибири. Никакое другое произведение современной художественной литературы, прочитанное и разобранное в нашей аудитории, не зажгло у нас столько озлобления и ненависти против угнетателей трудового народа, сколько вызвали их «Два мира». Эту книгу необходимо частями распечатать по школьным учебникам и, кроме того, в обязательном порядке разослать во все деревенские культурно-просветительные учреждения...

Как редкую творческую особенность писателя Зазубрина, отмечаем его искусность будить у слушателя доходящее до слез, до готовности действовать сострадание к детям и невинно гибнущим взрослым людям.

ПРИМЕЧАНИЕ. До настоящего момента моего исследования роман В. Зазубрина был самым крупным по об'ему произведением. Он поэтому причинил мне очень много хлопот. Чтобы разобрать его более или менее обстоятельно, я после зачитки его составил себе обследовательскую анкету, содержащую более 70 вопросов. Они должны были охватить содержание произведения, его композицию, историческое, художественное, политическое и гуманистическое значение, правдоподобие изображаемого в нем, характеристику действующих лиц, мотивы их поведения, стиль и т. д.

Несмотря на длительность читки романа, я вынужден был повторить ее дважды. Этого требовали те коммунары, которые по отлучке, не могли слышать романа в первом чтении. Я повторял, и чтение с неослабным вниманием слушали не только «опоздавшие», но и вся коммуна, за исключением несмышленных детей. Я говорю: «в с я к о м м у н а» и подчеркиваю это, так как послушать «Два мира» в школу приходили и 80-95-ти летние старики и старухи (так!!), которые, прознав от младших членов семей про «с т р а ш н у ю к н и г у», захотели самолично познакомиться с ней. И я видел красноречивое сверкание их слезящихся, потухающих глаз, я слышал испуганное шамканье их губ: «о, господи!»,сопровождавшееся изо всего нутра исторгнутыми вздохами...

С выпученными от внимания глазенками «глотали» книгу дети-пионеры и даже октябрята! Если бы у меня было неограниченное свободное время, они теперь своими пересказами «Двух миров» отняли бы его у меня целиком. Интересно: чуть к случаю вспомнишь ныне в классе что-нибудь из романа Зазубрина, ребята сейчас же вспыхивают, как порох от спички. Мгновенно кладут на стол карандаши и ручки, отрывают физиономии от скучных учебников, и готовы к бесконечным воспоминаниям о слышанном из «Двух миров»...

Все поколения коммунаров отнеслись к книге с ненасытным интересом. Это об'ясняется, мне кажется, незаурядной, хотя и грубоватой, художественной мощностью книги, почти повсеместной увлекательностью ее фабулы, страстью революционной романтики, просачивающей все страницы и отсутствием (в ней) крайней изысканности в приемах изображения. Сырость романа не принята крестьянами за большой его недостаток. Наоборот, ими были высказаны опасения, что излишняя «в ы г л а д к а» произведения может сделать его менее понятным и убедительным для деревни...

Были вечера, когда мы продолжали читку «Двух миров» после затяжных общекоммунальных деловых собраний. Собрания кончались, а публика требовала:

— Давай «миры»!

— Начинай скорей!

Я начинал. А около 12 часов ночи упрямо закрывал книгу, щадя внимание и силы коммунаров. Но меня засыпали тогда криками:

— Валяй далея!

— Хочь всю ночь читай—будем слухать!

— Все равно теперь домой придешь—не уснешь!..

Последние главы романа, видимо, так разожгли любопытство коммунаров, что слушатели отказывались от обычно предшествующей литературно-художественному чтению газетной информации и просили поскорее «доходить книгу до конца».

Во время читки «Двух миров» порой мне казалось, что я не читал, а бросал в публику стрелы. Так многочисленны и дружны были ответные взрывы восклицаний коммунаров. Запись этих восклицаний (далеко-далеко, конечно, не всех!) изрыла многие поля книги. Она легла на них гораздо гуще, чем на рассказе «Б л е д н а я п р а в д а».

Как мне показалось, несколько смутно восприняли коммунары вступительную главу «О н а и о н». Ее стиль немножко витиеват для крестьян. Глава «Е с т ь у н а с л е г е н д ы, с к а з к и» затейливо скомпактована, вследствие чего она как-будто не произвела должного впечатления. Глава же «А г а! А,г а!» для громкого чтения представляет наибольшую трудность во всем романе, так как в ней переплетены четыре параллельных текста: нота белых, ответная нота Суровцева, сложный диалог партизан и прямая речь автора. Она (глава) прослушана была без того огромного под'ема аудитории, который наблюдался при чтении большинства остальных глав романа. Но в этом я отчасти виню себя, как чтеца: повидимому, я не сумел дать сложного речевого аккорда.

Разбор «Двух миров» закончился у нас дискуссией на тему: «Г д е З а з у б р и н с и л ь н е е: в и н д и в и д у а л ь н о й и л и м а с с о в о й драме?». Большинство утверждает: в и н д и в и д у а л ь н о й. Однако, и сторонники другого взгляда многочисленны...

О «Двух мирах» коммунары охотно делились впечатлениями, когда угодно и сколько угодно. Я сознательно прервал запись отзывов, не надеясь исчерпать их все и полностью. Тем не менее, я уверен в достаточной широте и серьезности крестьянских оценок замечательной книги В. Зазубрина.

Глеб Пушкарев.—«Надо воротиться» (Читано 18 сентября 1927 г.).

ЗУБКОВА В. Ф.—Описание все легкое и понятное. Но мне будто не верится, что такой мозгляк, как Микита, с единого маху убьет пестиком старуху. Старуха-то, поди, была ядреная, а он ровно лыко сохлое. Силенки-то у него, что у куренка. Как же это он ее сразу ухлопал? По-моему, не должно этого быть. Микита же под-земью лежал, а старуха на нем сидела! Сразу ее Миките ровно и не пришичь... А то кто-е знает? Может, и бывают такие случаи?.. Только?.. хх

СТЕКАЧОВ И. А.—Сопчаюсь с Варварой. Бабка Агафья, поди, с нашу Сошиху была. А ну-ка, поди ушиби такую враз пестиком! Чорта с два! А сам Никита—какой там человек! Такого мужичонка у нас ровно и нету...

ГОЛОСА ИЗ АУДИТОРИИ. (Кричат наперебой). Похож на Паню Дубка! Верно! Чистый Паня Дубок! Две капли! Такой же вечный овчар и этот Никита!

(Паня Дубок — многодетный бедняк из села Верх-Жилинского. Чахоточный, щуплый мужичонка. С 8 лет до самой смерти пас овец. Всегда голодал. **А. Т.**).

СТЕКАЧОВ Т. В.—Нет, Агафья, я думаю, на Шитикову бабку находила. По характеру сходная. Только Шитикова бабка лепешек не даст, а шею намнет... Такую, верно, не скоро ухортуешь. Никиту она одюжит. С ней нужно мужика покрепче... Но только неизвестно. Может быть, Агафья тощая сторушонка была. Можно тогда и враз оголоушить насмерть... Да нет, бабка была прыткая. Смотри каким она петухом на Никиту налетела! В зубы так и тычет!! Аж Никита валится с ног! Не должон бы сразу убить ее Никита. А убил. Даже не ворохнулась бабка... А прочее описание—первейшее и самое способное для деревни, смысл есть...

ГЛАДКИХ А. И.—Когда человек голоден, он может всякое преступление совершить. Особливо, если дети голодают. Детей жалко. Уж тогда законы и совесть к чорту летят. Не до них тогда человеку. Хлеб добыть семье—больше ни о чем он не думает. Это рассказано тут точка-в-точку. Никитины думки о старухиной муке правильны. И что убить он мог старуху тоже справедливо. Но вот не страшно мне было, когда он убивал старуху! Нехватает тут чего-то у писателя. Как-то у него просто и быстро смерть бабки промелькнула. Надо бы тут чего-нибудь подбавить, чтоб страшней было. Ну, хоть бы глаз вылупленный у старухи убитой описал автор или бы кровяную черепицу, или что... А то—ничего. Самое страшное место это во всей повести, а я не почувствовал его. Не ворохнулось мое сердце... А весь рассказ мне шибко поглянулся. Один недостаток это пустяки. Зато много картин в описаниях. Я так думаю, что рассказ подходит к первому сорту. А если б смерть старухи была написана пострашней, ну, тогда этого рассказа не начитался бы!..

НОСОВ М. А.—Равнодушная маленько смерть описана. Что правда, то правда. Будто на смерть, а мужик пришел, разулся и онучи повесил сушить.

ЗУБКОВ П. С.—Не в этом дело, товарищи. Видно, писателю не нужно было размазывать бабкину смерть. У него на уме другое было: вот до чего бедность доводит.. Бедность и дети. И это он хорошо изобразил. Ловко и правдиво рассказано, как у Никиты нарастало решение взять у старухи муку и как он слезно умаливал Агафью. Я так же, пожалуй, поступил бы с бабкой, как Никита. Он хотел без греха обойтись, а она, старая карга, жадная оказалась... Язык этого писателя, как у Сейфуллиной, Неверова и Под'ячева. Ясный и отрывистый. Голову ломать над словами не приходится. Сами они тебе в рот кладутся.

СТЕКАЧОВ И. А.—Э, нет! Под'ячевым тут и не пахнет. Под'ячев смерть бабки не так бы описал. Он бы тебе на этом убийстве хороший крючок за ноздрю зацепил! У Под'ячева проголосный язык, а этот—рубит.

ДЖЕЙКАЛО Ф. Ф.—Надо говорить, ребята, по совести: картинности в этом рассказе очень много. Почитай, сплошь. Слезинки, говорит, на соснах блестят, сухие лопатки у мерина, ровно в мешке перекатываются. Это что? Художество! И все слова—вот, как набраны в нашей деревне. Ровно этот рассказ пишет совсем не ученый человек, а простой.

НОСОВА М. М.—А это: дорога—черная лента; шапки зеленые у сосен с белым пухом; черемухи раскорячились, не пускают человека к себе... «весной тело рубит, летом наряд дерет»...

СТЕКАЧОВА Н. Т.—Черемуховые дуги—как сахар! Баско это! И наглядно.

СОШИНА Кс. Е.—Кулак Митрий с умыслом приплетен, чтоб рассказать, как он Никиту эксплоатировал, когда они деготь гнали... Рассказ этот к тому ведется, как де-

ревенскую бедноту мытарят разные богачи. Наживаются на бедноте, а в голод куска хлеба ей не дают... Про Митрия речь тут недлинная, а видно уж, что он хам и свинья.

НОСОВ А. М.—Все мы слушали этот рассказ с интересом. У меня в глазах мука все течет, белая, мягкая, пышная. Мне поглянулось, что ребятишки Никитины, ровно галчата... Полна избенка глаз да ртов. Жрать нечего, а ребят полна изба... Фразы у этого писателя короткие... Как молоточком он их отшибает: тюк-тюк-тюк! Я так не люблю. Скорчегают они. Надо бы плавней писать. А то в роде как неполное писание образуется. Но все-таки недотолчек от этого не получается. Понятие настоящее. По-деревенски, этот писатель может хорошо разговаривать (Смеется от мысленного созерцания образа Никиты. А. Т.). Ну, якорь-то его! Прямо забольшный Паня Дубок! Глазенки голубенькие, бороденка беленькая, малюсенькая. Клочочком торчит. Похватал бы, какая она—мягкая, али нет?

СТЕКАЧОВ М. И.—В рассказе—политика. Надо ее народу. Значит, и рассказ этот нужен деревне, чтоб крестьяне ненавидели угнетателей, которые бедноту мызгают... Но я тоже не нравлю такую речь, как у этого писателя. Пишет он, как на машинке шьет. Может, это и хорошо. Сейфуллина так же пишет—коротко, но мне это не подходит. У Тургенева, у Островского или у Некрасова приятней речь. Без перепрыгу.

БЛИНОВ И. Е.—Когда писатель от себя говорит, то слова хуже, а когда люди у него говорят, то слова бастей. С краю мне эта история показалась не шибко занятливой, а потом так она меня закрючила, аж брюхо подтянуло... Никита часто повторяет слова жалобные: «шесть ртов у меня», а они не надоедают. К делу они у писателя гласят. Всю Никитину голь так и кажут. Надо так. От этих слов лучше понимаешь Никитину беду.

ТИТОВА Л. Е.—Вот... когда это... Микита украдкой ночью домой пришел, и дети его заворочились, у меня у самой ажно в нутре заворочилось все. Ох, думаю, схапают его начальники сейчас! Не успеет покулюкать с женой и детьми—схапают! Жалостно тут обсказано! Меня дак просто сумнило...

КОРЛЯКОВ И. Ф.—Когда Никита крадется ночью к своей хатенке, ползет на карачках,—ух, тут и забирало меня! Всего меня в струну вытянуло. Слушал я и просто весь скрипел. До чего натурально это все приходится!.. А Егорка-то? Сначала рютовал на Никиту, а потом переломился, отмяк и простил его. Зазнобила его Никитина бедность. Бывают такие выверты с людьми. Точно у писателя подведено, как это Егорка мякнет к Никите...

Язык у писателя люб будет всякому деревенскому жителю. Ясней и проще куда уж?!

ШИТИКОВ Д. С.—Суд—выразительная картина! Критическая минута. Вот и ждешь, значит, вот и ждешь: куда вывезет? Схож этот рассказ на «Живодера» (Повесть Н. Никитина. А. Т.). Одинаковая бедность и детность описывается... И верно, что, ради спасения детей, человек, очертя голову, хоть на что полезет... Беспокойное в этом рассказе чувство дается насчет детей. Неумысленно иной человек убьет и обворует, ради детей. И судить за это никак нельзя. Суд с Никитой не разобрался. Ему же худо сделал. Надо было помиловать наготово.

БЛИНОВ Е. С.—Повесть эта—былинная, правдишная вся, безо всякой, можно сказать, подкраски. Ступай, спрашивай наших стариков,—они тебе расскажут про эки дела... Мысль у писателя добрая: зло у человека со временем пропадает. Болезность к несчастному человеку передоляет эту злобу. Был Егор к Никите зверь, стал человеком... Лес и весеннее поле описаны художественно. Понравилось мне. Уж этот рассказ никак ты не подпаришь к «Яшке-таежнику». Тут всякий поверит, что правда описана.

А Яшка—выдумка... Мне вот ровно чудится сейчас, как парок весенний от земли идет да как Никита в листве валяется, прячется... Нашему бессердечному чалдонью эту повесть очень даже полезно послушать. Жалость тогда оно, может, будет иметь к бедному человеку (Обращается ко мне. А. Т.). Ставь, мое тебе предложенье, эту книгу в высший сорт. Там ей место. Всем рассказ взял. Хоть говорят, что неправильно старуха убита—правильно! Пестиком сразу можно уходокать и здорового мужика, а не то, что бабку.

ТИТОВ П. И.—Из-за детей все людские беды и страданья. Так и у Никиты было. У каждого из нас сердце больше о детях болит. Не токмо у нас, а и у всякой неразумной скотины. Посмотрите по жизненному факту...

Будь я судья—я бы совсем освободил Никиту. Плохо поступил суд с Никитой, обидно для пролетария. Но и то сказать: Никита ничего не мог выяснить на суде о своем положении. Понятия в нем пробойного не было. Пожалуй, и судьи не виноваты... Умильно про Егорку сказано. Сам материт он Никиту, а уж смиловался. Видать по всему, что отошел. Приложить это можно к нашему коммунарскому положенью. В 1921 году нас одноличники с кишками сглотили бы, а теперь—ничо. Пьем-едим

вместе. В гости ходим дружка к дружке. Все перемололось... Иной раз и так бывает: злишься-злишься на человека, и вдруг тебе жалко станет его, совестно. Как Егорка с Никитой... Напоследок Егорка отдал свой табак Никите. Правда, табак—дело малое, а чувство большое он обозначает.

СТЕКАЧОВА П. Ф.—Похожденья эти напомнили мне Мишку ташкентского (Героя повести Неверова «Ташкент—город хлебный». А. Т.)... Страсть, как мне хотелось, чтобы Никиту не поймал дозорный! Я думала, так случится: Никита придет домой, услышит разговор жены с дозорным, догадается, что его ловить думают, и уйдет обратно. Хотелось спасти Никиту... Супротив Яшки этот рассказ дюже бастей. Тот ровно нарошный, а этот к делу.

УЛЬЯНОВА А. И.—Мне просто не терпелось, не сиделось, когда дозорный обманывал Никиту. Тут бы его и положил, этого дозорного! Гад! Замытарил мужика!..

ШУЛЬГИНА А. Г.—А я напугалась, когда Никита кули с хлебом вез. Вот, думаю, сейчас на него кто-нибудь напорется из знакомых! Тогда—каюк!

СОШИНА Е. И.—Все правда. Дети, говорит, Никитины рассказывали, что у них откуда-то взялись и мука, и пшеница. Они все разболтают. Что им? Они с глупого ума и больших завсегда подведут. Не облыжно тут речь про них говорится.

ШИТИКОВА М. Т.—Вдумчивый этот рассказ. Только суд малость плоховат. Нужно было писателю посадить тонкого судью, чтобы умно Никитино дело разобрал. И надо было разобрать, а то зря мужичонка запятили в тюрьму. Неладно это вышло... От всего рассказа у меня отвращение к богачам и недоехам-судьям. И еще в нем, по-моему, есть мысль такая. В мире много бед и несчастий, но они скрыты. Если бы их раскрыть, можно бы горе людское поправить. Но трудно раскопать корни наших бед. Когда ищут их, ошибаются, и оттого еще хуже бывает некоторым людям. Вот, как Никите. Суд искал причину убийства, да не нашел. За пролетарское происхожденье и за темноту сбавили наказанье, а за чувство к голодным детям—нет. А ведь кабы не дети, Никиту и не судили бы... Есть богатые и бедные, ну, будут и убийства..

ТИТОВ П. И.—А мне кажется, главная мысль тут такая: человек, чтобы оградить свое потомство от голодной смерти, без умысла и с умыслом сделает какое-угодно преступление... И рука не подымается карать его за это...

ОБЩЕЕ МНЕНИЕ: Повесть весьма желательна в деревне. Принять ее в первую очередь.

ПРИМЕЧАНИЕ: После случайно попавшего в нашу аудитоню «Яшки-таежника» публика ждала от Глеба Пушкарева серьезного художественного слова.

Повесть «Надо воротиться» вполне удовлетворила это ее желание. Мы читали эту вещь в самое неблагоприятное для углубленного восприятия ее время: в разгар молотьбы, когда по вечерам коммунары приходили в школу усталые до изнеможения, запыленные, с воспаленными от сора глазами, когда тела их сладко ныли и тянулись к постели. Г. Пушкареву предстоял в нашей аудитории тяжелый экзамен.

Остерегаясь возможного косвенного влияния «Яшки-таежника» на оценку «Надо воротиться», я нарочно не сообщил коммунарам автора этой повести. Фамилию его я держал в тайне во время читки и до самой репликн Е. С. Блинова, т.-е. почти до самого конца разбора произведения. Впрочем, и раскрытие автора не сбило коммунаров с пути беспристрастия их отзывов о повести.

Повесть одолела все опасные условия обстановки при разборе ее и властно захватила внимание крестьян от начала и до конца читки. Степень этого внимания была разве немножко ниже той, какую я наблюдал при чтении «Правонарушителей», «Ташкента—города хлебного», «Мытарств», «Сказка о Ермаковом походе» и т. п. произведений.

Начиная же со сцены мольбы Никиты перед старухой об отдаче ему муки для голодных ребят, в аудитории там и сям постоянно раздавался характерный звук «цц», показывавший, что повесть волновала слушателей. При монологах Никиты лица коммунаров вспыхивали одинаковой улыбкой, в которой ясно угадывались—любовная ирония и жалость к этому герою повести. Это—показатель большой четкости и выдержанности художественных линий, которыми зарисован Никита Куликов.

Некоторые горестно-комические фразы повести кто-то из молодежи встречал заметным смешком. Смешок этот шел, правда, от эстетического удовольствия и тоже был пропитан горечью, но он обидел слесаря Е. С. Блинова.

— Чего смеетесь?—урчал Блинов на молодежь.—Балды! Мне над вами после этого смешно.

А ему робко отвечали:

— Да над книжкой смешно.

— Шибко ртов у Никиты много.

— Жалко, а смешно. Не утерпишь...

Во многих местах повести впечатления слушателей были настолько напряжены, что меня, чтеца, то и дело прерывали нетерпеливые возгласы из аудитории. Так, чтение сцены поимки Никиты дозорным было оборвано криками:

— Ай! Ай! Пропал!!!
— Сейчас схапают!!!
— Погибли Никитины 6 ртов!!!
— Опять уведут в клоповник!!!

Картину сопровождали замечания:

— Ково он те расскажет?!
— Языка у него нетути!
— Не может, бедный, застоять за себя!
— Эх, не повернулся у Егорки язык чернить Никиту!
— Совесть, значит, забличила.

Последний разговор Никиты с Егором коммунары осыпали целым дождем восклицаний:

— Покаялся Егорка!
— Стыдно стало лютовать на Никиту.
— Обумился!..
— Растопилось сердце... Стрелял же в человека зря...
— Перешибла Егорку Никитина нагота!..
— Человечество в нем вынырнуло.

И так далее.

Сочувствие слушателей Никите было так велико, что они все остались недовольны поведением суда, изображенного в повести. Однако ж, правдивости описания сцены суда никто не отрицал, так как все понимали, что Никита никак защитить себя не мог. Он для этого слишком туп и забит. Грубое же разбирательство дела в суде, полагали слушатели, соответствует замыслу автора повести и, следовательно, порицанию не подлежит...

Глеб Пушкарев.—«Яшка—таежник» (Читано 17 июня 1927 г.).

ЗУБКОВА А. З.—Может и правда. Все хорошо было. Яшка справлял свое с отца.

ТИТОВА Л. Е.—Яшка умно поступил с отцом, что ушел от него. Ему жить надо по-хорошему, а отцу не надо. Глуп отец был. Ему надо все молиться. Для многих деревенских этот рассказ понятен будет.

СТЕКАЧОВА М. Н.—Видно, удал был Яшка-то. Уважаю его. Человеком ему хотелось быть, а старики—они сроду ничего не понимают.

ШИТИКОВА М. Т.—Составлено хорошо и поучительно, но на правду не похоже. Грозный был отец Яшкин, а потом сразу, по слушку из газет, переменился. Ну, разве раньше он глухой был? Слухи же до него доходили? А теперь сразу переменился... Речь в рассказе ребячья. Кто его знает? Как-то мало я этот рассказ к сердцу приняла. Как-то он не трогает, не сурьезный он. На жизни этого писатель не видал, а сочинял по выдумке.

ШУЛЬГИНА А. Г.—Ничего на рассказ не обращаешь внимания. Молодым нужен он. Можно почитать. Может, кто и послушает. Но можно и не читать.

ЗУБКОВА М. А.—Яшка не по правилу сделал. Дул бы с отцем в кузне горно. Взял бы газету, почитал бы отцу, ну, и тот понял бы чо-нибудь. И Яшке нечего было бы бегать со двора. Оборотил бы он отца по-советски и без побега.

ШИТИКОВ Д. С.—Написана штука писателем хорошим. Конечно, смысл не с наглядности взят. Из своей головы сказу много. Она подходит к делу, но писатель раскрасил много. Не раскрась он статейку, из нее нечего было бы и ждать. И вообще теперь литературщики, сколько ты их нам не читал, все подкрашивают. Если бы у них не было подкраски, то и печатать одной буквы нельзя было бы. Ежели с наглядности посмотреть на эту литературщину, то без подкраски у ней дело—пропало!.. Словесный склад у писателя—лучше не надо. Не то, что дюже ученый или неученый, а всякий его должен понять. Сибирскими словами написано, но ладно. Отец, как-будто неправильный. С двух газет уверовал в советскую власть, но если этого не писать, то что же тогда писать? Штука нужная в деревне. Советская.

СТЕКАЧОВ Т. В.—Тут я не признаю подкраски. Выдумал или не выдумал писатель? Почем знать? Тут—быль. Отец, говорят, поверил скоро в советскую власть. Да как же он не поверит, коли сын пригрозил убежать от него? Ну, отец Яшку и простил, и пошел за ним. Слова в рассказе мужицкие. Но рассказик так себе, легонький, не очень завлекательный.

БЛИНОВ Е. С.—Написано верно. Агитация за пионеров. Но на самом деле никто не поверит рассказу. Беру факт с себя. Я с отцом с двенадцати лет спорю, как Яшка

со своим, и все он стоит на одной поре. А тут извольте: родитель Яшкин, такая глыба, и—вдруг Яшка сразу его победил... Мужицкого языка автор наслушался. Только сейчас нет такой деревни у нас, где бы Яшка-пионер был. Настойчивых пионеров, как у писателя, тоже нет. Большого в рассказе ничего нет. В деревне над ним посмеются. Уверен я вполне, что никто в деревне не поверит рассказу.

КОРЛЯКОВ И. Ф.—Слишком прост этот рассказ. Ничего в нем литературного нет. А так: был мужик, вздул сына, сын осерчал и убежал и т. д. Как-то некартинисто выходит. Художественного капли нет. Сразу скачет куда-то. Все у него «вдруг». Каждый мужик так расскажет.

БЛИНОВ И. Е.—Картины он никакой не представляет. Вот, когда читаешь хорошего художника, так он картины кажет. Они перед тобой все время воображаются. А в этом рассказе твердого ничего не дается.

СУСЛИКОВ Т. И.—Рассказ, безусловно, выдуманный, но агитационный. Его можно было бы украсить, чтобы он был художественным. Прочитать его в деревне не мешает. Он прост. Понятен мужикам.

САШИН Ф. М.—По-моему, все это набуровлено из головы. Конечно, чо-нибудь надо писать. Другой пишет—с ним живешь, с людьми присутствуешь, а тут, ну, ничего такого, что поднимало бы. Мысли мои не трогает рассказ. Слова, правда, что отчищенные, без мездры.

ЗУБКОВ М. А.—Так должно быть при этой власти, как написано.

СТЕКАЧОВА Н. Т.—Просто: «рассказик». Опровергает старое. Не шибко такой...

ТИТОВА А. С.—Мне кажется, неправда, что написано. Шибко скоро отец Яшкин стал культурным.

СОШИНА М. Е.—Не верю я: отец бил Яшку, Яшка ушел со двора, а отец и не погоревал по нем. Нельзя сказать, чтобы рассказ плохой был.

БЛИНОВА К. Е.—Писатель хотел поразить крестьян, что пионеры шибко культурные, что Яшка отца оборотил к новому быту. Убегал Яшка правильно. Надо было, а то пионеры не поддержали бы его. Никого в рассказе в лицо не вижу. Мать совсем тускна. Только видно—у отца лохматые руки.

ЕДИНОГЛАСНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Рассказик можно поставить в третью очередь. Нужен для агитации за пионеров. Художественным его признать нельзя.

ПРИМЕЧАНИЕ. Оценка «Яшки-таежника» сначала развернулась в виде полемики по вопросу о правдоподобии рассказа. Большинство слушателей отрицали правду содержания рассказа, маленькая же часть их на ней настаивала. Согласие сторон в споре не было достигнуто. Но все наиболее умные отзывы констатируют нехудожественность рассказа, его эмоциональное худосочие, неспособность задеть читателя, взбудоражить его воображение. Во всем рассказе художественное зрение слушателей жадно поймало лишь одну-единственную живописную черточку—лохматую руку отца Яшки. Это—в конце рассказа.

Агитку, вместо художественного произведения моим слушателям теперь уже не подсунешь: узнают.

Нерадостное впечатление оставляет у крестьян и грубоватая схематичность рассказа. Крестьяне видят в нем одну сухую канву, без узоров. Словами: «все у него вдруг» один из моих слушателей, надеюсь, правильно сказал о крайней, суматошной поспешности Г. Пушкарева в сочинении «Яшки-таежника». Торопливость привела к рассказу-скелету, лишенному изобразительной плоти и крови.

Психологически фальшивыми показались крестьянам некоторые действия героев рассказа. Верная, нужная, советская (правда, шитая белыми нитками) тенденция автора до некоторой степени искупает художественные из'яны его рассказа. Крестьяне приняли «Яшку-таежника» на свой литературно-художественный стол за его агитацию в пользу нового быта и пионерского движения. Легкость и чистота языка Г. Пушкарева нашла у крестьян наивысшую оценку. Но это качество языка в «Яшке-таежнике» нервирует моих слушателей. Жалеют они, что хорошим языком Г. Пушкарев написал плохой рассказ. И они, пожалуй, не ошибаются. В самом деле: досадно, когда хорошим голосом люди поют пустяшные песни!

Думаю, что серьезные вещи Г. Пушкарева крестьяне прочтут и прослушают с большим интересом и примут их в деревню не в последнюю очередь. В этом порукой язык Г. Пушкарева. Желание слушать его лучшие произведения уже заявлено мне многими коммунарами.

И. Никитин.—«Уклон» (Читано 2 февраля 1927 г.).

ТИТОВ П. И.—Праведно. Венька сильно холодный мужик.
ШУЛЬГИН Т. В.—Терпеливый шибко.
ДЖЕЙКАЛО Ф. Ф.—Сонька и Соколов—прохвосты!

ШИТИКОВ Д. С.—Сонька—стерва, сходатая была. Разворот семье делала. Чик-брик-сорока!

САШИН Ф. М.—Ярче этого писания уж не может быть. У всех подлецкий уклон, кроме Веньки.

КОРЛЯКОВ И. Ф.—Об'едалы мирские! Трепоязыки! Все (Кроме Веньки. **А. Т.**). Докладчики! Так и представляются, как они брешут на собраниях.

ЗУБКОВА В. Ф.—Сами чуют, что брешут. Языками трепют... А гроза хороша!

БОЧАРОВА П. Ф.—Жалко детей Венькиных. Жена-мать бросает их.

СТЕКАЧОВА П. Ф.—Мужа жалко, когда эти развратники-то приехали.

ЗУБКОВА А. З.—В волости такого человека не найти, как Венька.

НОСОВ М. А.—Чувствительно берет за сердце.

СОШИН Е. Г.—Забират!

ШУЛЬГИНА Н. Т.—Опытное писание. По всем правилам написано.

ТИТОВА А. И.—Описание даже научное. Книга обрисовывает прохвостиков и честного человека.

ШИТИКОВА М. Т.—Сонька—сводница. Ей бы при красном фонаре быть. Тут поучение политическое. Таких чертей, как эти прохвосты, окромя Веньки, из партии надо гнать... Больше эких книг прочитаешь, тогда всех прохвостов узнаешь.

СТЕКАЧОВ Т. В.—Молодчина этот писатель, что он это бытье пишет. Не вредно это нашим районным партийным «ораторам» прочитать... Без подковырок у него написано, а до сердца доходит. Много эта книга покажет.

КОРЛЯКОВА Н. В.—Если эту книгу внимательно прослушаешь, то узнаешь, кто настоящий, полезный деревне человек. Деревенские такую будут читать.

НОСОВ И. А.—Все ждешь: закатит Венька жене по шее за измену аль нет. Спать некогда.

СТЕКАЧОВА М. Е.—Дрозда-то эта, Сонька, полную комнату нагнала шуму, где же тут заснешь? Тут ангиризация у них была у-у-ух! Аногды и шпильку потеряла, заснула... Неинтересно было. А ноне хорошо сидела, со вниманием сидела... Как приехали они, накатили к Веньке (Сонька, Соколов. **А. Т.**) умными себя поставили, а Веньку—никуда.

КОРЛЯКОВ В. И.—По-их—люди только гавкать должны (про отрицательных героев повести. **А. Т.**).

БОЧАРОВА М. Т.—Мы, говорит, не работать родились, а командовать. Ишь, хлюсты! Большая путешествия тут. Долго будешь помнить. Как это он смог описать все?! Точно, без прорыву написано.

ТУБОЛЬЦЕВ И. И.—Пишет ятно. По-русски. Другой напишет два слова нужных, а пятнадцать ненужных. А у этого все в плепорцию.

ДЖЕЙКАЛО У. Н.—Задирает эта книга. В любом месте она пойдет. Зовет к культуре.

БЛИНОВ Е. С.—И хозяйственное положение, и политическое, и семейное—все резонно обсказано.

ОБЩЕЕ МНЕНИЕ. Книга нужна деревне в первую очередь.

ПРИМЕЧАНИЕ. И. Никитину крестьяне широко раскрывают свою душу. «Уклон» воспринят, как долгожданная радость. О нем слушатели долго вели разговоры. Анализировали типы, сцены; вспоминали красивые, трогательные описания; изумлялись верности писательского мазка. Сочувствовали Веньке, возмущались делами остальных, отрицательных героев повести. Лица «Уклона», рельефно вылепленные автором, вошли в разговорную речь коммунаров, став нарицательными для соответствующего сорта людей. Слушатели, поняв и важное агитационное значение повести, ни в одном месте ее не усмотрели померкания художественной цели. «Уклон» в их глазах остался художественным произведением, насыщенным серьезным, идейным, культурно-общественным содержанием.

И. Никитин.—«Живодер» (Читано 6 февраля 2927 г.).

ДЖЕЙКАЛО Ф. Ф.—Неверного в этом описании не найдешь. Хоть и не ищи. Все из жизни взято. Ходил писатель, глядел и рисовал. Не из кабинета высматривал. Свежо тут у него. А в речи никаких ковылюжин.

ШИТИКОВ Д. С.—Кулаки над неумытым Мочалкиным негодовали, изгалялись. Вообще верно. Кулаки из бедных всегда смеются. Из меня смеялись тоже, когда я побирался, у матери поводырем был. По сердешному своему положению чую, что тут неподкопная правда написана.

САШИН Ф. М.—Кто-нибудь, может быть, и не поверит, что Мочалкин с бедности чужого быка заколол. А может быть так. Ничего не поделаешь: нужда заставит.

СТЕКАЧОВ Т. В.—Тут и разговаривать не об чем: сами мы видали, как сельские воротилы прижимали бедноту. Возьми-ка вон наших Санкиных али Бочаровых,

Королевских. От них трещали бока у разных Мочалкиных. Ну, а потом и голытьба на них двинула. Все тут по факту написано.

НОСОВА А. С.—Мне только маленько сумнительно, что кулачье надевали Мочалкину на голову отрезанную бычью голову.

СТЕКАЧОВ И. А.—Еще есть немного неясное описание и, ровно, неверное: скоро Мочалкин выздоровел в тюрьме. Оправился, как встрепанный после здоровенной байги. А так все отлично.

(Кричат)—Верно! Верно! Чего там!

БОЧАРОВ Ф. З.—Народ деревенский у него настоящий уж. И слова, и дела...

НОСОВ М. А.—Когда читали про мужиков нечаевских и юразовских, мне на ум пали наши Егор Патрикеевич Камакин и Иван Семенович Зубков. Такие же горлодеры на сходке. Все по-своему гнут. Они, дьяволы, у нас дрова из печки выкидывали, когда мы не были приписными к селу.

КОРЛЯКОВ И. Ф.—И Микита Голегузов тоже похож на юразовских горлопанов. Также бедноту ел, сукин сын. Теперь притих.

ЗУБКОВА В. Ф.—Все они, кулаки-то, парные. Одна вода. Хоть под каких это описание подойдет.

БОЧАРОВА П. Ф.—Рассказ этот шибко крестьянский. Как все равно писатель сам из мужицкого положения. Все крестьянские мысли расчухал.

НОСОВА М. М.—Они, юразовские и нечаевские горлопаны, только и знали, что кричали: бей, дави! Боязно аж, как везли они по селу Мочалкина и лупили его.

ЗУБКОВА А. З.—Взаправдишное описание. Писатель шибко наречистый, и все по-мужицкому.

БОЧАРОВА А. П.—Набралась я тут страху на целую неделю. Что ни возьми, что ни вспомни, ажно дрожишь. Бьют, ведут, ровно на казню какую. Сходка гудет у меня и сейчас в ушах.

СТЕКАЧОВ Т. В.—От истинной правды у этого писателя свороту никуда нет. Страшно думать про эту картину. Ух, как Мочалкин-то ехал в бычьей голове! (Изображает руками бычью голову на своей голове. **А. Т.**).

КОРЛЯКОВ И. Ф.—Неверно вот что: приехал уголрозыск, а мужики все ревут, бунтуют. Они же испугались. Должны бы замолчать малость. Тюрьмы ведь они боятся.

ШИТИКОВ Д. С.—О! В двадцать первом году кулаки кому хочешь горло перервали бы. Им тогда и чорт нипочем был! Ты не знаешь, видно, какие они бывают, когда их потревожат. Как шмели в развороченном гнезде. Страсть!

СОШИНА Е. И.—Страшно, как Мочалкин быка колол. Так и боялась я, что его накроют и убьют. Как ровно правда все это было где-нибудь у нас. Напрасного ничего не сказано. Деревенский случай, знакомый нам.

БОЧАРОВА А. П.—Куда ты ни ткни пальцем, все в этом рассказе забольшное. Облыжности ни слова нету. Пропастину-то как же это драл Мочалкин? Вот пакость-то! А жил с этого человек. Еще хотелось бы этого чтения послушать.

НОСОВА А. С.—Я конец не поняла чуточку. А притяжение к рассказу было большое.

НОСОВ И. А.—Плохо, что кулаки, избившие Мочалкина, остались не наказанными. Надо бы суд над ними показательный устроить. Не наказали их. Жалко. Не дописал этого автор. Недоволен я.

КОРЛЯКОВА Н. В.—Предложенье ему: дописать рассказ, чтобы до конца вышло, как следует. Чтобы добро не портилось.

БОЧАРОВ А. И.—Правильно: не окончено. Беспременно надо в тюрягу засадить кулаков. А то бьют человека—и ничо им. Все хорошо обсказано, а тут подгажено. Нельзя так.

САШИН Ф. М.—Скоро закончено. Наказать кулаков обязательно надо. Что будет с арестованными, с детьми Мочалкина—неизвестно. А любопытно было бы знать всю тунную этого разбойства.

СТЕКАЧОВ И. А.—Кончить этот рассказ можно было бы просто: устроить судебную картину и вынести кулакам приговор: на восемь или на девять лет их в тюрягу! А все-таки писатель этот опытный. Он конец мог бы придумать настоящий. Подвел бы так, что лучше конца и не нужно было бы. Нужно было бы сделать по-закону на конце.

ЗУБКОВА В. Ф.—Эту книгу надо бы почитать всяким высшим лицам, чтобы такой страшной картины наперед в деревне не получалось с бедняцким классом. А то его бьют, а наказанья убийцам нету. Хорошо все, и слова не скажешь, но только обидно, что не судили убийц.

ТИТОВ Н. И.—В аккурат эту книгу нужно пустить по народу, чтобы хамство кулацкое продернуть.

НОСОВ М. А.—Бытье деревенское срисовано тут точка-в-точку. Про нас все это. Сбреши он малость, заметили бы. А то прикопаться не к чему. Все точно подсмащено. Надо же было ему обумить все крестьянское положение!

СТЕКАЧОВА П. Ф.—Понятливости много его голове дадено, и наречие у него такое, для нашего класса подобное. Говорит он с тобою, ровно наш какой умный мужик.

ОБЩЕЕ МНЕНИЕ. Повесть «Живодер»—зеркало классовой борьбы в деревне. Написана верно и страшно. Понята всем. Никаких в ней «ковылюжин» нет. Конец куц. Нужно дописать его. Кулаки должны быть наказаны... Отвести повести первое место в деревенских библиотеках.

ПРИМЕЧАНИЕ. Драматические сцены из «Живодера» потрясли слушателей. Крестьяне вспоминали, пересказывали отдельные эпизоды повести и тут же, незаметно для самих себя, драматизировали их.

Таким образом, после читки повести я имел удовольствие наблюдать импровизированное представление ее в лицах. Впечатление от чтения просилось разрядиться в действии. И разряжалось. Не лучшая ли это крестьянская похвала таланту И. Никитина?

Мрачный, тяжкий быт деревни, окончательно стирающий человеческую личность, бездонные и жуткие омуты крестьянской души в минуты ее потрясений и классовая борьба в деревне с ее неизбежно дикими формами—даны в «Живодере» жгуче интересно, мощно и, по утверждению крестьян, безукоризненно верно.

Конец же «Живодера» коммунары не одобрили: он почудился им обрубленным. Они хотели бы видеть повесть законченной путем прибавления к ней описания суда над кулаками, так много и бесчеловечно издевавшимися над бедняком Мочалкиным. Вполне законное, мне кажется, и разбережонное всем ходом повести чувство классовой ненависти моих слушателей к кулакам неумолимо требовало возмездия врагам Мочалкина. Да и композиционная логика самого произведения не противоречила бы этому добавлению.

А. Новиков-Прибой.—«Ухабы». (Читано 10-11-12 мая 1927 г.).

БЛИНОВ Е. С.—Много я читал хорошего у старых писателей. Все держу в уме. И этот писатель наподобие тех. Написал он понятно и легко. Выкрутасов никаких. Типы яркие. Даже уши обвинителя-командира и те видать. Суд—самая живая сцена. И еще, когда Виноградов говорит со свахой... Баня ужасная офицеру была дадена. И мы здесь, во время революции, дали бы всякому хаму-офицеру такую же баню... Суд ловко описан. Толпа, что волна: туда-сюда вихляется. Главного обвинителя орел на груди подвел... В деревне повесть очень даже пользительна будет: призадумаются, дескать, Виноградов капитан был, а сочувствие имеет к советской стране. Ученый, скажут, человек признал советскую власть. Которые мужики сомневаются, они за Виноградовым и пойдут.

ШИТИКОВ Д. С.—Прибой-Новиков этот есть настоящий рисовальщик. Борода, говорит, как лира. Здорово! Просто хоть на сцену давай. Интересный этот рассказ. Что ни дальше читаешь, то лучше делается он. И думаешь: погоди, он еще лучше будет. И выходит так, что лучше. Никакого отрыву нету от слухания. Все ждешь и ждешь... А внук и внучка-то?! Радостная штука! В родственном деле может внучка деда и бабку соединить головами, как описано у писателя. Вот, мол, благородный класс с простым теперь соединился после революции. Хоть, может быть, и не было этого на самом деле, а может быть. Любезно это вышло у него. В роде, как буржуазия с крестьянством соединяется.

ТИТОВ П. И.—Как он судьбу человека здорово разделяет: с севера на юг, с юга на север гоняет. Всяко бывает с людьми. Первому зятю Виноградова пришлось ехать за самоедами и жениться там где-то. Отлично описано, как Виноградова бросает в холод и в жар на суде. Этот Виноградов шибко может влиять в деревне на крестьян... А ораторы на суде—ух, стрекачи! Вот так и гляжу я на Виноградова, как он трепещется, бедняга, на суде. К Шишкову применяю я этого писателя по его уму резонному.

СТЕКАЧОВ И. А.—Слова у него все обдуманные. Как хорошие кирпичи, на кладке друг к дружке приходятся. Ни одного слова дурного. После него плохого писателя станешь читать—гадко будет тебе. Вон из «Больших пожаров» и до сих пор я помню только Новикова-Прибоя. Сколько их там, одров, собралось, а все-таки верх забрал Прибой. За его главу люди и будут помнить «Большие пожары».

СТЕКАЧОВ Т. В.—Как читали эту ухабину, я слышал, как у меня волосы подымаются-подымаются-подымаются (Показывает руками. А. Т.). Интересует уж очень. Дрожь ходит по тебе. А дочь Виноградова хорошо сделала, что ушла замуж за революционера. Маленько я недоволен тем, что писатель не рассказал, как и что было во время революции на других кораблях. Хоть бы малую часть сказал. А то упомянул

только, что красные флаги на всех. Рассказ про суд над Виноградовым тоже как-то не так. Судят, а знаешь, что Виноградов живой будет, и оттого не так страшно. А все-таки интересно, как его оправдали. Показательная агитация тут: генеральская дочь пошла за революционером!

БЛИНОВ И. Е.—С краю нам писатель сказал, что за тип этот Виноградов. Шибко ладный для советской власти человек. Вот и обидно нам, что его судили. А если б писатель этого не сказал, то, пожалуй, зачали бы мы обвинять Виноградова, осерчали бы на него.

ШИТИКОВА М. Т.—Подход хороший к писанию. Ишь, ровно, письмо. Никаких тут обманов нету. А главное—начинаешь раздумывать, и прямо в глубь этой повести входишь. К чему этот рассказ? А к тому, что люди во время войны и революции халатно, по-зверски относились к жизни человеческой и не разбирались часто, кого глушить. Генерал—ну, и дави его. А выходит, что и генералы бывают хорошие. Из сотни советских служащих, может, такого умного и сознательного не найдешь, как этот офицер Виноградов. Он понял советскую власть и доволен этим. Получает шестьдесят рублей и доволен. А теперь есть некоторые по триста рублей получают и не стыдятся. Ворчат, а прежде в работниках жили. Людскую нужду не понимают. Нет того, чтобы бедному человеку помочь. Отзывы у Виноградова о советской власти очень хорошие. Для всех книга эта нужна.

СТЕКАЧОВ М. И.—Понравилась мне сцена, как офицера запарили. Страшновато дело было. Противно аж мне, когда я слушал, как матросов били на корабле. Ну, и смехоты много тут. Ишь, как шпакурили матросы над «оратором», которого поесть заставили, прежде чем речи говорить. Ребятишки хорошо описаны. Не то что у Анучиной («Рассказы о детях». А. Т.). Шибко смешной старый генерал перед зеркалом. Вот дурак-то! Он все еще не отвыкает от чинов, все попрежнему в мундире щеголяет. Писателя этого можно подогнать к Горькому или Серафимовичу. Эта повесть есть история революции на кораблях.

ШИТИКОВ Д. С.—Соболь написал: «Любовь на Арбате». Название красивое, ровно молотком тебя по голове шарахает. Думаешь, рассказ баской по званию по его, а послушаешь—и уйдешь к чорту.

БЛИНОВ И. Е.—Этот описывает не торопясь. Толково. И мы все эти вечера сидели допоздна. Охота слушать.

БОЧАРОВА А. П.—И судить-то такого человека, как Виноградов, жалко. Обсказ о нем душевный, и он душевный.

ШУЛЬГИН Т. И.—Суд понравился мне. Думаешь: жизнь-то человеческая от случая зависит. Совсем было Виноградову хана, да пустой случай выручил: орел на груди у его обвинителя. А твердой же он мужик был! Понял революцию, к чему она.

ЕДИНОГЛАСНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. «В ухабах» Новиков-Прибой живописно и умно вскрыл вероломную и страшную психологию толпы и запечатлел потрясающие картины революционного переворота в русском морском флоте.

Между прочим, он незабываемо очертил в ней и представителей старой военно-морской аристократии, принявших и непринявших Октябрь. Первым он пропел достойную хвалу, а вторых убийственно высмеял. Отсюда понятно, что «Ухабы» нужнейшая книга в деревне.

ПРИМЕЧАНИЕ. Три вечера под ряд я читал «Ухабы», и три вечера публика ходила в школу гуртом и значительно раньше назначенного для читок срока. На четвертый вечер шла критика вещи. Узнал я, что на оценку «Ухабов» пошли коммунары с удовольствием, как на особо интересную и приятную работу. Про это столяр Д. С. Шитиков говорил:

— Гребтится про нее потолковать.

Многие же произведения на второй день после их читки, крестьяне обсуждали вяло, лениво. Оценка «Ухабов» произведена с интересом, даже с азартом. Вновь с увлечением публика перебрала, пережила все сцены повести. Удивлялись композиции ее. Всем понравилось то, что писатель наперед расположил слушателя в пользу главного героя повести. Это способствовало целостности и нарастанию чувства любви к Виноградову. Хронологическая перестановка событий усилила общее впечатление от повести. Крестьяне ее понимают. Идиллически милые и тепло написанные сцены свидания свахи со сватом, сцены с детьми—произвели в аудитории фурор. От них веет легкой лучезарностью ясного летнего дня. Простота языка и неотразимая сила лиризма Новикова-Прибоя понудили крестьян помянуть имя этого автора рядом с большими именами писателей-классиков.

Я знаю: что ни дай теперь из Новикова-Прибоя моим слушателям—все будут слушать с жадностью, пока не наткнутся на явно бездарную вещь, если такая у него окажется.

Лето. *А. Заковряшин.*

Молодая сибирская графика.

(В дискуссионном порядке).

Ст. Липин.

В порывах мучительных бьется мысль художника самоучки.

Огромный труд, которого никто не видит.

В тесной комнатушке, при керосиновой лампе, шагает он день за днем, открывая Америки, может быть, смешные и наивные, но вместе с этими Америками, растут в его голове задачи.

Напряженно, от одной вещи к другой, постигает он искусство владеть резцом, кистью, карандашом. В голове у него огромное количество тем. Но бывают такие, которые не даются. И резец их не берет, и карандаш не берет, и знания скопленные не помогают. Снова долгие, порой бесплодные годы мысли, работы.

Выношенное чадо—вещь—робко выглядывает на свет, на круг, глаза крупными глотками глотают любопытные, небрежные, чужие взгляды.

Показанная вещь становится противной, ненужной. Закрыть ее, растоптать, уничтожить, переделать все, что угодно, только не видеть ее проколотой взглядами, а иногда и равнодушным зевком.

Самоучка всегда с папкой. И в папке его всегда ворох работ, которые показывает он всякому, кто, по его мнению, смыслит в искусстве. Это его школа. На беглых взглядах, брошенных замечаниях строит он дальнейшую работу.

Александр Заковряшин—художник-самоучка. Он режет на линолиуме, рисует пером и кистью. В основе его искусства, кроме бурной композиции, своеобразный острый подход в восприятии и выражении.

Искусствовед назвал бы его искусство экспрессионизмом.

При всем этом в голове у него и в руке, которая держит штихель, твердое желание указать на жизнь, протиснуть сквозь стремительную индивидуальность пейзажи и жанровые сцены, вскрыть действительность, показать незамеченную в сутолоке деталь. Его вещи, линогравюры, которые печатаются в этом номере, говорят о больших шагах, которые делает художник в смысле своего художественного роста.

В его работах, начиная с круговых футуристических рисунков, монтажей, где художник работал исключительно пером, до линогравюры «Портной», замечается стремление сделать под кого-то, а поэтому вещи, которые фигурировали на 1 Всесибирской выставке, определенно отдают провинциализмом, перепеванием того, что давно уже было спето в художественных центрах. После выставки в работах А. Заковряшина поворот, прежде всего, к определенному материалу, а также и к более серьезному использованию тех возможностей, которые дают такой материал, как гравюра на линолиуме.

А. Заковряшин.

Минусинск.

Первая работа этого периода «Лето», ее нужно отметить, как начало серьезного знакомства с материалом.

Рука с резцом еще не отвыкла от пера, кисти, заботливо дробит плоскости, путаясь в белом пятне и линии, давая волю пейзажной настроенности, хватаясь в то

Еврейское кладбище. *А. Заковряшин.*

же время за язык материала. Интересны, радуют взгляд, открывают ласковые и глубокие ноты линолиума вещи «Карусель», «Кладбище», «Поленница дров». Пусть в них художник кроет белым, пусть это наивная музыка, но это настоящая музыка. Композиция, в которой эффект достигнут равномерной игрой белых линий по всему листу, говорит о принужденной, вполне самостоятельной постановке множества интересных формальных задач в линогравюре.

Тон, смешение плоскостей и пространственной трактовки листа, одновременное применение живописных и графических принципов—все это, может быть, не ново, но в данном случае имеет большую значимость. Художник через это проходит, это переваривает, это его шаги к овладеванию способами и приемами мастерства.

«Арьян гонят»—вещь графично-зрелая, но ей приходится ставить в упрек композиционную выхваченность. И затем все-таки, трактовка этнографического материала цивилизованными манерами походит более на модный фокстрот, чем на целый и обоятельный примитив. Совершенно новой, неиспробованной свежестью веет от вещей «Столовая», «Китаец» и «Милиционер».

По-новому художник подошел к листу, сознательнее определяя место для черного и белого. Самое ценное в них—это, пожалуй, острота выражения реалистических моментов,—путь, который даст возможность художнику овладеть и формой и содержанием.

В противоположность Заковряшину, линогравюры Виктора Уфимцева бедны тематикой. Спокойный, уравновешенный созерцатель,—живописец, мысль которого щупает пятнами внешние облики Туркестана, его обитателей, ищет в арыках, карагачах, гаимах, гайханах, экзотики, которая, видимо, волнует художника. Нужно ли искать экзотику?

По моему, не нужно.

Мы очень здоровы и для возбуждения нашего аппетита не нужно экзотических блюд. Но, как графические вещи, формально линогравюры В. Уфимцева, безусловно, имеют большой интерес.

Уфимцев отбрасывает в сторону шлифовку деталей, обращая внимание на основное—сделать хорошую композицию, которая брала бы не деталями, не закругленностью или остротой линии, а основным построением пятен и благодаря этому его примитива приобретает цельность и выразительность.

Сибирская графика в пеленках. Особенность ее положения в том, что она сама и пеленки моет. Но от этого ей вреда нет. От этого она растет крепкой и здоровой. И вырастет без образованных теплушек, бонн, нянек, неизбалованная, выйдет хорошей работницей в общий круг культурной стройки.

К 50-летию Западно-Сибирского Отдела Государственного Русского Географического Общества.

Научно-исследовательская работа в Сибири, осуществляемая местными силами, возникла в начале 50 годов прошлого века. Единственным очагом ее был долгое время Сибирский Отдел Русского Географического Общества в Иркутске. Работы последнего были устремлены преимущественно на Иркутскую губернию, Забайкалье и Дальний Восток.

Западная часть Сибири была обслуживаема весьма слабо, и поэтому вскоре же назрела настоятельная потребность создать краеведческие организации в крупных городах этой полосы Сибири, а именно: в Омске, Томске, Барнауле и Минусинске.

Ранее других организаций краеведческое гнездо появилось в Омске. Здесь в 1868 году было организовано «Общество исследователей Западной Сибири», которое было весьма бедно силами и не сумело поставить исследовательской работы, хотя и просуществовало десять лет.

Прочная научно-исследовательская организация появилась в Омске несколько позже, а именно в 1877 году, когда был учрежден Западно-Сибирский Отдел РГО. Почти одновременно возник музей в Минусинске, вскоре же открылось «Общество любителей Алтайского края»—в Барнауле, музей—в Енисейске.

Западно-Сибирский Отдел РГО окреп и привлек к своей деятельности ряд выдающихся научных работников, хотя нахождение отдела в административном центре Западной Сибири надолго ставило его в крепкую зависимость от разных «превосходительств» и чиновной среды, изобиловавшей в Омске. История Отдела знает не один случай наложения тяжелой руки «покровителей». Например, в 1896 г. ген.-губ. Таубе упразднил Распорядительный Комитет и ввел единоличное управление Отделом председателя. Это повело «к убыли членов».

Чиновные нравы проникли в Отдел с первого года его существования. Уже в следующем году Н. М. Ядринцев, активно вошедший в работу, жаловался на «плохие дела» в Отделе: «чтения не хотят делать публичными и доступными; я не понимаю этого канцелярского порядка замкнутости. Мой алтайский гербарий лежит в чулане неразобранным, как и образцы минеральных вод, камни и пр.».

Эта же замкнутость вела к тому, что Отдел собирался лишь по случаю проезда ученых, что заставляло опасаться—как бы общество не превратилось в «отдел иностранных сообщений».

Живые силы, работавшие в Отделе, сумели и при мало благоприятной обстановке осуществить ряд ценных работ и развить деятельность в сторону актуального изучения края.

Н. М. Ядринцев разработал обширный план экономико-этнографического изучения Западной Сибири, выработал и опубликовал ряд исследовательских программ (в том числе по изучению общины в Сибири) и занялся по поручению Отдела изучением быта переселенцев и туземцев на Алтае и на юге Томской губ., совершив несколько поездок. Покинув в 1881 г. Западную Сибирь, он увез для обработки богатые материалы для своего капитального труда «Сибирь, как колония».

Принял участие в Отделе на склоне своих дней этнограф Н. А. Костров и оставил ему ряд своих рукописей.

Первый правитель дел Отдела, а впоследствии его председатель, М. В. Певцов, начавший свои путешествия в Чжунгарию незадолго до этого, открывает издательскую серию «Записок Зап. Сиб. Отдела» публикацией своих путевых очер-

Арьян гонят. *А. Заковряшин.*

ков. Впоследствии в этих же «Записках» появился его капитальный труд о путешествии по Монголии и северным провинциям Китая. Певцов, кроме своих далеких экспедиций, провел изучение приграничной полосы Семипалатинской губернии и др. работы.

В дальнейшей деятельности Отдела приняли живое участие: Д. А. Клеменц, совершивший несколько поездок с геологической и этнографической целями к истокам Абакана и в Мариинский округ, зоолог, ботаник и археолог И. Я. Словцов, этнограф, археолог и естествоиспытатель А. В. Адрианов, В. И. Вербицкий—автор грамматики и словаря алтайского наречия тюркского языка, историк А. И. Сулоцкий, топограф Ю. А. Шмид, ботаник М. М. Снязов, климатолог П. Ф. Брейтигам, этнографы М. А. Шестаков и Н. Зеланд и мн. др.

Г. Н. Потанин весьма живо интересовался работой Отдела и принимал в ней участие, если не всегда лично, то указаниями и рекомендациями сотрудников.

В среду Отдела, изобилававшую чиновниками, проникали педагоги (в летописях Отдела за 1882 год отмечено включение в число членов 28 учителей) и лица свободных профессий.

С проведнием Великого Сибирского жел.-дорожного пути и с ростом переселенческого движения в Отделе появляются еще новые лица: инженеры, врачи, агрономы. Их присутствие отразилось и на характере занятий Отдела. В числе научных сообщений появились в Отделе темы о колонизации областей Степного края, о поземельном устройстве крестьян, об обычном праве киргизской народности, об искусственном орошении земель Акмолинской области и т. п.

Еще большая струя общественности влилась в Отдел с событиями 1905 г.

Когда уже названный нами М. М. Снязов был лишен слова во время своего доклада об Японии очередным чиновным опекуном неким Велецким, общее собрание, по предложению А. Букейханова, вынесло единодушное порицание Велецкому, «осквернившему стены Отдела» и предложило докладчику закончить свою речь.

В дальнейшем Отдел получил новый приток сил в свои ряды из открывшихся в Омске высших учебных заведений.

Работы Отдела выражались в разнообразных формах. Прежде всего—экспедиции в разные части обширной территории Западной Сибири и за ее пределы. Устройство и снаряжение их проходило не всегда равномерно в процессе работ Отдела. Были не только годы, но и пятилетия, когда Отдел не мог осуществлять их. Если первые экспедиции носили разнообразный характер и включали в себя как естественно-исторические, так и этнографические, лингвистические и экономические изучения, то в более новой истории Отдела экспедиции принимают ха-

рактер преимущественно естествоведческий (почвенные, ботанические, геологические и др.).

За полувековое существование проведено по предварительному подсчету 147 экспедиций.

Рядом с этим шло накопление коллекций и собственного музея. Накопление шло непрерывно, и уже в 1883 году музей становится публичным. В годы революции (1920) он перешел в ведение государства и существует сейчас, как Западно-Сибирский Государственный Музей.

Таким же путем накапливалась библиотека Отдела и достигла 30.000 томов. В данное время эта библиотека находится при Западно-Сибирском Государственном Музее.

Следует особо отметить заслуги Отдела в области изучения климата Западной Сибири. С первого же года существования был поднят (членом Отдела Мирошниченко) вопрос о производстве магнитных наблюдений, а через несколько лет (в 1886 г.) при Отделе была открыта метеорологическая станция. Сюда поступили записи многолетних наблюдений любителя Соколова. Здесь стал производить свои постоянные наблюдения П. Ф. Брейтигам. Позже (1892) при Отделе существовала метеорологическая комиссия.

Весьма капитальным вложением в наше сибирское краеведение является издательская продукция З.-С. ОРГО.

За 50 лет Отделом выпущено: 38 томов «Записок», 5 выпусков «Трудов», 5 томов «Известий», 3 номера журнала «Сибирская Природа», ряд карт, исследовательских программ, отчетов, биографий и юбилейных изданий (сборников). Эта библиотека собственных изданий является в нашем крае второй после ВСОРГО по обилию и капитальному своему содержанию.

Мы не сможем здесь дать полную справку о других работах, осуществленных Западно-Сибирским Отделом за истекшие полвека. Участие в различных выставках (Нижний-Новгород, Екатеринбург, Омск, Москва, Париж и др.), проведение однодневной переписи в Омске (1897 года), собирание сведений о положении школьного дела в степной области (1899 г., обследовано 215 школ), просветительная работа и мн. др. предприятия могут быть описаны лишь в историческом очерке Отдела.

С развитием научно-исследовательских сил на местах Отдел ответвил от себя два филиала в виде под'отделов—Семипалатинского и Барнаульского, превратившихся позже в самостоятельные Отделы РГО.

Годы гражданской войны и колчаковщины едва не отразились гибелью на накоплениях, сделанных Отделом. В ноябре 1919 года Отделу было приказано эвакуироваться. В ответ на это наиболее ценное имуще-

Китаец. *А. Заковряшин.*

ство Отдела (музейные коллекции и книги) было спрятано в подвалы, а приказ не был выполнен.

Следует отметить еще последовавшее тогда же предложение штаба французской миссии о передаче ему из Отдела всех результатов научных исследований о Енисее и Оби.

В позднейшие годы своей деятельности Отдел тесно увязался с ВУЗ'ами, существующими в Омске, и имеет общие с ними главнейшие свои рабочие силы.

В составе Отдела работают секции: биологическая и геофизическая. Развивается экспедиционная, стационарная и издательская работы.

В дни полувекового юбилея следует пожелать Западно-Сибирскому Отделу продолжение его плодотворной деятельности и активного участия в нашем дальнейшем краеведческом строительстве, происходящем во всех уголках, областях и республиках нашей страны.

П. Казаринов.

50-летний юбилей

Западно-Сибирского Отдела Государственного Русского Географического Общества.

Празднование пятидесятилетия Западно-Сибирского Отдела Государственного Русского Географического Общества состоялось 29 января. На торжественном юбилейном заседании присутствовало не менее пятисот человек.

Юбилей провинциального Отдела неожиданно вылился в большой праздник географической науки. ЗСОРГО получил около 150 приветственных телеграмм и несколько адресов.

Приветствия получены от Академии Наук, от университетов, от провинциальных отделов Географического Общества, от краеведческих обществ, музеев, гидрографических учреждений и т. д.

Президент Академии Наук СССР А. Карпинский в своем приветствии отмечает, что Западно-Сибирский Отдел Государственного Русского Географического Общества «является одним из важнейших местных научных центров» и что деятели его выполнили большое и нужное для страны дело.

Госплан РСФСР выразил пожелание, чтобы деятельность Отдела в дальнейшем была еще более плодотворной.

Аналогичное приветствие поступило от зам. председателя Сибплана т. Ветрова.

Из телеграмм, зачитанных на торжественном заседании, особенно шумное одобрение вызвала телеграмма академика Ферсмана, который пожелал, чтобы в будущем Западно-Сибирский Отдел Государственного Русского Географического Общества имел бы не только запас энтузиазма, но и запас «презренного металла, столь необходимого для организации всяких экспедиций».

На торжественном заседании были произведены выборы членов Зап.-Сиб. Отдела Государственного Русского Географического Общества. В почетные члены избраны: проф. В. А. Обручев—автор «Геологии Сибири», проф. Крылов—автор «Флоры Западной Сибири», проф. Н. Д. Павлов, проф. П. Л. Драверт, проф. Б. Вейнберг, проф. Гордягин и Б. П. Герасимов.

В действительные члены общества избраны: Г. И. Черемных, В. Д. Вегман, Г. А. Краснов, Н. Ф. Преображенский и проф. Новомбергский.

После торжественного заседания собравшимся была показана небольшая выставка Западно-Сибирского Отдела Государственного Русского Географического Общества, состоящая из портретов деятелей Отдела, исторических документов и изданий.

Последний юбилейный том «Записок», выпущенный к дням пятидесятилетия, имеет больше 40 печатных листов и включает чрезвычайно ценные работы о почвах и растительности Западной Сибири.

М. Н.

Над арыком. *В. Уфимцев.*

25 летний юбилей краеведческой деятельности В. П. Косованова.

В текущем году исполнилось 25 лет краеведческой и литературной деятельности председателя Средне-Сибирского Отдела Русского Географического Общества Вячеслава Петровича Косованова.

В. П. принадлежит к той группе краеведов, которые в своих достижениях в области краеведения и научно-исследовательской работы обязаны исключительно самим себе, своей энергии и одаренности.

Не имея возможности по условиям своей жизни всецело сосредоточиться на любимом исследовательском деле, В. П. с исключительными настойчивостью и рвением стремится к нему, отдавая краеведной работе весь свой досуг и все свои способности и силы.

Эта настойчивость, энтузиазм и бескорыстная преданность делу изучения родного края являются характерными чертами В. П., как краеведа и человека.

В. П. Косованов родился 25 января 1880 г. в семье крестьянина с. Луговского, Минусинского округа. После окончания в 1897 г. Алтайского горного училища он вернулся на родину в Енисейскую губернию, где и проработал двадцать восемь лет. Сперва в качестве горного техника, геолога и маркшейдера на частных горных заводах и рудниках Приенисейского края, а с 1909 г.—на государственной службе в качестве землемера в Енисейском поземельно-устроительном отряде и позже—в качестве производителя работ Красноярской поземельно-устроительной партии.

За первые годы советской власти в Сибири В. П. работает по землеустройству в Енисейском губземотделе. С 1922 по 1924 г. состоял членом секции по районированию Приенисейского края при плановой комиссии Енисейского губисполкома, где вел работы в части землеустройства, колонизации и промышленности добывающей и обрабатывающей и кустарных промыслов.

С октября 1925 года и по настоящее время состоит в должности экономиста отдела землеустройства и зав. экономическим отделением Красноярской колонизационно-переселенческой партии.

Приведенная краткая биографическая справка рисует внешнюю сторону работы Вячеслава Петровича, его непрерывный трудовой путь. За этим скромным curriculum всегда стояла кипучая и разнообразная работа исследователя.

Горная промышленность, картография, землеустройство, колонизация, экономика, библиография и история Приенисейского края—вот обширный список тех основных вопросов, которые живо привлекали пытливую мысль В. П. Эти вопросы нашли выражение в ряде печатных работ, список которых приводится ниже.

Отдавая должное этому всему значительному вкладу, который сделан В. П. в нашу краеведческую литературу, необходимо особенно подчеркнуть научное и практичесткое значение одной из его работ, а именно: «Библиографии Приенисейского края».

Трехтомная «Библиография» охватывает: 1) Социально-экономические науки (в настоящее время этот том печатается), 2) Филологию, чистые науки и прикладные знания (напечатано в 1923 г.) и 3) Историко-географические науки (готов к печати).

«Библиография» Косованова является настольной книгой не только краеведа-исследователя, но всякого вдумчивого и серьезного практического работника, администратора, хозяйственника, желающего ознакомиться с Приенисейской Сибирью, столь обширной и разнообразной по населению, по своему географическому облику и экономике.

Громадный труд, систематически в течение десятков лет затрачиваемый В. П. на эту сводную библиографическую работу, может быть вознагра-

Милиционер. *А. Заковряшин.*

жден только сознанием, что эта работа является действительно выдающейся по своей полезности и сберегает труд и время всех соприкасающихся в своей работе с природой и хозяйством Приенисейского края.

Помимо научно-краеведческой и литературной деятельности В. П., необходимо отметить еще одну область, где он проявил свою даровитость и пытливую настойчивость—это область изобретений.

Им сконструированы и получили практическое применение ряд приборов, значительно механизирующих и облегчающих техническую работу в области геодезии и практической топографии.

Важными изобретениями Вячеслава Петровича являются к о о р д и н а т о м е т р и г р а ф о м е т р.

Первый прибор был патентован в 1912 г. С помощью его можно решать прямоугольные треугольники при всяких заданиях, а также и косоугольные—при известной стороне и углах, а, следовательно, и все задачи из землемерной практики, основанные на свойстве прямоугольных треугольников, как-то: вычисление неприступных расстояний, определение азимута и длины линии, соединяющей две точки по координатам их, диагонали квадрата и прямоугольника, получение относительной невязки в периметре и т. д.

Второй прибор дает возможность вести технически топографическую с'емку местности и, таким образом, способствует рационализации межевого дела.

Склонность и причастность В. П. к конструктивной технической работе, дала ему возможность с особенным интересом и углубленно подойти к характеристике деятельности и личности сибирского механика И. И. Ползунова, изобревшего, как известно, паровую машину непрерывного действия на несколько лет раньше, чем это было сделано получившим мировую известность Уаттом.

Недостаток места не позволяет более подробно остановиться на характеристике многогранной деятельности В. П. Косованова, как краеведа и исследователя. Завершением его двадцатипятилетней научно-краеведной работы было избрание в 1926 г. председателем Средне-Сибирского Отдела Русского Географического Общества. На этом посту В. П. развил широкую и плодотворную деятельность, проявив себя, как крупный организатор и горячий сторонник тесного единения науки, краеведческих сил и развивающегося советского хозяйства Сибири. Отдел РГО обязан своему председателю оживлением и плановостью своих работ.

В настоящее время В. П. Косованов находится в расцвете своих физических и интеллектуальных сил, и это дает надежду, что его плодотворная краеведческая и научно-исследовательская деятельность будет продолжаться долгие годы и развернется еще с большим блеском и силой.

А. Березовский.

Список работ В. П. Косованова.

1. Применение бурения при разведке золотых рассыпей и других месторождений полезных ископаемых. «Деятельность». 1901 г., № 69.
2. Частное земледелие в Енисейской губ. Красноярск, 1917 г.
3. «Памяти сибирского механика Ивана Ивановича Ползунова». «Сиб. Записки», 1917 г., кн. 4-5.
4. Библиография Приенисейского края. Систематический указатель книг и статей на русском и иностранных языках, опубликованных с 1612 по 1923 г. включительно. Том 2-ой. Филология, чистые (точные) науки и прикладные знания. Изд. ЕнгубЭКОСО, Красноярск, 1923 г.
5. Горно-заводская, фабрично-заводская промышленность и кустарные промыслы Приенисейского края (историко-экономический очерк). «Справ. кн. Енгубсовнархоза», 1923 г., Красноярск, стр. 20—102.
6. К орографии золотоносных районов Енисейской губ. «Известия Красноярск. Отд. Русского Географ. Общества», 1923 г., т. 3, в. I, стр. 51—80.
7. К истории древней картографии Приенисейского края, «Сиб. Огни», 1924 г.
8. О землеустройстве и водоустройстве русского и инородческого населения Сибирского Севера. «Жизнь Сибири», 1926 г., № 3.
9. Колонизационные перспективы Приенисейского края. «Жизнь Сибири», 1926 г.
10. Пионер сибирской горнопромышленности (А. Жилин). «Жизнь Сибири», 1927 г., № 3.

Подготовлено к печати.

1. Исторический очерк колонизации Приенисейского края.
2. Минеральные ресурсы Приенисейского края.
3. Орографический очерк Приенисейского края с гипсометрической картой и каталогом высот.
4. Хозяйственная деятельность человека Приенисейского края.
5. Огнеупорные и фарфоровые глины Приенисейского края.
6. Библиография Приенисейского края. Т I (печатается) и III.

Книга в Сибири.

(Издательские перспективы Сибкрайиздата на 1928 г.).

Издательская деятельность Сибкрайиздата в основе своей имеет краеведческую установку. Издательский план его на 1928 год грубо можно разбить на три части: 1) собственно краеведческую литературу; 2) учебно-методическую и 3) периодическую. Особо стоит Сибирская Советская Энциклопедия.

Краеведческая литература в свою очередь разбивается на группы: 1) серия «К изучению Сибири»; 2) детская; 3) художественная литература и 4) разная.

Первая серия книг должна дать общий очерк Сибири в ее естественно-историческом, культурном и экономическом разрезах. Она рассчитана на ученика II ступени, рабфаковца, вузовца, педагога и советского активиста. Сюда входят темы: «История Сибири», «Население Сибири» (туземцы и русские); «Природа Сибири», «Ископаемые богатства Сибири», «Современная Сибирь», «Будущее Сибири» и «Что читать о Сибири».

Издательством запроектировано около 18 тем, куда входят вопросы сельского хозяйства Сибири, промышленности, транспорта, описание отдельных районов (например, Алтай), но на издание этих тем можно рассчитывать только в 1929 году.

Следует отметить еще книгу Турунова А. и Вегмана В. «Библиографический указатель литературы по истории революционного движения в Сибири», издаваемой вне серии, но тематически близкой к ней.

Все эти книги, размером 4-6 листов, имеют одинаковый внешний вид, формат и цену.

Детская книжка также стандартизована в смысле формата, обложки, размера и цены. Малый карманный размер, цена 25-30 копеек, 2-2½ печатных листа с рисунками.

Детская книжка должна дать общую характеристику края в ее бытовом, хозяйственно-экономическом и культурном отношениях. Форма изложния—художественная публицистика, более приближающаяся к беллетристике, по возможности с определенной фабулой. Здесь мы имеем: «Очерки сибирского севера», «Горы Сибири» (Алтай, естественно-исторический очерк, экономика и быт), «Степи Сибири» (Киргизия), «Забайкалье» (Бурятия), «Города Сибири», «Пионеры сибирской деревни» и «Будущее Сибири» (Ближайшие перспективы строительства). Кроме этой библиотечки, книжка «Юный натуралист» (Как изучать свой край).

План художественной литературы по своему размеру чрезвычайно невелик: 3 книжки стихов в полтора-два печ. листа (800-1200 строк), сборник пьес и 2 книги беллетристики. Особо стоит роман В. Зазубрина «Два мира». Книга эта разошлась тремя изданиями, и спрос на нее не прекращается. «Два мира»—эпопея, гражданской войны в Сибири—должна быть и издана в Сибири. Сборник пьес составлен из произведений, премированных на сибирском конкурсе.

В отдел разной литературы идут случайные, так называемые, «непредвиденные» еще издания. Предвидеть авторов на год вперед, конечно, нельзя. Всякая новая, случайно поступившая в издательство книга, ценная по содержанию, может пойти в печать сверх твердо установленных названий.

В разные отнесен также «Сибирский Настольный Календарь» и политическая литература, построенная на сибирском материале.

К учебно-методической литературе относятся учебники, учебные пособия и методические руководства. Школа первой ступени почти по всей Сибири учится по учебникам Сибкрайиздата. Букварь «Мы в школе» и 1 книга после букваря под тем же названием—Венгрова Н. и Осмоловского Н.—выдержали до 7 изданий. Для второго года обучения «Мы в школе» часть II—Венгрова Н. и Осмоловского Н. и для этого же года обучения книга Жданова В., Никулина К., Полякова А., Пушкарева Г. и Хохлова Д.—«Сибирская Деревня». Все книги допущены Научно-Педагогической Секцией ГУС'а. Для школ подростков—букварь Пупышева В., Вельхер Т. и Морозовой О.—«Пора на работу»—3 издание.

Для политпросветработы—Пупышев В.—«Наша сила—Советы» (Сибирская хрестоматия для взрослых)—4 издание.

К учебным пособиям должно отнести: Ансона А., Басова М. и Чермных Г. (редакция)—«Экономическая география Сибири», Знаменская—«Хрестоматия по истории Сибири»; Пушкарев Г. (под редакцией Ансона А.)—«Сибирская Новь»—хрестоматия по истории револ. движения в Сибири за X лет (История и хозяйственное строительство)—2 издание. Комплект 10 художественных красочных картин: 1) Народности Сибири; 2) Природа Сибири (тайга, тундра, горы Сибири, сибир-

ские степи, животный мир в Сибири); 3) История Сибири (первое продвижение русских в Сибирь, ссылка и каторга в Сибири, колонизация Сибири, переселенческое движение, гражданская война в Сибири).

В методическую литературу входит: «Сибирский вариант программы ГУС'а»; П. К. Казаринов—«Краеведение в библиотеках»; «В Помощь Просвещенцу» (сборник) и те методические руководства, которые явятся результатом работы методсовещаний.

К периодике относится: «Сибирские Огни», «Просвещение Сибири»—общественно-педагогический журнал, издающийся 6 год (до 1926 г. под названием «Сибирский Педаг. Журнал»), завоевавший с 1.500 подписч. тираж в 7.000; «Сибирский Детский журнал»—орган СикрайОНО и Сибкрайкома ВЛКСМ. Этот журнал выходит впервые. Потребность в нем чувствуется сильно. Из самых глухих уголков Сибкрая ребята десятками шлют подписку на журнал. Предполагается тираж в первом же году довести до 10.000. «Сибирский Детский Журнал» рассчитан на школьника от 10 до 15 лет. Годовая подписная цена его 2 руб. 50 коп.

В цифровых данных издательский план рисуется так: печатных листов 549, листов-оттисков 6.357.000, количество экземпляров продукции 1.066.000, номинальная стоимость 516.181 р.

На 70 проц. из перечисленных изданий рукописи уже закончены или находятся в проработке.

В заключение несколько слов о технических условиях работы. Полиграфическая промышленность Сибири—одна из самых отсталых. Машинное оборудование не подновлялось за последние десять лет, если не считать мелкого оборудования и одной новой машины, недавно полученной из-за границы. В Сибири нет ни одной вполне исправной иллюстрационной машины, и все издания даже с иллюстрациями печатаются на плоских обычных машинах.

Отсюда понятно, что художественной продукции сибирская полиграфическая промышленность дать не может, сибирские издания качественно значительно отстают от центральных. Сбыт сибирской продукции, за немногим исключением, ограничивается территориально Сибирским краем, что снижает тираж и удорожает книгу.

Пропускная способность сибирских типографий настолько ничтожна, что 5-ти миллионный листаж оттисков изданий Сибкрайиздата приходится разбрасывать по разным городам: Новосибирск, Омск, Иркутск.

Первое картографическое совещание в Сибири.

24 декабря минувшего года закончилось двухдневное, первое в Сибири, картографическое совещание, созванное Сибкрайпланом. Совещание это, впервые обрисовавшее истинную картину картографического дела в Сибири, несомненно, представляется большим культурным явлением в жизни Сибирского края.

Мысль о необходимости учета и всесторонней оценки картографического материала по Сибири, а также и дальнейшего направления картографических работ, была отмечена еще первым Сибирским Краевым научно-исследовательским с'ездом в 1926 г. Инициатива о реализации постановлений с'езда в отношении картографии была проявлена командующим войсками Сибирского военного округа, а проведение таковых в жизнь, как указывалось выше, выполнено Сибкрайпланом.

В состав совещания входили, кроме председателя его проф. В. Г. Болдырева (Сибкрайплан), представители Сибирского Военно-Топографического отдела Г. Ф. Линдиков и Я. Я. Степпе, Сибирского Управления Геодезического Комитета И. А. Жилинский, Убекосибири (сибирский отдел Главного Гидрографического Управления) Б. А. Сергиевский и П. Я. Напалков, Сибводпути Г. И. Мешков, Уполномоченного НКПС по Сибири проф. Н. Д. Тяпкин и И. К. Цакни, Сибкрайсовнархоза Р. Р. Буб, Сибкрайземотдела М. Н. Воронович, Сибкрайстатотдела С. М. Пушкарев, Районного Переселенческого Управления Л. Л. Чумичев, Сибирского отдела Геологического Комитета доцент Б. Ф. Сперанский, Комитета Северного Морского Пути С. П. Дмитриев, Сибирского Института Сельского хозяйства и Лесоводства проф. геодезии Н. Д. Павлов, Государственного Томского Университета прив. доц. А. К. Иванов и Общества изучения Сибири и ее производительных сил И. К. Цакни и др.

В результате работ совещания определилась, с одной стороны, крайняя недостаточность охвата огромной территории Сибири и в частности Сибирского края картографическими работами и, с другой—чрезвычайное разнообразие и неувязка имеющегося картографического материала, который мог

бы послужить для составления карт, как специально военных для нужд обороны, так и карт общегосударственного значения.

Обращено особое внимание на отставание работ по картографии от темпа развития народно-хозяйственной жизни края, на параллелизм этих работ, производимых различными ведомствами, а главное—на отсутствие необходимого учета имеющегося картографического материала и всесторонней оценки его, а также на отсутствие каталогов астрономо-геодезических работ, являющихся основой как для с'емок, так и для составления карт.

Отмечены и недостатки изданных до сего времени карт, особенно местных ведомственных карт: их недостаточная четкость и наглядность, не всегда правильная транскрипция, разнообразие масштабов и условных знаков, а также высокая отпускная стоимость и сложность приобретения, затрудняющие их широкое распространение.

Уделено большое внимание новой, издающейся с 1927 года Сибирским военно-топографическим отделом, карте международного масштаба 1 : 1.000.000 (около 24 км. в дюйме), новой необходимой для края административной карте, а также издающимся и намеченным к изданию картам отдельных округов.

Наиболее важным решением совещания, вошедшим в его резолюцию, было решение о необходимости создания при бюро по изучению производительных сил при Крайплане особой картографической секции*) в составе известного геодезиста-картографа проф. Н. Д. Павлова и двух представителей по одному от Сиб. военно-топографического отдела и Сибирского Управления Геодезического Комитета. Основной задачей этой секции явится учет, оценка, увязка и соответствующий подбор как имеющегося уже, так и вновь выпускаемого картографического материала для использования его при составлении карт общегосударственного значения, а также изыскание наилучших методов производства как полевых астрономо-геодезических, так и картографических работ.

Нет сомнения, что отмеченные работы картографической секции в значительной степени облегчат задачи планирования и в области картографии, являющейся необходимой основой для работ как научного, так и практического характера во всех отраслях хозяйственной и культурной жизни края.

Такое же совещание предположено созвать в январе 1928 г. и при Далькрайплане.

В. Болдырев.

Культхроника.

Федерация советских писателей в Сибири.

На собрании Сибирского Союза Писателей В. Я. Зазубрин сделал доклад о поездке в Москву по поручению Союза для переговоров с Исполбюро ФОСП о возможности создания филиала в Сибири.

Исполбюро постановило организовать краевой отдел Федерации в Сибири из Сибирского Союза Писателей и СибАПП.

Оживление работы ВАПП.

Пролетарские писатели и поэты г. Новосибирска оформили свою организацию путем создания группы ВАПП. Установлена постоянная связь с правлен. ВАПП, откуда аккуратно получаются руководящие материалы. Произведена перерегистрация членов группы, после которой в ней осталось 12 человек. Несмотря на свою малочисленность, группа приступила к массовой работе. Первое выступление состоялось в «Доме Просвещения» на учительском вечере. Намечен ряд таких же литературных вечеров в рабочих клубах Новосибирска. Еженедельно, по воскресеньям, устраиваются открытые собрания группы. На юбилейных праздниках десятилетия Красной армии группа ВАПП выступает совместно с Сибирским Союзом Писателей, с которым налаживается дружная товарищеская работа.

В стадии разрешения находится вопрос об организации Временного Сибирского Бюро ВАПП. Только при благоприятном разрешении этого вопроса мыслимо участие представителей Сибири на предстящем во второй половине марта Всесоюзном С'езде Пролетарских Писателей в Москве.

Новые сибирские журналы.

1 февраля вышел первый номер нового ежемесячного журнала «Настоящее», издающегося совместно Сибкрайиздатом и «Советской Сибирью».

Содержание номера таково: «Переделываемый человек». А. Курс—«Американский костюм». «Бурятские песни о Ленине». И. Нусинов—«Горб». Антон Сорокин—«Семь скандалов». Н. Анов—«Капкара». А. Панкрушин—«Путь жизни Арнольда Гана». Н. Чевалков—«По кривой линии». Е. Иванов (Филиппыч)—«Сердце

*) Позднейшим постановлением Бюро по изучению производительных сил при Крайплане предположено общее руководство картографической секцией возложить на одного из научных сотрудников Сибкрайплана в целях наибольшей увязки ее работ с общеплановой работой.

голого человека». Ф. Шестаков—«Признания быв. священника». А. Маленький — «Моментальные снимки». Стихи: Л. Крымской, Л. Мартынова, Д. Бурлюка и С. Маркова. Документы жизни. 27 рисунков художников: А. Заковряшина, Н. Чевалкова, П. Ивакина, С. Липина и В. Уфимцева.

7 февраля вышел № 1 «Сибирского Детского Журнала» (орган СибкрайОНО, Сибкрайкома ВЛКСМ, издание Сибкрайиздата). Журнал будет выходить раз в месяц. В первый номер вошли статьи, рассказы и стихи: В. Жданова, И. Воробьева, Ив. Ерошина, Глеба Пушкарева, Г. Вяткина, М. Кравкова и др., а также произведения и письма самих ребят.

На новые школы.

Крайисполком получил сообщение от Наркомпроса о том, что для школьного строительства в Сибири предназначено ориентировочно выдать 350 тыс. ссудных кредитов. Из фонда, отпущенного на школьное строительство юбилейной сессией ВЦИК, Наркомпрос рассчитывает выдать Сибири 700 тысяч рублей. У Крайисполкома срочно запрошен план строительства школ для того, чтобы закрепить за Сибирью эти кредиты.

Сибирь получит новые научные ценности.

Вернувшись со всесоюзной конференции по краеведению, председатель общества изучения Сибири Г. И. Черемных и член президиума общества Н. К. Ауэрбах сообщил, что Сибирь получит от разных научных учреждений Союза ряд новых ценностей.

Прежде всего разрешено произвести для Сибири отбор книг в двух крупных книгохранилищах Союза—музее им. Ленина (б. Румянцевском) и Историческом музее. Общее количество дублетов обеих библиотек достигает свыше миллиона книг. Теперь перед обществом стоит задача организации отбора книг из этих дублетных фондов.

В Ленинграде в Академии Наук удалось получить для Общества Изучения Сибири старые издания, имеющиеся в книгохранилище Академии. Число этих изданий чрезвычайно велико, и в настоящее время в Ленинграде организован просмотр указателей старых изданий Академии.

Центральное географическое общество также внимательно отнеслось к нуждам Сибири. По распоряжению председателя, были отобраны все старые издания географического общества. Эти издания очень важны для Сибири, так как в них имеется очень ценный материал дореволюционных исследований Сибири и Азии вообще.

Главнаука предполагает организовать в Новосибирске научно-исследовательский институт. СибкрайОНО поручено разработать программу и план этого института. Кроме того, Главнаука предоставила для Сибири книги из своего фонда изданий лет революции.

Наши научные работники установили также связь с научными организациями Украины. Решено организовать взаимный обмен музейными экспонатами и изданиями.

Новые газеты.

26 января в Ачинске вышел первый номер местной газеты «Советский Путь», рассчитанный на обслуживание, главным образом, крестьянства. Газета выходит два раза в неделю.

С конца прошлого года начала выходить газета в Таре—«Советская Деревня».

Новый художественный техникум.

В нашем крае есть только два учебных заведения, готовящих художников-педагогов и мастеров, это—омский художественно-промышленаый техникум имени Врубеля и иркутская художественная мастерская-студия.

Иркутская мастерская обслуживает громадный район Восточной Сибири, а также автономные республики: Якутскую

Гончар. *В. Уфимцев.*

и Бурято-Монгольскую. Имеет отделения — художественно-педагогическое и живописно-декоративное с литографским уклоном. Сейчас местные организации выдвинули перед центром проект, поддержанный СибкрайОНО, о реорганизации мастерской в художественной техникум и разделении функций между Омском и Иркутском. Омский техникум будет работать исключительно в области художественной промышленности.

Иркутский техникум будет работать по линии соцвоса и политпросвета, удовлетворяя массовый спрос школ соцвоса на художника-педагога и спрос политпросвета на живописца-декоратора.

— — —

Художественная школа в Барнауле.

В Барнауле в ближайшем времени открывается художественная школа. В задачи школы входит подготовка учителей рисования для школ-семилеток, руководителей по театрально-декоративному оформлению клубов и т. д. Намечены отделения: общее, живописно-графическое, театрально-декоративное. Инициаторы создания школы—художники местного филиала общества «Новая Сибирь» (В. Пановский, Явцев, Сорокин и др.).

Выставка азиатского искусства.

В Чите, в краевом музее им. А. К. Кузнецова, открывается большая выставка сопредельных стран Востока—Японии, Китая и Монголии. К выставке готовится несколько сотен экспонатов из жизни, быта и проч. этих восточных народностей. Такая выставка устраивается впервые за последние 20 лет.

Заочный рабфак.

С февраля начинает работу заочный рабочий факультет, организуемый при Иркутском рабфаке. Комплект слушателей установлен пока в 105 человек. В программу включены: русский язык, математика, история классовой борьбы, биология, физическая география.

Слушатель может записаться на все об'явленные предметы в любом сочетании—по своему желанию. Каждому слушателю дается (посылается) двухнедельное задание по всем избранным им предметам из расчета на 15-ти часовую рабочую неделю. Через две недели (обязательно) слушатель посылает все требуемые заданием работы в бюро ЗРФ. Бюро, просмотрев работы, отправляет слушателю заключение по выполнению вместе с новым заданием или же предлагает, в случае нужды, проработать вновь ту или иную тему. Слушателям рекомендуется об'единяться для работы в кружки.

Каждый слушатель ЗРФ вносит вступительный взнос в 50 коп. и ежемесячно уплачивает по 75 копеек на организационные расходы.

Первая психо-физиологическая лаборатория.

В Омске открывается первая в Сибири психо-физиологическая лаборатория. В ней будет поставлено научное изучение трудовых процессов на транспорте, что в конечном счете должно привести к повышению качества работы. Кроме того, будут изучать степень одаренности работника транспорта той или иной профессии, степень удовлетворенности работой и пр.

Новый детский профилакторий.

В Чите, в целях увековечения памяти академика В. М. Бехтерева, решено наименовать открывающийся здесь (первый в крае) детский профилакторий «имени В. М. Бехтерева».

Первый дом профилактических учреждений.

В Ачинске развернул работу первый в Сибири «Дом профилактических учреждений», об'единяющий два основных диспансера—туберкулезный и венерологический. Создана единая комиссия оздоровления труда и быта. Разработан и уже проводится единый план санпросветработы. Приступлено к систематическому и плановому обследованию отдельных групп населения и производств, опасных в смысле социальных болезней.

Ветеринарный институт окреп.

Краевой совет сельско-хозяйственного образования заслушал доклад проф. Дорофеева—«О состоянии Сибирского ветеринарного института». Нашему единственному ветВУЗ'у скоро исполнится 10 лет. Он вырос, окреп, имеет уже 28 учебно-вспомогательных учреждений, пропускает через свои клиники до 8.000 животных в год. Но рост ВУЗ'а требует и соответствующего роста ассигнований, а их нехватает. Недостаточно также и число стипендий.

Краевой совет сельско-хоз. образования единогласно постановил: просить 6.000 рублей, увеличить количество стипендий, ввести, как обязательный предмет, преподавание общественной ветеринарии и укрепить кафедру мясоведения.

Последняя крайне необходима, так как в Сибири 34 проц. мяса заражено микробами разных болезней и представляет опасность для потребителя. При наличии такого обстоятельства пропаганда мясоведения приобретает важное значение.

Расширение Красноярского музея.

Ориентировочный план строительных работ музея в сумме 154 с половиной тысячи рублей (до окончания достройки) утвержден окрисполкомом.

В начале февраля в музее открылась выставка «Тунгусы, их жизнь и быт».

Новое в Иркутском музее.

Картинная галлерея города Иркутска получила из Москвы ряд картин. Кроме того, госфонд Ленинграда снова выделил 204 новых экспоната. Среди них: бронза Антокольского, Кушелевой, бронза Трамова, картины Шебуева, Рицони, Крачковского, Суходольского и др. Среди экспонатов имеется также фарфор, из которого замечательны Мейнсенский и Венский и др. Многие из перечисленных экспонатов являлись раньше украшением царских дворцов. Часть экспонатов уже прибыла в Иркутск.

На-днях в галлерее получены 22 гравюры известного художника Павлова, как пожертвование. Получен также (в обмен на гравюры художника Лебединского) целый ряд гравюр 18 века. Среди них 19 гравюр—изображение сибирских острогов: Якутского, Енисейского, Томского. Красноярского, Нерчинского, Селенгинского, Иркутского, Тобольского Туринского, Пялымского, Илимского. Мангазейского и других.

Перечисленные гравюры являются огромной ценностью для работ по истории Сибири.

Изучение Байкала.

В селе Лиственничном открыта Байкальская краеведческая ячейка ВСОРГО. Райисполком выделил бесплатно дом для базы географическому обществу. При базе предположено организовать кабинет для научных занятий, ботанический садик альпийской байкальской флоры, опытный участок по культуре Байкала, читальный зал, метеорологическую станцию 2 разряда.

По инициативе заведывающего Иркутским областным музеем проф. Н. Н. Козьмина открыт в музее Байкальский отдел, сконцентрировавший в себе богатые материалы музея, относящиеся к изучению природы и экономики Байкальского района.

Краеведческие новинки.

Музей Тобольского Севера—один из лучших краевых музеев—и возникшее при нем в 1921 г. общество изучения края решили издавать поквартально «Бюллетени», где будут помещаться сообщения о деятельности музея и общества, краткие научные статьи и конспекты докладов.

Недавно вышедший № 1 «Бюллетеня» содержит статьи: М. Копотилов—«Краеведческая работа в Тобольском округе за период соввласти», К. Самко—«К познанию эптомофауны Тобольского округа» и др.

— В издании Восточно-Сибирского Географического Общества вышел № 3-4 «Бурятоведческого Сборника». В сборнике масса иллюстраций и статей по вопросам революционного движения, фольклора, экономики, языка и по орнаментам. Сборник вышел под редакцией профессора Н. Козьмина и П. П. Хороших.

— Кабинет монголоведения при педфаке Иркутского университета приступил к изданию сборника, где будут напечатаны работы исключительно студентов. В последующем выпуске издания кабинета будут помещены работы профессора Козьмина, перевод с немецкого, статьи академика Радлова о туземных племенах Сибири и П. П. Хороших—о главнейшей литературе по Бурятии.

Творчество Гольдберга для школ.

29 января в Иркутском Доме Работников Просвещения состоялся доклад, чтение и разбор произведений Исаака Гольдберга. Литературные работники университета, педагоги и студенчество отметили, что в наши дни, когда в школах проводится краеведческий уклон, творчество Гольдберга должно проработываться в школах, ибо Гольдберг на страницах своих произведений отразил природу, жизнь и настроение сибирского крестьянина.

Радиоактивные вещества в Западной Сибири.

Доцент омского мединститута М. П. Орлова прочла на собрании Западно-Сибирского Отдела Русского Географического Общества доклад об исследованиях радиоактивных веществ в нашем крае.

Исследования этих веществ до сих пор не носят систематического и планового характера. В Западной Сибири можно отметить только отдельные пункты, где они были произведены, а именно: в окрестностях курорта Боровое, в Челябинском

округе, на Алтае (курорт Белокуриха и друг.), в окрестностях Томска, в Енисейской тайге, на озере Широ.

В виду малой изученности Сибирского края, в этом отношении и важности радиоактивных веществ для медицины, промышленности и т. д., признано необходимым поставить исследования возможно шире.

Расширение границ животного мира в Нарымском крае.

Научные работники Томского краевого музея Иоганзен и Скалон сделали чрезвычайно интересное открытие в области расширения границ животного мира в Нарымском крае. В течение целого ряда лет с запада и востока европейской части СССР на томский север продвигаются птицы, которых ранее здесь никогда не было. Так, акклиматизировались за последние годы зяблик и зорянка, а в нынешнем году, впервые за все время существования Нарымского края, в северной его части появились колючехвостые стрижи. Вслед за птицами потянулись в Нарымский край и животные. На Васьюгане за сотни лет впервые, к великому удивлению тамошнего населения, появились российские ежи. 5 экз. таких ежей были пойманы и доставлены в естественное отделение томского музея. О переселении животных в Нарымский край поставлены в известность германские естествоиспытатели, которые проявили к этому явлению живейший интерес.

Исследование северных рек.

Комитетом Севера получено сообщение об ассигновании центром на обследование северных рек Красноярского округа 26 тысяч рублей. Обследование коснется Нижней Тунгуски и Теи с порогами—Вельминским, Большим и Дедушкой, на которых будут вестись взрывные работы.

Туземцы в ВУЗ'ы.

В Ленинградском Институте Живых Восточных Языков на будущий учебный год для туземцев Туруханского края отведено 10 мест. Отбор желающих ехать уже начался.

Изучение туземцев.

Государственный Институт Социальной Гигиены совместно с Сибздравом предпринимают изучение плодовитости туземных народов Союза ССР. Институт особенно интересуется изучением плодовитости мелких народностей.

Обследование остяков.

Д-р Зданович, руководитель отряда Красного Креста, сообщил интересные сведения о своей работе на р. Вах и ее притоках (крайний север Томского округа).

Зданович выехал на Вах в декабре 1926 года и окончил свою работу в сентябре 1927 года. Отряд пришел на р. Вах глухой стоверстной дорогой и с трудом добрался до с. Ларьяк. Там отряд начал свою работу в комнате-амбулатории, которая до приезда отряда даже не отапливалась.

За последние 37 лет в районе Ваха и его притоков, населенных остяками, родилось 704 ч. мужчин и 628 женщин, всего 1.332 человека. За это же время умерло 567 мужчин, 553 женщины—1.120 человек. Прирост населения за эти 37 лет, следоват льно, выразился в 212 человек. Это, конечно, не говорит о вымирании. Остяки Ваха ведут оседлый образ жизни, занимаясь охотой и ловлей рыбы. Оленьи хозяйства редки и невелики. Подбор товаров в местных потребиловках плох. Остячки щеголяют в ботинках на высоких каблуках. В лавках остякам продавцы дают покупать булавки для галстуков, хотя знают, что остяки покупают эти вещи просто из любопытства.

Отряд сделал подробное обследование остяков. Сифилиса нет, зато найдено 36 заболевших гонорреей. Гоноррею завезли русские. Все остяки поголовно заражены глистами, глистные заболевания не поддаются учету.

Бурятские национальные школы.

По сообщению из Читы, началась подготовка к постройке трех новых бурятских национальных школ в Соморах-Хилоксон, Новая Заря и Могзон. Идет заготовка и подвозка лесоматериалов. К осени 1928 года буряты будут иметь три новых школы.

Тунгусские национальные школы.

В средине декабря в Анчаго, одном из центров туземного населения северного района Киренского округа, открылась школа-интернат. В ней сбучаются дети кочевых тунгусов. Это—вторая тунгусская школа. Первая находится в другом туземном центре—Ербогачене.

Развертыванию народного образования среди тунгусов мешает отсутствие средств. Тем не менее, на новый учебный год запроектировано отпустить 31.756 рублей на две школы—в Ербогачене и Ангачо. Второе затруднение—отсутствие педагогических сил для туземных школ. Единствен-

ный выход из положения—подготовка учителей для туземных школ в Киренском педагогическом техникуме. В текущем году отправлены в Ербогачен два учителя, окончившие педагогический техникум.

Чтобы обеспечить нормальную бесперебойную работу школ, приняты меры для повышения заработной платы учителям. Зарплата учителям в тунгусских районах по разным категориям доходит до 140-150-200 рублей в месяц.

Охват тунгусского населения школьной сетью, конечно, еще слаб. В Ербогаченском районе учтено 1.600 кочевых тунгусов. У них имеется 215 детей школьного возраста. Учатся из них в Ербогаченской школе только 46. Во вновь открываемой школе в Ангачо будет обучаться 30-40 человек. Среди взрослого населения в этом районе грамотных только 140 человек.

Бурятский национальный клуб.

Совнарком Бурято-Монгольской республики отпустил по местному бюджету 8.000 рублей на ремонт и оборудование первого в Бурятии национального клуба. Намечено значительное расширение клубной работы.

Национальное искусство—в массы.

В середине января одновременно с делегатами 3 сессия БурЦИК'а из Верхнеудинска в село Кутулик прибыла выставка картин национальных художников. Всего на выставку привезено свыше 70 картин, работы молодых бурятских художников: Сампилона, Дадуева, Хангалова, Аржикова, Эрдынина, Даба-Тушно, Мэрдыгеева и Ажигирова. Вслед за выставкой прибыла художественно-музыкальная национальная студия при Буручкоме. В Кутулике студия ставит несколько концертов национального творчества. В ее репертуаре музыкальные номера на национальных инструментах: «хуры» разных стилей и «лимба». Национальный оркестр исполнит «Интернационал», «Улан-Зандан», гимн советам и ВКП (б), бытовые бурятские и монгольские песенки.

Изучение ламаизма.

В Бурятии об'явлен шестимесячный конкурс на лучшие труды по ламаизму. Лучшие труды по отдельным темам оплачиваются, помимо авторского гонорара, премией: 1 премия—400 р.; 2 премия— 250 р.; 3 премия—150 руб. Работа может быть представлена по желанию автора—на русском или бурят-монгольском языке. Размер брошюр не должен превышать 6 печатных листов. Брошюры должны быть написаны популярно-доступным языком для низового хошунного и сомонного актива и должны освещать вопросы в марксистско-ленинском духе.

Намечено пять тем: 1) Распространение ламаизма в Бурятии; 2) Буддизм и коммунизм; 3) Ламаизм и революционное движение в Бурятии; 4) Культурно-национальное строительство и ламаизм; 5) Ламаизм и борьба за новый быт.

Богатства Якутии.

В нынешнем году Якутским горным округом были организованы четыре экспедиции, которые дали блестящие результаты.

Первая экспедиция работала у реки Ботэмо (приток Лены). Здесь было обнаружено много богатых месторождений золота высокого качества. Вторая экспедиция работала в долине реки Яны, на Эндобальских серебро-свинцовых месторождениях, где обнаружены запасы руды очень высокого качества, до 70 проц. чистого серебра. Эта руда превосходит Нерчинские и Сондонские руды. Третья экспедиция работала на Нижне-Ленских каменноугольных месторождениях, в которых были открыты длинно-пламенные угли. Эти угли очень важны для разрешения северного каботажа и перехода Ленского пароходства на минеральное отопление. Четвертая экспедиция работала над минеральными богатствами в Вилюйском округе. Эта работа последней экспедиции проводилась совместно с учеными Московского института прикладной минералогии и металлургии.

Управлением Якутского горного округа была организована старательная разработка золотых приисков в районах рек: Олекма, Люгжа, Тунгирь, Кимптон и Сутан. Эти разработки, которые носят лишь предварительный характер, дали богатые перспективы возможности золото-старательских работ в этих районах.

Якутский Госплан подчеркивает полную экономическую целесообразность сооружения Лено-Амурской железной дороги, дающей естественный свободный выход горным ресурсам Якутии на дальне-восточный рынок.

КРИТИКА и БИБЛИОГРАФИЯ

I.

Вивиан Итин.—«Высокий путь». Повести. Государственное издательство. Москва-Ленинград. 1927, стр. 275.

В. Итин пять лет печатается в журнале «Сибирские Огни». Как поэт, для Сибири он является «мэтром»: у него учится писать молодежь. Эта книга включает все его произведения, кроме повести «Урамбо», непонятно почему в нее не попавшей. В. Итин не пользуется широкой известностью в СССР. Явление обычное: в Сибири, к слову сказать, есть поэты интереснее и выше И. Уткина (Л. Мартынов, например), но критика наша провинцией не интересуется. Так было и с Уткиным: «прославился» он, помещая в столичных изданиях уже напечатанные в Сибири стихи. Ту же «горькую» участь с поэтами делят и прозаики. В. Зазубрин бесспорно имел бы громкое имя, если бы он печатался в центре. То же самое можно сказать и по отношению к В. Юрезанскому, издавшему свою книгу «Зной» на Украине.

В. Итин пишет интереснее и лучше среднего уровня наших известных беллетристов. С этим едва ли кто будет спорить, ознакомившись с его книгой. Темы его новы, оригинальны, словесно книга «сделана» тщательно и хорошо. Пишет он так, как он сам чувствует мир и видит вещи, не соблазняясь той пошловатенькой, поверхностной пеной словесности, которой обычно пробавляются наши беллетристы. Я не являюсь безусловным поклонником итинского «нутра». Повесть «Открытие Риэля», например, мне кажется неудачной. Ее тема слишком скрупулезна для беллетристики, ее замысел не укладывается в живые, очевидные образы. Изобразить миры и наш мир, найденный посредством машины Риэля в отдельном атоме, изобразить его целостно и при том с художественной убедительностью—задача, непосильная и для огромного таланта. Для беллетристики это слишком научно, для науки же слишком фантастично и безответственно. Грандиозные схемы мира, в роде Замятинского в его романе «Мы», чаще всего остаются бескровными. У Итина нет Замятинского недоверия к попыткам переделать мир, наоборот, Итин «уродует» мир, чтобы доказать неизбежность его перестройки. Но и его задача, благодаря отвлеченности замысла, перегруженности повести лирической метафизикой, остается невыполненной. Писателю не удалось подвести вплотную читателю к тем ощущениям, о которых рассказывает герой.

Повесть «Каан-Кэрэдэ» и рассказ «Высокий путь» безусловно удачны. Здесь нелегкий замысел облечен в нужную и крепкую форму. В этих вещах Итин обнаружил себя умным мастером слова. И при том своеобразным и любопытным. В. Итин—романтик не в классическом значении этого слова, а в новом, современном. Итин—революционер. По тексту явствует, что он—коммунист. Но если Аристотель верно определил человека, как общественное животное, то Итин к этому хочет добавить: «и космическое». Человека писатель ощущает еще, как частицу мировой громады. Ощущение, вконец забытое и чуждое для наших современников. Эти две стихии—социальная и космическая—у писателя чувствуются одинаково сильно. Поэтому каждый авиатор для писателя не только член Авиахима, но и, homo Sopiens. побеждающий мертвые и недоступные до сих пор пространства. У многих людей уже давно умерло желание поднимать свои глаза вверх: к звездам, к просторам, не связанным с их личными интересами. Разве у нас мало написано «авиахимских» рассказов? Итин впервые дал нам повесть и рассказ об авиации, как о подлинной победе над огромным миром мертвой стихии, нарисовал ряд новых ощущений, связанных с взлетом человека над землей. Человек движется не только по пути создания гигиенических уборных, он, кроме того, расширяет свой культурный мир путем завоевания новых пространств. Он с каждым моментом раздвигает границы мира. «Каан-Кэрэдэ»—сказочная птица алтайских ле-

генд. Авиаторов, прилетевших на Алтай, спрашивали по деревням: «Здравствует ли государь император Александр III?» (факт, отмеченный и газетами). Путь человечества писателем показан ярко и наглядно. Конкретно встречаются две эпохи. Какая между ними грандиозная дистанция! Как широко и смело шагает человечество вперед! Но оказывается, что люди «архаической эпохи, сохранившиеся до наших дней, не мертвы. Мир един, мир связан одной цепью в своем поступательном движении. Реальная птица XX века, аэроплан, стальная «Каан-Кэрэдэ», отрывает от прошлого не только братьев Броневых, Бочарова, Нестчагина, нет, все герои повести—и крестьянин Артамон Михайлович, и его сынишка Степка, и Зоя Сторожилова, и немец Шрэк, и даже алтайский шаман Кунь-Коргэн—убедительно «включены» автором в русло единого порыва; охвачены экстазом и вдохновенным, трепетным преклонением перед величием открывающихся возможностей для человека. Завоевания современной науки доступны и ощущениям архаических алтайцев, когда они появляются пред ними в образе реальных «Варнемюндэ». Итинский романтизм вне подозрения. Он современен. Он расширяет наши представления о мире. Он нащупывает новые и подлинные связи между людьми различных культурных ступеней, между людьми разных национальностей. Вот почему авиатор Чанцев, попав в ловушку ледниковых гор, «заснул спокойно, как ребенок на отцовских руках, который спит и знает, что о нем заботится кто-то большой, могучий и ласковый». Этот большой и могучий не какое-нибудь мистическое существо, нет, это братское, интернациональное чувство, охватывающее в наши дни людей не только теоретически, но реально пробивающееся сквозь рогатки уродливого капиталистического общества растущее заметно, благодаря все большим и большим связям между людьми в их общей борьбе за внеклассовое общество. Оно рушит национальные и классовые преграды: так, немец Эц, когда-то сраженный Чанцевым, теперь спасает его от гибели потому, что они—соратники, братья в борьбе за растущее культурное единство всего человечества. Эти идеи автором облечены в плоть и кровь, они с разительной наглядностью показаны им в зарисовке множества разных людей и самых контрастных житейских картин. Повесть «Каан-Кэрэдэ» проникнута бодрыми восходящими настроениями человека-борца. Это ведь так грандиозно и убедительно даже для алтайца: человек свершает путь, требовавший вчера еще трех дней, в полтора часа! Мир стал единым, связанным и нерасщепленным. Уничтожены расстояния: Европа и Ойротия, близкие соседи, «шабры»! «Он держал рули». Так заканчивается повесть. Человек скоро будет держать в своих руках рули мировой машины—и социальной и космической. Он идет твердой поступью к окончательной победе.

Многие из писателей пытались осуществить в своих произведениях смещение обычных планов повестей, нарушить надоевшее единство места и времени; попытка Итина должна быть признана наиболее удачной. Тема помогла ему это сделать естественно. Ряд сцен, взятых из самых разных прослоек жизни и нарисованных сильно и верно, окончательно закрепляют законность таких приемов, приемов «кинематографической» хватки жизни. Художественная выдумка писателя глубока и крайне занимательна: эпизоды с медвежонком, эпизод, когда учительница ведет ребят на экскурсию смотреть, как живет в бане бывшая буржуйка, необычайно свежи и убедительны.

Не все еще, конечно, приведено в должный порядок в мастерской писателя. Слишком широкое полотно, развернутое в повести, требует универсальных средств изображения. Это не всегда доступно В. Итину. Наиболее слабо у Итина изображение крестьян. Их речь в его передаче звучит—натянуто и ненатурально. «Как красиво!»—пишет мужик Артамон Михайлович, передавая свои ощущения от полета. Если это и было в жизни, то в книге, как художественная частность, выглядит фальшиво. «Поддярживаем», «сбяжит» и т. д.—все это нарочито и поверхностно. Местами автор слишком щедро обнаруживает свои знания технических терминов. Это отяжеляет повесть. Есть длинноты в лирико-описательных моментах. Наблюдается философичность некоторых ощущений героев. На все это Итину необходимо обратить сугубое внимание. Тогда нужная романтика получит большую убедительность, тогда ее увлекательная сущность станет еще прозрачнее и глубже.

Валериан Правдухин.

Итин Вивиан.—«Высокий Путь». Повести. ГИЗ. М.-Л., 1927, 276 стр., экземпляров 6.000, ц. 1 руб. 50 к.

У нас весьма охотно тоскуют о героическом в литературе. Ищут положительного дела и полезных людей. Между тем писатель, в подавляющем большинстве случаев, переживает традицию классического нытика, чудака и вообще человека, который не столько живет и действует, сколько «взыскует». А что он взыскует, для какой надобности—неизвестно. В связи с этой неопределенностью устрем-

ления стоит расхлябанность композиции. Вместо полновесного зерна сюжетной напряженности, вам подсовывают труху бытовых мелочей, в которой копошатся дефективные личности, имея специальное задание—«культивировать сказ».

Чорт бы побрал культуру сказа со всеми ее «младшими линиями»! Не лучше ли помолчать, если не о чем говорить? Отсутствие идей и цели раздражает в стихах, в прозе оно просто невыносимо.

Как приятно найти книгу без установки на уродливый синтаксис, но с живыми людьми, бодрую и простую. Вивиан Итин написал такую—героическую!—книгу. Как ему это удалось?

Читателя захватывает непривычная обстановка. Действие книги происходит в такой же мере на небе, как и на земле, при чем и земля и небо, главным образом, сибирские. Люди в пределах видимого мира, без всякого китежа и тому подобных псевдо-народных вытяжек, находят повод для борьбы и самой залихватской романтики. Автор с честью обходит опасные ямы торжественных словечек, справедливо полагая, что о таких простых вещах, как ветер, облака скорость выгодн е говорить просто. Материал работает сам за себя—неиз'яснимый, невероятный и чудовищный. Задача состоит в том, чтобы **найти** такой материал, а потом, описывая, не испортить восклицательными знаками.

Автор не застывает в кислом очаровании пред доблестью своих «героев». Он разрешает им даже дебош, излагая его обстоятельства, кстати сказать, с большим мастерством. По Аристотелю, это—основное правило хорошей трагедии: не следует изображать переход от счастья к несчастью людей хороших, так как это не страшно и не жалко, а возмутительно... Не вызовут чувства сострадания и страха также и совершенные негодяи.

Но, вспомнив Аристотеля с его теорией хорошей трагедии, я все-таки должен сказать, что, по-моему, «Высокий Путь» Итина вовсе и не повести, а путевые очерки, художественный репортаж, восходящий, если угодно, к традиции литературы путешествий XVIII века. Механическое развитие действия в зависимости от пространственного перемещения вовлеченных в него жизней, культ дружбы, восхваление близкой к природе жизни, противопоставление городской культуры и невинности сельского пейзажа с его неизбежными пастухами (алтайцы!)—все это было уже у Дюпати и у Карамзина Но отсюда вовсе не следует, что Итин—сибирский Дюпати.

Что такое путешествие? «Это—книга, в которой останавливаешься только на тех страницах, которые больше нравятся а другие пробегаешь только для общей связи». Так определил когда-то путешественнический жанр Гончаров. Между тем, в «Высоком Пути» приходится читать все. В литературную практику путешествий Итин вносит поправку: задачу художника-очеркиста он положил в том, чтобы механичность перемещений сделать обязательной, творя биографию событий, а не жизнеописание «действующих лиц». Технику этого искусства хорошо знала Лариса Рейснер. Ее стилистической манерой определена некоторая нарядность прозы Итина. И даже неудачи по части «завертывания» метафор я об'ясняю непременным желанием следовать высоким образцам репортажа Л. Рейснер («Кровь его встала на дыбы и тяжело грохнулась, как лошадь»). В иных погрешностях языка виновата простая неосмотрительность: «он оживился, обнаружив неожиданное одиночество», «о, как можно так быть».

В чем пафос художественной прозы Итина? По-моему, в иронии Итин непрерывно борется с этой своей «слабостью», напуская на себя «священную серьезность» (особенно в трогательном открытии Риэля). Но борьба оказывается напрасной: веселое жизнеощущение автора просачивается через все гайки этой прекрасно завинченной книги авиационных... так и быть, повестей.

Е. Титов.

---

1. **Массовая библиотека «Недра».** 38 книжек.

2. **Федерация об'единений советских писателей.** 17 книжек.

Едва ли нужно говорить о необходимости широкого распространения советской художественной литературы среди рабоче-крестьянских масс. Доказывать культурное значение этого также не приходится, оно неоспоримо и ясно само собой. Вопрос лишь в том, какой выбор нужно делать, имея в виду массового читателя, и по какой цене пускать книжки в свет.

Перед нами две массовых библиотечки: «Недр» и «Федераций об'единений советских писателей». Первая начала выходит еще в 1925 году, продолжает выходить и теперь, всего выпустила до сих пор 38 книжек, об'емом в 1-2 печатных листа и ценою от 10 до 30 копеек. Здесь мы находим беллетристику преимущественно современных русских авторов: Бахметьева, Бибика, Вольнова, Касаткина, Неверова, Низового, Никандрова, Тренева, Чапыгина и др. Есть и иностранцы: Мирбо, Ан. Франс, Жюль Ромен, Немоевский, Нексэ. При этом у иностранцев выбор сделан более удачно (не трудно отобрать

лучшие вещи у Мирбо или Франса), а у наших отечественных авторов выбор, несомненно, весьма «приблизительный» и относительный. Наряду с определенно ценными вещами («Шкрабы»—Неверова или прекрасный рассказ Бибика о первых маевках при царизме—«День причастия») в библиотечку вошли неинтересные «Железнодорожники» — Полетаева, никчемный анекдот Тренева—«Заблудились» и совсем неподходящий для деревни рассказ Артема Веселого—«Бешеный комиссар» (об эксцессах продразверстки). Из последних выпусков «Недр» можно не без удовлетворения отметить: избранные рассказы Вересаева о японской войне, рассказ Ал. Яковлева—«Ранний цвет» (о первой любви на фоне увлечения «Капиталом») и осторожный, вдумчивый рассказ П. Романова о распаде семьи—«Черные лепешки».

Федерация об'единений советских писателей выпустила пока 17 книжек, об'емом в 2-4 печ. листа, при весьма сомнительной стоимости (на обложке напечатано, например, 60 коп., зачеркнуто и исправлено: 45; напечатано 70, исправлено 50, и т. д., что дает повод для недоразумений, а может быть и злоупотреблений). Но и при тех исправленных и сниженных ценах, которые ныне обозначены на обложках, книжки нельзя признать доступными, их калькуляция, безусловно, высока и требует дальнейшего снижения. Любопытно, что например, тот же бибиковский «День причастия» расценен «Недрами» в 15 коп., а федерацией в 30 коп. при очень незначительной разнице во внешности издания. Правда, федерация издает книжки наряднее, чем «Недра», но мыслимо ли в массовых изданиях играть на внешности, повышая из-за нее цену вдвое? Да и сама нарядность ФОСП'овских изданий внушает некоторое недоумение: на обложках густо даны оранжевый и черный цвета, когда-то символизировавшие доблесть царской армии (георгиевская ленточка), а вверху многозначительная надпись «Десять лет Октября».

Подбор произведений пестрый. Рядом с Сейфуллиной и Бабелем—маленькие и неяркие «Костры» — Ужгина, пресная и добродетельная «Плотина»—П. Замойского, слабенький сборник стихов «Крестьянские поэты—Октябрю». В этом сборнике отсутствует такой крестьянский поэт, как Семен Фомин и присутствуют вряд ли кому нужные Ив. Михайлов-Новгородский, Чернышев и нек. другие, с виршами в роде следующих:

«Буйство Октябрь обрушил,—
Сбил кабалу буржуя.
Пели мужичьи души,
Землю его свежуя.
Вот и в советских долях
Дружно взросли березки.
В новых лежит оглоблях
К счастью моя повозка».

Конечно, сборник крестьянских поэтов можно было составить куда удачнее.

Трудно примириться и с теми сокращениями, которым подверглись некоторые авторы. Так, из 34 рассказов, составляющих бабельскую «Конармию», в книжку, изданную федерацией, вошло только 13, при чем нехватает таких характерных миниатюр, как «Жизнеописание Павличенки» и «История одной лошади». Еще хуже с «Чапаевым»—Фурманова. «Чапаев» дан «в сокрщении И. В. Е.». Очень жаль, что «сократитель» не решился поставить полностью свою фамилию. Хирургическая операция, произведенная им над знаменитым романом, привела к тому, что от Чапаева остались рожки да ножки: осталась, приблизительно, четвертая часть романа.

Наибольший успех будут, вероятно, иметь книжки Пришвина и Кольцова. Пришвин («Охота за счастьем») дал автобиографию и три прекрасных охотничьих рассказа. М. Кольцов собрал десяток своих талантливых фельетонов об Октябрьской революции и о Ленине. Заслуживают также массового издания: Вл. Бахметьева—«Одна ночь», Б. Губера—«Шарашкина контора», бытовые очерки Свирского («Хорошее время») и Р. Акульшина («Христопродавец»). Вообще, большинство книжек, изданных федерацией, заслуживает внимания и распространения. Но необходимы более тщательная проработка издательского плана и снижение цен.

Г. Вяткин.

Лев Гумилевский. «Собачий переулок». Роман. Ленгр. 1927 г. Стр. 265. Ц. 1 р. 50 к.

Вопрос о половой жизни современной молодежи—вопрос немаловажного значения. Шулятиковское разрешение частью молодежи вопросов нравственности на практике приводит к распущенности, к разгильдяйству, к упрощенству. Об этом сейчас много говорят и много пишут. Да об этом и нужно много говорить, а еще больше делать, ибо, «отвлекая общественную энергию от решения общественных задач в сторону личного физиологического благополучия, перенося основной интерес с социальной группы на личность, ведя за собой раннюю старость, горькое похмелье, усталость и пессимизм,—половая распущенность тем самым, с точки зрения интересов класса как целого, является абсолютно нетерпимой» (Ионов. «Без черемухи»—«Правда» от 4 декабря 1926 г.).

Роман Гумилевского, как произведение, в ярких образах заостряющее вопросы полового быта нашей учащейся молодежи, имеет громадное общественное значение. В оценке этого романа мы позволили себе не согласиться с отзывом А. Лежнева, расценивающего роман, как обнаженно-тенденциозную халтуру («Красная Новь» № 1 за 1927 г.). Что роман имеет недостатки со стороны формального построения, бросается в глаза всякому соприкасающемуся с вопросами литературы.

Но в романе есть и достоинства, которыми мы считаем, вопреки Лежневу, ту общественную «тенденцию», против которой вооружается критик, ибо не имеем склонности расценивать литературное произведение только со стороны подсчета мужских и женских рифм, своеобразия композиции, классификации эпитетов, а не менее важным считаем и то, насколько правдиво тот или иной художник рисует явления окружающей жизни и из какого угла этой жизни смотрит он сам на изображаемые им явления, куда он зовет читателя.

Студент Королев в страстной речи на могиле замученной пауком разврата девушки зовет молодежь из «собачьего переулка» на дорогу общественной деятельности, а критик ехидно издевается, заявляя, что автор «пересказывает речи Ленина». Возьмите Толстого «Война и Мир». Прочтите то место (канун Бородинской битвы), где Андрей Болконский в страстных филиппиках клеймит войну, как гнусное явление. Разве скажет Лежнев, что у Толстого «вместо действующих лиц — громкоговорители»? В рассказе Горького «Тюрьма» из соседней камеры Миша подслушивает по тюремной азбуке: «Жизнь не будет справедливой и прекрасной, пока ее владыки развращаются властью своей, а рабы—подчинением» и т. п. Разве это не «голая тенденция»? А речь короленковского Макара на суде у Тойона? А некрасовский «Дедушка»? А «Размышления» и «Железная дорога»? Примеров можно приводить до бесконечности.

Ведь рассуждать по-лежневски—значит поставить крест как раз на тех главах литературы прошлого, на которых воспитывалась лучшая часть русской интелигенции. (См. о Некрасове в сборн. Плеханова «За 20 лет»).

В романе же Гумилевского прежде всего и выпирает струя общественности. Его герои мало интересны как индивидуумы, а поражают яркими чертами определенных идеологических групп. Что особенно ценно здесь, так это то, что автор показывает исходную точку того идейного течения, которое приводит Хорохонина и иже с ним в «собачий переулок». Эта точка рельефно выявлена в лице приват-доцента Бурова, личность которого получила свое оформление в период реакции после 905 г., когда русская интелигенция захлебывалась «Саниным» и «Ключами счастья», когда энергия юношества обращена была на культивирование сексуальных переживаний, когда устраивались «лиги свободной любви» с афинскими вечерами, о чем со смаком в наши дни рассказал Калинников в своем скабрезном романе «Мощи». И Хорохорины, несмотря на свой коммунизм,—прямые наследники Буровых. Автором очень кстати введен мотив о психологическом родстве этих двух суб'ектов (сходство их почерков), хотя этот мотив и понадобился ему для ненужной в романе пинкертоновщины.

Лежневское утверждение, что «романтическая страсть до гробовой доски не является принадлежностью новой морали»—верно. Но нужно сказать, что эта мысль не нова, а стара как и вообще человеческая мысль (можно найти еще у Шопенгауэра), а, во-вторых, мы не видим у Гумилевского того дикого аскетизма в любви во имя долга (какого долга?), который приписывается Лежневым любящим друг друга—Королеву и Осокиной. Тут критик просто «присочинил».

Где же, по Лежневу, та середина, которая удерживала бы молодежь от голой физиологии и вместе с тем давала бы право на звание «новой морали»?

Мы полагаем, что ненормально явление, когда среди молодежи господствует санинский взгляд, «нравится сестра—и на сестру смотри с вожделением», но мы также хорошо знаем, что платоническая любовь—надстройка над физиологией. Будем ли мы говорить молодежи: идеальной любви не существует, а есть только «влечение полов» или же мы будем говорить, что нужно физиологию изгнать и ограничиться обетами «по гроб жисти». Необходимо, конечно, раз'яснить молодежи характер любви, как явления, в основании которого лежит различие полов, но нужно дать ей понять, что господство голой физиологии—явление пошлое, ненормальное. Любовь к девушке-другу, к девушке-человеку и любовь к девушке-женщине—две стороны одной и той же медали. Такой именно любовью и любят в романе друг друга Сеня и Зоя. Так именно Сеня и понимает любовь. Никакого, повторяем, аскетизма здесь нет. И естественно, эта любовь здоровая, человеческая, и противопоставляется стремлению Хорохорина» к восстановлению духовного равновесия через физиологическое удовольствие» и любви Анны Рыжинской, видящей в культе разврата и «наплевизма» борьбу за новый быт.

Автор вполне справился со своей задачей, и если бы он не уклонился в сторону дедектива, то роман его вполне можно было бы поставить в ряду первых произведений современной литературы. Погоня за занимательной интригующей фабулой во многих местах снижает роман до бульварщины. В этом отношении Лежнев прав.

Андрей.

Примечание. Настоящий отзыв печатается в дискуссионном порядке.

II.

«Якутия». Сборник статей под редакцией проф. П. В. Виттенбурга. 20 карт, чертежей и таблиц, 78 рисунков в тексте и на отдельных листах и 19 портретов исследователей Якутии. XXIV + 746, 40. Ленинград, Академия Наук.

Составленный Комиссией по изучению Якутской АССР при Академии Наук сборник дает всесторонний обзор и описание работ по исследованию Якутии. Значение сборника, как первого в той научной серии сборников, которые должны осветить все части нашего Союза, отмечено в предисловии академиком **С. Ф. Ольденбургом.**

В введении проф. **П. В. Виттенбург** сделал обзор деятельности комиссии АН по изучению Якутской АССР, организации и хода работ Якутской экспедиции, а также издательской деятельности комиссии и работ ее по созданию в Якутии культурных и просветительных учреждений. **Л. С. Берг** в историческом очерке «История географического ознакомления с Якутским краем» последовательно описывает захватные экспедиции в «Якутскую землю», приводит чертежи и описания этой земли, останавливается на работах второй Камчатской экспедиции Беринга и на исследованиях, проведенных в конце XVIII столетия. **А. А. Григорьев** в статье «Геоморфологический очерк Якутии» отмечает, что основная архитектоника этой страны связана с передвижением земной коры вдоль линии молодых сбросовых трещин, относящихся, повидимому, к концу третичной эпохи. В послетретичное время вся территория целиком подверглась воздействию одних и тех же поднятий и изменений климатического режима. В своем заключении автор дает четкую сводку последовательных геологических этапов, пережитых страной. В отношении обследований Якутии, А. А. Григорьев обращает внимание на их оригинальность и выделяет якутский тип оледенения в особый восточно-сибирский тип. **Р. Ф. Геккер** в статье «Геологический очерк Якутской республики» дает обзор архейской и алгонской, кембрийской, силурийской, девонской, каменноугольной и пермской, триасовой, юрской, меловой, третичной и четвертичной систем, наблюдающихся в Якутии.

К. Д. Глинка в статье «Очерк почв Якутии», выделяя три основных типа почв в Якутии—подзолистый, болотный с солончаковым подтипом и солонцовый, приводит химическую характеристику этих почв. Автор отмечает в Якутии резкое нарушение запальности почв азиатского материка, т. к. здесь в подзолистую зону вклиниваются почвенные комплексы, не свойственные последней, а присущие более сухим, степным зонам. В «Очерке полезных ископаемых Якутии» **В. Н. Зверев** приводит описания металлических и неметаллических полезных ископаемых Якутии. В «Очерке растительности Якутии» **В. Л. Комаров** описывает характерные виды флоры тундровой, гольцовой и лесной и отмечает, что в биологическом отношении якутская растительность является лучшим доказательством того, что низкая температура выносится растениями и даже деревьями, лишь бы лето было достаточно благоприятно для их развития. **А. Я. Тугаринов** в «Общем обзоре фауны Якутии» делит фауну Якутии на 2 основных группы: транспалеаркты и восточно-палеарктические виды, подразделяя их на подгруппы. Автор высказывает предположение, что в период, предшествующий современному, в Якутии сохранились условия, допускающие существование своеобразных сообществ изоватных, подобно наблюдающимся в центральной Азии. **В. Ю. Визе** в очерке «Климат Якутии», с многочисленными таблицами, выявляющими состояние ветров, облачности, а также с данными о температуре воздуха, о дожде и снеговом покрове подробно знакомит нас с климатом Якутии. **С. В. Бахрушин** в очерке «Исторические судьбы Якутии» и **И. И. Майков** в очерке «Население Якутии» дают подробное описание палеазийских и др. племен, населяющих Якутию, их быт, хозяйственный и политический уклад. **Г. Г. Дойпельмаир** в очерке «Пушные и охотничьи промыслы Якутии» и **П. Г. Борисов** в «Очерке рыболовства Якутской области» дают обзоры охотничьего и рыбного промыслов, инвентаря и орудий охоты и лова и их экономическое значение в жизни населения Якутии. **Н. К. Недокучиев** в очерке «Сельско-хозяйственное дело Якутии» описывает состояние хлебопашества, луговодства, животноводства, оленеводства, собаководства, огородничества. Автор приводит свои соображения об агрономических мероприятиях, которые желательно провести в интересах под'ема якутского сельского хозяйства. **С. Н. Недригайлов** в статье «Лесные ресурсы и лесная хозяйственная деятельность Якутии» подробно останавливается на состоянии лесных ресурсов Якутии и на вопросах лесоэксплоатации. Обстоятельный очерк путей сообщения Якутии приведен в

статье **И. Ф. Молодых** и, наконец, **Н. В. Воленс** в «Очерке хозяйственного строя Якутии» наметила историческую эволюцию строения якутского хозяйства.

В целом этот сборник, представляющий собою коллективный труд ряда специалистов, принимающих в настоящее время непосредственное участие в работах Якутской академической экспедиции, дает подробный обзор работ по исследованию Якутии и состоянию этнических и естественных производительных ее сил и его можно рекомендовать всем, кто интересуется судьбами дальнего северо-востока Союза Республик.

Небольшие редакционные недосмотры не умаляют достоинств сборника.

В. Халдеев.

Пиксанов Н. К. — «Областные культурные гнезда». Историко-Краеведный семинар. Изд. ГИЗ'а, М.—Л., 1928, 8, 148 стр., цен 1 р. 60 к.

Содержание книги таково: введение в изучение областных культурных гнезд, наказ молодым краевым искусствоведам, темы и вопросники для культурно-исторических краеведных работ и систематическая библиография по каждой теме. В приложении дан указатель словарей местных деятелей.

Автор этой книги, известный историк литературы проф. Н. К. Пиксанов, выступил в печати с обоснованием и развитием идеи областности в русском культуроведении еще в 1913 г. в своей работе «Три эпохи», где материал был дан только по Воронежскому «культурному гнезду». Дальнейшим развитием темы была другая книга автора «Два века русской литературы».

Рецензируемая нами книга является наиболее полным выражением и развитием всего ранее написанного Н. К. Пиксановым по вопросу об изучении областных культурных гнезд.

Эта книга заслуживает всяческого внимания, как и сама идея изучения местных очагов нашей культуры. Мы уверены, что каждый краевед, продумавший книгу, должен ощутить в себе влечение приступить к собиранию материалов, к изучению, историко-социалогическому анализу того культурного гнезда, которое родственно ему или близко его интересам. Годы революции и развития краеведного движения уже дали нам ряд работ в этом направлении (в Нижнем-Новгороде, в Иваново-Вознесенске и др.).

С первых же строк обширного введения в книге Н. К. Пиксанова звучит знакомый нам голос: «Начало, которое еще несознано ясно в нашей науке: начало областности». Эти слова нашего историка-сибиряка А. П. Щапова, взятые эпиграфом, возглавляют рецензируемую книгу.

Автор начинает введение с экскурса в Германию и Италию, страны децентрализованной культуры, где возможны изучения таких областных группировок, как швабские поэты, иенские романтики, цюрихская школа. Даже во Франции, отличающейся централизованной культурой под гегемонией Парижа, возможно изучение движения фелибров (провансальское литературное движение) и др.

Из-за границы автор идет в нашу страну и прежде всего останавливается на условиях развития местной (областной) культуры в прошлом. «Под давлением централистических тенденций истории и власти и наша научно-историческая мысль усвоила те же тенденции; она скрадывала местные особенности в угоду государственной униформе».

Автор останавливается на процессе «выживания» старых областных культурных гнезд—Ярославля, Архангельска, Твери, Киева, а также на возникновении новых — Саратова, Иркутска, Воронежа, Харькова и др.

Для наибольшей конкретизации путей изучения культурных гнезд автор взял наиболее распространенный и общеизвестный факт выхода с поморья, из Куростровской волости, ученого и поэта Ломоносова, скульптора Шубина и натуралиста Рычкова и направил лучи историко-социалогического анализа на экономико-общественную обстановку их созревания. Прекрасный анализ культурного состояния поморья дал право автору сделать заключение: было бы странно, «если бы такая богатая среда не выдвинула крупных питомцев».

Большое внимание автор отдал даже характеристике саратовского, казанского и слободско-украинского культурных областных гнезд. В меньшей степени охарактеризована Сибирь, из которой взят автором лишь один Иркутск. «Иркутское областное гнездо, пишет Н. К. Пиксанов, еще не изучено как следует. Не обследованы, например, иркутские газеты пятидесятых годов, а в них нас ждут ценные находки. После новых изучений значение Иркутска в культурной истории Сибири обозначится еще ярче... Иркутское гнездо складывалось усилиями пришельцев и таких мощных, как Петрашевский, Бакунин, Спешнев».

Следует отметить, что во всех характеристиках областных гнезд автор ограничился старым временем и не перешагнул за грань революционных лет.

Помещенное далее «обращение к молодым краевым искусствоведам» является весьма ценным и написано четкими линиями показа методологической установки изучений. Определяя признаки наличия культурного гнезда, автор рассматривает одну за другой различные

группы этих гнезд: просвещенческие, местную печать, искусствоведческие, социально-экономические.

Вслед за вводными частями книги идет большой список разработанных автором тем и вопросников, сопровожденных библиографическими списками. Среди этих тем мы находим следующие, относящиеся к Сибири: «Иркутское культурное гнездо в средине XIX в.», «Петрашевец Львов и его деятельность в Иркутске», «Сибирские сепаратисты», «Роль областничества в научно-исторических воззрениях Щапова и роль Щапова в сибирском областничестве», «Теория и практика современного сибирского литературного областничества», журнал «Сибирские Огни», как областной литературно-художественный орган».

Совершенно очевидно, что Н. К. Пиксанов в своей работе смешивает хотя бы терминологически два понятия: **областность**—особый комплекс явлений, связанных с областью, и соответствующий ему особый методологический путь изучения (введен Щаповым), и **областничество**—определенное общественно-политическое направление. Поэтому для нас неопределенны и двухсмысленны предлагаемые в книге темы:- «Короленко—областник», «Областничество в научно-исторических построениях Костомарова». То же—Щапова. Щапов никогда не был областником в прямом понимании этого слова. Еще более странно говорить о современном сибирском областничестве.

Список тем, выдвинутых автором и относящихся к Сибири, можно рассматривать только, как примерный и ориентировочный. Культурных гнезд в Сибири было много. Укажем для примера на наличие их в прошлом и настоящем—в Томске, Омске, Красноярске, Чите, Барнауле, Троицкосавске, Якутске и др.

Также примерны и ориентировочны у автора и библиографические списки, сопровождающие темы. По теме об иркутском культурном гнезде не указано ни одной работы по истории Сибирского (Восточно-Сибирского) Отдела РГО, воспоминания Венюкова, Вагина, И. Попова и мн. др. Впрочем, автор сам оговорился о том, что, в большинстве случаев, он только намечал вводную для темы литературу, предоставляя работающему продолжать подбор.

Книга заканчивается «Указателем библиографических словарей местных деятелей», составленным с достаточной полнотой.

Нужная, полезная и будящая инициативу книга Н. К. Пиксанова заслуживает широкого внимания, и ее мы можем всячески рекомендовать вниманию читателей.

П. Казаринов.

Петри Б. Э. проф.—«Сибирский палеолит». Атлас. Рисунки исполнены М. М. Герасимовым. Иркутск, 1927. 8°. 5 стр.+XX таблиц. Цена 2 рубля (Студенческий Научный Кружок Краеведения при Иркутском Государственном Университете. Секция «Человек»). 550 экземпляров.

В дополнение к своей сводной работе «Сибирский палеолит» проф. Б. Э. Петри издал атлас, в котором поместил 19 таблиц рисунков наиболее характерных орудий каменной и костяной индустрии стоянки Верхоленская гора и одну таблицу рисунков орудий из стоянки Переселенческий пункт, открытой М. М. Герасимовым. Последняя таблица была опубликована в № 3 «Краеведение в Иркутской губернии». Всю серию рисунков первого выпуска проф. Петри называет—«Ангарский палеолит».

Вследствие неправильной штриховки, рисунки атласа не совсем точно передают морфологию каменных орудий и технику их изготовления. Требования, обычно пред'являемые к археологическим зарисовкам, не выполнены полностью: нет разрезов, не даны рисунки орудий двухсторонней обработки с той и другой стороны.

С наименованием некоторых предметов, даваемых авторов, мы не можем согласиться. Так, скребки высокой формы (табл. VII) отнюдь не типично ориньякские скребки высокой формы, как их называет автор в тексте своей работы, а самые обыкновенные концевые скребки, из которых скребок меньших размеров может быть сломан, часть резцов (табл. XVIII), конечно, не резцы, а боковые отщепы нуклеусов, как это было доказано П. П. Ефименко; наименование других орудий вызывает сомнение (резаки, кулачные сверла).

Нельзя не высказать сожаления по поводу отсутствия изображений мелкой каменной индустрии, пластин и нуклевидных форм, имеющих особо важное значение для суждения о каменной индустрии Верхоленской горы в целом. Не лишне было бы также указывать местонахождение каждого орудия в том или другом культурном горизонте.

Как известно, датировка Б. Э. Петри Верхоленской горы палеолитом не принята многими русскими археологами, в связи с чем, публикация рисунков особенно важна для сравнения Верхоленской горы с с другими стоянками каменного периода Сибири и проверки датировки Б. Э. Петри.

Несмотря на перечисленные недочеты, выпущенный атлас все же дает существенное дополнение к ранее опубликованным археологическим материалам Верхоленской горы. Будем надеяться, что автору удастся опубликовать и дополнительные

материалы по геологии и фауне стоянки, которые попрежнему остаются недостаточно изученными для Верхоленской горы.

Н. Ауэрбах.

Петри Б. Э. проф. «Сибирский неолит». Иркутск, 1926 г. Тираж 250 экз. (39 стр.). (Оттиск из «Известий Биолого-Географического Научно-Исследовательского Института» в VI т. III).

Настоящая работа является II частью труда проф. Б. Э. Петри «Доисторическая Сибирь» и результатом четырнадцатилетней работы по изучению неолитической культуры Сибири (стр. 12). Но если первая часть упомянутого труда «Сибирский палеолит», как справедливо отмечает автор, написана на основании весьма немногочисленных находок предметов древнекаменного века в Сибири, то «находками неолитического периода Сибирь чрезвычайно богата, и это богатство позволяет» (стр. 3) сделать некоторые обобщения и выводы. Необходимость подобного рода работы очевидна; имя же автора (профессора кафедры археологии Иргосуна) и продолжительный срок занятий данным вопросом (14 лет) заставляют ожидать многого от рецензируемой книги. Однако, ближайшее ознакомление с ней разочаровывает. Совершенно естественно предполагать, в этом нас убеждают и слова самого автора: «по неолиту Сибири сделано уже настолько много» (стр. 4), что ему известен весь громадный материал, накопленный в сибирских музеях, и результаты изучения его и суммируются в данной книге. Оказывается, наоборот, автору совершенно неизвестны собрания Томского, Красноярского, Минусинского, Тюменского, Тобольского, Омского, Барнаульского, Новосибирского и др. музеев, а основой для всех суждений и выводов служат только раскопки Б. Э. Петри в Улан-Хада и бухте Песчаной на Байкале да работа Словцова (а не материал), изданная в 80 годах со скверными литографиями. И все это, не считая мелких находок и заметок. Автор считает это вполне нормальным, так и говорит: «Конечно (!?), в основу изучения нужно положить культуру наиболее исследованной области» (стр. 4), таковой он считает Байкальскую область. И самым лучшим материалом из этой области являются материалы Улан-Хады, где характерное залегание 11 слоев дает, по мнению Петри, исчрпывающие данные для того, чтобы проследить начало и развитие новокаменкого века всех времен и народов Сибири в ее прежних границах от Урала до Великого Океана и от Ледовитого до границ Китая. При таком своеобразном представлении автором «Сибирского неолита» выводы его грешат многими дефектами. Но и это еще не все. Даже материал Улан-Хады сам по себе не внушает полного доверия. Прежде всего весьма сомнительна чистота слоев Улан-Хады и их последовательное чередование. Не даром в этом сомневаются такие осторожные ученые, как Шмидт и Мергард («Zeitschrift fir Ethnologie». 1924, 5-6). С другой стороны, имеются данные (накладной орнамент, керамики, типы орудий, находки бронзовых предметов позднего времени, бусы и проч.), которые ставят под сомнение даже «неолитичность» верхних слоев Улан-Хады. Следовательно, материал, использованный проф. Петри для своей работы, с одной стороны, весьма малочислен и не охватывает суммы наших знаний о неолите Сибири, а с другой—использованный автором, сам по себе еще нуждается в детальном изучении. Понятно, что многие положения и выводы так же, как и предложенная классификация неолита Сибири, не могут быть приняты при том положении, когда у самого автора нет ясного представления о затрагиваемой теме. Кассификация Б. Э. Петри Сибирского неолита совпадает с классификацией неолита Западной Европы. И это весьма странно хотя бы потому, что классификация европейского неолита, приводимая Петри, нуждатся в существенных дополнениях после новых работ в Европе (раскопки Эванса и др.), а с другой стороны, и это должно быть известно автору, начало и конец неолита в Сибири в разных провинциях и у разных народов протекал не одновременно, так что чукчи, например, переживали неолит в XVIII веке, в то время, как в Минусинском крае он кончился тысячи на 3-2½ ранее, чем у чукчей; в то же время известно, что начало бронзовой эпохи Европы и Сибири было в различное время и пр. Уж только поэтому европейская классификация неолита не может покрыть сибирскую. Это относительно общего построения работы. Части ее не менее плохи. В изложении преобладают весьма общие выражения, при чем поражает тот тон, каким автор характеризует «Сибирский неолит» на основании материалов Улан-Хады. Не могут быть приняты также характеристики для всей Сибири типов орудий и особенно керамики. Отдел этот вообще слаб. Многие положения не верны. Неверно, например, что неолитическая керамика наиболее украшена, чем керамика бронзовой и железной культуры, так же, как и то, что неолит. Керамика Сибири выгодно отличается изяществом формы от керамики европейского неолита. Это происходит от недостаточного знакомства с последней. Достаточно автору просмотреть хотя бы керамику Карасукскую или позднего периода бронзовой эпохи

Минусинского края, так же, как и Трипольскую (около Киева) и др., как он тотчас же должен будет изменить свое мнение.

Весьма сомнителен «Докерамический период» так же, как и неорнаментированная керамика в начальный период неолита в Сибири. Далее нельзя согласиться, что с бронзовой культурой в Сибири обязательно связано трупосожжение (стр. 34)—взять хотя бы для опровержения погребение в Минусинском крае, на Алтае и в других местах, а также и то, что границы леса служат границами распространения бронзовой культуры. Пусть автор познакомится с трудами по скандинавской бронзе, по бронзовому веку в Европейской России (Урал) или раскопками на томском могильнике и Чувашском мысе (г. Тобольск), и это переубедит его. Не можем мы также признать за гипотезу Б. Э. Петри то, что север отставал в смене культур, это элементарное сведение известно всякому работнику по археологии Сибири и не раз высказывалось в печати в 80-90 годах, об этом же говорит и Тальгрен в 1917 году в своей известной работе. Грустно, что автору неизвестны капитальные работы по бронзовым культурам Сибири.

Об отделе—«реконструкция быта» не приходится говорить—он похож на дешевую плохую олеографию, совершенно ненужную в таком капитальном труде. Вот, например, выдержки из этого отдела: «Жизнь рыбачьего поселка протекала шумно и хлопотливо, событиями служили обильный улов рыбы, возвращение с окрестных гор охотников, отягченных добычею, и прибытие лодок с гостями из соседнего поселения» (стр. 32); «Нахождение красок заставляет предполагать, что одежды были красиво окрашены. Одежду мужчин дополняли кинжал, боевой топор или палица, копье и лук с колчаном стрел. Несомненно, такой охотник должен был иметь импозантный вид» (страница 33).

Некоторые положения требуют более серьезного обоснования и на веру приняты быть не могут, например, что в металлические эпохи меньше употребляли глиняные сосуды, чем в неолитическую и что в неолите они служили для варки пищи, а в металлические эпохи—для хранения (стр. 12), или «несомненно, они (неолитики) украшали дома богатой цветной резьбой и рисунками» (стр. 32); «все говорит за то, что в Сибири люди в неолитический период были настроены весьма миролюбиво» (стр. 33) так же, как и то, что бронзовая культура Сибири, «принесена в наши южные степи откуда-то извне, быть может, из высокой Азии каким-то скотоводческим народом» (страница 34). Другие звучат весьма странно, особенно в наше время анализа социалогических вопросов: «Но какое-то социальное устройство (у неолитиков), во всяком случае, было, так как иначе трудно себе представить жизнь рыбачьего поселка» (стр. 33). Или вот пример методологического приема исследования проф. Петри. Посуду в неолитическую эпоху, по мнению автора, делали женщины, так как ямки на посуде есть следы женской руки, а не мужской, которая слишком велика (ст. 16). Быть может, это и верно, но где проф. Петри мог сравнивать руки женщин и мужчин неолитической эпохи? Наконец, если строить свои выводы на величине рук, то окажется, что минусинская бронзовая культура принадлежала женщинам, так как рукоятки у всех ножей и кинжалов весьма малы. Такими неточностями пестрит вся работа. Главные части в ней совершенно не разработаны.

Отсутствует отдел геологии и палеонтологии, не затронут вопрос об отношении людей эпохи неолита к палеазиатам, связи сибирского неолита с русским (профессс. Петри предпочитает сразу перескочить в Западную Европу), возможности датировки сибирского неолита и его продолжительность, связи неолита различных провинций с бронзовыми культурами и проч. Поражает незнание требуемого материала и элементарнейшей литературы: по бронзе, например, не использован такой труд, как Тальгрена, в отделе «искусства» ни одной работы по данному вопросу, даже капитального труда Гернеса на данную тему, а в отделе «реконструкция быта», который следовало бы разработать в разрезе социальной организации общества эпохи неолита, ни одной из многочисленных социалогических работ. То же с геологией и другими вопросами.

В целом работа производит неблагоприятное впечатление—разрешение вопроса в результате опубликования этой работы не подвигается ни на шаг. На основании этой работы, можно составить превратное мнение о наших знаниях по доистории Сибири. Пожелаем автору, чтобы его третья часть капитального труда «Доисторическая Сибирь», где будут затронуты вопросы металлических культур, не походила на вторую.

М.

Новые работы о доисторическом прошлом Сибири.

Шиобин Ван-Чжан.—«Следы пребывания китайцев в Сибири». Отд. оттиск из «Известий ВСОРГО». Том 51, 1926. Иркутск, стр. 166-171, с приложением таблицы рисунков.

Теплоухов С. А.—«Древние погребения в Минусинском крае». Отд. оттиск из «Материалов по этнографии». Том III. Вып. II, 1927. Издание Этнографического Отдела Русского Музея. Страниц 57-111, со многими рисунками, планами.

Попов А. В.—«Чудь, как древнейшее население Сибири». «Известия ВСОРГО». Том 51, 1926. Иркутск. Страниц 153-157.

Последнее десятилетие ознаменовалось развитием палеоэтнологических исследований на необ'ятном пространстве Сибири и Дальнего Востока. Результаты исследований оказались весьма значительны. Мы имеем возможность значительно расширить наши знания о доисторическом прошлом Сибири, Д. Востока и Средней Азии. Постепенно раскрываются древнейшие эпохи, устанавливается их последовательность, продолжительность и пределы распространения. Выясняются те события, которые имели место на территории Северной и Средней Азии, начиная с появления впервые здесь человека. Намечаются древнейшие торговые пути, накапливается материал о культурных связях Северной и Средней Азии с западом, с Китаем и другими странами. Найдены даже остатки самого человека древне-каменного периода— это первая находкка на територии Северной Азии.

Рецензируемые нами работы дают весьма интересный материал для освещения доисторического прошлого Сибири.

Работа Шиобин Ван Чжан знакомит нас с вопросом о находках древней китайской культуры в Сибири. Эта работа написана автором на основании изучения древних китайских источников и в ней приводятся весьма интересные сведения о древнем Китае, о его борьбе и сношениях с соседними племенами (гуннами, племенами Тоба, киданями, монголами и др.), делается попытка об'яснить происхождение и назначение некоторых древних китайских предметов, находимых в пределах Сибири. Между прочим, г. Шиобин Ван-Чжан говорит, что, по китайским погребальным обычаям, при погребении употреблялся нефрит для затыкания всех отверстий тела мертвеца и насыпался в гроб также традиционный красный порошок, аналогичный кровавику, применяемому при погребении людьми неолитической эпохи Прибайкалья и других мест Сибири. Он же указывает, что находимые в Прибайкалье бронзовые зеркала, частью можно отнести к династии Хань (2 век до Р. Хр., 2 век после Р. Хр.), что нефритовые ножички и кольца, находимые в Прибайкалье, также, повидимому, китайского происхождения. Давность некоторых нефритовых колец и ножичков (из коллекций Иркутского Государственного Музея), по мнению Шиобин Ван-Чжан, может исчисляться около 2000 лет и более. Таким образом, история и археология определенно указывают на остатки в Сибири древней китайской культуры, и, нет сомнения, что эта культура имела определенное влияние, как наиболее развитая и совершенная. Китайцы влияли непосредственно или косвенно. Так, например, по мнению Шиобин Ван-Чжан, наблюдаемое разделение бурятских и вообще туземных жилищ Сибири на женскую и мужскую половины и доктрина о «нечистоте женщины», пришли из Китая. К работе приложено два стихотворения Танской династии VIII века по Р. Хр., посвященных красавице Ван-Чжао-Гюн.

Работа С. А. Теплоухова чрезвычайно ценна. С. А. Теплоухов в течение многих лет занимается изучением древностей Минусинского края. Им раскопано более 150 могил, различных по времени, стоянки каменного периода, осмотрены многие писаницы и другие древности этого края. Многочисленность памятников Минусинского края следует об'яснить тем, что Минусинский край находится в чрезвычайно благоприятных условиях для культурного развития человека. Здесь мы видим прекрасные пастбища, плодородные почвы, обильные зверем и птицей угодия, богатые металлические рудники и т. д. Но, однако, несмотря на проявленный многими русскими и иностранными иследователями интерес к изучению этого края, все же смена культур Минусинского края еще не выяснена, не установлены взаимотношения минусинских культур с культурыми запада.

С. А. Теплоухов раскопанные древности приурочивает к той или иной эпохе, обращая особое внимание на керамику, чего не делали предыдущие исследователи.

В упоминаемой работе описываются могильники Афанасьевской, Андроновской и Карасукской культур. Афанасьевская культура является, по мнению С. А. Теплоухова, наиболее древней и она относится им к энеолитической эпохе. Остатки погребальной пищи, найденные в этой культуре, указывают, что носители ее занимались охотой, рыболовством, было развито также скотоводство. Афанасьевская культура была, повидимому, широко распространена в Минусинском крае. Далее следует по древности Андроновская культура. Исследователь отмечает, что, несмотря на отличия между Андроновским культурным этапом и Афанасьевским, все же наблюдается в Минусинском крае преемственность в некоторых особенностях погребального обряда и керамики. Покойников хоронили в могилах в скорченном положении, на боку,

головою на ЮЗ (в большинстве случаев) так же, как обычно и в Афанасьевском могильнике, но в отличие от последнего могильника, в каменных ящиках или деревянных гробницах и, повидимому, с оградкой из камней на поверхности. Постоянное присутствие окиси меди (повидимому, разрушившихся украшений) в могилах указывает, что медные изделия встречались у населения чаще, чем в Афанасьевскую эпоху. Эта культура была более распространена в могильниках Западной Азии (Западная Сибирь, Киргизский край), а Минусинский край являлся восточной ее окраиной. За Андроновской культурой следовала Карасукская культура. В могильниках этой культуры видна преемственность от Андроновской культуры. Несомненную связь можно проследить и в элементах орнаментации глиняных сосудов. Древние носители этой культуры, несомненно, уже владели литейным искусством, у них было сильно развито овцеводство. Карасукскую культуру исследователь относит к среднему периоду Минусинской бронзовой эпохи и предполагает, что ее сменила другая культура—культура поздней Минусинской бронзы. Эта последняя, повидимому, имела ограниченное распространение, но она долговременно и пышно развивалась в Минусинском крае, оставив после себя громадное количество могил-курганов и др. памятников.

Так, на основании долголетних и чрезвычайно тщательных исследований С. А. Теплоухов восстанавливает прошлое Минусинского края. Работа послужит прекрасным пособием для лиц, занимающихся изучением прошлого Сибири. Прекрасно исполнены иллюстрации, изображающие находки из раскопанных С. А. Теплоуховым могильников.

Работа А. В. Попова знакомит с вопросом о чудском племени Сибири. Автор приходит к следующим положениям: прачудь—древнейшее население равнин и плоскогорий Евразии; чудские племена Сибири и Западной Европы, живые и вымершие, произошли от нее путем диференциации и рассеяния; они связаны между собой единством происхождения, языка, культуры. Культура эта не является заимствованной откуда-то со стороны, но представляет самостоятельное историческое явление, богатое блестящими приобретениями—медно-бронзовая индустрия, звериный стиль и шаманство. Прачудь, повидимому, первоначально зародилась в северных широтах Евразии и затем расселились в более южные. Ее культура в своих основах ближе всего об'ясняется физико-географической средой северных широт, где остатки прачуди до сих пор сохранились; в более южных широтах она была истреблена более могущественными культурами и их носителями.

П. П. Хороших.

Holmberg. Uno. Ph. D. Finno-Ugric, Siberian (The Mythology of All Races. In XIII vol.—Vol IV. Boston. Archeological, institute of America. 1927. (XXVI+588 p.) 8.

Американский Археологический Институт в Бостоне предпринял 13-ти томное издание «Мифологии всех рас». Перед нами 4-й том этой грандиозной серии, посвященной финно-уграм и Сибири. Из 588 страниц книги аборигены Сибири получили около 250. Мы не будем касаться в подробностях первой финской части сочинения. Она производит хорошее впечатление. Прекрасно иллюстрирована, снабжена обстоятельным очерком истории вопроса и подробной библиографией, доведенной до 1924 года. Сводка Хольмберга, который делится также и личными наблюдениями (1911, 1913 г. г.), будет полезна особенно этнографам русской равнины. Основная масса восточных великоруссов, главным образом, северной озерной области, круто замешана на финских дрожжах. Север России был метрополией сибирской колонизации. В сводку Хольмберга придется заглянуть и этнографу русского старожилого населения Сибири. Заметим лишь, что в очерке распределения финской народности автор придерживается старой административной терминологии, совершенно не упоминая о происшедших за время революции изменениях. Автор, полагает, что высшей ступени цивилизации достигли только венгры, финны и эсты. Все остальные «угро-финны» отнесены к «примитивным народам», так же, как и туземцы Сибири. Это удобно для системы, но противоречит основным началам этнографии.

Вторая часть книги рассматривает, главным образом, так называемую алтайскую группу племен Сибири. Палеазиаты затрагиваются мимоходом. Так что название работы—больше ее содержания. В 20-ти главах, иногда в подробностях, часто с существенными пробелами (нет ни слова о культе медведя) *) система верований якутов, бурят, тунгусов, телеутов, монгол и др. Автор дает сравнительную характеристику космических мифов, представлений, связанных с землей, звездами, огнем, духами (хозяевами) природы, со смертью и болезнями. Последняя 21-я глава называется «Шаманизм и тотемизм».

Использована преимущественно русская литература прошлого столетия—

*) Новейшая работа по «культу медведя у народов северного круга» американского этнографа А. Ирвинга напечатана в журн. «American Anthropologist», vol. 28, № 1 за 1926 г. Мы дадим о ней отчет в ближайшее время. Евразии и Сибири Ирвинг уделил должное внимание.

«Записки» Русского Географического О-ва и работы отдельных ученых. Из новых исследователей названы Ионов (1916), Майнагашев (1916), Пекарский (1913), Васильев (1909) и Широкогоров (1919 г.). Имеется несколько упоминаний о материалах Красноярского музея. Оказывается, там есть интересные вещи. Как приятно сибиряку получать об этом сведения из Бостона от финского доцента! Находишь, где не искал. Напрашивается риторический вопрос: «долго ли еще красноярцы будут держать свои замечательные этнографические коллекции в сундуках? Что думает по этому поводу Сибнарообраз?».

Конечно, сводка Хольмберга полезна. Ее давно надо было сделать. Нельзя же все время «собирать», не отдавая отчета в том, на что собранное может пригодиться. Игра в науку—худший вид забавы. Лучше уж собирать почтовые марки.

Работа Хольмберга в отношении изучения верований не дает ничего нового. Самое ценное в ней то, что автор иногда пытается указать истоки того или иного мифа, пользуясь методом сравнения, перечисления, исключения и здорового финского смысла. Так, приходится признать, что сказание якутов о древе жизни могло возникнуть лишь в стране более богатой и плодородной природы, чем природа северной Якутии. Но была ли это Индия—неизвестно, как сомнительно и египетское происхождение 12-ти летнего животного цикла у турецких народов. Кстати сказать, работы А. Самойловича по этому вопросу (1912, 1916, 1927 г.) автором не использованы. Вообще, несмотря на то, что русская литература составителю книги, очевидно, доступна, многое осталось за пределами намеченного плана. Работа сделана наспех и, вопреки хорошей внешности (картинки, шрифт, бумага), разочаровывает любителя сибирской мифологии.

Метод вышелушивания верований из поэтических сказаний оставляет место лучшим надеждам. Даже если мы тщательнейшим образом проделали все, что в таких случаях предписывается рецептарием финской школы фольклористов, мы все-таки останемся в пределах поэтики, не сделавшись этнографами. Область мифологии должна быть строго разграничена со смежными областями фольклора и этнографии. Если мы изучаем мифические сюжеты—это одно дело; другое дело вопросы религии в широком смысле.

Хольмберг дал поверхностную «сумесь» того-сего.

Конечно, исключительно по недоразумению на стр. 300 буряты поселены «вокруг Каспийского моря».

В книге нет указателя. **Е. Титов.**

Ученые записки института истории. Том II. Изд. рос. ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук. Москва. 1927 г., цена 3 р. 50 к., Стр. 377.

Для читателя-сибиряка во втором томе Ученых Записок интересны статьи: В. К. Никольского—«Сибирская ссылка протопопа Аввакума» и С. В. Бахрушина — «Воеводы Тобольского разряда в XVII веке».

О строптивом протопопе Аввакуме печаталось не мало (солидное исследование проф. Бороздина и других историков). Уделено было особое внимание этой не заурядной фигуре старой веры XVII века и С. Серафимовичем в его популярных и оригинальных очерках старинных нравов в Сибири, напечатанных в журнале «Отечественные Записки» за 1866 год. Но автор настоящей статьи сообщает и много новых сведений об Аввакуме, высланном из Москвы в Тобольск в 1653 году, а оттуда изгнанном на Лену в Якутский острог, а потом «в новую страну за Сибирью, в смертоносное место—Даурию» (Приамурье). Основное значение новых источников в том, что они пробуждают нас к пересмотру старых точек зрения на Аввакума. Его сложную и многогранную личность необходимо, говорит автор, рассматривать не статически, а динамически, в процессе развития.

Очерк С. В. Бахрушина—«Воеводы Тобольского разряда в XVIII в.»—особенно ценен тем, что он освещает наиболее характерные стороны деятельности тобольских воевод, как начальников разряда. В специальной литературе, посвященной Сибири, сведения о Тобольском разряде обычно ограничиваются формальным о нем упоминанием. Вообще сибирские разряды (Тобольский, начавший образовываться уже в конце XVI века, Томский в 1629 г. и Енисейский, относящийся к 70-м годам XVII века) изучены сравнительно мало, между тем, они по своей организации на иных началах, чем управлялись собственно русские уезды, представляют значительный интерес, особенно Тобольский разряд. Тобольск, первоначально зависевший от Тюмени, в 1590 г. «стал быть собою», и через него стали вестись все сношения Москвы с администрацией вновь присоединенных областей. При царе Федоре воеводам второстепенных городов в Сибири предписывалось «обо всяких и тамошних делах отсылаться и писать в Тобольский город к воеводам, чтобы в сибирских городах к воеводам всякие дела были ведомы».

Отсюда видно, какую важную роль играли тобольские воеводы. Функции тобольских воевод, автор полагает, можно разбить на две категории: во-первых, об-

щая организация уездов, входящих в состав разряда, а иногда и за его пределами; во-вторых, контроль над деятельностью подведомственных воевод. Схематическое представление об обеих сторонах их деятельности дают московские наказы.

Основной задачей тобольского воеводы было общее руководство устройством и эксплоатацией колонизуемой окраины и на нем, как на главнокомандующем сибирскими военными силами, лежит забота о военной безопасности страны, о снабжении гарнизонов продовольствием, а в связи с этим—забота об увеличении запашки. Русская администрация заинтересована была в Сибири, гл. образом, в сборе ясака, и в функции тобольских воевод входило инструктирование местных воевод, относительно порядка сбора ясака, приема и регистрации его. Вся отправленная в Москву пушнина проходила через Тобольск. Здесь ее пересматривали и переоценивали. В связи с заботой об ясаке стояла охрана инородцев от возможных насилий со стороны местной администрации. На тобольских воевод возлагалась обязанность, кроме того, и регулировать торговлю.

В своем очерке автор останавливается на деятельности двух наиболее примечательных тобольских воевод XVII века кн. Ю. Я. Сулешева и П. И. Годунова. С именами того и другого связаны в истории Сибири две эпохи большого административного строительства.

П. С.

«Уральское Краеведение». Орган краеведческой и научно-исследовательской работы Урала. Вып. 1. Издание Уральского Обл. Бюро Краеведения. Свердловск, 1927, 160 стр., экз. 1.600, ц. 1 руб. (выход. книжками, по мере накопления материалов).

Перед нами первый выпуск «Уральского Краеведения». В задачи издания входит: «отражение краеведческой и научно-исследовательской работы на Урале; популяризация краеведческих задач в широких массах трудящихся в интересах привлечения их к участию в текущей советской работе по культурному и экономическому строительству Уральской области и сближение краеведения с научно-исследовательской и хозяйственно-плановой работой края».

Программой журнала предусмотрены разделы: 1. Общие вопросы краеведения. 2. Жизнь и природа Урала. 3. Вопросы культурного и экономического строительства и краеведение. 4. Школа и краеведение. 5. Программно-методические вопросы. 6. Историко-революционные материалы. 7. Краеведение на Уральском Севере. 8. Изучение Урала. 9. Хроника краеведного дела. 10. Уральская библиография.

В первый выпуск из перечисленных разделов вошли: 1, 5, 7, 8, 9 и 10.

Общим вопросам краеведения отведено более ⅓ выпуска (13 статей), и мы не назвали бы этот отдел составленным удачно: во всяком случае, он далеко не отвечает одному из пунктов редакционной программы: «проведение живой популяризации (курсив наш) краеведческих проблем в интересах вовлечения широких трудящихся масс в краеведческую работу».

Ни одна из статей этого отдела не популяризует проблемы краеведения именно среди широких трудящихся масс: все они обращены к городскому краеведу и к сельской трудовой интеллигенции, в значительной мере по вопросам, доступным именно их пониманию, и могут служить некоторым руководящим материалом только для краеведов, имеющих высокий образовательный уровень и значительный стаж краеведной работы. Нам казалось бы целесообразным, в целях развития массовой краеведческой работы, сделать большее ударение на программно-методических вопросах краеведения и в будущих выпусках журнала уделить им за счет общих вопросов краеведения значительно большее место, чем то, которое удалено им в первом выпуске (всего 12 стр.). По нашему убеждению, настало время, когда необходимо больше внимания уделять вопросам: «как делать», так как цели и содержание краеведной работы уже становятся достоянием не маленькой группы научных работников, а широких кругов рабочего и крестьянского актива.

Из наиболее интересных статей первого отдела отметим: Истомина Я.—«Пути развития краеведения на Урале»; Берс А.—«Уральские архивы, их изучение и возможности использования»; Б-лева Д.—«О краеведческом уклоне в библиотечном деле» и Словцева А.—«Завод-музей на Урале»; а также проф. Альтуллера М.—«Элементы экономического исследования в краеведении» и проф. П. С. Богословского—«О постановке культурно-исторических изучений Урала», помещенную редакцией «в виду важности разрабатываемой ею темы для широкой дискуссии на страницах журнала».

Отдел второй настоящего выпуска «Краеведение на Уральском Севере» составлен значительно удачнее. Здесь каждая статья представляет живой интерес и дает новое из жизни Тобольского Севера. Таковы статьи: Евладова В.—«Пути развития хозяйства Обдорского края»; Матусовой Р.—«На далеком севере» (экспедиция в Нарымский край и на р. Тром-Юган); Шульца Л.—«О необходимости краеведческой работы на Тобольском Севере»; Д. Миловановича—«Краеведческие задачи

лесоустройства» (кстати, сказать, непонятно, почему попавшая в этот именно отдел); С. Куклина—«Речные бобры на Тобольском Севере» и без указания автора: «Бассейн р. Кумы в колонизационном отношении».

Разносторонне и содержательно составлены отделы III и IV: «Изучение Урала» и «Краеведческая хроника».

В отделе V помещены: «Инструкция о собирании млекопитающих животных», анкета этнологич. бюро Уральского о-ва любителей естествозн. по обследованию грызунов Уральской области. Здесь же помещен рекомендательный список литературы по краеведению. (Издания общего характера, по музейному делу, анкеты, руководства, программы и пособия, краеведческая библиография, охрана памятников природы, старины и искусства).

За сделанными по отношению к первому отделу замечаниями мы считаем первый выпуск «Уральского Краеведения» удачным началом большого и полезного дела, предпринятого Уральским Обл. Бюро Краеведения, и приветствуем этот почин. Книжка издана хорошо и читается с интересом.

А. Шнейдер.

III.

Б. Шумяцкий.—«Сибирь на путях к Октябрю.—М.—Л., ГИЗ, 1927, 124 стр. экз. 3.000.

Автор рецензируемой нами книги—старый сибирский большевик, хорошо знающий историю революционного движения в Сибири не только по литературе, но и по тому активному участию, которое он принимал в этом движении с бурного периода 1905 г. вплоть до утверждения и закрепления Октября и несколько позднее. Дофевральский период автор описал в книге «В сибирском подполье». В лежащей же пред нами книге автор описывает пути Сибири к Октябрю и делает попытку обосновать эти пути. Эту попытку нельзя, однако, назвать удачной.

Дело в том, что автор принадлежал к той группе красноярских большевиков, которые сейчас же после Февральской революции выделились в самостоятельную чисто большевистскую организацию и назвались «сибирскими правдистами». Влияние «правдистов» простиралось только на часть красноярского пролетариата и на небольшие по численности рабочие группы Канска, Ачинска, Енисейска. Впоследствии, чуть ли не накануне Октября, они распространили свое влияние и на Иркутск. Но главенствующей роли в общесибирском масштабе «правдисты» не играли, хотя и газета «Сибирская Правда» считалась органом Центр. Ком. большевиков. Заслуга правдистов заключается только в том, что они с первых дней Февральской революции неуклонно будировали мысль о необходимости сплотить всех сибирских большевиков в единую самостоятельную партию. Но кто из сибирских большевиков не признавал этого? И если, тем не менее, большевики по всей Сибири стояли в ту пору за «об'единенную» соц.-демократ. организацию, в которую входили меньшевики и даже, как, напр., в Омске, сторонники «Единства» то, это об'яснялось чисто тактическими соображениями. Здесь не место останавливаться на вопросе, насколько такая тактика вообще правильна. В оправдание же большевиков-об'единенцев можно сказать многое.

Только в Красноярске, где имелся сравнительно солидный по численности пролетариат, за которым числилось героическое революционное прошлое, «правдисты», могли найти сторонников сейчас же после Февраля. Но и в самом Красноярске большая часть пролетариата шла за той большевистской частью, которая входила в об'единенную организацию. За пределами же Красноярска большевикам вообще пришлось работать, как это вполне правильно отмечает Шумяцкий, «в условиях аграрной страны, имеющей весьма тонкую прослойку пролетариата». А эта «тонкая прослойка» коснела в мещанских предрассудках и целиком была на поводу у меньшевиков и эсеров. Эта «прослойка» в ту пору чуралась большевиков, ее надо было еще завоевать, как и надо было завоевать многотысячную крестьянскую массу, одетую в солдатские шинели. (Томский гарнизон насчитывал тогда около 70.000 солдат-крестьян, как-то стихийно попавших в сети эсеров, но в действительности анархически настроенных). Большевики тяготились положением, которое принуждало их находиться в об'единенной организации, но это положение давало им доступ к пролетариату и крестьянской массе.

Как только большевики почувствовали, что пролетариат в значительной своей части идет за ними, то немедленно—где раньше, где позже—выделились в самостоятельную организацию и стали готовиться—где более, где менее успешно, в зависимости от разных условий и обстоятельств—к решительной борьбе за власть советов. Приписывать все это не обстановке, которая впоследствии существенно изменилась, и даже не агитационно-пропагандистской работе, которая была проделана большевиками вообще, а об'яснять только влиянием «правдистов» и утверждать, что только «правдисты» трезво расценивали вещи и что только они правильно шли по пути к Октябрю, будет, по меньшей мере, слишком смело и, во всяком случае, неверно и несправедливо. Эта «натяжка», между тем,

красной нитью проходит через всю книгу, и только сквозь свою «правдистскую» призму Шумяцкий рассматривает события.

Не соглашаясь с этой точкой зрения Шумяцкого, мы должны однако признать, что книга вообще представляет большой интерес, как по подбору материала и характеру его изложения, так и по толкованию многих фактов. Среди фактов попадаются и такие, которые появляются в печати впервые.

В книге читатель найдет описание сибирских партийных и советских с'ездов, характиристику сибирской контрреволюции и описание борбы с ней, а также историю возникновения Центро-Сибири.

Характеризуя города, боровшиеся в Сибири за большевистскую гегемонию, автор верно обосновывает, почему именно Иркутск, некогда эсеро-меньшевистская цитадель, избран был большевиками, как ценр по управлению советами Сибири от Уральских гор до Тихого океана. Интересно, что, по словам Шумяцкого, Ленин еще в апреле 1917 г. заметил, что «насущная задача сибирских большевиков—перенести базу своей работы на Иркутск, которому в судьбах революционной борьбы предстоит играть важную роль». Жизнь вскоре показала, как правильно и верно Ленин предвосхитил события.

В заключение считаем необходимым отметить, что книгу Шумяцкого рекомендуем прочесть каждому, интересующемуся историей Октября в Сибири. Если пути Сибири к Октябрю не совсем правильно обоснованы, так, во всяком случае, они правильно указаны.

В. Вегман.

П. С. Парфенов.—«Крестьянская республика».—М., изд. «Крестьянская Газета», 1928, 47 стр., экз. 15.000.

Небольшая брошюра Парфенова предназначена, главным образом, для читателя-крестьянина. Автор простым живым языком излагает в брошюре хорошо известное и несколько раз описанное восстание славгородских крестьян в августе 1918 г. Автор не впервые касается этой темы. В свое время ему был указан ряд допущенных им ошибок (см. статью Т. Чуева—«Чернодольское восстание» в «Сиб. Огнях», 1927, №№ 5-6). Кое-какие указания Парфенов принял к сведению, а некоторые слегка сгладил в своей брошюре. Так, например, Парфенов уже не утверждает так категорически, что во время восстания «начала выходить «Крестьянская Газета» — орган «Временного Крестьянского Штаба», а скромно отмечает: «издавалась на пишущей машинке особая «Крестьянская Газета», орган крестьянской власти». Остается верить, что такая газета издавалась.

Что касается заглавия брошюры, то оно, если и определяет точку зрения Парфенова, во всяком случае не оправдывается характером восстания и настроениями повстанцев. То обстоятельство, что по словам Парфенова, «были и такие (крестьяне), которые стояли за «независимую власть крестьянскую как советской власти, так и областной думы», и что повстанцы выступали «под какими-то туманными, якобы «чисто крестьянскими» лозунгами», не дает еще право изображать дело так, будто крестьяне собирались строить какую-то «крестьянскую республику».

В. Дович.

В. П. Гирченко.—«Этапы революционного движения в Бурятии». 1917-1918. (Хроника). Верхнеудинск, изд. жур. «Жизнь Бурятии», 1927, 39 стр., экз. 500.

Составленная В. П. Гирченко «Хроника» охватывает период с 5 (18) марта 1917 г. по 10 апреля 1918 г. включительно.

Для своей хроники автор использовал «архивные материалы Центрального Архивного Управления Бурреспублики, а также те скудные печатные материалы, которые можно было получить в Верхнеудинске». Ясно, что хроника, несомненно, страдает кое-какими пропусками. Хроника страдает и некоторыми другими недостатками. Не всегда, например, указано, откуда взято то или иное хроникерское сообщение—из какой газеты или архива. Кроме того, одни факты отмечаются сжато, просто, по-хроникерски, а другие описываются чрезмерно подробно. Отмечая, например, что 9 июля 1918 года состоялось в Верхнеудинске первое делегатское собрание совета профессиональных союзов Прибайкалья, на котором избрано Центральное Бюро профсоюзов Прибайкалья, автор не указывает ни повестки дня, ни лиц, выбранных в Центр. Ком., тогда как в других случаях он приводит резолюцию и даже прения. Некоторые заметки вообще страдают излишним многословием. Есть и такие, которые совершенно не заслуживают быть отмеченными в хронике. «Вечером (1 мая),—читаем мы,—в общественном собрании состоялась соц.-демократ. вечеринка, затянувшаяся до поздней ночи». Экий, подумаешь, исторический факт! Где только не устраивалась первомайская вечеринка!

В целом хроника, однако, представляет большой интерес. Мы слишком мало знаем о революционном движении Бурятии, о том национальном брожении, которое возникло в Бурятии с падением самодержавия, о том классовом и политическом расслоении, которое росло и ширилось по мере того, как история толкала нас к Октябрю. Как ни кратка рецензируемая нами хроника, она многое раскрывает нам и проливает свет на многие события.

В. Дович.

П. С. Парфенов (Алтайский).—«На соглашательских фронтах». Изд. «Московский Рабочий». Стр. 208, Ц. 1 р. 40 к.

В номерах 11 и 12 журнала «Пролетарская Революция» была помещена статья т. Парфенова—«Переговоры с командованием белых сибирских армий в 1920-21 г.г.» В этой статье т. Парфенов, работавший те годы на Дальнем Востоке, дал довольно интересные воспоминания о той обстановке, в которой приходилось быть в Приморье, и тех переговорах, которые он вел со всевозможными белыми и розовыми генералами, полковниками и атаманами. Воспоминания эти подкреплены рядом документов.

Вышедшая под совершенно новым заголовком книга «На соглашательских фронтах» представляет из себя только несколько видоизмененную и дополненную статью из «Прол. Рев.», а изменение заголовка и отсутствие в предисловии всякого намека на то, что представляет из себя книга, может ввести в заблуждение читателя, приобретающего эту книгу.

Нам хотелось бы отметить эту книгу, как довольно редкий образец «своеобразного» цитирования документов. К историческим документам, если они приводятся именно как документы (а не пересказ их), в исторической литературе принято относиться довольно бережно. И если автор в двух своих статьях, цитируя одни и те же документы, цитируют их разно, остается только вообще перестать верить автору.

Мы не имеем достаточно времени, чтобы связать все цитированные т. Парфеновым документы, но вот несколько параллельных текстов.

Цитируется телеграмма атаману Семенова.

В «Пролетарской Революции». (Стр. 168).	В книге «На соглаш. фронтах». (Стр. 42).
«Непризнание делегации Забайкальского правительства **свело** на-нет всю работу Ооя *по об'единению края*, **о чем я предупреждал неоднократно японцев»**....	«Непризнание делегации Забайкальского правительства **сведет** нанет всю работу Ооя по об'единению края, **о чем я предупреждал его неоднократно».**

Цитируется запрос коммунистов в народном собрании, и цитируется в ковычках.

В «Пролет. Револ.».	В кн. «На согл. фронтах».
«Во Владивостоке он остановился в японской гостинице»	«Он остановился в квартире японского главнокомандующего».

Цитируется в кавычках разговор т. Никифорова по телеграфу с ген. Хрещатицким.

В «Пролет. Револ.». (Стр. 170).	В кн. «На согл. фронтах». (Стр. 47).
«Атаману я доложил результаты **нашего разговора. В силу неизвестных вам обстоятельств,** обстановка складывается благоприятно для решения вопроса, согласно нашего **отдельного** разговора в моем вагоне, но в силу понятных вам обстоятельств, теперь больше, чем когда-либо, необходим ваш приезд в Читу, иначе может быть совершенно нежелательное отклонение **от планомерности.**	«Атаману я доложил результаты **наших переговоров.** Обстановка складывается **вполне** благоприятно для разрешения вопроса, согласно нашего **последнего** разговора в моем вагоне, но в силу понятных вам обстоятельств, теперь более, чем когда-либо, необходим ваш немедленный приезд в Читу, иначе может быть совершенно нежелательное отклонение **от намеченной линии действий.**
Никифоров. Информируйте ясно фактическое положение дел. В чем может быть отклонение и по каким причинам? **Понимаю отклонение от намеченной мною с вами линии частных разговоров».**	**Никифоров.** Информируйте ясно фактическое положение дел. В чем может быть отклонение и по каким причинам».

И т. д. и т. д. Ряд изменений и дополнений, приведенных т. Парфеновым, только вызывает недоумение. Напр., указывая на разговор т. Никифорова с Хрещатицким об отречении Семенова, в «Пролет. Рев.» он пишет:

«Никифоров еще раз переговорил с ген. Хрещатицким «на чистоту»,—Семенову было предложено отречься от власти» и т. д. (ст. 169).

В книге этот разговор «дополнен» так: «Красная армия изнывала в боях и нуждалась в поддержке свежих сил, поэтому Никифоров заговорил с Хрещатицким языком «русского человека» и очень горячо указывал ему на необходимость для атамана в «интересах родины» поехать на борьбу с бело-поляками» (стр. 46).

Сама по себе книга может быть и могла быть интересной. Но кто поручится за невозможность выпуска еще одной книги с новым заглавием, где документы и разговоры будут изложены опять по-иному?

А—н.

П. И. Павловский, — «Анненковщина». По материалам судебного процесса в Семипалатинске 25-VI—12-VIII—1927 г. М.-Л., ГИЗ, 1928, 94 стр., экз. 5.000.

Брошюра Павловского «Анненковщина», составленная по материалам судебного процесса и написанная простым понятным языком, предназначена для массового читателя и имеет агитационное значение. Автор знакомит с политической обстановкой, давшей атамановщине вообще возможность расцвести и вдоволь по-ухарски разгуляться в Сибири, и описывает всю жестокую деятельность Анненкова вплоть до того момента, как этот лихой разнузданный атаман попался в руки ГПУ. Жутко читать бесхитростные показания свидетелей-крестьян о тех зверских расправах, которые сам Анненков и его сподручные чинили над мирным населением и над теми большевиками, которые попадались в их руки. Впрочем, Анненков и даровал жизнь попавшему в его руки «большевику», но только такому, который выражал искреннее желание усердно заняться провокаторством. При отступлении Анненков жестоко расправился и с теми анненковцами, которые, служа в его отрядах невольно, по мобилизации, отказывались следовать за ним в Китай.

В брошюре рассказывается и о деятельности Анненкова в Китае, где с ним вели переговоры англичане и японцы, желавшие использовать его для своих интервентских целей. Анненков находился в тесных сношениях и с русской белогвардейщиной. Он договаривался также и с Чжан-цзо-лином и Фыном.

Брошюра снабжена иллюстрациями. Отметим один резко бросающийся в глаза курьез. Под иллюстрацией, изображающей на стр. 74 Анненкова, его ближайшего помощника Денисова, одного офицера, одного монгола и какого-то иностранца с ружьем, имеется следующая пояснительная надпись: «Анненков и Денисов в обществе представителей англо-американской буржуазии». Где они, эти «представители англо-американской буржуазии»?

В общем брошюра производит хорошее впечатление. Рядовой читатель будет читать ее с интересом.

В. Дович.

Иван Строд.—«В тайге». Москва, изд. «Молодая Гвардия», 1928 год, 165 стр., экз. 4.000.

Автор этой книги принадлежит к той группе «центросибирцев», которая в 1918 г., после свержения соввласти в Сибири, отступила в Якутск. Недалеко от Олекминска часть этой группы (Н. Яковлев, Ф. Лыткин, Кулинич и др.) погибли от рук белогвардейцев. Немногие, в том числе и Строд, уцелели. Их поместили в Олекминской тюрьме, из которой они вышли в декабре 1919 г., когда большевикам удалось изгнать колчаковцев из Якутии. История отступления и гибели «центросибирцев», а равно освобождение Якутска и Олекминска от колчаковцев, кратко изложенная на 37 страницах под названием «В тайгу!», служит, как бы введением к основной задаче автора дать историю гражданской войны в Якутии за 1921-1923 годы.

Борьба за советскую власть в Якутии еще не нашла своего должного отражения в нашей исторической литературе.

И, поэтому, что творилось в 1917-1920 г.г. в Якутии совершенно неизвестно рядовому читателю. Этот пробел в значительной степени восполняется воспоминаниями И. Строда. Говорим «в значительной степени», ибо историю первой советской власти и колчаковщины автор совершенно не затрагивает. Свой рассказ автор посвящает тому периоду, когда после свержения колчаковщины Якутию стали терзать разные белогвардейские отряды—осколки разгромленной колчаковской армии.

Героическая была борьба, которую сравнительно небольшая группа смельчаков вела против хорошо вооруженных белогвардейцев в этой отдаленной окраине. И в этой борьбе Строд принимал активное участие. Его книга не научно-исследовательская работа, а только в полубеллетристической форме изложенные воспоминания, местами подкрепленные документами. Но эти искренние воспоминания, просто и бесхитростно написанные, вскрывают перед нами обстановку борьбы во всей ее шири и дают яркое представление о том, в каких неимоверных муках родилась независимая Якутская ССР.

С большим интересом читатель прочтет страницы, посвященные действиям партизанского отряда Каларандашвили, и с щемящей болью воспримет он рассказ о гибели партизанского вождя, которого народная молва окрестила именем «дедушки». С щемящей болью прочтется также рассказ о гибели комиссара Широких-Полянского.

Книгу Строда с большим интересом прочтет каждый читатель. Эта книга по характеру изложения, содержанию и роли автора имеет полное основание войти в серию «живые страницы гражданской войны», под каковым названием «Молодая Гвардия» намерена издавать «воспоминания участников» гражданской войны.

В. Вегман.

IV.

С. Розенберг—«Меркантилизм и социально-философские основы физиократической системы». (Сборник трудов профессоров и преподавателей Иркутского государственного университета). Тоже отдельным оттиском. 500 экз.

Сборник трудов профессоров и преподавателей Иркутского государственного университета представляет значительный интерес, в смысле научного освещения местных проблем края. Здесь находят место и серьезные работы общенаучного характера. К сожалению, иногда, в последней области попадают такого рода компилятивные труды, самый смысл появления которых возбуждает сомнения.

Выдающимся образцом такой работы является упомянутая в оглавлении работа С. Розенберга. Несколько странное заглавие очерка об'ясняется во введении. Из него видно, что задачей работы должен быть анализ социально-философских основ именно физиократической системы, меркатилизм же взят только потому, что «исследование сущности физиократической системы невозможно без ознакомления со взглядами меркантилистов».

Новое сомнение возникает при ознакомлении с внешней конструкцией исследования: из 79 страниц очерка посвящено только 7 страниц «социально-философской основе физиократической системы», 15 страниц—предшественникам физиократов и физиократам, все остальное—изложение меркантилистической системы. Построение очерка как-будто говорит за то, что центр тяжести в нем—меркантилизм.

И лишь ближайшее ознакомление с очерком показывает, что и заглавие, и конструкция об'единяют просто хаотический набор цитат из известных экономических работ, не сцементированных ни общей идеей, ни удовлетворительной литературной техникой.

Не придавая должного значения внешней стороне научной работы, мы все же не можем отказаться от пред'явления тех минимальных требований, без соблюдения которых страдает и внутренняя сторона работы.

Цементировка цитат произведена наивным детским приемом—употреблением заключительного союза «итак» и в начале, и в средине, и в конце каждой главы очерка. Вот примеры этого приема: «итак, характерной чертой меркантилизма является торговый баланс». «Итак, отождествление денег с богатством не является решающим признаком меркантилизма». «Итак, покровительственные пошлины способствуют развитию промышленности». «Итак, Д'евинент и Чайльд отражают в литературе высший этап развития меркантилизма». «Итак, Пети выставил положение: труд—отец богатства, а земля—его мать». Итак без конца в этом стиле. Чтобы закончить с внешней стороной очерка, укажем еще один излюбленный прием автора—вставлять в цитату пояснения в скобках, часто совсем лишние, и каждый раз расписывается—С. Р. Неумеренная дозировка подобных, совершенно ненужных раз'яснений дает при чтении очерка такое же впечатление, какое получаешь, читая вывески при быстрой езде по улице.

От внешней стороны перейдем к более важному—внутреннему содержанию предлагаемой работы, к определению ее научного удельного веса.

Система меркантилистов и физиократов достаточно освещена в старых курсах по истории экономических учений: Онкена, Янжула, Жид и Гост, Миклашевского и друг. В последние годы, начиная с небольшого курса проф. Лященко, появившегося в 1924 г., мы имеем курсы Рубина, Штейна и целый ряд специальных монографий на русском и немецком языках. Естественно, что всякие притязания выпустить новую работу о меркантилизме и физиократах должны иметь под собою определенную почву, выявить что-либо новое или, по крайней мере, дать новое направление старому материалу. Главы, посвященные автором меркантилизму, представляют собой водоворот цитат и сумбурность мыслей. Марксистского анализа здесь, конечно, нет, да и трудно ему быть при таком безудержном канканировании мыслей, слов, имен. Хороши эти главы только в тех частях, которые являются не растасовкой мелких цитат, а сплошными длинными выдержками «отсюда и досюда».

Перейдем теперь к главам, характеризующим физиократическую систему, раскрытие социально-философских основ которой и является задачей исследования.

В главе о предшественниках физиократов автор совершенно не упоминает Сюлли, которого сами физиократы называют выразителем их идей в эпоху Генриха IV, т.-е. еще до Кольбера. Сознанием первостепенной важности сельского хозяйства была проникнута вся политика Сюлли, которая поэтому и вызывала восторженное восхваление со стороны физиократов, называвших Сюлли «величайшим государственным человеком, когда-либо появлявшимся» (Мирабо).

Глава IX—«Возникновение и развитие физиократической системы» заключает биографию Кенэ, описание встречи с ним Мирабо, деятельность Тюрго, т.-е. все, что мы найдем в гораздо лучшем изложении у Рубина и др. историков политической экономии. Своеобразной является только хро-

нология: на стр. 146 мы читаем: «Крах практической программы физиократов (после падения Тюрго) привел к полному забвению и их теории. И только в средине XVIII века стали опять интересоваться их идеями. К. Маркс первый дал ясный анализ физиократического учения». Автор даже К. Маркса отправил в XVIII век.

В заключительной главе мы встречаемся с исключительным убожеством содержания—это неудачное изложение «Естественного права» Кенэ при помощи растасовки цитат из этой работы.

Прочитав о физиократах, мы с недоумением спрашиваем:—Где же целый ряд важнейших теоретических идей, которые впоследствии, через посредство классиков и Маркса вошли в современную экономическую науку?

Где, прежде всего, гениальная теория общественного воспроизводства, изложенная в «Экономической таблице» Кенэ, получившей у физиократов название «зигзага», ее «Анализ»? Сами физиократы придавали этому произведению их главы значение величайшего научного открытия, равного изобретению книгопечатания и чеканки монеты. По словам Рубина, «Таблица Кенэ в течение целого столетия оставалась непонятною загадкой сфинкса. Только через сто лет Маркс использовал ее для науки и во II т. «Капитала» продолжил работу, начатую Кенэ. Своею теорией физиократы сделали первую попытку понять механизм капиталистического хозяйства в целом»*).

Не упомянуто изложенное в «Максимах»—Кенэ—учение физиократов о чистом доходе и т. наз. «авансах», в котором, по мнению Маркса, различается идея основного капитала.

Ни звука об общественных классах Кенэ и Тюрго. Отсутствует проблема ренты, превращение ее в проблему чистого дохода (прибавочной стоимости) и перенесение проблемы прибавочной стоимости из сферы обмена в сферу производства**).

Физиократическая система, выдвинутая накануне французской революции, т.-е. в конце старого, изжившего себя режима, представляет попытку мирного и компромиссного решения грозных социальных проблем, каковой копромисс в условиях конца XVIII ст. был обречен на неудачу. По выражению В. М. Штейна, «надежда физиократов улучшить положение сельского хозяйства во Франции путем насаждения крупно-капиталистической культуры была в то же время последней, отчаянной попыткой спасти дворянское землевладение во Франции»***). Это сохранение дворянского землевладения предполагалось осуществить при обязательном условии проведения капиталистической аграрной реформы в интересах сельской буржуазии (отмена сеньориального строя), т.-е. уничтожения дворянского характера землевладения и даже, по выражению Маркса, «частичной конфискацией земельной собственности».

Временное расхождение интересов между сельским хозяйством и промышленностью, получившееся в результате предшествующей меркантилистической политики и расхождения «ножниц», создало грань между физиократией и идеологией городской буржуазии и толкало мысль физиократов в сторону компромисса с землевладельческим классом и абсолютной монархией. Отсюда—оправдание крупного землевладения и абсолютной монархии, грозные филиппики против денежного капитала, желание низвести прибыль торгово-промышленных капиталистов до уровня необходимых средств существования, требование высоких цен.

Во всяком случае, физиократическая программа имела некоторую революционную сторону, стремление подвинуть абсолютную монархию и землевладельческий класс к проведению общественных реформ. По выражению Ю. Мархлевского, под консервативной оболочкой физиократизма таились революционные бациллы, и деятельность Тюрго сыграла роль «введения к французской революции». В конце-концов путь к росту капиталистических хозяйств во Франции был открыт не мирною аграрною реформою в интересах сельской буржуазии, а великою революцией, совершенной силами средней и мелкой буржуазии в городе и крестьянских масс в деревне. Из революции Франция вышла не страною крупных капиталистических ферм, а страною мелкого крестьянского землевладения. Вот, по словам Рубина, социально классовая основа физиократической системы. Автор же разбираемой работы ни звуком не касается содержания этой основы: вместо того, он преподносит сладенькую водицу перемешанных по обыкновению цитат из «Естественного права»—Кенэ, в роде сравнения государя с садовником, невозможности проникновения в замыслы верховного существа о интересах потомков, предки которых захватили крупную собственность. Может быть, все это имело значение в свое время, но вовсе не заслуживает тщательного воспроизведения.

Заканчивая настоящий обзор работы С. Розенберга, нужно сказать о тех требованиях, которые должны пред'являться к научной работе, помещаемой в трудах ВУЗ'а. Такая работа должна дать или новые наблюдения в изучаемой области, или дать новую трактовку старому вопросу. Во всяком случае, в ней должна быть проявлена способность к творчеству. Нечего

*) Рубин. Физиократы. Стр. 8.
**) Маркс.—«Капитал», т. III, стр. 320, изд. 1924 г.
***) Штейн.—«Развитие экономической мысли».

и говорить, что она не может даже удовлетворять требованиям обычной стилистической грамотности. Научная работа, исходящая из стен ВУЗ'а, должна давать пример, образец научного творчества, умение использовать методологию предмета.

Рассмотренная сейчас работа ни в какой степени не удовлетворяет тем требованиям, которые должны к ней пред'являться. Совершенно непонятен смысл ее появления на свет. О трактуемых в ней системах появилось в последнее время в русской и европейской литературе так много работ, прекрасно излагающих их, хрестоматий из систематически подобранных отрывков главнейших писателей, что плохая компиляция, имеющая характер слабого студенческого реферата, неряшливо написанная, должна принести лишь вред, так как приучает к той литературной халтуре, которая становится большим злом настоящего времени.

Круссер.

Аристофан.—«Театр». В серии «Русские и мировые классики». Госиздат. 1927. Цена 3 руб.

Автор греческой народной комедии Аристофан (V в.) заслуживает того, чтобы его читали. Злободневные темы Греции эпохи Пелопоннесских войн, затрагиваемые в комедиях Аристофана, во многих случаях нам не кажутся далекими и чуждыми. Его насмешки еще до сих пор остры и понятны.

Перед нами прекрасное издание перевода трех комедий Аристофана—«Облака», «Осы» и «Птицы».

Переводчик—большой знаток античности—А. Пиотровский, подаривший читателя еще раньше переводами трех комедий того же Аристофана—«Ахарияне» (изд. 1923 г.), «Всадники» (изд. 1902 г.) и «Лизистрата» (изд. 1923 г.).

В прекрасной вводной статье А. Пиотровский знакомит читателя с особенностями греческой народной комедии и выявляет как игровой стиль аристофановской комедии, так и его содержание.

При этом содержание упомянутых комедий А. Пиотровский совершенно правильно рассматриваем, как «памятник подлинно народного искусства, сказочное зеркало, отразившее лицо великого города в самую взволнованную мятежную пору его существования» (стр. 27).

Переводу каждой комедии переводчик предпосылает особое введение, в котором раскрывает читателю особенности данной комедии, развитие в ней действия, сценические детали.

Наконец, в конце книги (стр. 265) даются комментарии, где дается композиция каждой комедии и примечания к ней. В последних сделаны об'яснения тех вопросов, лиц и терминов, которые непонятны читателю, не знающему античной истории и культуры.

Перевод комедии выполнен А. Пиотровским весьма удачно. Надо сказать, что народный язык Аристофана представляет многие трудности. Во-первых, у Аристофана очень много неприличных выражений, которые многие прежние переводчики пропускали или заменяли многозначительными многоточиями. Во-вторых, и это—главное: народный язык Аристофана заключал в себе такие народные особенности и оттенки, которые в переводе сохранить во многих случаях даже и невозможно.

В этом отношении А. Пиотровский прибегает к тому народному языку, который мы наблюдаем теперь. Переводчик охватывает «дух», «соль», смачность выражения и переводит его такими словами, которые теперь выражают приблизительно то же.

Для изысканного уха, привыкшего к хорошему, художественному слову и слогу, конечно, перевод А. Пиотровского может показаться грубым, тяжелым.

«Я упал, я—ничком, собираюсь кричать, тот накидку стильбонил и смылся» (из «Птиц», стр. 212).

Или:

«Я же говорил тебе, катись отсюда циркулем, линейкою» (там же, страница 235).

Такими выражениями и словами пестрит речь действующих лиц комедий в переводе А. Пиотровского, и, нам кажется, такой прием перевода весьма интересным, поскольку перевод предназначен для широкого читателя, при чем читателю предлагается уловить самый «смак» народных острот и мыслей.

Содержание переведенных комедий незабываемо. Особенно прекрасна сказка «Птицы», где некто Пифетер стремится обрадовать всемогущее царство птиц.

Передавать содержание комедии в данной краткой заметке, нет, повидимому, надобности, так как хочется думать, что читатель найдет время и прочитает интересные комедии Аристофана.

Нет сомнения в том, что читатель отблагодарит переводчика за его ценный труд, выполненный так блестяще, с таким знанием дела.

Проф. В. Смолин.

Известия общества археологии, истории и этнографии при Казанском государственном Университете». Т. XXXIII, вып. 2-3, 1926 г. и вып. 4, 1927 г.

Общество ставит себе цели изучения археологии, истории и этнографии не только европейской части Союза, но и Сибири, имеет за собой полвека интен-

сивнейшей деятельности, об'единило виднейших специалистов нашей страны и внесло крупный вклад в дело изучения Союза и Сибири в частности. В тяжелые 1918-23 г.г. темп работы Общества остановился, но с 1924 г. деятельность Общества заметно оживилась, о чем свидетельствует приток новых членов, многочисленные доклады, сделанные на собраниях Общества и изданные за два года две книжки «Известий».

Сибиряк найдет в этих книжках интересный материал. Автор «Чтений по истории Сибири» проф. Н. Н. Фирсов опубликовал в вып. 2-3 «историческую записку с Камчатке, о всех переменах в управлении ее и о настоящем состоянии, со времени нахождения там Баталиона на Ландмилицком положении». Записка извлечена из дел б. архива Государственного Совета 1810-12 г. г. и дает любопытнейшие сведения о положении камчадалов и о политике царского правительства в отношении туземцев. Е. И. Чернышев напечатал неизданные сочинения А. П. Щапова: 1. «Общий взгляд на историю великорусского народа», П. «О конституции». Из этих работ талантливого сибиряка только первая была частично напечатана в извлечениях. Н. И. Воробьев поместил очерк быта старожильческого населения Причунского края», назвав свою работу «Материалы по быту русского старожильческого населения Восточной Сибири. Население Причунского края».

В вып. 4 имеется только одна работа, касающаяся Сибири, Н. И. Воробьева «Дюнная стоянка в окрестностях г. Канска, Енисейской губ.». В небольшой заметке автор дает описание археологических сборов, сделанных в окрестностях г. Канска близ оз. Долгого и поступивших в кабинет этнографии Казанского Университета. Автору осталось неизвестна первая заметка по археологии окр. Канска А. П. Ермолаева—«К археологии окрестностей Канска, Енисейской губ.». (Сибирский Архив» № 4, 1912 г.), где покойный краевед дает описание дюнной стоянки оз. Д лгого и некоторых находок, сделанных на стоянке в 1910 г.

После 1910 года в окрестностях Канска работали доктор Г. Мергардт, А. Тугаринов, и в музей Приенисейского края поступили точно датированные археологические и даже палеонтологические сборы. Кроме того, небольшие археологические материалы имеются в Канском Музее. Без использования этих новых данных, с определенностью говорящих о наличии под Канском ряда доисторических поселений, принадлежащих различным эпохам, едва ли целесообразно публиковать старые, не точно датированные материалы университетского кабинета.

Кроме заметки Н. И. Воробьева, в вып. 4 помещено сообщение Е. И. Чернышева «Материалы по истории классовой борьбы в России в 60 годах XIX в., не связанные непосредственно с Сибирью, но для сибиряков интересные, как уточняющие некоторые факты из жизни и деятельности А. П. Щапова.

Библиографические заметки, помещенные в известиях, носят случайный характер. О сибирских изданиях имеется только одна рецензия В. Ф. Смолина о книжке М. Азадовского и М. Слободского «Декабристы в Сибири».

Н. Ауэрбах.

«Засухоустойчивое хозяйство». Книга по сельскому хозяйству для засушливого юга, юго-востока и Западной Сибири. Опыт краткой с.-х. энциклопедии. Под общей редакцией проф. А. А. Бауэра. Книгосоюз, Москва, 1928 г., стр. 331, тираж 5000, цена 3 руб.

В предисловии рассматриваемой книги как самый ее характер, так и содержание определены следующим образом:

«Отличается она от других книжек по борьбе с засухой тем, что в ней говорится об организации засухоустойчивого хозяйства всего вообще. Мы говорим здесь не только об обработке почвы или сбережении снега, или о каком-нибудь отдельном приеме, помогающем в борьбе с засухой; мы рассматриваем здесь то, как должно быть организовано все хозяйство в целом и каждая его отрасль, в частности, для того, чтобы хозяйство было действительно устойчивым против засухи. Мы говорим здесь и о скотоводстве, и о травосеянии, и о садоводстве и об огородничестве, так же, как и полеводстве, потому что только при правильной постановке и ведении всех этих отраслей хозяйство засушливых мест сможет стать действительно неуязвимым от засухи».

Поставленная задача, несомненно, правильна. Основной момент в борьбе с засухой это—коренное переустройство всего хозяйства, всех его отраслей на учете местных хозяйственных и естественных условий. Но когда пытаются эту огромную задачу осветить в одной книге, то книга получается одновременно и конспективной, и в то же время громоздкой. Несмотря на большой размер книги—свыше двадцати печатных листов убористого шрифта, из которого чуть ли не половина текста набрана петитом,—тем не менее все статьи весьма схематичны, иногда слишком общи и потому понятны только очень подготовленному читателю. Поэтому нельзя согласиться с авторами, что книга «предназначается для простых читателей крестьян», безусловно, пользоваться книгой смогут только лица, получившие какую-либо агрономическую подготовку.

ЗАП.-СИБ. КРАЕВАЯ

Основным недостатком книги нужно считать попытку об'единить весьма разнообразные районы—Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, часть Уральской области и Казакстан. Это заставило авторов ограничиваться или общими указаниями, годными для всяких районов, или отводить очень мало места районному хозяйству и очень часто пользоваться общей, ничего не говорящей формулой: «на Северном Кавказе и в Сибири будет то же самое с тем только отличием, что в одних местах будет большее значение иметь полеводство, в других скотоводство и меньше полеводство» (стр. 34). Ясно, что такие указания едва ли смогут помочь хозяину правильно устраивать свое хозяйство и бороться с засухой.

Как пример схематичности, укажем на статью о севооборотах, где этому разделу уделено двенадцать страниц, но так как севообороты приведены для разных районов, то для Сибири, например, пришлось всего лишь две страницы. Ясно, что, кроме самых общих описаний и небольшого числа примеров, автор не мог уделить места этому чрезвычайно важному вопросу в новом засухоустойчивом хозяйстве.

Отметим, кстати, что все приведенные для Сибири примерные севообороты заимствованы из сибирских изданий, но без всякой ссылки на книги и их авторов.

К достоинствам книги нужно отнести то, что авторы твердо провели основную мысль о необходимости в борьбе с засухой выполнить полную реконструкцию всего хозяйства, переделать старое одностороннее зерновое хозяйство в такие формы, где бы гармонично сочетались главнейшие отрасли—животноводство и земледелие. В частности обращено достаточное внимание на необходимость вводить на полях в засушливой области многолетние кормовые травы в правильном травопольном севообороте.

В книге приведено много справочных сведений по всем отраслям хозяйства, полезных для читателя, не располагающего более подробными справочными книгами.

Книга будет полезна для агроучастков и хорошо грамотных хозяев.

И. Осипов.

ОТ РЕДАКЦИИ.

По техническим условиям в № 1 журнала не могли войти „Заметки о ремесле“ В. Зазубрина и путевые очерки В. Тимофеева „Великим северным путем к устью Лены“. Они будут напечатаны в № 2, выходящем в первых числах марта.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
М. Басов.
В. Вегман.
В. Зазубрин.
Г. Круссер.
Г. Черемных.

СОДЕРЖАНИЕ.

Стр.

А. Югов.—Безумные затеи Ферапонта Ивановича (роман) 3

Ник. Анов.—Глухомань (повесть) 25

Александр Дымов.—Иностранцы 49

Мих. Никитин.—Партизанская женка 63

Лариса Крымская.—Поэма о деревне 77

Н. Чертова.—Личное дело 78

П. Семынин.—Бунтовщики 93

СТИХИ: Ерошина Ивана, Сергея Маркова, Рюрика Ивнева, А. Кучковского, Н. Феоктистова, Павла Васильева . . . . . 114—125

БАНЗАРАКЧИ. — Многочисленные преступления и ошибки монгольских сановников, князей, чинов и простолюдинов, совершонные во времена великих мировых смут. Монгольская революционная пьеса-хроника в 4-х действиях, перевод А. Бурдукова . 126

В. Вегман.—Сибирские контрреволюционные организации в 1918 г. . . . 135

Н. Н.—Краеведение и генеральный план развития народного хозяйства Сибири 147

М. Колобов.—К развитию производительных сил Дальнего Востока . . . 160

Л. Анисимов.—Вопросы художественного творчества 176

А. Лежнев.—Русская художественная литература 199

М. Горький.—«Рецензия» 215

А. Топоров.—Деревня о современной художественной литературе . . . 217

Ст. Липин.—Молодая сибирская графика 244

ХРОНИКА. 247

БИБЛИОГРАФИЯ.—Н. Ауэрбах, В. Вегман, Г. Вяткин, В. Довнич, Г. Круссер, П. Казаринов, проф. Смолин, Е. Титов, В. Халдеев и др. 261

14092